

АНТИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА



АНТИЧНЫЕ
ТЕОРИИ
ЯЗЫКА
И
СТИЛЯ

АНТИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА



АНТИЧНЫЕ
ТЕОРИИ
ЯЗЫКА
И
СТИЛЯ

(антология текстов)



Издательство
«АЛЕТЕЙЯ»
Санкт-Петербург
1996

ББК Грец. (36)
Рим. (36) 95

Основатель и руководитель серии:
Абышко О. Л.

«Античные теории языка и стиля» — антология переводов с древнегреческого и латинского языков, в систематизированном виде представляющая высказывания античных авторов. Редактором грамматического раздела является И.М. Троицкий, стилистического — С.В. Меликова-Толстая. Общая редакция О.М. Фрейденберг. Сборник имеет целью ознакомление читателя, интересующегося лингвистическими и культурологическими проблемами, с историческим развитием и мировоззренческими основами античного языкознания и античной риторики. Книга печатается по изданию: «Античные теории языка и стиля», М.-Л., 1936 г.

ISBN 5-85233-003-21

- © Издательство «Алетейя», 1996 г.;
- © «Античная библиотека» — название серии;
- © Емельянов Ф. В. — серийное оформление.

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот сборник выполнен силами Секции классических языков Ленинградского института языкознания; редактором грамматического раздела является И. М. Троцкий, стилистического — С. В. Меликова-Толстая. Мы хотели систематизировать и перевести высказывания античных теоретиков языка, с простым намерением познакомить наших лингвистов с малодоступным и частично очень трудным историческим материалом. Но в процессе работы наши цели углубились. Выпуская сборник, мы даем сырой материал для будущих лингвистических исследований; им воспользуется историк языкознания, а может быть и историк идеологий. Но и это еще не все. Какие бы узкие пределы мы ни ставили этому сырому материалу, он уводит мысль к сравнению с буржуазной идеалистической лингвистикой и теорией художественной речи, называемой на Западе поэтикой и риторикой.

Подать античный теоретический материал по лингвистике — это значит, волей или неволей, показать истоки индоевропеистики и тем самым разоблачить ее мнимую самостоятельность. То, что в условиях рабовладения являлось прогрессивнейшим достижением классового сознания и было единственно возможным по предельности прогресса, — то бальзамируется буржуазной лингвистикой и становится реакционным орудием, направленным против материалистического объяснения происхождения и сущности языка и его истории.

Стоит вспомнить всю огромную борьбу акад. Н. Я. Марра против индоевропейского формализма, чтобы понять и борьбу за преодоление культурного наследия, за строго критическое его использование для будущего науки, а не мертвое и закостенелое подражание ради реакционных целей. Материал сборника открывает перед лингвистами возможность познакомиться с античными языковыми теориями как с интересным и очень своеобразным научным наследием, подлежащим переработке. Он показывает любопытнейшие связи между новым учением о языке и высказываниями Демокрита, одного из основоположников научного материализма, хотя в силу исторических причин еще примитивного и механистического. Здесь, у истоков лингвистики, уже намечаются два будущих пути языковой теории: материалистический и идеалистический. Сравнивая эту научную лингвистическую стадию, одну из самых первых, с современ-

ным состоянием советского языкознания, мы можем указать на два крупнейших, самых основных достижения нового учения о языке. В то время как античные лингвисты и философы имеют дело только с одним узко понятым, изолированным эллинским или римским языком (ср. расовые теории индоевропейцев), Н. Я. Марр ставил проблему языка в мировом масштабе и каждый отдельный язык рассматривал как определенную стадию в едином языкотворческом процессе; античное (а вслед за тем и буржуазное) учение о формальных сторонах языка и художественной речи вытеснено учением Н. Я. Марра о семантике, о первенстве идеологического содержания над формой, о решающей роли мышления, зависящего от материальной базы и общественных отношений.

Памяти выдающегося лингвиста, высший подъем научного творчества которого стал возможным лишь в условиях советской действительности, мы посвящаем наш коллективный труд, рисующий истоки лингвистической научной мысли Европы.

1936 г.

СПИСОК ПЕРЕВОДЧИКОВ

В I отделе перевели:

Я. М. Боровский — Варрона, Мар. Викторина, Аммония, О диалектах, Витрувия.

А. И. Доватур — Платона, Дионисия Фрак., Аполлония, Августина.

П. В. Ершtedt — Секста Эмпирика, Присциана.

И. И. Толстой — «О сочетании имен» Дионисия Галикарнасского.

Перевод Гераклита и Эмпедокла — по *Маковельскому*, «Поэтика» Аристотеля — по *Новосадскому*, «Об истолковании» Аристотеля — по *Радлову*; Парменид — *Трубецкого*, Лукреций — *Рачинского*, «Политика» Аристотеля — *Жебелева*. Остальные отрывки переведены редактором отдела *И. М. Троицким*.

Во II отделе перевели:

А. В. Болдырев — Риторику к Гереннию.

С. И. Гинтовт — Гермогена.

А. И. Зограф — Цицерона.

Б. В. Казанский — Горация.

С. В. Меликова-Толстая — Деметрия.

В. В. Петухова — Квинтилиана.

М. Е. Сергеенко — «О возвышенном» Дионисия Галикарнасского.

И. И. Толстой — Анаксимена, «О сочетании имен» Дионисия Галикарнасского.

«Поэтика» Аристотеля — в переводе *Новосадского*, «Риторика», его же, — пер. *Платоновой*.

1. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В АНТИЧНОЙ НАУКЕ

1

Языкознание как самостоятельная дисциплина, осознавшая свой объект и свой метод, свое место в системе смежных наук, — дитя XIX столетия. Прежде чем соединиться в самостоятельную отрасль знания, разрозненные языковые исследования входили в программу многообъемлющей и малодифференцированной дисциплины, объединявшей все доступные тому времени языковедческие и литературоведческие проблемы с собиранием и классификацией антикварно-исторических материалов. Дисциплина эта восходила к античности: ее исконное название «грамматика» — уступило место термину «филология», поскольку старинное наименование еще в древности прочно укрепилось за «технической» частью дисциплины — описанием языковых форм, — и в этом суженном значении перешло в средневековую Европу. Формальная грамматика, описательная или нормативная, эмпирическая или спекулятивно-рационалистическая, в этом последнем случае ориентированная на логику, была предшественницей научного языкознания XIX в. и оставила в нем многочисленные следы; ее методы и подходы и поныне сохраняют известную силу в так называемой «школьной грамматике». В построении этой формальной грамматики значительное место занимают унаследованные от древности принципы античной грамматической теории.

Было бы однако неправильно думать, что античное учение о языке ограничилось созданием грамматической теории, воспринятой средними веками. Расцвет этой теории относится уже к поздней древности, к эпохе разложения античного общества и увядания теоретической мысли. В более ранние, творческие периоды античная мысль смело ставила перед собой все основные, решающие вопросы, которых старается избегать ползучий эмпиризм буржуазной науки. К античному рассмотрению языковых проблем в полной мере применима характеристика, которую Энгельс дал греческой философии в целом: «Так как греки еще не дошли до расчленения, до анализа природы, то она у них рассматривается еще как целое, в общем и целом. Всеобщая связь явлений в мире не доказывается в подробностях... для греков она является результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, благодаря которому она должна была впоследствии уступить место другим видам мировоззрения. Но в этом же заключается ее превосходство над

всеми ее позднейшими метафизическими соперниками. Если метафизика права по отношению к грекам в подробностях, то греки правы по отношению к метафизике в целом». ¹ Античная языковая теория возникает не в процессе рассмотрения каких-либо частных, мелочных проблем, а как одна из сторон основной философской проблемы, как вопрос о взаимоотношении между вещью, мыслью и словом. Позднейшая эмпирическая грамматика целиком покоится на тех теоретических представлениях о языке, которые были выработаны в греческой философии до того, как грамматика отделилась от нее, и эти же теоретические представления являются наиболее уязвимым местом античной языковой теории.

2

Греческая философия заменила собою мифологическую картину мира в период становления рабовладельческого общества. За переломными эпохами VII—VI вв., когда сложились основы античной общественно-экономической формации, последовал переворот в мировоззрении. Конкретная символика мифологического мышления уступила место тяге к образованию абстрактных понятий, но и самые эти понятия и — в особенности — те соотношения, в которых эти понятия между собою мыслились, во многом продолжали опираться на привычные представления мифологии. Мифологическая картина мира в античном обществе никогда не была изжита до конца. И языковая проблематика античной философии тесно связана с тем местом, которое занимал язык в мифологической системе мышления.

Сказанное отнюдь не следует понимать так, что у греков обязательно должны были циркулировать «мифы» (в смысле повествований о богах и героях), имевшие своим содержанием какие-либо языковые вопросы. Такие сказания хорошо известны из библейской мифологии: Адам, первый человек, дающий наименования всем живым существам, или вавилонское столпотворение. Греческая мифология таких мифов не знает; во всяком случае до нас не дошло никаких следов подобных представлений. Место языка в мифологической картине мира определяется не наличием тех или иных повествований о языке, а той ролью, которая приписывается языку в системе мышления, создававшей мифы.

Среди мифологических аспектов языка должны быть особо отмечены два момента. Во-первых, язык как целое сравнительно редко привлекает к себе внимание; центр тяжести мифологической трактовки языка лежит на отдельном слове, точнее — на имени. Имя вещи мыслится неразрывно связанным с самой вещью, ее неотъем-

¹ Энгельс, Диалектика природы. Старое предисловие к «Анти-Дюрингу».

лемой частью (термин «свойство» в силу своей абстрактности был бы здесь неуместен). Каждая вещь — единый целостный комплекс, живой носитель конкретных отношений, от которого не абстрагируются отдельные элементы, в том числе имя. Имя не существует вне вещи, и совершая какие-либо операции над именем, мы воздействуем на вещь, подчиняя ее нашей воле. Отсюда сила заговоров, заклинаний, отсюда стремление «первобытного» человека «засекретить» имена тех предметов, которые он считает нужным обезопасить от враждебного воздействия, тенденция к созданию тайных языков. На принципе взаимозамещаемости имени и вещи покоится вся словесная магия. Наряду с убеждением в том, что обыденные слова родного языка в основном являются «настоящими» именами вещи, некоторые имена выделяются как особо значительные. На греческой почве мы встречаемся с представлением о группе имен, специально свойственных языку богов, в отличие от наименований, которые употребляют, говоря о тех же предметах, люди. Такие указания неоднократно попадают в древнейших памятниках греческой литературы (гомеровские поэмы, Ферекид). С другой стороны, особенно на более поздних этапах мифотворчества, в эпоху создания развернутых мифологических систем, имя, осмысленное в его языковой связи с другими именами, становится орудием осмысления самой вещи в ее реальных связях. Толкование имени — *этимология* — первое проявление рефлексии над языком в истории греческой мысли. В гомеровском эпосе часто подчеркивается различными приемами это осмысление имен действующих персонажей, а у Гесиода и ранних греческих мыслителей этимологизирование получает уже характер сознательного метода интерпретации имен.

Во-вторых — и это специфично для всей мифологической картины мира — всякий процесс мыслится по аналогии трудовых процессов. Вещь, вошедшая в социально обусловленную сферу объектов мышления, представляется имеющейся в наличии потому, что некто в некоторое время эту вещь «сделал» или «нашел» (на ранних стадиях первобытного общества люди чаще «находят» вещи в готовом виде, чем «делают» их). Для всякой мифологии характерны сказания о «происхождении» той или иной вещи, о «героях-изобретателях». Имеющиеся в языке «имена» также нуждаются в изобретателе. И хотя греческая мифология не приписывает ни одному из своих персонажей подобных функций, самое представление об «установителе имен», «ономатотете», засвидетельствовано философами. Древнепифагорейское изречение гласит: «Что мудрее всего? Число, на втором месте тот, кто положил вещам имена»; не раз ссылается на это представление и Платон. Если даже допустить, что фигура ономатотета не восходит к глубокой древности и создана умозрением ранних философов, то ход мысли, приведший к созданию этого образа, все же остается типично мифологическим. Представления об

акте установления имени и о неразрывной связи имени с вещью отнюдь не являются взаимоисключающими друг друга: ономотет либо «находит» в вещи ее имя, либо в акте наименования присваивает вещи нечто, становящееся ей отныне присущим; ибо, только получив имя, вещь приобретает полную реальность. Так и в Библии: бог Ягве подводит к Адаму каждое животное, и чем Адам его назовет, это и есть его имя.

Поскольку имя непосредственно принадлежит вещи, для архаического мышления нет надобности относить имена к какой-либо сфере, отличной от сферы бытия вещей. Язык как целое есть лишь совокупность имен, которая может быть противопоставлена совокупности имен чужого языка, но не заключает в себе ничего специфически-языкового, несвойственного самим вещам, и не рождает никаких проблем, кроме вопроса об отношении отдельных имен к отдельным предметам, «правильности» наименования. Различие в именах есть различие вещей, сходство и близость вещей обнаруживаются в сходстве и близости этимологически сопоставляемых имен, как они были установлены ономотетом, одним или многими. Таков итог размышлений над языком ко времени разложения мифологического мирозерцания и то идейное наследие, которое греческая философия получила в вопросах языка от предшествующих стадий истории мысли.

3

Интерес к отдельным сторонам языка возникал в Греции с разных сторон, вызываясь многообразными практическими потребностями. Однако наблюдения эти долгое время оставались разрозненными, входя в круг интересов представителей различных, не всегда между собою связанных профессий. Они не объединялись, поскольку отсутствовала та практическая потребность, которая в младенческий период знания острее всего стимулирует разработку науки, — потребность в обучении. Греция V в. еще не знала такого разрыва между языком обыденной речи и «литературным» языком, который оправдал бы специальное обучение «родному» языку. Еще в начале IV в. в диалоге Платона «Протагор» говорится об учителе родного языка как о совершенно неслыханном явлении, а безымянный софист, сопоставивший в конце V в. противоположные мнения «мудрецов» о разных вопросах (трактат «Двойные речи»), считает необходимым разъяснить, что мы научаемся «именам» от родителей и окружающих, в противоположность точке зрения, будто знание родного языка представляет собою нечто прирожденное.

Хотя язык, таким образом, не был предметом изучения в системе старинного греческого образования, чтению и письму обучали издревле, и искусство «букв» (γράμματά), «грамматическое» искусство,

занимало свое место, не очень почетное в силу элементарности и сравнительной общедоступности, среди прочих практически полезных искусств. Когда авторы классической эпохи, вплоть до Аристотеля, употребляют термин «грамматика», они имеют в виду искусство чтения и письма. Наши источники позволяют составить себе некоторое представление о характере «грамматического» преподавания. Оно велось тем самым «буквослагательным» методом, который удержался в элементарном обучении «грамоте» вплоть до самого XIX в. Начинали с «букв», которые иначе назывались «элементами» (στοιχεῖον), в совокупности образующими буквенный «ряд» (στοῖχος); затем из букв составлялись слоги, а из слогов — целостные слова. Сохранились отрывки «грамматической трагедии» Каллия (начало IV в.), где «хор» состоял из 24 букв недавно принятого в Афинах новоионийского алфавита, и эти «буквы», образуя между собою различные группы, исполняли хоровые партии с текстом типа: «бэта альфа — ба, бэта эта — бэ» и т. д. От учащегося требовалось умение правильно разобрать слоговой состав слова, а затем разложить слог на отдельные «буквы». При этом обращалось внимание на то, какие «буквы» к каким могут или не могут «примыкать»: очевидно имелись в виду наиболее прозрачные случаи комбинаторного звукового перехода в греческом языке, вроде уподобления взрывного следующему за ним взрывному в отношении глухоты, звонкости и придыхательности, или явлений sandhi, поскольку они фиксировались в письме. Ранняя и прочная выработанность понятия о слоге, о трех ступенях — «буква», слог, слово — сыграла значительную роль и в дальнейшем развитии античного учения о языке.

Эти первые фонетические наблюдения повлекли за собою и классификацию «букв». Четкого различения между буквой и звуком античность не выработала и в более поздние времена. Не в том смысле, конечно, чтобы не сознавалось, что писаная буква есть лишь знак для изображения звука; но «элементами» слова всегда признавались те звуковые образования, которые соответствовали буквам принятого алфавита, хотя бы некоторые буквы изображали два звука (например, ψ), или двумя буквами изображались звуки, качественно не отличающиеся между собой (например, ο и ω). Традиционное учение об элементах впоследствии подвергалось суровой критике, отзвуки которой читатель найдет на стр. 118¹ в соображениях Секста Эмпирика, но критика эта не устранила рутины грамматического преподавания. Классификация «букв» была уже почти окончательно разработана к концу V в. Судя по результатам этой классификации, в основу ее был положен — сознательно или бессознательно — принцип распределения звуков по их роли в слоге. Получились три группы: 1) гласные — доминанты слога; 2) звуки, которыми в гре-

¹ Ссылки «стр. 118» и т. д. обозначают страницы настоящего сборника.

ческом языке может заканчиваться закрытый слог (или слово) — λ, μ, ν, ρ, ζ; 3) звуки, которые могут встречаться лишь в начале слога — все прочие согласные (т. е. взрывные). Это основание деления однако нигде не указывается, и созданные три группы получают лишь акустическую характеристику, первое время еще колеблющуюся. Так, в источнике, которым пользовался Платон (стр. 52, 55), проводилось различие между «гласными», «безгласными звучными» и «безгласными беззвучными»; впоследствии установилось деление на «гласные», «полугласные» и «безгласные», причем две последние категории были подчинены более общему понятию «согласные». Взрывные, стало быть, по античной теории не имеют самостоятельного звучания и получают его лишь от последующего гласного звука. Эта точка зрения в известной мере объясняет, почему древние так цепко держались за свои «двойные» элементы ξ, ψ и ζ. В греческом языке ξ и ψ — единственные комбинации согласных, которыми могут оканчиваться слова. Рассматривая ξ или ψ как единую «букву», относимую к разряду «полугласных», можно было сохранить основной принцип классификации, допускающий беззвучные лишь в начале слога.

Впрочем детальная классификация «букв» и изучение их фонетических особенностей входили в круг интересов не столько грамматики как искусства чтения и письма, сколько ритмики и метрики, которая в своих целях изучала фонетическую сторону языка в тесном контакте с теорией музыки. Звуки «различаются, — пишет Аристотель (стр. 67), — в зависимости от формы рта, от места (их образования), густым и тонким придыханием, долготой и краткостью и кроме того острым, тяжелым и средним ударением. Подробности по этим вопросам следует рассматривать в метрике». Вопрос о физиологических условиях образования звука изучался уже в V в. Когда в конце V в. афиняне официально перешли от своего старинного алфавита на новоионийский, автор законопроекта Архин составил объяснительную записку к этой реформе; Архину (стр. 39) уже известны три места образования взрывных звуков — «у сложенных губ», «широкой поверхностью языка у зубов», «изгибом и сжатием в глубине рта». Ряд указаний на положение речевых органов во время произнесения того или иного звука мы встречаем в «Кратиле» Платона. Софист Гиппий был известен как специалист по вопросам «значений букв и слогов, ритмов и гармоний» (Plat. Hipp. Mai. 285 D), а в списке трудов Демокрита мы находим заглавия: «О благозвучных и неблагозвучных буквах», «О ритмах и гармониях». У Аристотеля мы встречаемся уже с указанием, что в образовании звуков значительную роль играет «прикладывание» (προσβολή) языка, т. е. затвор, и «складывание» (συμβολή) губ, т. е. лабиализация; за подробностями он опять-таки отсылает к метрикам (стр. 69). Источники Аристотеля разъясняли различия между тремя основными

группами звуков так, что «гласные» образуются с помощью «голоса» (т. е. музыкального звука), «полугласные» — с помощью голоса с «прикладыванием», «безгласные» — одним лишь «прикладыванием» без участия голоса. Применяя к безгласным деление по признаку места их образования, получали три дальнейших ряда: губные, зубные и гортанные; а в каждом из этих трех рядов фонематическая система греческого языка, отраженная в алфавите, была симметрично представлена тремя звуками: глухим (π, τ, κ), звонким (β, δ, γ) и придыхательным глухим (φ, θ, χ), по греческой терминологии — «простым» (т. е. лишенным придыхания), «средним» и «густым». Так как участие «голоса» в образовании безгласных отрицалось, различие между этими группами звуков усматривали лишь в степени придыхания, и звонкие занимали здесь «среднее» место. Впрочем античная грамматическая теория не умела использовать результаты наблюдений над физиологией звука и сравнительно мало интересовалась ими. Наиболее полное изложение их мы находим в латинском метрическом трактате Терентиана Мавра (ок. 200 г. н. э.), где использованы более ранние источники. Основы фонетического учения были заложены уже в V в. до н. э. Пифагорейцы, которые в связи со своими занятиями музыкой принимали деятельное участие в разработке ритмометрической теории, устанавливали соответствие звуков речи с музыкальными «симфониями» (Arist. Met. 1093^a), а количество «букв» основных трех групп служило предметом мистических исчислений. Со своей стороны «грамматическое» искусство осталось не без влияния на музыкальную и ритмометрическую теорию, в которых было установлено привычное для «грамматики» трехступенчатое членение: тон — интервал — октава, слог — стопа — метр.

Другие импульсы к языковым наблюдениям шли от потребностей комментирования литературных, главным образом поэтических, текстов. Мифологический эпос, морально-гномическая поэзия лириков являлись тем литературным материалом, на котором проводилось воспитание юношества в эпоху господства аристократии, и на этом же материале проходило обучение чтению и письму. Эти памятники зачастую были написаны на устаревшем уже языке или на чуждых диалектах и требовали не только толкования по существу, но и языкового, преимущественно лексикологического, комментария. С V в. начинается собирание глосс, т. е. старинных, малоупотребительных слов. Среди сочинений Демокрита мы находим трактат «О Гомере, или Орфоэпии и глоссах». Как показывает заглавие, с глоссами был связан и вопрос об «орфоэпии», т. е. «правильной речи», хотя понятие «правильного» на первых порах еще не отличалось четкостью и по-видимому обнимало как формально-языковую сторону, так и самое содержание толкуемого текста.

На анализе литературных текстов яснее осознавались диалектические различия и росли предпосылки для перенесения в сферу

языка тех концепций изменения и развития, которые строились греческими философами в области естественных наук.

Все эти зачаточные языковые наблюдения, к которым, разумеется, надлежит присоединить никогда не прерывавшуюся работу этимологов, были сведены в единое целое и привели к созданию первой продуманной языковой теории в период того идеологического кризиса, который обычно носит название эпохи софистики (конец V и начало IV в. до н. э.).

4

Ломка мировоззрения, последовавшая за социальным переворотом VII—VI вв., на первых порах проявлялась преимущественно в критике старой религиозной и мифологической системы, в попытках истолковать явления природы без воздействия сверхъестественных сил из внутреннего развития элементов самой природы, и привела к возникновению естествознания и натурфилософии. Лишь с окончательным внедрением рабовладельческой системы во все отрасли народного хозяйства, когда политические рамки античного государства-города с его «совместной частной собственностью» (Маркс) стали стеснять дальнейшее развитие частной собственности крупных рабовладельцев, наступил период резкой критики старинных общественных установлений и старой морали, положивший начало общественным наукам. Идеологическая борьба против традиционного уклада жизни и составила содержание софистического движения.

Предшествующий период в истории греческой мысли — эпоха натурфилософии — оставил лишь незначительные следы в трактовке языка, но глубокие изменения в мирозерцании создали методологические предпосылки для нового подхода к языковым проблемам. Ионийская естественно-научная мысль, видевшая во всей природе лишь процесс изменения некоего «первоначала», подошла и к языку как к природному процессу. Отзвуки этого мы находим в рассказе Геродота об «эксперименте», якобы сделанном во времена фараона Псамметиха с целью установить, какой язык является «естественным» и, стало быть, наиболее древним (стр. 36). Двое детей будто бы были выращены в условиях, исключавших какое-либо языковое общение с ними взрослых, и первое членораздельное слово, произнесенное ими, оказалось фригийским словом, обозначающим «хлеб». Отсюда был сделан вывод, что фригийский язык древнее прочих, которые — так, очевидно, надо дополнить эту мысль — являются уже видоизменениями фригийского «первоначала». Другой аспект языковой проблемы был выдвинут западногреческой философией элеатов (Парменид и др.). Согласно основному учению элеатов все многообразие чувственного мира не обладает реальным бытием, а относится

лишь к области «мнения» (δόξα). Имя, которое в мифологическом мирозерцании принадлежало самой вещи, теперь выпадает — вместе с самой вещью — из сферы бытия. Более того, если в архаическом мышлении имя было тем, что сообщало вещи полную субстанциональность, в философии элеатов оно превращается в источник иллюзорной субстанциональности чувственного мира, в корень всех заблуждений. В актах именованья и создается та ошибочная система, которая образует «мнение». Предметы чувственного мира созданы именами (с этим взглядом элеатов полемизирует анонимный автор псевдогиппократовского сочинения «Об искусстве», стр. 39). Имена начинают рассматриваться как человеческое установление, допускающее изменения.

Всю философскую проблематику эпохи софистики пронизывает противопоставление «природы» и «закона». По поводу всех социальных отношений, даже шире, по поводу всех содержаний сознания ставится вопрос: существуют ли они по «природе» как неотъемлемые свойства объектов в смысле прежнего мифологического мирозерцания, или по «закону», как человеческие мнения и результат соглашения между людьми? В сферу этой проблематики попадает и язык. Интерес к языку повышается в силу разных причин. В это время закладываются основы будущего общелитературного языка греков на базе аттического диалекта, обостряются и социально-диалектологические различия. Уже в одной из комедий Аристофана констатируется различие между «женственной» речью верхушки городского населения, «средним» диалектом обыкновенных горожан и «мужицкой» речью сельских местностей. Зарождающаяся наука художественной речи, риторика, со своей стороны способствует развитию языковых изысканий. Софист Прodik разрабатывает синонимику, учит выяснять различия в оттенках между близкими по значению словами. Протагор, отправляясь, по-видимому, от морфологической и интонационной разницы между наклонениями греческого языка, устанавливает четыре «разветвления речи»: просьба, вопрос, ответ, приказание (соответственно наклонениям желательному, сослагательному, изъявительному и повелительному). Он же классифицирует имена по родам на мужские, женские и «утварь» (в позднейшей грамматической терминологии «ни того, ни другого рода», οὐδέτερον, по-латыни — neutrum, в неудачном русском переводе — «средний» род) и пытается принадлежность к роду поставить в связь с окончанием имени, подвергая при этом критике существующее словоупотребление. Надо полагать, что грамматические занятия Протагора составляли известное дополнение к его теоретико-познавательному релятивизму: отрицая объективную истинность («человек — мера вещей»), он выдвигал на ее место формальную *правильность* «речей».

Консервативное направление противопоставило софистической теории «соглашения» принцип «правильности» имен «по природе». Это была попытка философски оформить традиционные представления о тесной связи имени с вещью, связи, игравшей очень значительную роль в практике греческого культа: называние «правильного» имени служило ведь залогом эффективности молитвенной или магической формулы. Однако, в то время как мифологическое мирозерцание отличалось значительной гибкостью и могло допустить для одной и той же вещи ряд имен различной или даже одинаковой степени «правильности», перенесение этих представлений в формально-логическую сферу создавало безжизненную концепцию неподвижного однозначного соответствия между вещью и именем. Каждой вещи свойственно некое имя «от природы». Достаточно малейшего изменения в имени, для того чтобы оно потеряло свою связь с вещью и превратилось бы в пустой звук, в лучшем случае — в имя другой вещи. В подтверждение приводились примеры тех случаев в греческом языке, когда семантическая дифференциация базируется на месте или типе ударения или на длительности отдельных гласных, так что незначительные, казалось бы, изменения в произношении, не выражаемые даже письмом, создают новое «имя». Если, говоря о какой-либо вещи, употребить не то имя, которое принадлежит ей «по природе», а другое, — это последнее не будет «именем». Имя — если оно действительно имя — всегда правильно. Отголоски этой теории мы находим в конце V в. в упомянутом уже выше трактате «Двойные речи»; в развернутом виде она дискутируется у Платона в диалоге «Кратил», и защитником этой теории является Кратил, ученик Гераклита.

Этимологизирование, как метод истолкования «имени», несколько не было скомпрометировано новыми постановками вопроса о соотношении между именем и вещью. Если сторонники правильности имен «по природе» могли искать в имени сокровенную сущность предмета, для представителей договорной теории оно являлось документом тех взглядов на вещь, какие существовали у древних «творцов» имени. Платоновский «Кратил» представляет в значительной своей части пародию на излюбленные в то время приемы этимологизирования; приемы эти очень характерны для античного подхода к проблемам языка. Объектом этимологического объяснения являются «имена». Слова, не имеющие непосредственного вещного значения, не интересуют этимолога, и даже глаголы попадают в сферу его внимания лишь в какой-либо из именных форм, например в причастии. Имя берется в номинативе как нечто законченное, без различия морфологических элементов; флектируемое окончание рассматривается как реальная, а не формальная лишь часть имени. Этимологический анализ состоит обыкновенно в том, что разбираемый номинатив раскрывается как словосочетание, образованное из двух

или нескольких уже наличных в живом языке слов, в их реальных формах без различия морфологических формантов. Часто встречающийся в греческом языке и легко доступный языковому сознанию прием *сложения* слов рассматривается как основной метод словообразования. Идеальным с этой точки зрения является случай сращения слов (типа русского «умалишенный» — лишенный ума), когда составное слово механически разлагается на части, образующие законное с точки зрения живого синтаксиса словосочетание. Поскольку однако такие случаи чрезвычайно редки, античный этимолог приходил к убеждению, что в живом языке имена уже искажены — бессознательно, от «древности» и долгого употребления, или сознательно, в целях «благозвучия». Изменения, которым подвергается имя, складываются из: 1) вставки, 2) изъятия, 3) замены, 4) перестановки тех или иных букв, — и этимолог учитывает при анализе все эти возможности. Семантическая энергия имени неравномерно распределена по его частям: одни «буквы» являются носительницами смысла, другие — безразличны. В качестве примера Платон приводит (стр. 48) названия букв алфавита, — альфа, бэта и т. д., в которых значащими являются лишь начальные буквы (семитское происхождение названий букв делало их непонятными для греков), а прочая часть слова индифферентна. Необходимым условием правильной этимологии остается, конечно, требование, чтобы обнаруженное в составе имени словосочетание раскрывало какие-либо свойства или признаки обозначаемого именем предмета. В иных случаях, особенно в коротких словах, этимолог прибегает уже не к гипотезе словосочетания, а к непосредственному выведению одного слова из другого на основе изменений в «буквах». Привлекаются при этимологическом анализе также и диалектические формы или древние формы, известные из письменных памятников; основной базой наблюдений остается однако в эту эпоху живой язык. В тех случаях, когда весь арсенал этимологической мудрости оказывается бессильным и имя не поддается осмыслению, остается признать имя совершенно затемненным в силу искажений или предположить заимствование, «варварское» происхождение имени.

В этих построениях ранней греческой науки нельзя не отметить несколько идей, которые сыграли значительную роль в истории языкознания. Сюда относятся: объяснение фонетических изменений принципом «благозвучия»; различие между семантически полноценными и неполноценными элементами слова и соответственно меньшей или большей подверженностью их фонетическим изменениям, — этого взгляда держались еще В. Гумбольдт и Г. Курциус; наконец, «агглютинативная» теория Боппа является систематическим применением античного словосочетательного принципа к неизвестному еще древним разграничению корневых, основообразовательных и флективных элементов слова; когда античный этимолог случайно про-

изводит свой «разрез» между корнем и суффиксом и возводит суффиксальный элемент к какому-либо глаголу, его объяснения по существу ничем не отличаются от агглютинативной теории.

5

С помощью этимологических изысканий можно было свести наличный запас «имен» языка к известному количеству «первичных имен»; впрочем, подобная задача вряд ли ставилась в сколько-нибудь значительном объеме, так как анализировались имена лишь тех предметов, которые представляли интерес для исследователя-философа по своей вещной сущности. Но самая постановка этимологической проблемы влекла за собой и разъяснение «первичных», не поддающихся дальнейшему сведению «имен», и проникающая всю раннюю греческую философию направленность к отысканию «первоначала» привела в области языковых исследований к попытке разрешить основной генетический вопрос — о происхождении языка — или — в греческой постановке вопроса — о происхождении «имен». Для греческой философии и здесь характерно, что она, с одной стороны, решительно отвергает всякий агностицизм, а с другой — не задерживается на частностях и ограничивается общими указаниями. Продуманную теорию происхождения первых «имен» мы находим в «Кратиле» Платона, но не Платон является ее творцом, он лишь излагает чужое учение, принадлежащее какому-то представителю атомистической школы, а сам даже в известной мере с ним полемизирует. Материалистическая философия атомизма, виднейшим представителем которой был Демокрит, является одним из наиболее творческих направлений в истории античной мысли: в недрах этой философии родилось и античное учение о языке.

Демокрит был всеобъемлющим исследователем, и разносторонность его интересов поражала древних; по словам Аристотеля (*De gen. et corr.* 315), он «размышлял обо всем». В списке его трудов мы находим ряд сочинений на «мусические», т. е. языковые и литературные, темы: «О ритмах и гармонии», «О поэзии», «О красоте эпических поэм», «О благозвучных и неблагозвучных буквах», «О Гомере, или об Орфоэпии и глоссах», «О песнопении», «О речениях», «Именослов». К сожалению, от всех этих трактатов сохранились лишь ничтожные обрывки, и атомистическое учение о языке может быть восстановлено только по позднейшим косвенным свидетельствам, которые не дают возможности отличить учение самого Демокрита от взглядов его последователей и представить атомистическую языковую теорию в ее историческом развитии.

Язык тем более привлекал внимание Демокрита, что представлял для него своего рода модель, иллюстрирующую основную философ-

скую концепцию. Вселенная состоит из атомов и пустого пространства. Всякая вещь — сцепление, сплетение атомов, отличающихся между собой лишь формой, и она складывается из атомов точно так же, как «имя» складывается из «букв». Наподобие того как изменение одной буквы способно превратить одно имя в другое, совершенно отличное по смыслу, так и незначительного изменения в составе и расположении атомов достаточно для образования совершенно иной вещи; и если из одних и тех же букв складываются столь различные целые, как трагедия и комедия, то из одних и тех же атомов могут создаваться различные миры. Вещи отличаются одна от другой в силу трех причин: неодинаковой «фигуры» атомов, разнообразного «положения» их и различий в «способе сочетания», и эти три момента также иллюстрируются примерами из области букв. Буквы А и Ν отличаются «фигурой», ΑΝ и ΝΑ — «способом сочетания», Ι и Η — «положением» (т. е. достаточно повернуть одну из этих букв на 90° для того, чтобы получить другую). Более того: «грамматическая» теория устанавливала трехстепенное членение: буква — слог — имя, и эта трехстепенность становится у атомистов моделью для иллюстрации того, как из атомов образуются простые тела, а из простых — сложные.

Предложение («речь», λόγος) есть не что иное, как механическое «сплетение (συμπλοκή) имен»; оно складывается из них точно так же, как имя из букв, а вещь — из атомов. Здесь снова проводится трехступенчатое деление: среднее место между именем и предложением занимает «речение» (ῥήμα), т. е. словосочетание, семантически целостная часть предложения. Буква — слог — имя, имя — речение — предложение, — такова атомистическая формула строения языка.

В занимавшем современников споре — принадлежит ли имя вещи «по природе» или «по закону» — позиция Демокрита была совершенно ясна. Мирозерцание, которое признавало реальность лишь атомов и пустого пространства, с точки зрения которого все чувственно воспринимаемые качества вещи относились уже к субъективной сфере, к области «закона», не могло, конечно, мириться с мифологическим представлением о «природной» связи между именем и вещью. Оспаривая подобного рода связь, Демокрит приводит четыре довода: многозначность имени (омонимы), многоименность вещи (синонимы), факты переименования (например, в отношении имен собственных), наличие вещей, не имеющих имен, — вся эта система доводов имеет целью показать отсутствие однозначного соответствия между именем и вещью. Т. Гомперц («Греческие мыслители», т. I, русский перевод, СПб. 1911, стр. 340) замечает, что для этой цели «достаточно указания на одновременное существование различных языков». Мы вскоре увидим, что проблема многоязычия занимала Демокрита, но в борьбе с предрассудками, отождествлявшими «родной» язык с «природным», естественнее было аргументировать от родного языка.

Полемика против «природной» теории, разумеется, не мешала творцу учения о механической необходимости рассматривать происхождение и развитие языка как своего рода «естественный» процесс. Новейшие исследования позволяют утверждать, что Демокрит создал влиятельнейшую в античной науке концепцию истории культуры исходя из принципа общественного развития, стимулируемого «потребностью» (ὑρεῖα). В этой связи он касался и вопроса о происхождении речи и языка. Из пересказа историка Диодора (I в. до н. э.; стр. 37), излагающего построение Демокрита в лучшем случае из вторых рук, мы узнаем, что Демокрит приписывал происхождение человеческих сообществ необходимости совместной защиты против зверей; в этот период человеческий «голос» был еще бессмысленным и нерасчлененным. Потребность в общении привела к постепенному зарождению членораздельной речи и установлению «символов» для изъяснения вещей друг другу (термин «символ» вряд ли принадлежит Демокриту, но в нем подчеркнут момент отсутствия связи между именем и вещью в смысле «природной» теории). Поскольку человеческие общества возникали в разных местах независимо одно от другого, люди по-разному образовывали слова; так создались разные племена и разные языки. Изложение Диодора не дает однако ответа на основной вопрос: как Демокрит представлял себе «установление» значащих слов, переход от асемантического к семантическому.

С точки зрения Демокрита — если он только искал «естественного» (т. е. механического) объяснения возникновения языка — проблема должна была заключаться в том, чтобы установить связь между звуком и восприятием вещей, возможность становления звуков семантическими. Самым простым решением вопроса могла бы показаться звукоподражательная теория происхождения языка, и по видимому она уже выдвигалась какими-то греческими мыслителями. Момент «подражания» природным процессам занимал значительное место и в культурно-исторических гипотезах Демокрита.

Ученик элеатов, Горгий, доказывал, однако, что звук неспособен передать что-либо с ним неоднородное, например цвет, и что поэтому познание (если таковое вообще возможно) не может быть выражено в слове. Звукоподражательная теория в силах объяснить семантическую лишь в отношении звукового же материала. Атомистическая теория, отрицавшая реальность чувственно воспринимаемых качеств, имела возможность преодолеть это затруднение.

Согласно Демокриту, восприятие состоит в том, что атомы, движущиеся от воспринимаемой вещи, соприкасаются с атомами, движущимися от воспринимающего органа; стало быть, всякое «подражание» требует, чтобы от «подражающего» органа исходило движение атомов, аналогичное воспринятому. И когда Демокрит говорил о становлении звука семантическим, не переносил ли он центр тяжести проблемы от звука, как акустического субъективного

явления, на порождающее звук движение речевых органов, которое как движение способно было воспроизвести движение и тем самым его обозначить? Или он не сделал этого вывода из своего учения и стал на позицию «договорной» теории происхождения языка, как это полагает вышеупомянутый Т. Гомперц?

Здесь нам приходит на помощь изложение Платона в «Кратиле». Оно вложено в уста Сократу без указания источника, но восходит, как мы уже отмечали, к какому-то атомисту. Сократ рассуждает о правильности «первых», т. е. этимологически несводимых имен. Он отвергает всякого рода агностические толкования, будь то ссыла на божественное происхождение имен, на невозможность исследовать столь древние вещи, или теория «заимствования» из чужих языков: «Все это было бы выходом из положения, и притом очень ловким, для того, кто не хочет давать отчет о первых именах» (стр. 54). Процесс возникновения «первых» имен надо представить себе следующим образом. Если бы не было языка, люди объяснялись бы жестами, подражая соответствующим предметам; объясняясь голосом, они тоже подражают предметам, но не тому звуку, который предметы издают (воспроизвести крик петуха не значит дать петуху имя), а сущности предмета. Для того чтобы понять, каким образом такое подражание может иметь место, надлежит, с одной стороны, разложить все сущее на составляющие его элементы и расклассифицировать их, а с другой стороны — разложить и расклассифицировать звуковой состав речи, согласно учению ритмиков (см. выше, гл. 3), и попытаться соотнести элементы речи, т. е. отдельные звуки, с элементами сущего. В результате оказывается, что звук («буква») представляет собою жест речевых органов; звук семантичен в силу того, что положение и движения речевых органов воспроизводят особенности предмета: так, звук *г*, образуемый сильным сотрясением языка, «подражает» сотрясению и порыву, *л* — скольжению и т. д.

Принадлежит ли эта теория (несколько видоизмененная, вероятно, Платоном в интересах его собственного хода мысли) самому Демокриту или кому-нибудь из его последователей, — она заполняет пробел в наших сведениях об атомистической концепции происхождения языка и полностью укладывается в рамки системы Демокрита. С того момента, как была объяснена семантичность звука, дальнейшее развитие языка не представляло для атомистов серьезной проблемы. Как мы уже знаем, этимологическая теория учила, что семантическое зерно слова обрастает асемантическими элементами, подвергается различным изменениям в целях благозвучия и т. п., и здесь уже открывался широкий простор для всякого рода «установлений». В изложенной гипотезе античный механический материализм исчерпал все свои возможности объяснения происхождения языка; античная мысль в дальнейшем не удержалась и на этой высоте, чаще всего переходя к более вульгарной теории звукоподражания.

Для Платона, основоположника античного идеализма, вопросы генетического порядка не представляли философского интереса. Языковым проблемам посвящен его диалог «Кратил», но задача «Кратила» — показать, что имена не являются орудиями познания вещей и что исследование имен бессильно помочь мысли, стремящейся к познанию «вечносущего». Платон, как это часто бывает в его диалогах, сначала ведет читателя по ложному пути. Он исходит из предположения, что имя является «орудием» познания вещей, и приходит к выводу, что имя должно выражать «идею» вещи с помощью «букв и слогов». Эта мысль конкретизируется затем на целой серии этимологий, в большинстве случаев заключающих в себе момент пародии, и кульминирует в изложении атомистической гипотезы семантики звука; имя оказывается подражанием природе вещи. Дальнейшие рассуждения показывают, однако, что все эти выводы ошибочны. «Уподобление» звукового состава имени предмету всегда несовершенно; конкретное имя часто включает в себе «буквы», семантически не только не соответствующие, но даже противоположные природе обозначаемого; тем не менее мы такие имена понимаем, и правильность их — результат «договора». В еще большей степени это относится к именам предметов, лишенных чувственной качественности, например к именам чисел, в отношении которых «уподобление» невозможно. Метод этимологии ненадежен и сам по себе, открывая широкие возможности произвольных и разнообразных толкований, но даже правильный этимологический анализ способен раскрыть лишь мнение творцов имен о вещах, а мнение их может оказаться ложным. Вещи должны познаваться на основании исследования самих вещей, а не на основании исследования имен. Имя, таким образом, не является орудием познания. Платон не задается целью оспаривать атомистическую гипотезу и даже готов ее принять, но для его целей она безразлична. Звук как «подражание вещи» еще более отдален от вечносущего, чем самая чувственная вещь, и имя не может иметь никакой ценности кроме договорной. Т. Бенфей находил в рассуждениях первой части «Кратила» зародыши понятия «философского языка», но Платону эта мысль совершенно чужда. Воспроизвести «идею» в звуке принципиально немислимо, а другого соотношения между содержанием и именем Платон не знает. Под конец жизни, излагая в VII письме основные положения своей системы, Платон разъясняет, что знание имени есть наинизшая ступень познания, ниже, чем представление телесного образа вещи, и в резких выражениях формулирует свое согласие с «договорной» теорией.

Аристотель в этом отношении вполне солидарен с Платоном. Он неизменно подчеркивает, что слова семантически лишь по «договору», что они не являются «орудиями» и не заключают в себе ничего

«природного». Позднейшие комментаторы, которые принимали пересказанную у Платона атомистическую гипотезу за собственное его учение, потратили много бесплодного труда для того, чтобы ослабить мнимое противоречие между Аристотелем и Платоном. Образчик этой гармонистики читатель найдет в рассуждениях Аммония (около 500 г. н. э.). Специально языковыми проблемами Аристотель не занимался и затрагивал их мимоходом, преимущественно в связи с теми или иными логическими или риторическими исследованиями. Это не случайно, поскольку слово является для Аристотеля в первую очередь звуковым комплексом, а семантическая сторона слова, те душевные переживания, знаком которых слово является, полностью лежат уже вне сферы языка.

Однако те исследования в области логики, которые велись в школе Платона, а затем самим Аристотелем и его учениками, оказали значительное воздействие на языковую теорию. Учение Аристотеля о понятии и суждении опирается во многих своих частях на неформальные языковые наблюдения, и логический анализ суждения обратно отражается на языковой теории в первых попытках классификации *частей речи*. Уже у позднего Платона традиционный для греческой философии дуализм истинного «сущего» и ложного «не-сущего», приписывавший истинность и ложность самому объекту, уступил место новому воззрению, которое усматривало момент истинности и ложности в соединении или разделении двух объектов; отсюда развивается учение о субъекте и предикате суждения. Внимание исследователя направляется на глагол. В «Софисте» Платона излагается, как новинка, положение, что всякая «речь» состоит по крайней мере из имени и глагола и является их соединением. Если раньше считали предложение сплетением «имен» и «речений», то теперь термин «речение» (ῥῆμα) специфицируется и начинает означать глагол как противостоящую имени часть «речи», т. е. предложения. Аристотель указывает в качестве характерного признака глагола, что он, помимо своего основного значения, содержит добавочное означение времени. Применение термина «речение» могло быть вызвано и тем, что глагол, взятый в личной форме, всегда соозначает субъект. При этом грамматические понятия еще сливаются с логическими: Аристотель вообще недостаточно разграничивает предмет, мысль и языковое выражение. Лексический состав языка разделяется на две части: слова знаменательные (семантические) и незнаменательные (асемантические). К первым относятся имена и глаголы, вторые играют роль связующих элементов предложения; Аристотель называет их, как и современный ему ритор Теодект, «союзами» (в терминологии нового времени — «частицы» или «служебные части речи»; ср. прим. к стр. 67). Понятие имени берется таким образом еще очень широко. Впрочем четкой грани между «именем» и «субъектом», «глаголом» и «предикатом» у Аристотеля вообще нет.

Отождествляя имя с субъектом, Аристотель определяет те именные формы, которые не могут служить субъектом, как отклонение от нормы, «падения» имени, «падежи». Номинатив есть «имя», прочие формы — «падение»; технических обозначений отдельных падежей еще нет. Глаголом является только настоящее время; остальные времена — падения глагола. Неличные формы глагола, инфинитив и причастие, Аристотель относит, по-видимому, к именам.

Степень оригинальности грамматических построений Аристотеля неясна: проблема классификации частей речи и разработка грамматических категорий вставала в это время и перед риториками (Теофраст, Анаксимен) в связи со стилистикой и обучением литературному языку.

7

Аристотель находится на пороге эллинистической эпохи, того периода в истории греческого общества, когда наступают его застой и загнивание. Для эллинистической науки характерно значительное накопление эмпирического материала при бедности творческими идеями. Языковые исследования не избежали этой общей судьбы. И хотя создание античной грамматической теории по существу еще впереди, методологические основы ее уже почти окончательно определены предшествующим развитием.

Основной особенностью античной «языковой» теории является то, что она вовсе не ставит своей задачей изучение языка. Термин «языкознание» не античен, не антично и самое понятие. Разумеется, и у греков, и у римлян имелось слово «язык» (γλῶττα или διάλεκτος, lingua), но оно всегда оставалось обыденным словом и не достигало уровня научного термина. О «языке» говорили, когда надо было противопоставить один язык (или диалект) другому; но язык не осознавался как объект исследования. Античный теоретик анализирует «речь» (предложение), «слово», «имена», но обходит, как нечто само собой разумеющееся и не проблемное, принадлежность их к сфере языка. Этой сферы с ее внутренней закономерностью для античной теории вовсе не существует. Категории бытия, мышления и языка осознаются античной философией в их единстве, но очень нечетко в их противоположности и почти неизменно сливаются. Теория стремится растворить языковую закономерность в онтологической или логической закономерности, и на долю языка остается очень мало специфического помимо его внешней формы.

В мифологическом мышлении имя принадлежало вещи. Античная наука разорвала эту связь, поместила между именем и вещью мысль, но продолжала соотносить изолированное слово, как полнозначного носителя смысловых отношений, непосредственно с отдельной вещью

или мыслью. Слово — «значащий звук», и оно полностью определено своими двумя аспектами — фонетическим и семантическим. Строение слова, его сочетаемость с другими словами отражают строение вещи (или представления) и отношения между вещами в реальном мире (или в человеческом мышлении), зависят только от значения слова и ни в какой мере от строения языка как целого. Язык — не система, а агрегат; стало быть, он не создает никакой специфической проблематики.

В этом же плане мыслится взаимоотношение между словом и предложением. Лексическая единица есть элемент «речи», которая образуется из сочетания слов как самостоятельных единиц, согласно требованиям их семантики. Структура предложения определяется свойствами и значениями составляющих его слов, но лишена самостоятельного определяющего значения. Смысловые отношения, выражаемые предложением, полностью заключены в отдельных словах, и единственной проблемой синтаксиса является проблема «согласованности» слов, т. е. сочетаемости их соответственно их значениям. Античная теория не вырабатывает понятия о «частях предложения», отличных от «частей речи». Классификация слов по «частям речи», объединяющая семантические и морфологические признаки, является основой синтаксиса, так как слово не имеет в предложении иной функции, кроме выражения своей самостоятельной семантики. Различая в суждении субъект и предикат, античная теория видит в предложении только имена и глаголы. Атомистическое понимание предложения как сцепления элементов остается непоколебимым.

Слово не только закончено в себе семантически, оно целостно и в морфологическом отношении. Древняя грамматика не вырабатывает понятия о морфологических формантах слова, корнях или суффиксах. И флексия и словообразование истолковываются как изменение («падение», «отклонение») законченных слов, которые в некоем своем нормальном виде (номинатив для имен, первое лицо единственного числа настоящего времени для глагола) предшествуют всем прочим формам. При этом античные теоретики оперируют словами, реально существующими в языке, лишь в исключительных случаях прибегая к попыткам восстановления литературно не засвидетельствованных, гипотетических форм.

В результате античная теория фиксирует свое внимание главным образом на трех вопросах.

1. Соотношение между звуковым и семантическим аспектами слова — учение об этимологии. «Природа» или «произвольное установление»?

2. Соотношение между системой грамматических категорий и семантикой слова — учение о «частях речи» и об «отклонении», с постановкой той же проблемы «природы» или «произвола».

3. Взаимосочетаемость слов, образующих предложение.

«Речь по природе троечастна, — пишет Варрон (стр. 85), — и первая часть ее — как слова были установлены для вещей; вторая — каким образом они, отклонившись от этих последних, приобрели различия; третья — как они, разумно соединяясь между собой, выражают мысль».

Материалом для разрешения всех этих вопросов является родной язык. Несмотря на то, что древние имели возможность соприкасаться с различными языками, как индоевропейскими, так и других систем, у них почти никогда не возникало заинтересованности в структуре чужого языка. Этого нельзя объяснить одним только презрением к «варварам»: культуры чужих народов часто вызывали к себе значительный интерес со стороны греков и римлян; с другой стороны, даже греческий и латинский языки очень редко между собой сопоставляются. Различие между языками усматривалось прежде всего в звуковом составе слов; семантический аспект считался повсюду одинаковым, поскольку мышление, знаком которого является слово, повсюду едино (Платон, Аристотель). Что же касается разрабатывавшейся в эллинистическую эпоху системы грамматических категорий, она имела узкопрактический, нормативный характер и считалась не подлежащей перенесению на чужие языки. Такое впечатление, по крайней мере, производят скудные высказывания античных авторов по вопросу о чужих языках. Морфологические проблемы, разработка которых в первую очередь выиграла бы от привлечения других языков, никогда не вставали перед древними в теоретическом плане. Античная грамматика ограничивается внешним описанием форм.

8

Эпоха эллинизма создает *грамматику*. Потребность в ней вызывалась тем, что классовое расслоение привело к очень значительной языковой дифференциации. Искусственно культивируемая «эллинская речь» (ἑλληνισμός) становится классовым признаком господствующей верхушки, «состоятельных эллинов», по определению античного грамматика (стр. 76). Противопоставляемая не только старинным диалектам, отмирающим пережиткам кантонного партикуляризма предшествующего периода греческой истории, но и обыденному языку греков, эта «эллинская речь» нуждается в нормировании. С другой стороны, развертывающаяся во всех греческих центрах филологическая работа по изданию и комментированию классической литературы становится новым источником языковых наблюдений. Экзегетическая и нормативная грамматика идут рука об руку, так как «эллинская речь» все более ориентируется на старинный литературный язык, а вступающие перед издателями проб-

лемы критики текста требуют установления языковых норм издаваемого автора. Появляются многочисленные лексикологические и диалектологические труды, грамматические, метрические и реальные комментарии к древним писателям. В этой широкой дисциплине, получающей наименование «грамматики», выделяется специальная «техническая» часть, трактующая о грамматических проблемах в узком смысле слова.

Из философских школ эллинистического периода проблемами языка непосредственно занималась лишь *Стоя*. Эпикур и его последователи не принимали участия в грамматических исследованиях, ограничиваясь лишь общей постановкой вопроса о происхождении языка. Вслед за Демокритом Эпикур доказывал, что возникновение языка есть «природный», т. е. естественный, процесс, и полемизировал против представления о «сознательных творцах» имен на стадии возникновения языка; как и Демокрит, он допускал «установление» лишь на более поздней стадии, как совершенствование уже возникшего языка. Различие между языками Эпикур объяснял тем, что в силу различия географической среды люди получали неодинаковые впечатления извне и, по-разному производя выдыхание, образовывали различные звуки. Создание новых слов происходит с помощью старых, выбираемых соответственно той причине, которая привела к созданию нового представления.

Гораздо более развернутую теорию языка дают стоики, основывавшие на языке свои детальные логические изыскания. Язык («речь», «звук») — средство обнаружения разума и принадлежит к основным, важнейшим свойствам души. Поэтому язык неразрывно связан с разумом. «Внешняя» речь есть проявление «внутриположной» речи. Телесный объект создает в душе, которая также телесна, телесную мысль, которая находит свое выражение в звуке, в «обозначающем». Но между мыслью и звуком лежит «обозначаемое», «высказываемое», т. е. отвлеченное содержание речи в его неразрывном единстве с звуковой формой; это «высказываемое» у разных народов уже различно. Учение о частях речи стоики относили к области «обозначающего», формального, средств речи; грамматические категории принадлежат уже к сфере «обозначаемого», т. е. реального и мыслимого. Частей речи — четыре: имя, глагол, союз, член; этот последний термин, встречающийся уже у Аристотеля, стоики применяли к местоимениям и к определенному члену. Весьма вероятно, хотя прямо не засвидетельствовано, что эти четыре части речи соответствовали четырем категориям стоической логики: 1) субстрат — «член», бескачественное родовое понятие; 2) существенное качество — «имя»; 3) случайная принадлежность — «глагол»; 4) случайная принадлежность, связанная с отношением к чему-либо другому, — «союз». В связи с тем, что существенные качества разделялись на общие и единичные, стоик Хрисипп (III в. до н. э.) отделяет

нарицание от собственного имени как самостоятельную часть речи. Наречия, которые Хрисипп еще относил к разным частям речи, были выделены, вероятно по морфологическим соображениям, Антипатром из Тарса и названы «срединой» (μεσότης). Разрабатывая грамматические категории, стоики исходили по преимуществу из семантических и синтаксических моментов; они различали залог «прямой» (активный, нуждающийся в распространении каким-нибудь падежом, например: он видит — что?), «опрокинутый навзничь» (пассивный, сочетающийся со специфической конструкцией, например: я видим — кем?), «ни тот, ни другой» (средний, не нуждающийся в распространении, например: он гуляет), времена глагола, причем «настоящее» и «прошедшее» время подразделялись на «длительное» и «завершенное». В теорию падежей они внесли, по сравнению с Аристотелем, то изменение, что причислили номинатив к «падежам» и ограничили употребление этого термина одними лишь именами; самый термин осмыслялся как «выпадение» из души: как спущенный сверху грифель может вонзиться в землю вертикально или наклонно, так имя может «выпасть» в «прямом» падеже, номинативе, или «косвенных» (всех прочих). Технические обозначения падежей, сохранившиеся до настоящего времени, были выработаны перипатетиками или стоиками уже в середине III в. Греческий язык давал возможность различать следующие падежи: 1) «прямой» или «именительный»; 2) «родовой» (в неудачном латинском и русском переводах — genetivus, родительный) или «притяжательный»; 3) «дательный» или «поручительный»; 4) «причинительный», т. е. «объектный», падеж причины, вызывающей глагольное действие (значение это затемнено уже в латинском accusativus, от которого образован русский термин «винительный»); 5) «звательный» или «обращательный». Этот последний стоики не всегда признавали падежом, так как синтаксические соображения заставляли выделять обращение особо. Римские грамматики прибавили к этим падежам свой «шестой», «латинский», «аблатив». Рассматривая сочетание падежных форм с глагольными, стоики строили и классификацию предложений, но от этих изысканий осталось очень немного. Ставя во главу угла семантическую и синтаксическую сторону, они нередко наталкивались на несоответствие ее морфологической стороне, например на пассивное спряжение глагола, имеющего активное значение, и т. п. В таких случаях они констатировали *аномалию* языка.

Очень большое внимание стоики уделяли *этимологии* (самый термин принадлежит Хрисиппу). Поскольку язык являлся обнаружением разума, стоики вернулись к старой теории «природы», но не в смысле естественного процесса возникновения языка, а как к признанию внутренней связи между звуком и значением. Эта связь, затемненная изменениями слова во времени, должна быть вскрыта этимологическим анализом. «Первые звуки», согласно стоикам, «под-

ражали вещам», причем «подражание» это мыслится как звукоподражание, непосредственное или опосредствованное сходством звукового впечатления (грубость, мягкость, сила и т. д.) со впечатлением, доставляемым вещью; дальнейшее назначение имен происходит на основе сходства, смежности или контраста вещи с другой вещью, имя которой уже имеется. Изложение этой стоической доктрины читатель найдет в трактате Августина «О диалектике». Знание этимологии приводит к познанию самой вещи, и стоики подвергали систематическому анализу лексический состав греческого языка в отношении «имен», чем положили начало этимологическим словарям. Так как исследование ставило себе философские цели, материал располагался в систематическом порядке соответственно классификации самих вещей. По методу своему этимологический анализ стоиков ничем не отличался от этимологизирования эпохи Платона.

9

У александрийских филологов, работавших над древними текстами, грамматика окончательно эмансипировалась от философии. Мы не будем излагать здесь самую грамматическую систему александрийцев — необходимые разъяснения даны в примечаниях к соответствующему разделу сборника — и остановимся лишь на наиболее важных новых мыслях.

Тенденции к нормативной грамматике требовали «правил», парадигм, решения спорных вопросов в живой речи и в рукописной традиции текстов. Для решения этих вопросов, возникавших главным образом в морфологической области, был выдвинут принцип *аналогии*, единообразного флектирования «сходных» слов. Подвести под наблюдаемые в языке единообразия научную базу античная теория не умела, поскольку она не различала морфологических элементов слова и исходила только из внешнего сходства, т. е. главным образом из одинаковых окончаний. Устанавливаемые на основании «аналогии» правила наталкивались на большое количество «исключений». Уже один из основоположников «аналогии», Аристарх (II в. до н. э.), выдвинул положение, что устанавливаемые «правила» не должны вступать в противоречие с «обиходом», но на практике эта предосторожность далеко не всегда соблюдалась. Поэтому и самый принцип и его применение вызвали оживленную полемику, в которой стоики (Кратет и его последователи) противопоставляли аналогии *аномалию*, отсутствие морфологического единообразия, и призывали руководствоваться исключительно обиходом, а не «техническими» правилами. Эта полемика побудила аналогистов к более тщательному установлению «правил» и к подробному выяснению тех условий, при которых слова могут считаться «сходными». Спор аналогистов с аномалистами

известен нам главным образом по трактату Варрона (I в. до н. э.) «О латинском языке» (значительные отрывки из него см. в гр. Спор об аналогии и аномалии). Варрон приходит к выводу, что в словообразовании господствует аномалия, а во флексии — аналогия. Положительным результатом спора была детальная разработка парадигм склонения и спряжения как в греческом, так и в латинском языках.

В области словообразования также стали искать известной «аналогии». Если прежние этимологические методы исходили из признания каждого слова составным, Филоксен (I в. до н. э.) выдвигает *деривативный* принцип, принцип образования одного слова из другого по некоему шаблону. До различения корня и суффикса он однако не доходит. Происходящие при деривации фонетические изменения объяснялись на основе теории *претерпеваний* (πάθη): звуковой состав слова должен «претерпеть» нечто аналогичное изменению самого значения.

Следует прибавить, что аналогисты, усматривая в языке рациональный порядок, приписывают этот порядок сознательному установлению, «изобретению».

Вся позднейшая греческая грамматика развивается под знаком аналогизма. Первый грамматический компендий, пользовавшийся огромным авторитетом и в средние века, принадлежит ученику Аристарха, Дионисию Фракийцу (конец II в. до н. э.). Из позднейших греческих грамматиков наибольшее значение имели Аполлоний Дискол (II в. н. э.), главный авторитет в области синтаксиса, который он изучает, исходя из семантической сочетаемости частей речи и грамматических категорий, и его сын Геродиан. В Риме, где раньше господствовала грамматика стоиков, александрийская система была введена Реммием Палемоном (I в. н. э.). Накопившийся в течение нескольких веков материал наблюдений над латинским языком был сведен воедино в III в. н. э. и положил начало двум изводам позднейшей грамматической традиции Рима — изводу Харисия и изводу Доната; контаминация этих изводов дана в обширной грамматике Диомеда; все эти авторы принадлежат IV в. Наконец, огромный трактат Присциана (V в.) представляет собою применение принципов Аполлония Дискола к латинскому языку. Присциан — и особенно Донат — основные русла, по которым античная грамматическая теория докатилась через средние века до нового времени.

ТЕКСТЫ

1. УЧЕНИЯ V ВЕКА

ГЕРАКЛИТ

Фрагмент 48.

Итак, луку (βίος) имя жизнь (βίος), а дело его — смерть.

ПАРМЕНИД

Фрагмент 8.

Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит:
Без сущего мысль не найти — она изрекается в сущем.
Иного не будет и нет: ему же положено роком —
Быть неподвижным и целым. Все прочее только названья.
Смертные их сочинили, истиной их почитая.
«Быть» и вместе «не быть», «рождаться» и вместе «кончаться»,
Цвет, окраску менять и двигаться с места на место.

Фрагмент 9.

Но так как все именуется светом и ночью, и эти названья прилагаются к тем или иным (вещам) соответственно своему значению, то (оказывается) все полно одновременно света и темной ночи.

Фрагмент 19.

Так, в самом деле, согласно мнению (людей все) это (некогда) возникло, ныне существует, будет расти в будущем и затем погибнет. Каждой же из этих (вещей) люди положили имя, являющееся ее отличительным знаком.

ЭМПЕДОКЛ

Фрагмент 8.

Из всех смертных вещей ни одна не имеет ни рождения, ни конца в губительной смерти, но есть только смешение и перемещение смеси, рождение же есть название у людей.

Фрагмент 9.

Когда (смесь) разлагается, люди зовут это злосчастной смертью. На это они не имеют никакого права; однако и я буду говорить, следуя обычаю.

ПИФАГОРЕЙЦЫ

Явлух, Жизнь Пифагора 82.

Что самое мудрое? число; а на втором месте тот, кто установил имена вещам.

ГЕРОДОТ

История II, 2.

2. Ранее царствования Псамметиха египтяне считали себя первым по происхождению народом. Когда царем сделался Псамметих, он пожелал узнать, какой народ древнее всех прочих, и с того времени египтяне считают фригиян древнее себя, а себя древнее всех остальных. Так как Псамметих в своих разысканиях о том, кто были первые люди, решительно не мог напасть на верную дорогу, то придумал наконец следующее: двух новорожденных мальчиков простого звания передал он пастуху на воспитание при стадах, причем сделал распоряжение, чтобы никто в присутствии детей не говорил ни одного слова, дабы они были предоставлены самим себе в уединенной хижине, и чтобы только пастух в определенные часы пригонял к младенцам коз, кормил бы их козьим молоком и делал все прочее, что понадобится. Все это было сделано и приказано Псамметихом из желания услышать, какое первое слово прорвется у детей после бессвязного младенческого лепета. Так и было сделано. Когда после двух лет такого воспитания пастух открыл дверь и вошел в хижину, оба младенца припали к нему и, протягивая ручки, говорили: *бекос*. Первое время пастух слушал эти звуки равнодушно; но так как ему часто приходилось слышать их, всякий раз когда он приходил к детям и ухаживал за ними, то наконец сообщил об этом своему господину и, по его приказанию, привел к нему детей. Услышал то же слово и сам Псамметих; тогда он стал разыскивать, какой народ и что называется словом «бекос», и узнал, что так фригияне называют хлеб. Только тогда, на основании такого свидетельства египтяне допустили, чтобы фригияне считались древнее их. Такой рассказ я слышал от жрецов Гефеста, что в Мемфисе. Эллины в числе других нелепостей рассказывают, будто Псамметих велел вырезать языки нескольким женщинам и им-то передал детей на воспитание.

ДЕМОКРИТ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Фрагмент 2.

Афина *Тритогефия*, по Демокриту, рассматривается как разумность. Ибо из разумности рождаются следующие три вещи: благостно мыслить, безупречно говорить, должное делать.

Фрагмент 26 (Прокл, Комментарий к Кратилу XVI).

Демокрит, утверждая, что имена от установления, обосновывал это четырьмя умозаклечениями. От равноименности: различающиеся между собою вещи называются одним именем; стало быть, имя не от природы. Затем — от многоименности: если различающиеся между собою имена подходят к одной и той же вещи, то, стало быть, они подходят и друг к другу, а это невозможно. Третье — от перемены имени: ибо на каком основании мы переименовали бы Аристокла в Платона, а Тиртама в Теофраста, если бы имена были от природы? Затем — от недостатка в сходных образованиях: ибо на каком основании мы от *φρόνησις* (разумность) говорим *φρονεῖν* (быть разумным), а от *δικαιοσύνη* (справедливость) уже не образуем такого производного? Стало быть, имена от случая, а не от природы. И сам он называет первое умозаклечение *многозначностью*, второе — *равновесием*, <третье — *переименованием*>, четвертое — *безымянностью*.

Фрагмент 122а.

Γυνή (женщина) — по Демокриту, (происходит от) *γονή* (потомство), «принимающая потомство».

Фрагмент 142.

Демокрит говорит, что имена богов — *звучащие изображения их*.

Диодор Сицилийский, Историческая библиотека I, 8.

Первоначально люди жили, говорят, неустроенной и сходной со зверьми жизнью, выходили вразброд на пастбища и питались вкусной травой и древесными плодами. При нападении зверей нужда научила их помогать друг другу и, собираясь вместе от страха, они начали постепенно друг друга узнавать. Голос их был еще бессмысленным и нечленораздельным, но постепенно они перешли к членораздельным словам и, установив друг с другом символы для каждой вещи, создали понятное для них самих изъяснение относительно всего. А так как такие объединения имели место по всему миру, то язык оказался не у всех равнозвучным, поскольку каждый случайным образом составляли свои слова: отсюда разнообразие в характере языков, а первоначально возникшие объединения положили начало всем племенам.

ПРОТАГОР

Диоген Лазртий, Жизнь философов IX, 53—54.

Протагор первый разделил речь на четыре (вида) — *просьба, вопрос, ответ, приказание*, и назвал их разветвлениями речей.

Аристотель, Риторика III, 5.

Протагор разделил роды имен (на имена) — *мужские, женские и утварь*.

Аристотель, О софистических доказательствах 14.

Протагор говорил, (что имена) $\mu\eta\nu\iota\varsigma$ (гнев) и $\pi\acute{\eta}\lambda\eta\varsigma$ (шлем) — мужские.

Протагор порицает (Гомера) за то, что тот, предполагая обратиться с мольбой, отдает распоряжение, говоря: «Гнев, богиня, воспой»; ибо приказывать сделать что или не сделать — есть отдача распоряжения.

ГОРГИЙ

Фрагмент 3, 83—86.

Если даже допустить, что (сущее) может быть воспринято, оно не может быть изъяснено другому. Ведь если сущее, внешний субстрат, доступно зрению и слуху и вообще оцущаемо, и притом видимое воспринимается зрением, а слышимое — слухом, и не наоборот, — то как оно может быть сообщено другому? Ведь то, чем мы сообщаем, — речь, а речь не есть субстрат и сущее; стало быть, мы сообщаем ближним не сущее, а речь, которая отлична от субстрата. И как видимое не может стать слышимым и наоборот, так сущее, будучи внешним субстратом, не может стать нашей речью; а не будучи сущим, речь не может быть изъяснена другому. Речь создается благодаря попадающим к нам извне вещам, т. е. оцущаемым;... если так, то не речь — представительница внешнего, а внешнее становится вестником речи. И нельзя говорить, что как видимое и слышимое — субстраты, так и речь, — так что и она, будучи субстратом и сущим, могла бы сообщить о субстрате и сущем. Ибо если даже речь — субстрат, то она отличается от прочих субстратов, и особенно отличаются видимые тела от речей; ибо иным органом воспринимается видимое, иным — речь. Стало быть, речь не показывает большей части субстратов, как и они не раскрывают природы друг друга.

АНОНИМНЫЕ ТРАКТАТЫ

«Об искусстве» 2.

Я полагаю, что искусства восприняли имена благодаря образам (внешнего мира). Нелепо думать, что образы выросли из имен, и (это) невозможно: ибо имена — установления закона, а образы — не установления, а ростки (созданные природой).

«О диэте» I, 23.

Грамматика заключается в следующем: (она есть) сложение знаков, которые являются символами человеческой речи; (она есть) способность сохранять в памяти прошедшее и показывать, что должно делать: через посредство семи знаков (гласных) знание!

«Двойные речи» 5, 11—14.

Я думаю, что не (только) при небольшом вещном прибавлении изменяются вещи, но и при изменении ударения, например: Γλαῦκος (Главк) и γλαυκός (светло-голубой), Ξάνθος (Ксанф) и ξανθός (темно-желтый). Эти стали отличными, изменив ударения, а другие, будучи произнесены с долготой или краткостью, Τύρος (Тир) и τῦρός (сыр), σάκος (щит) и σᾶκός (огороженное место), другие же, переставив буквы: κάρτος (сила) и кратός (головы, род. п.), ὄνος (осел) и νόος (ум). А раз без отнятия чего-либо создаются столь значительные различия, то что же, если кто что прибавит или отымет? И я изъясню, каково это. Если кто от десятка отымет единицу (или к десяти прибавит единицу), то уже не будет ни десяти, ни единицы, и прочее таким же образом.

6, 11—12.

Мы научаемся именам, в большей или меньшей мере, кто от отца, кто от матери. Если же кто не уверен в том, что мы вообще научаемся именам, и (думает), что мы рождаемся со знанием их, пусть он убедится на основании следующего: если кто новорожденного ребенка отошлет в Персию и там вырастит не слышащим эллинского языка, то ребенок будет говорить по-персидски; а если кто оттуда доставит сюда — то по-эллиниски. Так мы научаемся именам, а учителей не знаем.

АРХИН (Александр, Комментарий к «Метафизике»
Аристотеля XIV, 6—831 Н)

Архин говорил, что (согласные) или произносятся у сложенных губ, как *пи*, и отсюда возникает *пси* у кончика языка, или широкой поверхностью языка у зубов, как *дельта*, и поэтому *дзета* возникает в этой местности, или изгибом и сжатием в глубине рта, как *каппа*, откуда проистекает *кси*.

II. ПЛАТОН

Кратил, или О правильности имен.¹

383 Г. — Так хочешь, мы вот и Сократа привлечем к нашей беседе.

К. — Как тебе угодно.

Г. — Сократ, вот Кратил говорит, что у всего существующего есть правильное имя, врожденное от природы, и что не то есть имя, чем некоторые люди, условившись так называть, называют, произнося при этом частицу своей речи, но некое правильное имя врождено и эллинам и варварам, одно и то же у всех. Я его и спрашиваю, действительно ли ему имя Кратил. — Он соглашается. — А какое у Сократа? — спросил я. — Сократ, — отвечает он. — Следовательно, и у всех прочих людей то имя, каким мы каждого называем, и есть имя каждого? — Нет, говорит, твое имя не Гермоген, даже если бы все люди тебя так называли. И как я ни расспрашиваю и ни стремлюсь узнать, что именно он имеет в виду, он ничего не объясняет и насмехается надо мной, делая вид, что размышляет сам с собой о чем-то, что ему известно. Пожелай он только высказаться ясно, он и меня мог бы заставить согласиться и говорить то, что говорит и он. Поэтому если ты в состоянии понять вещание Кратила, я с удовольствием послушал бы тебя. Но с еще большим удовольствием я узнал бы, что ты сам думаешь о правильности имен, если ты не имеешь ничего против.

384 С. — О, сын Гиппоника Гермоген, есть старая поговорка: трудно узнать, в чем состоит прекрасное; и наука об именах — дело не малое. Если бы я уже прослушал у Продика рассуждение за пятьдесят драхм, прослушав которое можно, по его словам, получить законченное знание об этом, то ничто не помешало бы тебе сейчас же узнать истину относительно правильности имен. Но этого я не прослушал, а всего лишь рассуждение за одну драхму, поэтому и не знаю, в чем истина в этом вопросе. Однако я готов искать и с тобой и с Кратилом совместно. Что он говорит, будто в действительности твое имя не Гермоген, — тут, я подозреваю, он шутит. По-видимому, он думает, что ты всегда в погоне за деньгами теряешь состояние. Но как я только что говорил, трудно знать что-нибудь в этих вещах, и следует, выложив на середину, рассмотреть, так ли обстоит, как говоришь ты, или как Кратил.

¹ Участники диалога: Гермоген — Г. Кратил — К. Сократ — С.

Г. — А я, Сократ, после многих рассуждений и с ним и со многими, не могу поверить, что правильность имени состоит в чем-либо ином, чем в договоре и соглашении. Ведь мне кажется, какое имя кто чему установит, таково и будет правильное имя; и если он потом переменит на другое, а тем, прежним, звать больше не будет, то более позднее будет ничуть не менее правильным, чем первое, подобно тому как мы меняем имена рабов: ведь никакое имя никому не врождено от природы, но принадлежит на основании закона и обычая тех, которые этот обычай установили и так называют. Если же дело обстоит иначе, то я готов и слушать и учиться не только у Кратила, но и у кого бы то ни было другого.

С. — Возможно, ты и говоришь что-нибудь дельное, Гермоген. 385
Рассмотрим. Каким именем, говоришь, кто установил называть всякую вещь, это и есть имя всякой вещи?

Г. — Мне так кажется.

С. — Называет ли частное лицо или община — безразлично?

Г. — Да, я утверждаю.

С. — Что же? Если я называю что-либо из существующего, например то, что мы сейчас называем человеком, если я зову это конем, а то, что сейчас конем, — человеком, то публично имя его будет человек, а частным образом конь? А во втором случае частным образом — человек, а публично конь? Ты так утверждаешь?

Г. — Мне так кажется.

С. — Ну, а скажи мне вот что. Называешь ли ты что-нибудь: «говорить истину и ложь»?

Г. — Да, называю.

С. — Следовательно, одна речь может быть истинной, а другая ложной?

Г. — Разумеется.

С. — Итак, та речь, которая выражает сущее, как оно есть, — истинная, а выражающая его таким, каким оно не является, — ложная?

Г. — Да.

С. — Значит, это возможно: выражать речью сущее и не-сущее.

Г. — Разумеется.

С. — А истинная речь такова ли, что в целом она истинная, а части ее не истинные?

Г. — Нет, и части истинные.

С. — Большие ли части истинные, а малые нет, или все истинные?

Г. — Все, думается мне.

С. — А есть ли, по-твоему, меньшая часть речи, чем имя?

Г. — Нет, оно наименьшая часть.

С. — И значит, это имя, как часть истинной речи, говорится?

Г. — Да.

С. — Оно истинное, говоришь ты?

Г. — Да.

С. — А часть ложной речи не ложь ли?

Г. — Да, я утверждаю.

С. — Значит, можно говорить имя, как ложь и как истинное, раз такова и речь.

Г. — Почему же нет?

С. — И какое, по словам каждого, у чего-либо имя, это и есть имя каждой вещи?

Г. — Да.

С. — И сколько имен, по чьим-нибудь словам, у каждой вещи, столько их и будет, и притом в то время, когда он это говорит?

Г. — Я, по крайней мере, не знаю, Сократ, другой правильности имен, кроме той, чтобы мне называть каждую вещь одним именем, которое назначил я, а тебе — другим, которое назначил ты. Так и у отдельных общин, как я замечаю, для одних и тех же вещей имеются особые имена, и у одних эллинов в отличие от других эллинов, и у эллинов вообще в отличие от варваров.

С. — Давай, Гермоген, посмотрим, представляется ли тебе, что так обстоит и с сущими вещами, что их сущность для каждого человека особая, как говорил Протагор, утверждая, что мера всех вещей человек, так что какими вещи представляются мне, таковы они для меня, какими тебе — таковы для тебя? Или тебе кажется, что они сами по себе обладают некоей прочной сущностью?

Г. — В своих недоумениях, Сократ, я уже доходил до того, о чем говорит Протагор; мне не очень-то кажется, что дело обстоит именно таким образом.

С. — Что? Ты уже дошел до того, что тебе не очень кажется, что какой-нибудь человек дурен?

Г. — Отнюдь нет, клянусь Зевсом. Наоборот, со мной часто случается так, что некоторые люди кажутся мне очень дурными, и притом весьма многие.

С. — Что? А тебе не казалось, что другие очень порядочны?

Г. — Очень немногие.

С. — Но все же казалось?

Г. — Да.

С. — Как же ты об этом думаешь? Не так ли, что очень порядочные очень разумны, а очень дурные очень неразумны?

Г. — Мне именно так кажется.

С. — А возможно ли, если Протагор говорил истину, и истина в том, что как что-либо каждому кажется, таково оно и есть, чтобы одни из нас были разумны, а другие неразумны?

Г. — Отнюдь нет.

С. — И следующее, я думаю, тебе очень кажется — раз существует разум и неразумие, то не очень возможно, чтобы Протагор говорил истину: ведь в таком случае в действительности один нисколько не

был бы более разумным, чем другой, если то, что каждому кажется, и будет для каждого истинным.

Г. — Так и есть.

С. — Но, я думаю, тебе также не кажется, согласно Евтидему, что для всех без различия все всегда одинаково. Ведь и в этом случае одни не были бы порядочными, а другие дурными, если бы для всех всегда были одинаковы добродетель и порочность.

Г. — Верно говоришь.

С. — Следовательно, если не для всех без различия все всегда одинаково, а с другой стороны, не для каждого каждая вещь существует по-своему, то отсюда ясно, что вещи сами по себе обладают некоей прочной сущностью безотносительно к нам и независимо от нас, не увлекаются нами вверх и вниз сообразно нашему воображению, но сами по себе находятся в определенном отношении к своей природной сущности.

Г. — Мне кажется, Сократ, что так.

С. — А если вещи таковы по природе, то не таковы ли и их действия? Не являются ли одним из видов сущего и они, эти действия?

Г. — Разумеется, и они также.

С. — Значит, действия совершаются согласно их природе, а не согласно нашему мнению. Если бы мы, например, принялись резать что-либо из вещей, то следует ли нам резать каждую вещь, как мы пожелаем, или — если мы пожелаем резать каждую согласно природе того, что называется резать и подвергаться разрезанию, и тем, чем естественно резать, то мы и будем резать и добьемся успеха и будем правильно делать это, если же вопреки природе, то мы ошибемся и ничего не сделаем?

Г. — Мне так именно и кажется.

С. — Следовательно, если бы мы также принялись жечь, то разве следует жечь согласно любому мнению, а не только правильному, т. е. так, как от природы свойственно каждой вещи и быть сжигаемой и жечь, и тем, чем свойственно от природы?

Г. — Да, так.

С. — И прочее таким же образом?

Г. — Разумеется.

С. — А говорить разве не является одним из действий?

Г. — Да.

С. — Итак, правильно ли будет говорить человек, говоря так, как, по его мнению, следует говорить, или так, как от природы свойственно вещам говорить и быть предметом речи, и тем, что свойственно, — если он таким образом и такими средствами будет говорить, то добьется успеха и действительно скажет, если же нет — то ошибется и ничего не сделает.

Г. — Да, мне кажется так, как ты говоришь.

С. — Однако частью действия «говорить» является «именовать»: ведь когда говорят, при этом именуют.

Г. — Разумеется.

С. — Следовательно и «именовать» является также действием, раз «говорить» было неким действием относительно вещей.

Г. — Да.

С. — А действия показались нам существующими безотносительно к нам и имеющими свою собственную природу?

Г. — Так и есть.

С. — Следовательно и именовать следует так, как от природы свойственно данной вещи именовать и быть именуемой, и тем, чем свойственно, а не как мы пожелаем, раз надо привести все это в согласие со сказанным раньше, и именно таким образом мы могли бы добиться успеха и действительно именовать, и никоим образом иначе.

Г. — Да, мне кажется.

С. — Ну а то, что следовало резать, следовало, говорим мы, резать чем-нибудь?

Г. — Да.

С. — И то, что следовало ткать, следовало чем-нибудь ткать? И что следовало буравить, следовало чем-нибудь буравить?

Г. — Разумеется.

С. — И то, что следовало именовать, следовало чем-нибудь именовать?

388 Г. — Так и есть.

С. — А что было то, что следовало буравить?

Г. — Бурав.

С. — А чем ткать?

Г. — Ткацкий челнок.

С. — А чем именовать?

Г. — Имя.

С. — Верно. Следовательно и имя является неким орудием.

Г. — Разумеется.

С. — Итак, если бы я спросил: что за орудие ткацкий челнок? Не то ли, которым мы ткем?

Г. — Да.

С. — А когда мы ткем, что мы делаем? Не разбираем ли мы спутанные уток и основу?

Г. — Да.

С. — Следовательно, также ты сможешь сказать и о бураве и обо всем прочем?

Г. — Разумеется.

С. — А можешь ли ты сказать также и об имени? Называя именем, которое является орудием, что мы делаем?

Г. — Не могу сказать.

С. — Не учим ли мы чему-нибудь друг друга и не разбираем ли, каковы вещи?

Г. — Разумеется.

С. — Значит, имя есть некое орудие поучения и разбора сущности, подобно тому как ткацкий челнок является орудием разбора для ткани.

Г. — Да.

С. — Но не есть ли ткацкий челнок нечто относящееся к ткани?

Г. — Почему же нет?

С. — Значит, специалист по тканью будет прекрасно пользоваться ткацким челноком — прекрасно, т. е. по-ткацки, — а специалист по обучению будет прекрасно пользоваться именем — прекрасно, т. е. по-учительски.

Г. — Да.

С. — А чьим произведением будет прекрасно пользоваться ткач, когда он пользуется ткацким челноком?

Г. — Произведением столяра.

С. — А всякий ли столяр, или тот, кто владеет искусством?

Г. — Тот, кто владеет искусством.

С. — А чьим произведением будет прекрасно пользоваться сверлильщик, когда он пользуется буравом?

Г. — Произведением кузнеца.

С. — Всякий ли кузнец, или тот, кто владеет искусством?

Г. — Тот, кто владеет искусством.

С. — Пусть так. А чьим произведением будет пользоваться занимающийся обучением, когда он пользуется именем?

Г. — Этого я тоже не могу сказать.

С. — И этого ты не можешь сказать: кто передает нам имена, которыми мы пользуемся?

Г. — В самом деле, нет.

С. — Не кажется ли тебе, что тем, кто передал нам их, является закон?

Г. — По-видимому.

С. — Значит, занимающийся обучением, когда он пользуется именем, будет пользоваться произведением законодателя?

Г. — Да, мне кажется.

С. — А законодателем кажется тебе всякий муж или тот, кто владеет искусством?

Г. — Тот, кто владеет искусством.

С. — Значит, Гермоден, устанавливая имена — дело не всякого мужа, но некоего творца имен. Это и есть по-видимому законодатель, 389 который реже всех других мастеров встречается среди людей.

Г. — По-видимому.

С. — Подумай-ка, на что глядит законодатель, устанавливая имена; рассмотри это на основании установленного раньше. На что

глядит столяр, делая ткацкий челнок? Не на то ли, чем ткань является по своей природе?

Г. — Разумеется.

С. — Что? Если у него сломается челнок, пока он его делает, будет ли он опять делать другой, глядя на сломанный, или на тот образ, который он имел в виду, когда делал и тот челнок, который он сломал?

Г. — Последнее, мне кажется.

С. — Следовательно, этот именно образ мы вполне справедливо могли бы назвать тем, что есть ткацкий челнок сам в себе?

Г. — Мне кажется.

С. — Следовательно, когда понадобится делать ткацкий челнок для плаща, тонкого или толстого, льняного или шерстяного, или для какого бы то ни было, надо, чтобы все они имели образ челнока, и не следует ли в то же время в каждое изделие вложить наилучшую свойственную ему природу для того или иного рода работы?

Г. — Да.

С. — И таким же точно образом с другими орудиями. Найдя свойственное по природе орудие для каждой работы, надо вложить его в тот материал, из которого делается орудие, — не такое, какое каждый сам захочет, а такое, какое свойственно по природе. Надо уметь, по-видимому, в каждом отдельном случае вложить в железо подходящий по природе бурав.

Г. — Разумеется.

С. — И в каждом отдельном случае подходящий по природе ткацкий челнок — в дерево.

Г. — Так и есть.

С. — Ведь, по-видимому, от природы для каждого вида ткани был особый челнок и прочее таким же образом.

Г. — Да.

С. — Итак, дорогой мой, не следует ли и тому законодателю уметь свойственное от природы каждой вещи имя вложить в звуки и слоги и, глядя на то самое, что является именем, создавать и устанавливать все имена, если он хочет быть настоящим установителем имен? Если же не каждый законодатель влагает в те же слоги, то из-за этого не надо испытывать сомнение: ведь и не всякий кузнец влагает в одно и то же железо, делая для одних и тех же целей одно и то же орудие; до тех пор пока он воспроизводит один и тот же образ, хотя бы на другом железе, орудие оказывается хорошим, делают ли его здесь или у варваров. Не так ли?

Г. — Разумеется.

С. — Следовательно, таким же образом ты будешь считать и законодателя, здешнего или варварского, пока он будет воспроизводить образ имени, подходящий для каждой вещи, в каких бы то ни было

словах, отнюдь не худшим законодателем, будь он здесь или где-нибудь в другом месте?

Г. — Разумеется.

С. — Так кто же тот, кто распознает, подходящий ли образ ткацкого челнока вложен в какое бы то ни было дерево: сделавший его столяр или тот, кто будет им пользоваться, ткач?

Г. — Более вероятно, Сократ, что тот, кто будет пользоваться.

С. — А кто тот, кто будет пользоваться произведением мастера лир? Не тот ли, кто сумел бы наилучшим образом руководить изготовлением инструмента, а когда он будет изготовлен, знал бы, хорошо он изготовлен или нет?

Г. — Разумеется.

С. — Кто именно?

Г. — Кифарист.

С. — А кто будет пользоваться произведением корабельного мастера?

Г. — Кормчий.

С. — А кто мог бы наилучшим образом руководить производением законодателя и судить об уже изготовленном и здесь и у варваров? Не тот ли, кто будет им пользоваться?

Г. — Да.

С. — Не будет ли им тот, кто умеет ставить вопросы?

Г. — Разумеется.

С. — И он же будет уметь давать и ответы?

Г. — Да.

С. — А того, кто умеет ставить вопросы и давать ответы, зовешь ли ты диалектиком, или как-нибудь иначе?

Г. — Нет, но именно так.

С. — Значит, дело столяра — делать руль под руководством кормчего, для того чтобы руль был прекрасен.

Г. — Несомненно.

С. — А дело законодателя — имя, пользуясь руководством мужа-диалектика, для того чтобы имена были установлены прекрасным образом?

Г. — Так и есть.

С. — Видимо, Гермоген, установление имен не ничтожное дело, как ты думаешь, и не дело ничтожных и первых появившихся людей? И Кратил говорит истину, утверждая, что имена присущи вещам от природы и что не всякий является мастером имен, но только тот, кто глядит на имя, от природы присущее каждой вещи, и может вложить его образ в буквы и слоги.

С. — А обозначается ли то же самое одними слогами или 393 другими — не в этом дело; и не в том, что добавлена или отнята буква, пока остается в силе сущность вещи, обнаруживающая себя в имени.

Г. — Как ты говоришь?

С. — В этом нет ничего хитрого. Это вроде того, что мы, как ты знаешь, говорим имена букв, а не самые буквы алфавита, кроме четырех — ε, υ, ο, ω; а все прочие гласные и согласные мы, как ты знаешь, когда говорим о них, окружаем другими буквами, делая таким образом имена; до тех пор пока значение буквы обнаруживает себя, оставаясь вложенным в имя, — называть тем именем, которое будет обнаруживать нам это, оказывается правильным. Возьмем букву *бэта*. Ты видишь, что прибавление *э*, *т* и *а* ничуть не повредило тому, чтобы целым этим словом была обнаружена природа той буквы алфавита, которую хотел обозначить законодатель; так прекрасно сумел он установить имена для букв.

399 С. — Прежде всего надо отметить себе относительно имен, что мы часто вставляем буквы, а некоторые изымаем из того слова, которым мы что-нибудь называем, а также меняем тон. Например, любезный Зевсу (Διίφίλος) — для того, чтобы это из речения стало именем, мы удаляем вторую иоту и вместо острого среднего слога произносим тяжелый. В других случаях мы, наоборот, прибавляем буквы и произносим слоги с более тяжелым тоном, как острые.

Г. — Верно говоришь.

С. — То же произошло и с именем человека, как мне кажется. Из речения оно стало именем с изъятием одной буквы, альфы, и переходом конца слова в тяжелый тон.

Г. — Как ты говоришь?

С. — Вот так. Это имя — человек (ἄνθρωπος) — означает, что прочие живые существа не рассуждают и не размышляют по поводу того, что они видят, и не рассматривают. Человек же и рассматривает (ἀναδρεῖν) и обдумывает то, что он видит (ὄψεσθαι). Отсюда — только человек, единственное из живых существ, был правильно назван человеком (ἄνθρωπος) — *рассматривающий то, что он видит* (ἀναδρεῖν, ἄ ὄψεσθαι).

409 Г. — А что такое луна?

С. — Это имя, по-видимому, доставляет неприятности Анаксагору.

Г. — Почему?

С. — Оно, по-видимому, издавна означало то, о чем он недавно говорил: что луна получает свет от солнца.

Г. — Как именно?

С. — Сияние (σέλας) и свет (φῶς) — ведь одно и то же?

Г. — Да.

С. — И этот свет в луне всегда является новым (νέον) и старым (ἔρον), если только анаксагоровцы говорят истину. Ведь солнце, все время обходя вокруг луны, передает беспрестанно новый свет, а старый остается от прошлого месяца.

Г. — Разумеется.

С. — И многие называют ее Селанеей (Σελαναία).

Г. — Разумеется.

С. — Потому, что она всегда имеет новый и старый свет (σέλας νέον καὶ ἕνον αἰεί). Из всех имен ее вернее всего следовало бы называть Селазнонеоазя (Σελαζονεοάζια), но она сжато называется Селанея (Σελαναία).

Г. — А что такое огонь и вода?

С. — Что такое огонь — недоумеваю. Видимо, или муза Евтифрона покинула меня, или это очень трудный вопрос. Итак, посмотри, какую хитрость я придумал для всего того, относительно чего я недоумеваю.

Г. — Какую именно?

С. — Я тебе скажу. Ответь мне: можешь ли ты сказать, в соответствии с чем огонь (πῦρ) называется именно так?

Г. — Клянусь Зевсом, не могу.

С. — Так посмотри, что я подозреваю относительно этого. Я замечаю, что много имен греки вообще, — и особенно те, которые живут под властью варваров, — переняли у этих последних.

Г. — Так что же?

С. — Если искать, назначены ли эти имена удачно, на основании греческого языка, а не на основании того языка, из которого происходит это имя, то, как ты сам знаешь, можно впасть в недоумение.

Г. — Наверное.

С. — Смотри, как бы это имя πῦρ (огонь) не оказалось варварским. 410 Его нелегко связать с греческим языком, и кроме того известно, что и фригийцы называют огонь таким же образом лишь с маленьким отклонением; так же как и слова вода (ὔδωρ), собаки (κύνες) и многое другое.

С. — А имя справедливость (δικαιοσύνη) назначено от понимания 412 справедливого (δικαίου σύνεσις). Само же имя справедливое (δίκαιον) — трудное. И, по-видимому, до известного предела достигнуто соглашение, а дальше идут разногласия. Те, кто считают, что все находится в состоянии движения, предполагают, что большая часть существующего такова, что она может только менять место, — но есть нечто пронизывающее все это, благодаря чему и происходит все происходящее; и это есть нечто очень быстрое и очень тонкое. Ведь иначе оно не могло бы пройти через все существующее, если бы не было очень тонким, так что ничто не может быть ему преградой, и очень быстрым, так что ко всему прочему оно относится, как к чему-то стоячему. И так как оно управляет всем прочим, проходя через него (διαίον), то оно и было правильно названо этим именем — справедливое (δίκαιον), приняв в себя для благозвучия звук каппы (κ).

414 С. — Сюда относится и рассмотрение того, что значит искусство (τέχνη).

Г. — Да, разумеется.

С. — Не обозначает ли оно обладание умом (ἐξίς νοῦ), если отнять τ и вставить ο между χ и ν и между ν и η?

Г. — Очень неудачно, Сократ.

С. — Разве ты не знаешь, любезнейший, что первые установленные имена уже искажены теми, кто хотел придать им более возвышенный характер, прибавляя и изымая буквы ради благозвучия и всячески их переворачивая, а также от приукрашивания и от времени. Например, в слове зеркало (κίτολτρον) разве не кажется неуместной вставка ρ? Это, думается, делают те, кто вовсе не заботятся об истине, но создают искусственное произношение, так что, многое вставляя в первые имена, они наконец доводят до того, что ни один человек не понимает, что же значит данное имя. Например и Сфинкса они вместо Фикс (Φίξ) называют Сфинкс (Σφίγξ), и многое другое.

Г. — Так и есть, Сократ.

С. — Но если позволять и вставлять в имена и изымать из них что кому захочется, то будет много произвола, и можно будет всякое имя прилагать ко всякой вещи.

421 Г. — А если кто-нибудь спросил бы тебя, Сократ, об этих именах: «идущее» (ἰόν) и «текущее» (ρέον), и «связывающее» (δοῦν) — в чем их правильность?

С. — Что бы мы ответили, хочешь ты сказать? Не так ли?

Г. — Да, разумеется.

С. — Мы только что придумали нечто такое, чтобы казалось, что мы сказали нечто дельное.

Г. — Что именно?

С. — Сказать, что то, чего мы не знаем, происходит от варваров. Возможно, что кое-что из этого действительно является таковым, а может быть первые имена не поддаются исследованию вследствие своей древности; ведь из-за того, что их всячески переворачивали, нет ничего удивительного, если древнее слово ничем не отличается от варварского.

Г. — В твоих словах нет ничего нелепого.

С. — Итак, я утверждаю нечто правдоподобное. Однако, мне кажется, наше состязание не допускает отговорок, и необходимо постараться обдумать этот вопрос. Так вот подумаем, если кто-нибудь все время будет спрашивать о тех речениях, на основании которых составлено имя, а потом станет выведывать о тех, на основании которых составлены эти речения, и будет продолжать так, не переставая, то не кончит ли отвечающий тем, что откажется отвечать?

Г. — Мне кажется, да.

С. — А когда отвечающий, отказавшись отвечать, по праву прекратит свои ответы? Не тогда ли, когда дойдет до тех имен, которые являются как бы элементами других и речей и имен? Ведь в таком случае неправильно, чтобы эти имена оказались составленными из других имен. Например, мы сейчас сказали, что *хорошее* (ἀγαθόν) составлено из удивительного (ἄγαστόν) и быстрого (δοόν), а о быстром мы могли бы сказать, что оно составлено из других, а эти последние еще из других, но если бы мы взяли имя, которое уже не составлено из каких-нибудь других имен, то мы справедливо сказали бы, что мы уже дошли до элементов, и для нас нет необходимости возводить их к другим именам.

Г. — Мне кажется, ты говоришь правильно.

С. — А те имена, о которых ты сейчас спрашиваешь, не оказываются ли они элементами, и не следует ли рассматривать, в чем заключается их правильность, другим способом?

Г. — Вероятно.

С. — Да, вероятно, Гермоген; ведь оказывается, все прежние восходят к ним. Если же дело обстоит так, как мне кажется, то опять-таки подумай вместе со мной, чтобы я не болтал вздора, рассуждая о том, какой должна быть правильность первых имен.

Г. — Ты только говори, а уже я, насколько у меня хватит сил, буду рассуждать вместе с тобой.

С. — Что есть одна правильность всякого имени, и первого и последнего, и что ни одно из них не отличается от других в отношении того, что оно есть имя, — об этом ты, полагаю, думаешь согласно со мной.

Г. — Разумеется.

С. — Но правильность только что рассмотренных нами имен состояла в том, чтобы обнаруживать, какова каждая существующая вещь.

Г. — Почему же нет?

С. — Этим свойством должны обладать в одинаковой мере и первые и последующие имена, раз они будут именами?

Г. — Разумеется.

С. — Но последующие, по-видимому, оказались в состоянии достигнуть этого благодаря более ранним?

Г. — Видимо.

С. — Пусть так. А первые, под которыми не лежат еще никакие другие, каким образом они будут делать для нас возможно более ясным все сущее, раз они будут действительно именами? Ответь-ка мне на следующее: если бы у нас не было ни голоса, ни языка, а мы желали бы объяснить друг другу вещи, разве мы не пытались бы, как теперь делают глухонемые, изъяснять их руками, головой и другими частями тела?

Г. — А как же иначе, Сократ?

423 С. — Думается, если бы мы желали показать *высокое* и *легкое*, то мы подняли бы руки к небу, подражая самой природе вещи, а если *нижнее* и *тяжелое*, то опустили бы руку к земле. И если бы желали показать бегущую лошадь или какое-нибудь другое животное, то ты знаешь, мы сделали бы наши тела и внешний вид возможно более похожими на них.

Г. — Мне кажется, неизбежно было бы так, как ты говоришь.

С. — Так, думается, происходило бы показывание чего-нибудь — по-видимому, наше тело подражало бы тому телу, которое оно хочет показать.

Г. — Да.

С. — А раз мы хотим показывать голосом, языком и ртом, то разве показывание каждой вещи этими средствами получится не тогда, когда с их помощью будет происходить подражание чему бы то ни было?

Г. — Да, неизбежно так, мне кажется.

С. — Значит, по-видимому, имя есть подражание голосу того, чему имя подражает, и тот показывает, кто подражает голосом тому, чему он подражает.

Г. — Да, мне кажется.

С. — Ну, а мне, друг мой, клянусь Зевсом, не кажется, что я удачно говорил.

Г. — В чем же дело?

С. — Ведь если так, то мы вынуждены были бы согласиться, что те, кто подражает скоту, петухам и прочим животным, именуют то, чему они подражают.

Г. — Верно говоришь.

С. — Итак, кажется ли тебе, что это хорошо?

Г. — Нет, не кажется. Но каким подражанием, Сократ, может быть имя?

С. — Прежде всего, как мне кажется, подражание будет именем не в том случае, когда мы подражаем вещам так, как мы подражаем музыкой, хотя мы и в этом случае подражаем голосом; затем когда мы подражаем тому именно, чему подражает музыка, — в этих случаях, мне кажется, мы не будем именовать. Я хочу сказать следующее: есть у вещей и звучание и внешний вид, а у многих и цвет?

Г. — Разумеется.

С. — По-видимому, искусство именовать состоит не в том, что кто-нибудь подражает всему этому, и не в этих подражаниях. Это уже музыка и живопись, не так ли?

Г. — Да.

С. — А что же это такое? Не кажется ли тебе, что у каждой вещи есть сущность, подобно тому как есть и цвет и то, о чем мы сейчас говорили? Прежде всего, у самого цвета и звука, разве нет у того и у другого некоей сущности, так же как и у всего прочего, что достойно такого названия — «бытие»?

Г. — Да, мне кажется.

С. — Что же? Если бы кто-нибудь мог подражать этой самой принадлежности каждой вещи, ее сущности, буквами и слогами, то разве он не показывал бы этими средствами, что представляет собой каждая вещь? Разве нет?

Г. — Да, разумеется.

С. — А что ты сказал бы о том человеке, который может это сделать, как ты о тех прежних сказал, что один из них музыкант, а другой живописец? А об этом — кто он?

Г. — Это и есть, думается мне, Сократ, то, чего мы давно ищем — он был бы творцом имен.

С. — Если это верно, то, по-видимому, уже следует поразмыслить о тех именах, о которых ты спросил, — течение (ῥοίή), идти (ἵέναι) и задержка (στέσις). Схватывают ли они своими буквами и слогами их существо так, чтобы подражать их сущности, или нет?

Г. — Да, разумеется.

С. — Посмотри-ка, единственные ли это первые имена, или есть и много других.

Г. — Думается, есть и другие.

С. — Вероятно. Но какой может быть способ разобрать, откуда начинает подражать подражающий? Так как подражание сущности происходит посредством букв и слогов, то не правильнее ли всего сначала разделить буквы, подобно тому как занимающиеся ритмами сначала разделяют значение букв алфавита, затем слогов, а потом уже переходят к рассмотрению ритмов, но никак не раньше?

Г. — Да.

С. — Итак, не следует ли и нам сначала отделить гласные, затем из остальных, по видам, безгласные и притом беззвучные — ведь так выражаются знатоки этого дела, — а также те, которые, не будучи гласными, не являются и беззвучными; и среди самих гласных все те, которые имеют отличный друг от друга вид? И после того как мы все это разделим, хорошо бы разделить и все то сущее, чему надо назначить имена, если только есть нечто, к чему все восходит, подобно тому как это было у букв алфавита, на основании чего можно узнать самые вещи, и есть ли у них определенные виды, так же точно, как и у букв алфавита? Хорошо рассмотрев все это, надо уметь соотнести каждую вещь по сходству, придется ли отнести одно к одному, или многое к одному, смешав это многое, подобному тому как живописцы, желая отобразить что-либо, наносят на картину иногда только пурпур, иногда другую краску, а бывает и так, что смешивают много красок, как, например, когда они составляют краску телесного цвета, или что-нибудь другое в этом роде, думается, сообразно тому, как, по их мнению, всякое изображение нуждается в той или иной краске. Так и мы будем соотносить буквы алфавита с вещами — и одну к одной, где это нам покажется нужным, и многие,

создавая то именно, что называют слогами, и соединяя между собой
 425 слоги, из чего составляются имена и речения; а из имен и речений
 мы опять-таки составим уже нечто великое, прекрасное и целое;
 подобно тому как там — с помощью живописи — живое существо,
 здесь — с помощью ономастики или риторики или каким бы то ни
 было такое искусство — предложение. Вернее, не мы — я в своей речи
 увлекся. Ведь соединили в том виде, как это составлено, древние; а
 нам следует, если мы только сумеем все это искусно исследовать,
 разделив таким именно образом, рассматривать, кстати ли назначены
 первые и последующие имена или нет.

С. — Смешным, думается мне, Гермоген, может показаться, что
 вещи становятся ясными, если изображать их посредством букв и
 слогов; однако это неизбежно так. Ведь у нас нет ничего лучшего,
 на чем мы могли бы проверить истинность первых имен, если только
 ты не хочешь, чтобы мы, подобно сочинителям трагедий, которые,
 находясь в затруднении, прибегают к машинам, поднимая на воздух
 богов, — чтобы и мы выпутались, сказав так, что первые имена
 установлены богами, и поэтому они правильны. Будет ли это и у
 нас наилучшим решением, или другое, что мы переняли первые
 426 имена у каких-нибудь варваров, а варвары ведь древнее нас? Или
 что вследствие древности первые имена исследовать невозможно, так
 же как и варварские имена? Все это было бы выходом из положения,
 и притом очень ловким, для того, кто не хочет давать отчета о
 первых именах, что они правильно назначены. Впрочем, если так
 или иначе не знать, в чем правильность первых имен, то невозможно
 знать и о правильности последующих, которые неизбежно объясня-
 ются на основании тех, о которых ничего неизвестно. Очевидно, что
 тот, кто утверждает, что он искусен в объяснении имен, должен
 уметь больше всего дать разъяснение о первых именах или быть
 вполне уверенным, что о последующих он будет говорить только
 глупости. Или ты думаешь иначе?

Г. — Ни в какой мере не иначе, Сократ.

С. — То, что я заключаю о первых именах, кажется мне дерзким
 и смешным. Я тебе это сообщу, если хочешь; если же у тебя будет
 откуда взять лучшее, попробуй передать и мне.

Г. — Я так и сделаю. Но говори смело.

С. — Прежде всего мне кажется, что ρ (rho) является как бы
 орудием всякого движения (κίνησις), о котором мы не сказали, почему
 оно получило такое имя; однако ясно, что оно значит стремление
 (ἔσις) — ведь в древности мы употребляли не *эту* (η), а *эй* (ε). Начало
 же этого слова от κίειν — это иноземное слово, означает оно *идти*.
 Итак, если отыскать его древнее имя, подходящее для нашего языка,
 то оно могло бы быть правильно названо стремлением (ἔσις), а теперь
 от иноземного слова κίειν и от перехода в *эту* и вставки ν (*ни*) оно

названо κίνησις (движение), а следовало называться κειίνησις или εἶσις. Стояние же означает отрицание хождения, но ради прикрасы названо στάσις. А буква ρο, как я говорю, тому, кто устанавливал имена, показалась прекрасным орудием движения в смысле уподобления порыву, и он часто пользуется ею для этого. Во-первых, в самом слове ῥεῖν (течь) и ῥοή (течение) он подражает порыву с помощью этой буквы, затем и в слове τρόμος (дрожь), затем в слове τρέχειν (бежать), также и в таких предложениях, как κρούειν (стучать), θραύειν (ломать), ἐρείκειν (сокрушать), θρύπτειν (крошить), κερματίζειν (раздроблять), ῥυμβεῖν (кружить) — все это он воспроизводит главным образом с помощью ρο. Он замечал, думается, что язык при произнесении ρο совсем не остается в покое, а приводится в сильное сотрясение; поэтому, кажется мне, он воспользовался ρο для всего этого. А буквой ι (иота) он воспользовался для всего тонкого, что может легче всего пройти через все. Поэтому идти (ἵέναι) и стремиться (ἵεσθαι) изображаются посредством иоты, подобно тому как посредством φ (фи), ψ (пси), σ (сигмы) и ζ (дзэты), в силу того, что эти буквы имеют характер дуновения, он подражает всему, что им подобно, называя ими холодное (ψυχρόν), кипящее (ζέον), сотрясаться (σειέσθαι), и вообще трясение (σεισμός). И всякий раз как он подражает чему-либо вздутому, он везде, оказываясь, главным образом вносит такие буквы. А особенность сжатия при δ (дельте) и τ (тау) и упирания языка он, по-видимому, счел полезным для подражания оковам (δεσμός) и остановке (στάσις). Заметив, что язык больше всего скользит на λ (лямбде), он в целях уподобления дал имя гладкому (λεῖα) и самому «скользить» (ὀλισθάνειν), лоснящемуся (λιπαρόν) и склеивающему (κολλῶδες) и всему подобному. А там, где особенность γ (гаммы) цепляется за скользящий язык, он воспроизвел клейкое (γλισχρόν), сладкое (γλυκύ) и липкое (γλοιῶδες). Заметив же внутреннее звучание при ν (ни), он дал наименование «внутри» (ἔνδον и ἐντός), как бы повторяя буквами самое это дело. А (альфу) же он уделил для большого (μέγα) и η (эту) для длины (μῆκος) потому, что это буквы большие. Нуждаясь в звуке Ο для круглого (γογγύλον), он его преимущественно влил в это имя. И все прочее законодатель, по-видимому, приводил таким же образом к буквам и слогам, когда создавал для каждой вещи знак и имя, а затем уже из букв и слогов составлял прочее путем подражания.

С. — Мне кажется, надо еще раз рассмотреть, что я говорю. Ведь неприятнее всего быть обманутым самим собой. Ведь когда тот, кто намерен обмануть, ни на миг не отходит от нас, но всегда при нас — разве это не ужасно? Следует, по-видимому, часто оборачиваться на то, что уже раньше сказано, и пытаться, согласно изречению знаменитого поэта, смотреть «одновременно вперед и назад». И сейчас посмотрим, что у нас высказано. Правильность имени, говорим мы,

в том, что оно покажет, какова вещь. Скажем ли мы, что это высказано основательно?

К. — Мне кажется, очень правильно, Сократ.

С. — Значит, имена говорятся ради изучения.

К. — Разумеется.

С. — Итак, мы скажем, что и это — искусство, и что существуют мастера его?

К. — Разумеется.

С. — Какие?

К. — Те, о которых ты говорил с самого начала, — законодатели.

С. — Скажем ли мы, что и это искусство возникает среди людей, как и другие, или нет? Я хочу сказать вот что: живописцы бывают одни хуже, другие лучше?

К. — Разумеется.

С. — Следовательно, лучшие создают свои произведения — изображения живых существ — прекраснее, а другие хуже? И строители также одни строят дома прекраснее, другие безобразнее.

К. — Да.

С. — Итак, и законодатели одни создают свои произведения прекраснее, другие безобразнее?

К. — Нет, мне уже не кажется, что это так.

С. — Значит, тебе не кажется, что одни законы лучше, а другие хуже?

К. — Отнюдь нет.

С. — И тебе, по-видимому, не кажется также, что одно имя назначено хуже, а другое лучше?

К. — Отнюдь нет.

С. — Значит все имена назначены правильно?

429 К. — Да, поскольку они действительно являются именами.

С. — Что же? То, о чем было недавно говорено — скажем ли мы, что этому вот Гермогену его имя и не назначено, если он не принадлежит к роду Гермеса, или имя назначено, но неправильно.

К. — Мне представляется, что оно и не назначено, но кажется назначенным, а является именем другого, кому принадлежит и природа, свидетельствующая об этом имени.

С. — Так что тот, кто говорит, что он Гермоген, даже не лжет? Ведь даже не оказалось бы ложью говорить, что он — Гермоген, если он в действительности таковым не является.

К. — Как ты говоришь?

С. — Не в том ли, что вообще нет возможности говорить ложь, смысл твоей речи? Ведь, милый Кратил, много лжецов и сейчас есть и прежде было.

К. — Каким же образом, Сократ, кто-либо, говоря то, что он говорит, может сказать то, чего нет? Или не в том заключается говорить ложь, чтобы говорить то, чего нет?

С. — Речь эта слишком тонка для меня и для моего возраста, друг мой. Все же скажи мне только следующее: не кажется ли тебе, что говорить ложь нельзя, но можно высказывать.

К. — Нет, мне кажется, что и высказывать нельзя.

С. — И сказать, и приветствовать? Если, например, кто-нибудь, встретившись с тобой на чужбине, взяв тебя за руку, сказал бы: «Здравствуй, афинский иноземец, сын Смикриона Гермоген» — говорил ли бы он это, или высказал, или сказал, или приветствовал бы таким образом не тебя, а этого вот Гермогена? Или никого?

Г. — Мне кажется, Сократ, что он попросту произнес бы это.

С. — Довольно и этого. Произнес ли бы он нечто истинное или ложное? Или часть этого истинная, часть же ложная? Ведь и этого было бы достаточно.

К. — Я сказал бы, что такой человек производит шум попусту, приводя себя в движение, как если кто-нибудь, ударив в медный сосуд, привел бы его в движение.

С. — Ну-ка, Кратил, не стоворимся ли мы? Не скажешь ли ты, что имя — одно, а то, чему принадлежит имя, — другое?

К. — Да, скажу.

С. — Следовательно, ты признаешь, что имя есть некое подражание вещи?

К. — Совершенно верно.

С. — Следовательно и картины ты называешь в другом смысле подражанием неким вещам?

К. — Да.

С. — Ну, может быть, я не уразумел того, о чем ты говоришь, а ты, может статься, говоришь правильно — есть ли возможность соотнести и сопоставить оба эти подражания — картины и имена — с вещами, чьими подражаниями они являются, или нет?

К. — Есть.

С. — Сначала обрати внимание вот на что: может ли кто-нибудь отнести изображение мужчины к мужчине, а женщины к женщине и все прочее таким же образом?

К. — Да, разумеется.

С. — Следовательно и наоборот — изображение мужчины к женщине, а женщины — к мужчине?

К. — И это возможно.

С. — Оба ли эти отнесения правильны, или одно из них?

К. — Одно.

С. — То, думается, которое отнесет в каждом случае подходящее и подобное.

К. — Да, мне кажется.

С. — Чтобы нам с тобой — ведь мы друзья — не вступать в словесный бой, согласись со мной в том, что я говорю. Ведь такое именно отнесение в обоих видах подражания — изображениях и име-

нах — я зову правильным, а по отношению к именам не только правильным, но и истинным; а другое — отдачу и отнесение несходного — неправильным и вдобавок ложным, когда оно бывает в именах.

К. — Но, Сократ, как бы не оказалось так, что это неправильное отнесение может иметь место по отношению к изображениям, а к именам — нет, но всегда неизбежно является правильным.

С. — Как ты говоришь? В чем отличие одного от другого? Разве нельзя, подойдя к какому-нибудь мужчине, сказать: «Вот твой портрет», — и показать ему изображение мужчины или женщины, что попадетсЯ? Показать, я разумею, дать возможность воспринять зрением.

К. — Разумеется.

С. — Что же? И опять-таки, подойдя к нему же, сказать: «Вот твое имя», — ведь и имя есть подражание, как и произведение живописи. 431 Вот что я хочу сказать: разве нельзя было бы ему сказать: «Вот твое имя», — и после этого дать возможность воспринять слухом подражание ему, сказав, что он мужчина, а если попадетсЯ, — подражание женскому существу человеческого рода, сказав, что он — женщина? Не кажется ли тебе, что это может случиться и иногда случается?

К. — Охотно соглашаюсь с тобой, Сократ, и пусть это будет так.

С. — И прекрасно делаешь, друг, если дело действительно обстоит так. Не стоит сейчас слишком много сражаться из-за этого. Итак, если и здесь бывает такое соотнесение, то мы желаем называть один случай «говорить истину», а другой — «лгать». А если так, если есть возможность неправильно соотносить имена и не воздавать каждому предмету подходящее, но иногда воздавать неподходящее, — то же самое можно делать и с речениями. Если же можно так употреблять и речения и имена, то, неизбежно, и предложения; ведь предложение, как я думаю, является их сочетанием. А ты как говоришь, Кратил?

К. — Именно так; мне кажется, ты прекрасно говоришь.

С. — Следовательно, если мы сравним первые имена с картинами, то можно, как и в произведениях живописи, воспроизвести все подходящие цвета и формы, или не все, но некоторые пропустить, а некоторые и прибавить, и притом больше или меньше. Или нельзя?

К. — Можно.

С. — Следовательно, кто воспроизвел все, тот создает прекрасные картины и изображения, а тот, кто прибавляет или убавляет, также будет делать картины и изображения, но плохие?

К. — Да.

С. — А как тот, кто посредством слогов и букв подражает сущности вещей? Не таким ли точно образом, если он воспроизведет все подходящее, то прекрасным будет изображение — это и есть имя, — если же кое-что пропустит или иногда прибавит, то это хотя и будет изображением, но не прекрасным? Так что одни имена будут сделаны прекрасно, а другие скверно?

К. — Возможно.

С. — Значит, возможно, что один будет хорошим мастером имен, а другой плохим?

К. — Да.

С. — Его-то имя и было законодатель?

К. — Да.

С. — Значит, возможно, клянусь Зевсом, что и здесь будет так, как в других искусствах: что один законодатель хороший, а другой плохой — раз мы пришли к соглашению относительно того, о чем говорилось раньше.

К. — Так и есть. Но видишь ли, Сократ, когда мы воспроизводим в именах посредством искусства письма эти буквы — альфу, бэту и 432 всякую другую букву алфавита, — если мы при этом отнимем или прибавим, или переставим что-либо, то имя у нас не оказывается написанным не то что правильно, но вообще не написанным, но, претерпев что-нибудь подобное, оно тотчас же становится другим.

С. — Но, Кратил, как бы, рассматривая таким образом, мы не стали на неправильную точку зрения.

К. — Как это?

С. — Пожалуй, все то, что с неизбежностью существует или не существует в зависимости от числа, действительно претерпевает то, о чем ты говоришь. Например, самый десяток или какое угодно другое число, если ты отнимешь от него что-нибудь или прибавишь, тотчас же становится другим. А правильность какого-нибудь качества и целостного изображения едва ли такова; напротив, изображению совсем нет надобности воспроизводить все стороны того, что оно отображает, для того чтобы ему быть изображением. Смотри, дело ли я говорю? Если бы были две вещи, такие как Кратил и изображение Кратила, и если бы при этом кто-нибудь из богов изобразил не только твой цвет и вид, как делают живописцы, но и все то, что внутри, сделал бы таким же, как у тебя, и воспроизвел те же мягкость и теплоту и вложил в них движение, душу и разум такие же, как у тебя, — одним словом, все, что есть у тебя, он поставил бы в другом экземпляре рядом с тобой, — существовали ли бы тогда Кратил и изображение Кратила, или два Кратила?

К. — Мне кажется, Сократ, что два Кратила.

С. — Итак, ты видишь, друг, что следует искать иной правильности в изображениях и в том, о чем мы сейчас говорили, и не переставать считать изображениями то, в чем чего-нибудь не хватает или что-нибудь добавлено. Или ты не замечаешь, как далеко изображение от того, чтобы обладать всем, чем обладают вещи, изображениями которых они являются?

К. — Да, замечаю.

С. — Забавно, Кратил, пострадали бы от имен те вещи, именами которых имена являются, если бы последние во всем уподобились

бы им? Ведь все стало бы двойным, и никто не мог бы сказать ни о том, ни о другом, которое — сама вещь и которое — имя.

К. — Верно говоришь.

С. — Итак, мой славный, смело признавай, что и имя одно назначено хорошо, а другое — нет, и не заставляй его иметь все буквы, чтобы быть совершенно таким же, как то, чьим именем оно является, но позволь вносить в него и неподходящую букву. Если букву, то и имя в предложение; если же имя, то пусть вносится и неподходящее к вещам предложение в речь. И тем не менее вещь именуется и выражается до тех пор, пока на ней есть отпечаток вещи, о которой
433 идет речь, подобно тому как это происходит с именами букв алфавита, если ты помнишь то, о чем мы сейчас говорили с Гермогеном.

К. — Это я помню.

С. — Прекрасно. Когда это соблюдено, хотя бы имя и не заключало в себе все подходящее, вещь все же будет выражена — хорошо, когда имеется все, плохо — когда немного. Но, любезный, довольно распространяться, чтобы нам не платить штрафа, как те, кто в Эгине поздно ночью находятся на дороге, и пусть действительно не кажется, что мы позже, чем подобает, дошли до дела, — или ищи другой какой-нибудь правильности имен и не соглашайся, что имя есть показывание вещи посредством слогов и букв; если же ты одновременно будешь утверждать и то и другое, то тебе не удастся быть в согласии с самим собой.

К. — Мне кажется, Сократ, ты говоришь разумно, и я это принимаю.

С. — Так как об этом мы думаем согласно, то рассмотрим далее следующее: если имя будет хорошо назначено, говорим мы, то ему следует иметь подходящие буквы.

К. — Да.

С. — А подходит к вещам подобное?

К. — Разумеется.

С. — Значит, хорошо назначенные имена назначены именно таким образом; если же что-нибудь и было назначено нехорошо, то и оно в большей части пожалуй будет состоять из подходящих и подобных букв, раз это все-таки изображение, но может иметь и кое-что неподходящее, из-за чего имя и не будет прекрасным и прекрасно назначенным. Так ли мы утверждаем, или иначе?

К. — Нет нужды, думается, спорить, Сократ. Но мне не нравится, когда говорят, что есть имя, но оно неправильно назначено.

С. — Не то ли не нравится тебе, что имя есть показывание вещи?

К. — Нет, это нравится.

С. — Или то, что одни имена составлены из более первичных, а другие являются первыми — не это ли кажется тебе нехорошо сказанным?

К. — Это хорошо.

С. — Но если первые имена должны быть показом чего-то, то знаешь ли ты лучший способ для них быть показанными, чем сделать их как можно более близкими к тому, что им следует показывать. Или тебе больше нравится тот способ, о котором говорит Гермоген и многие другие: что имена являются результатом договора и что они показывают тем, кто договорились и знают вещи наперед, и что в этом правильность имен — в договоре, и что нет никакой разницы, договориться ли так, как установлено сейчас, или наоборот — то, что сейчас малое, называть большим, а большое — малым? Который из двух способов тебе нравится?

К. — Совершенно и в полной мере, Сократ, предпочтительнее 434 показывать то, что показывают, путем уподобления, а не чем попало.

С. — Прекрасно говоришь. Следовательно, если имя будет подобно вещи, то необходимо, чтобы буквы алфавита, из которых будут составлены первые имена, были подобны вещам? Вот что я хочу сказать: можно ли было бы составить картину, о которой мы только что говорили, подобную действительности, если бы не существовали краски, по природе сходные с тем, чему подражает искусство живописи, и из которых составляются произведения живописи? Или это невозможно?

К. — Невозможно.

С. — Следовательно, не таким ли точно образом и имена не могли бы быть ничему подобны, если бы не существовало сначала того, из чего составляются имена и что имеет некое сходство с тем, чьим подражанием являются имена? А ведь то, из чего следует составлять имена, — это и есть буквы алфавита?

К. — Да.

С. — И ты уже соглашаешься с рассуждением, с которым согласился только что Гермоген. Ну, как тебе кажется, хорошо ли мы говорим, что буква *rho* подходит к порыву, движению и жесткости (*σκληρότης*), или нехорошо?

К. — Хорошо, по-моему.

С. — А *lambda* — к гладкому, мягкому и к тому, о чем мы недавно говорили?

К. — Да.

С. — Но ты знаешь, что о том же, о чем мы говорим *σκληρότης*, зретьицы говорят *σκληρότηρ*?

К. — Разумеется.

С. — А *rho* и *sigma*, похожи ли они оба на одно и то же; и показывает ли для тех это слово с *rho* на конце то же самое, что для нас с *sigma*, или для одних из нас не показывает?

К. — Показывает и для тех и для других.

С. — Потому ли, что *rho* и *sigma* сходны между собой, или потому, что несходны?

К. — Потому, что сходны.

С. — И они сходны во всем?

К. — В том смысле, что они одинаково показывают порыв.

С. — А вставленная туда *лямбда*, не показывает ли она нечто противоположное жесткости?

К. — Пожалуй, Сократ, она вставлена неправильно, наподобие того, о чем ты только что говорил с Гермогеном и, как мне казалось, правильно, когда ты удалял и вставлял буквы, где надо; и теперь, может быть, вместо *лямбды* надо говорить *ро*.

С. — Хорошо. Что же? А так, как мы теперь говорим, разве мы не понимаем друг друга, когда кто-нибудь скажет, например, жесткое (*σκληρόν*) — и разве ты не знаешь сейчас, о чем я говорю?

К. — Знаю, на основании обычая, дорогой мой.

С. — А говоря «на основании обычая», считаешь ли ты, что говоришь о чем-то, отличном от договора? Или ты называешь обычаем нечто иное, чем то, что когда я произношу то-то, то думаю о том-то, а ты знаешь, что я думаю именно об этом? Не это ли ты называешь обычаем?

435 К. — Да.

С. — Следовательно, если ты узнаешь, когда я произношу, то не происходит ли для тебя показывания с моей стороны?

К. — Да.

С. — Выражаю же я с помощью несходного то, о чем я размышляю, раз *лямбда* несходна с тем, что ты называешь жесткостью. А если так, то что же происходит другое, как не то, что ты сам с собой договорился, и правильность имени оказывается у тебя договором, раз способностью показывать обладают и сходные и несходные буквы, на которые распространяются обычай и договор. Если же обычай совсем не является договором, то все же неправильно говорить, что показыванием является сходство, а не обычай: ведь он, по-видимому, показывает с помощью и сходного и несходного. Но раз мы согласились на этом, Кратил — твое молчание я приму за согласие — то неизбежно и договор и обычай будут участвовать в показывании того, о чем мы думаем и говорим. Ибо если, дорогой мой, ты пожелаешь обратиться к числам, откуда думаешь ты добыть сходные имена, чтобы отнести их к каждому отдельному числу, раз ты не предоставишь своему доброму согласию и договору решение относительно правильности имен? Мне и самому нравится, чтобы имена в пределах возможности были сходны с вещами. Однако в самом деле, как бы это стремление к сходству не оказалось, как говорит Гермоген, слишком стеснительным и не пришлось бы привлекать к вопросу о правильности имен грубое соображение о договоре. Лучше всего в пределах возможности сказано в том случае, когда все или как можно большее число букв являются сходными, т. е. подходящими, а хуже всего — в противоположном случае.

Софист.

Ч.¹ — Ну-ка, подобно тому как мы говорили о видах и буквах, 261 рассмотрим таким же образом также и имена. Ведь, по-видимому, то, что сейчас разыскивается, именно таково.

Т. — Что же следует выслушать об именах?

Ч. — Все ли друг к другу прилажены, или ни одно, или одни стремятся к этому, а другие нет.

Т. — Во всяком случае ясно, что одни стремятся, а другие нет.

Ч. — Может быть, ты имеешь в виду то, что говоримое подряд и показывающее нечто — прилажено, а ничего не означающее в своей последовательности — не слажено?

Т. — Как это ты сказал?

Ч. — То, что, как я думал, ты подозреваешь и с чем соглашаешься. Ведь у нас есть два рода показываний голосом относительно сущности.

Т. — Каким образом?

Ч. — Один, названный именами, другой — глаголами.

262

Т. — Скажи и о том и о другом.

Ч. — То показывание, которое относится к действиям, мы называем глаголом.

Т. — Да.

Ч. — А голосовой знак, приложенный к тем, кто совершают эти действия, — именем.

Т. — Совершенно верно.

Ч. — А ведь из одних имен, последовательно произносимых, не получается речь, так же как и из глаголов, произнесенных без имен.

Т. — Этого я не понял.

Ч. — Ясно, что ты только что соглашался, имея в виду что-нибудь другое; ведь именно это я и хотел сказать, что они, вот так последовательно произносимые, не представляют собой речи.

Т. — Как?

Ч. — Например: ходит, бегаёт, спит, и прочие глаголы, обозначающие действия — если бы кто-нибудь произносил их подряд даже все, то от этого они отнюдь не составили бы речи.

Т. — Как же?

Ч. — И опять-таки, когда произносится: лев, олень, конь и сколько ни создано имен для тех, кто совершают действия, то и этой последовательностью не составляется речь. Ведь прозвучавшее не показывает ни в том, ни в другом случае ни действия, ни бездействия, ни бытия сущего или несущего, прежде чем кто-нибудь не примешает к именам глаголы. А тут-то уже первое соединение оказывается слаженным и немедленно становится речью, — пожалуй, первой и самой малой речью.

¹ Участники диалога: Т. — Тезет

Ч. — Чужестранец-элсат

Т. — Как ты это говоришь?

Ч. — Когда кто-нибудь скажет: человек учится, то не утверждаешь ли ты, что это — наименьшая и первая речь?

Т. — Да.

Ч. — Ведь она тогда показывает о существе или становящемся, или ставшем, или будущем, и не только именуется, но и чего-то достигает, связывая глаголы с именами. Вот почему мы и сказали, что она говорит, а не только именуется, и вот для этого-то соединения мы и назначили имя *речь*.

Т. — Правильно.

Филеб.

18 Некий бог или божественный человек — в Египте говорят, что это был некто Тевт, — впервые усмотрел, что в неопределенном многообразии звуков гóлоса гласные составляют не единство, а множество, и другие буквы, причастные не к голосу, но к некоему звучанию, в свою очередь имеются в некоем числе; он отделил и третий вид букв, те, которые мы теперь называем безгласными. После этого он произвел разделение безгласных беззвучных, пока не дошел до каждой буквы в отдельности; таким же образом он поступил с гласными и средними, и наконец, получив их число, наименовал каждую в отдельности и все вместе — *στοιχεῖον* (стойхейон). Увидев же, что никто из нас не мог бы научиться даже одной из них самой по себе, независимо от всех остальных, он, вновь исчислив связующее их отношение и найдя его единым и неким образом приводящим все буквы к единству, назначил им и единое искусство, которое нарек грамматическим.

VII письмо.

343 Ничто не имеет прочного имени, и ничто не мешает, чтобы то, что ныне называется круглым, было названо прямым, и прямое — круглым; и у тех, кто произвели эту перестановку и называют навыворот, имена отнюдь не будут менее прочными.

III. АРИСТОТЕЛЬ

Об истолковании

Гл. 1. 1. Прежде всего нужно определить, что такое имя и что глагол, потом — что такое отрицание и утверждение, суждение и предложение.

2. Слова, выраженные звуками, суть символы представлений в душе, а письмена — символы слов.

3. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех людей, так и слова не одни и те же. Но представления, находящиеся в душе, которых непосредственные знаки суть слова, у всех одни и те же, точно так же и предметы, отражением которых являются представления, одни и те же. Но об этом говорено в сочинении о душе («О душе», III, § 6), ибо это относится к другой науке.

4. Подобно тому как мысль иной раз появляется в душе без отношения к истине или лжи, другой раз так, что она необходимо должна быть одним из двух, точно также и слова, ибо истина и ложь состоят в соединении и разделении.

5. Имена же сами по себе и глаголы подобны мысли без соединения или разъединения, например «человек» или «белое», пока ничего не прибавляется; такое слово не ложно и не истинно, хотя и обозначает нечто; ведь слово *τραγέλαφος* («олень-козел») тоже обозначает нечто, но оно до тех пор не истинно или ложно, пока не присоединено к нему существование или несуществование, притом безусловное или же временное.

Гл. 2. 1. Имя есть звук с условным значением, без отношения ко времени, отдельная часть которого (звука) ничего не обозначает.

2. В (имени) Каллипп («красиво-лошадь») «лошадь» само по себе ничего не значит, не так, как в предложении «красивая лошадь». Однако в сложных именах дело обстоит не так, как в простых, ибо в этих ни одна часть не имеет значения, а в тех (каждая часть) имеет желание (значить), но в отдельности все же не имеет значения: так, например, в слове «лодка-корабль» корабль ничего не означает сам по себе.

3. От природы нет имен; они получают условное значение, когда становятся символом, ибо ведь и нечленораздельные звуки поясняют собою нечто, как, например, у животных, хотя ни один из этих звуков не есть имя.

4. «Не-человек» не есть имя; нет такого имени, которое могло бы это обозначать, ибо это не есть ни понятие, ни отрицание. Пусть

оно называется неопределенным именем, потому что оно применимо к чему угодно, как к существующему, так и к несуществующему.

5. Филона же или Филону и тому подобные выражения не суть имена, а падежи имени. Понятие же в этом случае остается тем же самым, только что падежи в соединении с глаголом «есть» или «было» или «будет» не содержат истины или лжи, имя же всегда содержит: например, выражение «Филона есть» или «Филона не есть» никогда не содержат ни истину, ни ложь.

Гл. 3. 1. Глагол есть слово, которое обозначает еще и время, часть которого в отдельности не имеет значения, и которое служит всегда обозначением для высказываемого об ином.

2. Итак, я говорю, что глагол обозначает еще и время: например, «здоровье» есть имя, а «он здоров» есть глагол, ибо им обозначается присутствие (признака) в нынешнее время.

3. Далее, глагол служит всегда обозначением чего-либо сказанного об ином, например, о подлежащем или о том, что в подлежащем.

4. Напротив того, (выражение) «он нездоров», или «он не болен», я не называю глаголом, хотя и оно (это выражение) созначает время и всегда относится к чему-либо; для этой разновидности нет названия; назовем его неопределенным глаголом, так как оно может одинаковым образом относиться ко всему, как к существующему, так и к несуществующему.

5. Подобным же образом «он был здоров» и «он будет здоров» — не суть глаголы, а падежи глагола и отличаются от глагола тем, что глагол обозначает собой нынешнее время, а падежи — время до и после нынешнего.

6. Если глаголы высказаны сами по себе, то они суть имена и обозначают собой нечто, ибо говорящий останавливает свою мысль, а слушающий удовлетворен; однако они не указывают, существует ли это нечто или нет, ибо бытие или небытие не суть признаки предмета, даже и тогда, когда скажешь «сущее» просто, само по себе; само по себе оно ничто и содержит лишь указание на известного рода соединение, которое однако нельзя мыслить без соединяемого.

Гл. 4. 1. Предложение есть звук, имеющий условное значение, в котором (звуке) и отдельная часть имеет некоторое значение, как высказывание, но не как утверждение или отрицание, как, например, «человек» обозначает нечто, но не обозначено, существует ли он или нет, утверждение же или отрицание получается в том случае, когда прибавить нечто.

2. Но отдельный слог слова «человек» не имеет значения, точно так же и в слове «мышь» «ышь» не имеет значения, а есть только звук. В сложных именах слог нечто обозначает, но не сам по себе, как об этом было сказано (в гл. 2).

3. Всякое предложение имеет значение, но не как орудие, а как было сказано, вследствие соглашения.

4. Но не всякое предложение есть суждение, а лишь то, в котором заключается истинность или ложность чего-либо; так, например, пожелание есть предложение, но не истинное или ложное.

5. Остальные виды предложений здесь выпущены, ибо исследование их более приличествует риторике или поэтике, только суждение относится к настоящему рассмотрению.

Гл. 5. 2. Необходимо, чтобы всякое суждение заключало в себе глагол или падеж глагола, ибо выражение «человек» не есть суждение до тех пор, пока не присоединено «есть» или «был», или «будет», или нечто подобное.

5. Одно имя или один глагол назовем высказыванием, ибо таким способом нельзя ответить на вопрос, нельзя и просто разъяснить, когда сам что-либо произносишь. К предложениям же относится, во-первых, простое суждение, например когда что-либо приписывается чему-либо или отнимается у чего-либо, а во-вторых, состоящее из простых, как, например, сложное предложение.

Поэтика.

Гл. 20. 1. Во всяком словесном изложении есть следующие части: *элемент, слог, союз, имя, глагол, член, падеж, предложение.*

2. *Элемент* — неделимый звук, но не всякий, а такой, из которого может возникнуть разумное слово. Ведь и у животных есть неделимые звуки, но ни одного из них я не называю элементом. А виды этих звуков — *гласный, полугласный и безгласный.*

3. *Гласный* — тот, звучание которого слышится без прикладывания языка, например а и ω; *полугласный* — тот, звучание которого слышится при прикладывании языка, например σ и ρ; *безгласный* — тот, который, при наличии прикладывания языка, не дает однако самостоятельно никакого звука, а делается слышным в соединении со звуками, имеющими какую-нибудь звуковую силу, например γ и δ.

4. Эти элементы различаются в зависимости от формы рта, от места их образования, густым и тонким придыханием, долготой и краткостью и кроме того острым, тяжелым и средним ударением. Подробности по этим вопросам следует рассматривать в метрике.

5. *Слог* есть не имеющий самостоятельного значения звук, состоящий из безгласного и гласного. Но рассмотрение различия слогов также дело метрики.

6. *Союз* — это не имеющий самостоятельного значения звук, который не препятствует, но и не содействует составлению из нескольких звуков одного, имеющего значение. Он ставится и в начале и в середине, если его нельзя поставить в начале предложения самостоятельно. Или — это не имеющий самостоятельного значения звук, который может составить один, имеющий самостоятельное значение, из нескольких звуков, имеющих самостоятельное значение.

7. *Член* — не имеющий самостоятельного значения звук, который показывает начало, или конец, или разделение предложения. Или — это не имеющий самостоятельного значения звук, который не препятствует, но и не содействует составлению из нескольких звуков одного имеющего значение звука, ставящийся обыкновенно и в начале и в середине.

8. *Имя* — это составной, имеющий самостоятельное значение, без оттенка времени, звук, часть которого не имеет никакого самостоятельного значения сама по себе. Ведь в сложных именах мы не придаем самостоятельного значения каждой части, например в слове *Теодор* (*Богдар*) — *дор* (*дар*) не имеет самостоятельного значения.

9. *Глагол* — составной, имеющий самостоятельное значение, с оттенком времени, звук, в котором отдельные части не имеют самостоятельного значения так же, как в именах. Например «человек», или «белое», не обозначает времени, а «идет» или «пришел» имеют добавочное значение; одно — нынешнего времени, другое — прошедшего.

10. *Падеж* имени или глагола — это обозначение отношений по вопросам «кого», «кому» и т. п., или — обозначение единства или множества, например «люди» или «человек», или отношений выразительности, например вопрос, приказание: «пришел ли», «иди». Это глагольные падежи, соответствующие этим отношениям.

11. *Предложение* — составной звук, имеющий самостоятельное значение, отдельные части которого также имеют самостоятельное значение. Не всякое предложение состоит из глаголов и имен. Может быть предложение без глаголов, например определение человека. Однако какая-нибудь часть предложения всегда будет иметь самостоятельное значение (например, в предложении «идет Клеон» — «Клеон»).

12. Предложение бывает едино двояким образом: когда оно обозначает единое, или когда состоит из многих. Например, «Илиада» — единое как соединение многих, а определение человека — как обозначение одного предмета.

Гл. 21. 1. Имя бывает двух видов: *простое* и *сложное*. *Простым* я называю то, которое не слагается из имеющих самостоятельное значение частей, например «земля».

2. Что касается имен сложных, то одни состоят из части, имеющей самостоятельное значение и не имеющей его, но имеющей или не имеющей значения не в самом имени; другие состоят только из частей, имеющих значение.

3. Имя может быть сложным из трех, четырех и многих имен.

12. Имена бывают мужского, женского и среднего рода.

Описания животных IV, 9 (535 a-b).

Голос и шум отличны друг от друга, а говор есть нечто третье, отличное и от того и от другого. Издавать звук голоса нельзя ни

одной частью тела, кроме дыхательного горла; поэтому животные, не имеющие легких, не издадут и звуков. А говор есть расчленение голоса с помощью языка: голос и гортань издают гласные, язык и губы — безгласные, а из соединения одних и других состоит говор.

О частях животных II, 16 (6a).

Речь составляется голосом из букв, а если бы язык и губы не отличались подвижностью, бóльшую часть букв нельзя было бы произнести: одни из них — прикладывания языка, другие — складывания губ. О том же, каковы они, сколько их, и в чем их отличия, надлежит осведомляться у метриков.

Там же, III, 1 (661b).

Передние зубы много способствуют образованию букв.

Политика I, 1, 10 (1253 a).

Только человек из всех живых существ одарен речью. Голос, которым можно выразить печаль и радость, свойствен и остальным животным, потому что их природные свойства развиты все-таки до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу. Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо.

IV. ЭПИКУР И ЭПИКУРЕЙЦЫ

*Эпикур (Диоген Лаэртий,
Жизнеописания философов X, 75).*

Человеческая природа во многих и различных отношениях испытывала воздействия со стороны (окружающих) вещей и получала от них указания. Разум же впоследствии уточнил переданное природой и открыл (кое-что) сверх этого, у одних быстрее, у других медленнее, в одни периоды и времена (делая большие успехи), в другие — меньшие. Так что и имена сначала возникли не от установления, но самые природы людей, испытывая особые в каждом племени впечатления и получая особые восприятия, по особому выдыхали воздух, под воздействием каждого из этих впечатлений и восприятий, соответственно разнообразным особенностям местностей и племен. Впоследствии же в каждом племени сообща установили особые (обозначения) для того, чтобы взаимосообщение стало менее двусмысленным и более сжатым. А также, вводя некоторые недоступные восприятию вещи, познавшие их передали некие звуки, имея нужду в произнесении их, и, выбрав их разумом соответственно важнейшей причине, этим способом изъяснили (вещи).

Диоген из Эноанды, Фрагмент X—XI.

Потребности и опыт со временем породили все искусства. А для звуков (я говорю о первых звучаниях имен и глаголов, которые произвели выросшие из земли люди) мы не принимаем Гермеса в качестве учителя, как говорят некоторые (это явный вздор), но и не верим тем философам, которые говорят, что имена назначены вещам путем установления и обучения для того, чтобы люди имели (средства) легкого общения друг с другом. Ибо смешно, более того — смешнее всего смешного, и помимо того невозможно было бы одному собрать такие множества, ибо тогда не было ни... ни букв, поскольку не было и звуков....., а собравши обучать по образцу школьного учителя и, взяв в руки указку и прикасаясь к каждой вещи, приговаривать, что это пусть называется камень, а это — дерево, а это — человек.

Лукреций, О природе вещей.

I 823 Множество букв одинаковых ты в песнях моих замечаешь,
Все же стихи и слова меж собой совершенно не схожи

И отличаются сутью своей и оттенками звуков.
 Азбука выразит многое перестановкой одною,
 Но еще многообразнее тел родовых сочетанья,
 Чтобы оттуда могли возникать разнородные вещи.

- I 908 Много имеет значения, как сочетаются тельца
 Эти первичные и в положенье каком пребывают;
 Также какое движенье друг другу дают и приемлют,
 Так что, чуть-чуть изменив сочетанья, они образуют
 Пламя из дерева. Это и в самых словах мы заметим.
 Звуками мы отличаем понятия *ligna* от *ignes*,
 В буквах почти одинаковых слегка изменивши порядок.
- V 546 В голосе грубость зависит от грубости телец первичных,
 А его нежность, напротив, от нежности этих последних,
 Так что: речет ли угрюмо труба, подавляя свой рокот,
 Или изогнутый рог издает свои тусклые звуки,
 Или же лебедь, рожденный в холодных полях Геликона,
 Голосом, полным томления, жалобу плавно возносит, —
 В уши внедряются неодинаковой формы зачатки.
 Стало быть, звуки, которые мы вытесняем из глуби
 Нашего тела и прямо чрез рот выпускаем наружу,
 Тут же искусно в слова языком расчлениются быстрым,
 Или они лишь сложением губ образуются часто.
 Если то место, откуда доносится чей-то голос,
 Не чересчур далеко отстоит, то слова непременно
 Явственно будут слышны и дойдут до нас членораздельно,
 Так как они сохраняют свой склад, сохраняют фигуру.
 Если ж, напротив, имеем мы тут расстояние большое,
 То, проходя через воздух, слова все мешаются в кучу,
 И при полете воздушном приводится голос в смятенье.
 В случае этом мы можем услышать отдельные звуки,
 Не понимая, какое значенье словам придается;
 Вот до чего этот голос доходит неясно и смутно.
- V 1026 По побужденью природы язык стал различные звуки
 Произносить, при нужде выражая названья предметов.
 Невелико тут различие с тем, что и ныне мы видим.
 Именно: немощность речи детей заставляет прибегнуть
 К телодвижениям и на предметы указывать пальцем.
 В каждом живет ведь сознание свойств, ему в пользу
 служащих;
 Раньше еще, чем на лбу у теленка рога вырастают,
 Пробует он их во гневе и ими грозит в раздраженьи;
 А у детенышей хищного барса и льва в обороне

Лапы и когти пускаются в ход и укусы, хотя бы
Только едва вырастать у них начали когти и зубы.
Мы наблюдаем за тем еще, как доверяются птицы
Крыльям своим и как в крыльях трепещущих ищут спасенья.
Предполагать, что один кто-нибудь дал названия предметам
И что оттуда уж люди узнали впервые слова все, —
Было б безумно. Как мог бы один человек обозначить
Вещи все голосом и расчленять языком своим звуки,
А в то же время все прочие делать того не умели?
Если б другие притом не умели в сношеньях друг с другом
Слов применять, то откуда б явилось познание об этом?
И из чего бы в одном человеке возникла способность
Волю свою выражать, чтоб другие его понимали?
Нет, человек тот единственный не был бы в силах принудить
Толпы людей к повторению данных предметам названий;
И никакими судьбами не мог бы глухих научить он,
Что нужно делать им. Этого не потерпели бы люди,
И никогда они не допустили бы, чтобы кто-либо
Смел непонятными звуками беспокоить их уши.
И наконец почему удивительным может казаться,
Что человечество, голосом и языком обладая,
Под впечатлением разным отметило звуками вещи,
Если скоты бессловесные даже и дикие звери
Звуками разными и непохожими кликать привыкли
В случаях тех, когда чувствуют боль, опасенье и радость?
Все это можно легко наблюдать и в действительной жизни.
Так: когда злые молосские псы, мягкий зев свой отвергнув,
Твердые зубы оскалив, рычать начинают во гневе,
То, пока ярость их сдержана, звуком иным нас пугают,
Нежели тот, когда лают вовсю, оглашая окрестность,
Или когда языком они нежно щенят своих лижут,
Или, отбросив их лапами, делают вид, что желают
Пастью ужасною их поглотить и кусать их зубами, —
В случаях этих визжание мирное псов тех не схоже
С воем протяжным, когда остаются одни они дома,
Или же с криком, когда, изогнувшись, бегут от ударов.
Далее, разве не видим мы, как отличается сильно
Ржанье коня молодого в цветущих годах его жизни,
В пору, когда разъярится он, шпорой любви возбужденный,
И когда ржет от других он причин, содрогаясь всем телом,
Или когда он, расширивши ноздри, в сражение мчится?
А наконец и пернатое племя, различные птицы:
Коршуны или морские орлы и нырки, что на море
В волнах соленых добычу и пищу себе промышляют.
Разные звуки они испускают в различное время

В драке друг с другом за пищу и в споре с врагом о добыче.
Частью у птиц изменяется голос согласно с погодой.
Так например у грачей долговечных — охрипшие крики,
Или же карканье стаи вороньей, когда, по рассказам,
Просит дождя она и накликает и ветер и бурю.
Стало быть, если различные чувства легко могут вызвать
У бессловесных зверей издавание звуков различных,
То уж тем более роду людей подобало в ту пору
Звуками обозначать все несхожие, разные вещи.

V. СТОИКИ

Секст Эмпирик, Против логики II, 11.

Стоики утверждают, что три (вещи) между собой сопряжены — *обозначаемое, обозначающее и объект*. Из них *обозначающее* есть звук, например «Дион»; *обозначаемое* — тот предмет, выражаемый звуком, который мы постигаем своим рассудком, как уже заранее существующий, а варвары не воспринимают, хотя и слышат звук; объект — внешний субстрат, например сам Дион. Из них две вещи телесны, именно звук и объект, одна — бестелесна, именно *обозначаемая вещь*, и это есть *высказываемое*, которое бывает истинным и ложным.

Секст Эмпирик, Против логики II, 80.

По утверждению стоиков, говорить — это произносить звук, *означающий представляемую вещь*.

Хрисипп, Фрагмент 144.

Не одно и то же голос и говор... но голос дело голосовых органов, говор — говорных, из которых первое место занимает язык, а затем нос, губы и зубы. А голосовые органы — гортань и движущие ее мускулы и нервы, доставляющие этим последним силу из мозга.

Диоген Вавилонский, Фрагмент 20.

Слово, согласно стоикам, как говорит Диоген, членораздельный звук, например ἡμέρα (день).

Предложение — значащий звук, исходящий из рассудка, например ἡμέρα ἐστί (есть день).

Диалект — слово, имеющее и племенную и эллинскую чеканку; или местное слово, т. е. имеющее особенности соответственно наречию, например, на аттическом δᾶλαττα, на ионическом ἡμέρη.

Элементы слова — двадцать четыре буквы. «Буква» говорится в тройном смысле: элемент, начертание элемента и его имя, например «альфа».

Гласные — семь из элементов: α, ε, η, ι, ο, υ, ω.

Безгласные — шесть: β, γ, δ, λ, κ, τ.

Звук и слово отличаются между собою тем, что звуком является и звон, а словом только членораздельное (звучание).

Слово отличается от предложения тем, что предложение всегда значаще, слово (бывает) и не значащим, например βλίτιρι, а предложение — никоим образом.

Высказывание отличается от произнесения: произносятся звуки, высказываются вещи, которые и являются высказываемыми.

Диоген Вавилонский, Фрагмент 21.

Частей речи пять, как говорит Диоген в «О звуке» и Хрисипп: имя, нарицание, глагол, союз, член.

Диоген Вавилонский, Фрагмент 22.

Нарицание, по Диогену, часть речи, означающая общее качество, например: человек, конь.

Имя — часть речи, показывающая единичное качество: например, Диоген, Сократ.

Глагол — часть речи, означающая несоставной предикат, согласно Диогену, а согласно некоторым, беспадежный элемент речи, означающий нечто приведенное в сочетание с чем-либо единым или многим, например: пишу, говорю.

Союз — беспадежная часть речи, связывающая часть речи.

Член — падежный элемент речи, разграничивающий роды и числа имен.

Диоген Вавилонский, Фрагмент 24.

Барбаризм — слово против обычая состоятельных эллинов.

Солекизм — невзаимосогласованное предложение.

Хрисипп, Фрагмент 148.

(Части речи) Хрисипп называет элементами речи.

Антипатр из Тарса, Фрагмент 22.

Антипатр присоединяет (к частям речи) и средину (т. е. наречие).

Присциан II, 16—17.

Стоики, причисляя причастие к глаголам, называют его причастным или падежным глаголом; наречия они причисляли к именам или глаголам и называли их как бы прилагательными глаголов; причисляя местоимения к членам, называли их определенными членами, а самые члены — неопределенными членами... Присоединяя предлог к союзу, стоики называли его предложным союзом.

Аммоний, Комментарий к «Об истолковании» Аристотеля 2, 5 (43В).

Перипатетики говорят стоикам, что прочие падежи мы справедливо называем падежами, так как они упали с прямого; но на

каком основании можно прямой называть падежом, как будто он откуда-то упал?..

Стойки отвечают, что и он упал с душевного представления: желая выразить имеющееся у нас представление о Сократе, мы произносим имя *Сократ*. И как о пущенном сверху и вертикально вонзившемся в землю грифеле говорят, что он упал и имел прямое падение, таким же образом, считаем мы, прямой (падеж) упал с представления и является прямым, как первообраз звукового выражения.

Но если из-за этого, возражают перипатетики, вы считаете возможным говорить о прямом падеже, то придется иметь падежи и глаголам, и наречиям, которым склонение вообще несвойственно; а это явно нелепо и противоречит вашим же собственным учениям.

Диоген Лаэртий VII, 64.

Предикат есть то, что говорится относительно чего-либо, или вещь, приведенная в сочетание с чем-либо единым или многим, как говорят последователи Аполлодора, или недостаточно высказываемое, которое сочетается с прямым падежом для того, чтобы образовалось суждение. Предикаты бывают *прямые*, *навзничные* и *средние* («ни те, ни другие»). *Прямые* сочетаются для того, чтобы образовать предикат, с одним из косвенных падежей, например: слышит, видит, совещаются; *навзничные* — сочетаются со страдательной частицей, например: я слышим, я видим; *средние* («ни те, ни другие»), с которыми дело обстоит ни тем, ни другим образом, например: гулять; *возвратнострадательными* являются те из навзничных, которые, будучи навзничными, суть действия, например; стрижется, ибо стригущийся подвергает сам себя (стрижке).

*Аммоний, Комментарий к «Об истолковании» Аристотеля
2, 5 (44—45В).*

Порфирий излагает стоическое учение о предикатах предложения следующим образом. Предикат высказывается либо об имени, либо о падеже и в обоих случаях бывает либо законченным предикатом, который достаточен для того, чтобы вместе с субъектом образовать суждение, либо недостаточным и нуждающимся в дополнении для того, чтобы образовать законченный предикат. Если нечто, будучи высказано об имени, образует суждение, они называют его *предикатом* (κατηγόρημα) или *схождением* (σύμφασις) — оба эти имени обозначают одно и то же — например, Сократ гуляет; если же о падеже, то — *околосхождением* (παρασύμφασις), как бы находящимся около схождения и представляющим собой *околопредикат* (παρακατηγόρημα), например, «хочется»: Сократу хочется. Околосхождение не принимает склонения, как «гуляю, гуляешь, гуляет» и не изменяется по числам; как мы говорим «этому хочется», так и «этим хочется».

И если высказываемое об имени нуждается в дополнении падежом какого-либо имени для того, чтобы образовать суждение, оно называется *неполным предикатом*, например... «Платон любит» (если прибавить к этому кого именно, например Диона, образуется законченное суждение: Платон любит Диона); если же высказываемое о падеже нуждается в сочетании с другим косвенным падежом для того, чтобы образовать суждение, оно называется *неполным околосхождением*.

Хрисипп, Фрагмент 146.

Стоики полагают, что имена от природы, так как первые звуки подражали вещам, а им соответствуют имена; в согласии с этим они и вводят некие элементы этимологии.

Августин, О диалектике 6.

... Стоики утверждают, что нет такого слова, для которого нельзя было бы указать определенное происхождение. И так как это давало бы легкую возможность возражать им, говоря, что если искать происхождение каждого из тех слов, с помощью которых объяснено происхождение любого какого-нибудь слова, то это будет продолжаться без конца, — они прибавляют, что продолжать такое объяснение нужно лишь до тех пор, пока мы не придем к соответствию между звучанием слова и вещью в некотором сходстве между ними, как например когда мы говорим о звоне (*tinnitus*) меди, ржании (*hinnitus*) лошадей, блеянии (*balatus*) овец, звучании (*clangor*) труб, скрипе (*stridor*) цепей. Каждый видит, что эти слова звучат так, как сами вещи, которые этими словами обозначаются. Но так как есть вещи, которые не звучат, то для них то же значение имеет сходство осязательного воздействия: если они воздействуют на чувство мягко или грубо, то мягкость или грубость букв, действующая на слух, породила для них такие же имена. Так, самое слово «мягкое» (*lene*) в произношении звучит мягко; и точно так же и «грубость» (*asperitas*) кто не найдет грубой и по самому имени? Мягко для слуха, когда мы произносим *voluptas* (наслаждение), грубо, когда произносим *сгих* (крест). Сами вещи воздействуют так, как ощущаются слова: *mel* (мед) — как сладостно воздействует на вкус сама вещь, так и именем она мягко действует на слух; *асге* (острое) в обоих отношениях жестко; *lana* (шерсть) и *verges* (терн) — каковы для слуха слова, таковы сами предметы для осязания. Это согласие ощущения вещи с ощущением звука стоики считают как бы колыбелью слов. В дальнейшем вольность называния перешла к использованию сходства самих вещей между собой; так, например, если крест (*сгих*) назван так потому, что жестокость самого слова согласуется с жестокостью боли, которую причиняет крест, то ноги (*сгига*) названы так не вследствие жестокости боли, а потому, что длиной и твердостью они

из всех частей тела наиболее похожи на дерево креста. Затем появилось злоупотребление, когда употребляется имя не сходной вещи, а как бы смежной. Что сходного имеют, например, значения малого (*parvum*) и уменьшенного (*minutum*), когда малым может быть и то, что не только совсем не уменьшено, но даже несколько возросло? Однако в силу некоторой близости мы говорим *minutum* вместо *parvum*. Но такое злоупотребление словом во власти говорящего: он имеет в своем распоряжении *parvum*, чтобы не говорить *minutum*. Ближе относится к тому, что мы сейчас хотим показать, другое: хотя то, что называется в банях *piscina* (бассейн), не содержит в себе никаких рыб (*pisces*) и не имеет ничего сходного с рыбами, все же оно очевидно получило название от рыб по причине воды, в которой живут рыбы. Таким образом, слово не перенесено по сходству, а применено по некоей смежности; а если кто скажет, что люди, плавая, уподобляются рыбам, и отсюда произошло название *piscina*, то и против этого глупо возражать, так как ни то, ни другое не противоречит существу дела и ни то, ни другое не достоверно. Как бы то ни было, этот пример удобен тем, что по нему одному мы уже можем разобрать, чем отличается возникновение слова, берущееся по смежности, от того, которое выводится по сходству. Затем дело дошло и до называния по контрасту. Так, считают, что *lucus* (роща) назван так потому, что совсем не *lucet* (светит), и *bellum* (война) потому, что это вещь не *bella* (прекрасная), и *foedus* (союз) потому, что это вещь не *foeda* (безобразная); если же это слово возникло от безобразия поросенка, как предпочитают некоторые, то его происхождение восходит к той смежности, которая имеет место, когда то, что делается, получает название от того, при помощи чего оно делается. Этот вид смежности очень широко распространен и подразделяется на много частей: или по действию, как, например, в этом самом случае, от безобразия (*foeditas*) поросенка, через действие которого возникает союз (*foedus*); или по производимому, как например *puteus* (колодезь) считают названным так потому, что он производит *rotatio* (питье); или по содержащему, как например *urbs* (город), говорят, назван от *orbis* (круг), потому что после принятия знамений обводят место плугом; или по содержимому, как если кто скажет, что *horreum* (овин) назван, с изменением буквы, от *hordeum* (ячмень); или от части целое, как словом *musco* (острие), обозначающим конечность меча, мы называем самый меч; или от целого часть, как например, *capillus* (волос) — как бы *capitis pilus* (пух головы)... Бесчисленны слова, для которых доступное исследованию происхождение или не существует, как думаю я, или скрыто, как утверждают стоики.

VI. ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЗЫКА В ПОЗДНЕЙШЕЙ ФИЛОСОФИИ

Витрувий, Об архитектуре II, 1, 1.

В древнее время люди, как звери, рождались в лесах, пещерах и труппах и поддерживали жизнь, питаясь дикой пищей. И вот тогда в каком-то месте тесно растущие деревья, качаемые бурями и ветрами, вследствие взаимного трения ветвей произвели огонь, так что те, кто были близ этого места, уstraшенные ярким пламенем, разбежались. Потом, успокоившись и подойдя поближе, они заметили, что теплота от огня очень приятна телу; подбрасывая дрова и поддерживая ими огонь, они приводили других и, подавая знаки движениями, показывали, какую получили пользу. Так как на этом сборище людей раздавались различные, производимые дыханием голоса, то под воздействием ежедневного навыка люди установили слова, какие пришлось, и затем, обозначая часто употребляемые вещи, начали, как это получилось самопроизвольно, говорить, и так создали между собой речь.

*Аммоний, Комментарий к «Об истолковании» Аристотеля
2, 3 (34—40В).*

Заслуживает исследования вопрос, почему, в то время как в «Кратиле» Сократ спорит с Гермогеном, утверждающим, что имена существуют по установлению, и доказывает, что они существуют от природы, Аристотель настаивает на том, что ни одно имя не существует от природы. Тут нужно сказать, что у тех, кто полагает, что имена существуют от природы, это «от природы» имеет двойкий смысл, и равным образом двойкий смысл имеет «по установлению» у тех, кто полагает, что они существуют по установлению. Действительно, среди тех, кто думают, что они существуют от природы, одни понимают «от природы» в том смысле, что слова — это создания природы; так думал, например, Кратил, последователь Гераклита, говоривший, что для каждой вещи природа определила особое имя, подобно тому как каждому воспринимаемому предмету определено особое восприятие: имена, говорят они, подобны природным, а не искусственным изображениям видимого, как бы теням или отражениям, показывающимся в воде и зеркалах; и подлинно именуют вещи те, кто говорят такие имена, а кто — не такие, те вовсе и не именуют, а только производят шум; и дело знающего человека —

изыскать приготовленное природой для каждой вещи особое имя, подобно тому как дело обладающего острым зрением — точно распознавать присущие каждой вещи отображения. Другие же говорят, что имена существуют от природы в том смысле, что они соответствуют природе именуемых ими вещей, так что, например, для имеющего начальственное разумение от природы пригодны имена Архидам («начальник народа»), Агесилай («вождь народа»), Василиск («царственный») и тому подобные, а для неразумного — нет, и для удачливого имена Евтихий («благополучный»), Евпракт («благоуспешный»), а для неудачливого — нет; таким образом и эти уподобляют имена изображениям, но не природным, а создаваемым искусством живописи, которое для различных образцов изготавливает различные изображения и стремится по мере возможности отпечатлеть вид каждого; соответственно этому мы часто задаемся целью, исходя из анализа имен, уловить природу именуемых ими вещей, или же, познавая эту природу, стараемся показать, что установленные для вещей имена ей соответствуют.

Из тех же, кто полагают, что имена существуют по установлению, одни понимают «по установлению» в том смысле, что любой человек может назвать каждую из вещей каким ему угодно именем (так думал, например, Гермоген), другие же — не в этом смысле, а так, что имена устанавливает один только творец имен, каковым является либо тот, кто знает природу вещей и придает им имена, соответствующие природе каждой из них, либо тот, кто, подчиняясь знающему, получает от него поучение о природе каждого существа и указание придумать и назначить каждому особое и приличествующее имя. Именно потому имена существуют по установлению, что не природа, а замысел рассуждающей души установил их, всматриваясь в особую природу вещи и в аналогию с мужским и женским, наблюдаемым собственно среди животных: не без основания творцы имен дали рекам мужское имя (ὁ ποταμός), а морям и озерам женское (ἡ θάλαττα, ἡ λίμνη), но потому, что сочли уместным последние именовать в женском роде, так как они воспринимают в себя реки, а для рек, как впадающих в моря и озера, признали подобающей аналогией с мужским родом; и точно так же во всем остальном нашли аналогию, или более явную, или более затемненную. Согласно этому воззрению они и ум определили именовать в мужском роде (ὁ νοῦς), а душу — в женском (ἡ ψυχή), усмотрев, что первый может освещать, а второй присуще быть освещаемой им.

Идя так же далее, они не постеснялись и к самим богам применить такое различие по родам, положив именовать солнце в мужском роде (ὁ ἥλιος), а луну как получающую свет от солнца — в женском роде (ἡ σελήνη); ведь если египтяне и именуют луну в мужском роде, то делают это, полагаю я, как бы сопоставляя ее с землей, которая получает свет и от нее, а не только от солнца. Поэтому и

речь Аристофана в «Пире» гласит, что мужское подобает солнцу, женское — земле, а луне — муже-женское. И ясно, что эллины более правы, чем египтяне, потому что луна прежде всего получает свет от солнца, а затем вследствие отражения от себя передает его земле. Так и о небе говорят в мужском роде (ὁ οὐρανός), а о земле — в женском (ἡ γῆ), потому что она воспринимает его действительную силу и вследствие этого становится способной рождать все живое.

Сходным образом, увидав — теми глазами, которыми это надлежит видеть — различия в силах вещей надмирных, такую же аналогию установили, хотя и издавека, и для их словесных обозначений. Отсюда легко понять и смысл так называемого среднего рода имен, приводящий или к тому, что предшествует обоим родам, как например когда мы говорим τὸ πρῶτον (первое), или к тому, что происходит из обоих, например τὸ παιδίον (дитя), или к тому, что переходит от более сильного к более слабому, например τὸ σπέρμα (семя), τὸ ὕδωρ (вода), или к тому, что причастно обоим, например τὸ ζῷον (животное), или к другим подобным отношениям, чтобы не распространяться об этом чрезмерно долго.

Теперь ясно, что второе понимание обозначения «от природы» совпадает со вторым пониманием обозначения «по установлению»: ведь имена, устанавливаемые творцом имен как имеющие соответствие с теми вещами, которым они принадлежат, могут быть названы существующими от природы, а как установленные кем-то — существующими по установлению.

И вот в «Кратиле» Сократ, примиря диаметрально противоположные взгляды Кратила и Гермогена по вопросу о том, существуют ли имена от природы или по установлению, показывает, что они существуют не по установлению в том смысле, как это думал Гермоген (ибо у них есть и «от природы», во втором понимании этого определения, и особенно у тех, посредством которых мы обозначаем общее и постоянное в вещах как имеющее определенную и доступную нашему восприятию природу: ведь в том, чтобы направить первое установление имен для всего, чему свойственно всячески меняться в каждом отдельном случае, приходится назвать случайность помощью молвы); но и не от природы в том смысле, как говорил Гераклит; ибо они оказываются и «по установлению», притом многие из даваемых отдельным вещам, даже в том грубом смысле, какой придавал этому Гермоген, говоря об установлении; но и те, которые обозначают вечную природу, также существуют по установлению во втором смысле этого определения.

Ничем не отличается от этого и то, что говорит Аристотель в рассматриваемом месте, утверждая, что ни одно из имен не существует от природы: он, как и Платон, отрицает за ними существование от природы в том смысле, как его отстаивали гераклитовцы, но он и сам не отказался бы назвать их существующими от природы в том смысле,

какой предлагает божественный Платон. Он показывает это во многих своих работах, стараясь установить соответствие имен вещам, например в лекциях по физике — для слов ψυτόματα (самопроизвольное) и κενόν (пустое), в метеорологии для слов ψεκάς (мбрось) и ὑετός (дождь), а также для всех тех слов, которые он, как известно, сам ввел, например ἐντελέχεια (целесообразное осуществление) для соответствующего понятия, ὄρος (определение) для простых терминов в силлогизмах, σχῆμα (фигура) для такого-то соединения предложений; наконец, в самой разбираемой книге «Об истолковании» введенные философом имена ἀόριστον ὄνομα (неопределенное имя), или ἀόριστον ῥῆμα (неопределенный глагол), или ἀντίφασις (противоречие) самым ясным образом показывают его воззрения по этому вопросу.

Если же кто вздумал бы доказывать, что слова даже и в этом смысле не соответствуют природе, и ссылался бы на переименование и на то, что одна и та же вещь часто называется многими именами, то мы скажем, что именно переименование и показывает с особенной ясностью соответствие имен природе: ведь очевидно, что мы производим переименование, как бы переходя к каким-то более соответствующим вещи именам; множественность же имен, скажем мы, никоим образом не препятствует каждому из них соответствовать природе именуемого: подобно тому как может быть несколько изображений одного и того же человека (причем материал их различен, например хотя бы медь, дерево, камень, но все обладают сходством с изображаемым), таким же точно образом и здесь ничто не препятствует одной и той же природе именоваться различными словами, причем во всех выражается одна и та же сущность с различных точек зрения; например слова ἄνθρωπος, μέροψ, βροτός обозначают одно и то же (человек), но одно — поскольку он ἀναβρεῖ ἢ ὄπωλε (рассматривает то, что увидел), другое — поскольку его речь μεριστή (членораздельна), третье — вследствие падения души при рождении и возникающей отсюда запятнанности; или же, по сложению, ἄνθρωπος — поскольку он διαρροῖ τὴν ὄλα (расчленяет голос) или ἄνω ἔχει τοὺς ὄπας (вверх направляет очи), μέροψ — как имеющий μεμερισμένην τὴν ὄλα (расчлененный голос), βροτός — как μортός или μοιρητός (подверженный судьбе), вследствие чего и сказал киренский поэт: ἐδείμαμεν ἄστεα μортοί (мы, смертные, построили города).

Если это правильно, то, конечно, мы не согласимся с диалектиком Диодором, который думает, что каждое произносимое слово что-нибудь означает, и в подтверждение этого назвал одного из своих рабов Ἄλλαμῆν (Но ведь) и других — другими союзами: трудно даже и представить, как такие слова могут означать какую-либо природу или лицо, подобно именам, или же действие или страдание, подобно глаголам.

Если же другие, как, например, Дусарий из Петры, хотят совершенно отвергнуть «по установлению» для имен, ссылаясь на молитвы и проклятия, в которых произносимые нами слова явным образом

или помогают или вредят именуемым, тогда как соглашение людей с людьми естественно могло произойти, но соглашение людей с богами даже и в мысли невозможно — то им нужно ответить, что боги, создав нас разумными и самодвижимыми, естественно дали нам способность ко многим действиям и, неотрывно взирая на все наши дела и воспринимая наши установления, сообразно с ними определяют нам, как самодвижимым, то, чего мы достойны, или, скорее, мы сами, создавая у себя посредством обусловленных этими установлениями таких-то представлений, влечений и склонностей такой-то облик жизни, сообразно с ним вкушаем подобающую нам благосклонность богов: подобное этому мы видим и в телах, которые, воспламенившись, становятся легкими и естественно несущимися вверх, а затем, снова изменяясь в сторону большего земноподобия и тяготения, несутся обратно вниз сообразно с присутствием им тогда стремлением; и когда царственное солнце в полдень освещает целое земное полушарие, то одни, бодрствуя и должным образом пользуясь зрением, вкушают от благ света, а другие, погружаясь в сон или смыкая глаза или как-либо иначе закрыв путь зрению, лишены этого по своей собственной воле, а не от неблагосклонности бога, благосклонно предоставляющего всем свет.

Мы подробно останавливались на этом, желая показать согласие между философами и считая эту проблему, обычно рассматриваемую древними, совсем не такой неразрешимой. Вслед за этим рассмотрим силлогизм, который приводит Афродисийский толкователь с целью доказать, что имена и глаголы существуют только от природы. Имена и глаголы, говорит он, это звуки голоса, а звуки голоса существуют от природы, следовательно, имена и глаголы существуют от природы. На это нужно ответить, что назвать имена и глаголы звуками голоса можно не вообще, а лишь в смысле материала. Например, если бы кто-нибудь сказал: «Дверь — дерево, дерево — создание природы, значит, дверь — создание природы», то он был бы смешон (ибо дверь называется деревом в смысле материала, но нет необходимости, чтобы то, что состоит из природного материала, и само существовало от природы, потому что все создания искусства, получая образ по нашему замыслу, состоят из природного материала), — так и здесь надо сказать, что звук есть создание природы (ибо мы от природы обладаем звуком голоса), а имена и глаголы можно назвать звуками голоса, но не попросту, а так или иначе оформленными и преобразованными так называемым речевым воображением, таким-то образом движущим голосовые органы, подобно тому как плотник оформляет дерево для приготовления двери. И подобно тому как дерево никто не назовет дверью, прежде чем оно примет соответствующего вида, так и звуки голоса нельзя назвать именами или глаголами, пока они не будут так или иначе оформлены, так что они являются таковыми лишь в видовом смысле, будучи созданы по нашему за-

мыслу и, следовательно, существуя по установлению. Вот что мы ответим на приведенный силлогизм.

Аристотель же, упоминая о том, что имена существуют *по соглашению*, указывает, что при первом же возникновении и установлении слова становится очевидным, что оно есть символ именуемого, а не природное его подобие, но если они и оказались бы подобием, то все же это искусственно созданное подобие; поэтому если бы кто стал искать для имени родовое обозначение, принимая во внимание, что звук голоса, согласно нашему разъяснению, относится к нему как материал, то мы дадим в качестве такового символ; так что его подлинным определением будет: «символ, образуемый из звука с условным значением, без отношения ко времени, отдельная часть которого (звук) ничего не обозначает, указующий на какое-либо существование или лицо»: род его мы сейчас указали, а ранее найденные признаки, включенные теперь в порядок определения, приводят нас к понятию слова от его материала и ближайшего вида. Подобно этому, если кто желает обозначить стул, то считает достаточным для того, чтобы дать о нем понятие, сказать, что это дерево, которому придан такой-то вид, хотя и можно, стремясь к наибольшей точности, сказать, что это — предмет утвари, имеющий такое-то назначение, сделанный из дерева таким-то образом.

То же самое очевидно будет служить родовым понятием и для глагола и для предложения, сообразно с их означительной силой: ведь об означающем и означаемом мы говорим соотносительно, так что означающее сообразно соглашению, естественно, является символом означаемого. В отношении же словесного выражения и количества составляющих его слогов мы отнесем каждое из них к понятию величины. Что касается того, что мы считаем возможным называть имя и символом и искусственным подобием, то в этом нет ничего удивительного: то, которое установлено без обдумывания, будет только символом, но то, которое установлено с известным основанием, будет, с одной стороны, похожим на символы, как могущее состоять и из данных слогов и из других, и подобием, а не символом, как соответствующее природе именуемого. Но все это нужно рассматривать как выводы из сказанного, согласующиеся с тем, что говорит об имени Сократ в «Кратиле»: ведь и он говорит, что имя — это подражание сущности каждой вещи, производимое посредством членораздельной речи, или, что то же самое, состоящее из элементов и слогов; подобно этому и глагол есть подражание тому, что сопутствует (т. е. принадлежит) сущностям, а предложение — то, что состоит из обоих, т. е. из имени и глагола. Этим, а также сказанным в «Софисте», он как бы и сам, еще до Аристотеля, устанавливает, что единственными подлинными частями речи являются имя и глагол.

VII. СПОР ОБ АНАЛОГИИ И АНОМАЛИИ

Варрон, О латинском языке VIII.

1. Как я показал в предыдущих книгах, речь по природе троечастна, и первая часть ее — как слова были установлены для вещей; вторая — каким образом они, отклонившись от этих последних, приобрели различия; третья — как они, разумно соединяясь между собой, выражают мысль. Поэтому, изложив первую часть, я начну теперь о второй. Ведь все производное по природе вторично, потому что предшествует то прямое, от которого оно произошло: точно так же обстоит и со склонением. Итак, при склонении слов, прямое — *homo* (человек), косвенное — *hominis* (человека): последнее отклонилось от прямого.

2. Многообразие природы различий склонения определяется нижеследующими основаниями: почему, в каком направлении и каким образом стали склоняться слова в речи.

3. Склонение вошло в речь не только латинскую, но и всех людей в силу пользы и необходимости: ведь если бы этого не произошло, то мы не могли бы и заучить такое число слов, — ибо бесчисленны естества, на которые они отклоняются, — да и из тех, которые мы заучили бы, не было бы видно, какова связь вещей между собой. Теперь же мы видим, что сходно, что производно. Если *legi* (я прочел) склонилось от *lego* (я читаю), то видны сразу две вещи: что говорится неким образом одно и то же и что действие происходит не в одно и то же время, а если бы, например, одно говорилось *Priamus* (Приам), а другое *Несуба* (Гекуба), то это не обозначало бы того единства, которое видно в *lego* — *legi*, *Priamus* (Приам) — *Priamo* (Приаму).

4. Как у людей бывает происхождение от общего предка и родство, так и у слов: как люди, происходящие от Эмилия — Эмилии и родственники, так в именном родстве находятся слова, склонившиеся от имени Эмилия; действительно, от установленного в прямом падеже имени *Aemilius* произошло *Aemilii* (им. пад. мн. ч.), *Aemilium* (вин. пад. ед. ч.), *Aemilios* (вин. пад. мн. ч.), *Aemiliorum* (род. пад. мн. ч.); также и остальные слова того же семейства.

5. Итак, есть вообще два начала слов — установление и склонение; одно как источник, другое как ручей. Устанавливаемых имен желательно было иметь как можно меньше, чтобы можно было скорее их заучить; склоненных — как можно больше, чтобы каждому легче было высказать то, что потребно в обиходе.

6. Для того первого рода нужно накопление сведений, ибо он не доступен нам иначе, как через заучивание; для второго — искусство, содержащее лишь немного правил, и притом кратких. Ибо тот же способ, каким научишься склонять на примере одного слова, будет применим к бесконечному числу имен; таким образом, когда входят в обиход новые слова, то весь народ тотчас же без колебаний склоняет их; также и вновь купленные рабы среди многочисленной челяди очень скоро, узнав прямой падеж имен всех остальных рабов, склоняют их по прочим косвенным падежам.

7. Если же они иногда и ошибаются, то это неудивительно: ведь и те, которые первыми установили имена вещам, пожалуй, кое в чем ошиблись. Действительно, считают, что они хотели обозначить единичные вещи, чтобы от них шло склонение на множество: от homo (человек) — homines (люди); хотели также обозначать свободных мужчин, чтобы от них было склонение для женщин, как, например, от Terentius — Terentia, и также — устанавливать слова в прямом падеже, чтобы отсюда происходили слова склоненные; но соблюсти это во всем не сумели: так scorae (веник) употребляется (во множественном числе) об одном предмете, aquila (орел) обозначает и самца и самку, слово vis (сила) одинаково и в прямом и в косвенном падеже.

9. Итак, причина, почему стали склонять установленные слова, указана. Остается сообщить также, общо и коротко, в каком направлении захотели склонять и в каком не захотели. Ибо есть два рода слов: один плодovitый, который склонением порождает из себя многие несходные формы, как, например, lego, legi, legam (я читаю, я прочел, я буду читать) и т. д.; другой род бесплодный, который ничего из себя не порождает, как, например, et (и), iam (уже), vix (едва), cras (завтра), magis (более), cur (почему).

10. Для тех вещей, употребление которых однообразно, таково и склонение слова, как в том доме, где только один раб, нужно одно рабское имя, а в том, где рабов много, нужно несколько. Так же и у таких вещей, какими являются имена, вследствие многих различий в употреблении слова имеется и много отпрысков, а у тех вещей, которые служат связками и соединяют слова, — так как им не было надобности склоняться на многое, то они и остаются единичными: ведь одним ремнем можно привязать и человека, и коня, и все, что только может быть привязано к другому. Так, когда мы говорим: «Консулами были Туллий и Антоний», то этим же самым et (и) мы можем связать любых двух консулов, и, более того, любые имена и даже любые слова; а односложная опора — то самое et — остается одна. Стало быть, следовали природе, когда не сочли нужным вести склонение от всех слов, которые были установлены для вещей.

11. Частей речи такого рода, для которого возникает склонение, две, если, как это делает Дион, мы разделим вещи, обозначаемые

словами, на три части, из которых одна созначает падежи, другая — времена, третья — ни того, ни другого. Из них Аристотель называет две частями речи, имена и глаголы, как например homo (человек) и equus (конь), legit (читает) и currit (бежит).

12. В каждом роде, и имен и глаголов, есть предшествующие и есть последующие: предшествующие, как homo, scribit (пишет), последующие — как doctus (ученый) и docte (учено); ведь говорится homo doctus и scribit docte. За сим следуют место и время, потому что ни «человек», ни «пишет» не может быть вне места и времени; и при этом место больше связано с человеком, время — с писанием.

13. Так как из частей речи имя первое (ибо имя предшествует временному глаголу, а остальное позднее, чем имя и глагол; значит, имена первые), поэтому я об их склонении скажу раньше, чем о склонении глаголов.

14. Имена склоняются или по различиям тех вещей, коих они имена, как например от Terentius — Terentia; или по внешним различиям — не тех вещей, коих они имена, как, например, от equus (конь) — equiso (конюх). По своим различиям они склоняются или в силу природы самой вещи, о которой говорится, или в силу надобностей того, кто говорит. В силу различий самой вещи — или по целому, или по части. По целому, как, например, от homo (человек) — homunculus (человечек), от caput (голова) — capitulum (головка); с означением множественности, как от homo — homines (люди).

15. Склоненные по части — или по телесной, как, например, от mamma (грудь) — mammosae (грудастые); или по духовной, как от prudentia (благоразумие) — prudens (благоразумный), от ingenium (ум) — ingeniosi (умные)...

Подобно тому как одни склонения бывают от духа, другие от тела, так иные от того, что вне человека, как, например, pecuniosi (богатые), agrarii (помещики), потому что вне человека pecunia (богатство) и ager (поместье).

16. В силу надобностей тех, кто говорит, склоняются падежи, чтобы тот, кто говорит о другом, мог отличать, когда он призывает, когда дает, когда обвиняет, и также вводить и прочие различия того же рода, приведшие нас и греков к склонению... Кто призывается — Hercules (им. пад.); как призывается — Hercule (зв. пад.); куда призывается — ad Herculem (вин. пад.); кем призывается — ab Hercule (тв. пад.); для кого призывается — Herculi (дат. пад.); чей призывается — Herculis (род. пад.).

17. Для тех слов, которые являлись как бы прозваниями, как, например, prudens (благоразумный), candidus (белый), strenuus (усердный), прибавился новый род склонений, потому что им присущи кроме того различия по возрастанию и они допускают «более» или «менее»: от candidus — candidius (белее), candidissimum (самое белое) и так же — от longus (длинный), dives (богатый) и т. п.

18. К склонению по внешним вещам принадлежат: от *equus* (конь) — *equile* (конюшня), от *oves* (овцы) — *ovile* (овчарня) и т. п.; это противоположно тем примерам, которые приведены выше, каковы: от *pecunia* (богатство) — *pecuniosus* (богатый), от *urbs* (город) — *urbanus* (городской), от *ater* (черный) — *atratus* (зачерненный); так нередко от человека — место, а от этого места — человек, например от *Romulus* (Ромул) — *Roma* (Рим), от *Roma* — *Romanus* (римлянин).

19. Различными способами склоняется то, что внеположно: одним способом — тот, кто получил склонение по своим предкам, как *Latonius* (Латоний), *Priamidae* (Приамиды), другим — то, что получило его по действию, как от *praedari* (добычничать) — *praeda* (добыча), от *mercari* (зарабатывать) — *merces* (заработок).

20. В разряде глаголов, которые обозначают время, вследствие того, что времен три — прошедшее, настоящее, будущее, — оказалось нужным создать тройное склонение, как, например, от *saluto* (я приветствую) — *salutabam* (я приветствовал), *salutabo* (я буду приветствовать); точно так же, вследствие того, что тройственна природа лица — кто говорит, кому, о ком, — то и это склоняется от одного и того же глагола.

21. После того как сказано о двух вопросах — почему возникло склонение и куда оно направлено, — скажем теперь о третьем, что остается — каким образом оно происходит. Есть два рода склонения — произвольное и естественное. Произвольное — это такое, когда каждый склоняет, как ему вздумалось. Так, например, если три человека купили в Эфесе по одному рабу, то бывает, что один склоняет имя от того, кто продал, от Артемидора, и называет Артемой; другой — от страны, где купил, от Ионии — Ионом; третий по Эфесу — Эфесием; а иной от другой какой-нибудь вещи, как захочет.

22. Напротив того, естественным склонением я называю такое, которое возникает не от воли отдельных людей, а от общего согласия. Таким образом все, установив имена, одинаково склоняют их падежи и одинаково говорят: этого Артему, этого Иона, этого Эфесия; так же и в других падежах.

23. Нередко совпадает то и другое — и в произвольном склонении бывает заметна естественность, и в естественном произвол (каким образом это бывает, уяснится ниже); что касается того, что в каждом из двух склонений одни случаи бывают сходны, другие несходны, то об этом греки и латиняне написали много книг: одни думали, что в речи нужно следовать тем словам, которые подобным образом склонены от подобных, и называли это аналогией; другие думали, что этим нужно пренебречь и скорее следовать несходству, вошедшему в обиход, которое они называли аномалией. Между тем, как я полагаю, нам нужно следовать и тому и другому, потому что в произвольном склонении преобладает аномалия, а в естественном — аналогия.

Секст Эмпирик, Против грамматиков.

176. Что следует с известной бережностью относиться к чистоте речи, это ясно само собой.

Ведь, с одной стороны, кто то и дело допускает в своей речи варваризмы и солекизмы, тот подвергается осмеянию как человек необразованный; а с другой стороны, кто владеет эллинской речью, тот способен ясно и точно излагать свои мысли о вещах. Но вот существуют две разновидности эллинской речи. Одна чуждается общего нашего обиходного языка и разворачивается, как бы следуя грамматической аналогии, другая же — напротив: следуя обиходному языку каждого эллина, исходя из отображения и наблюдения его в разговоре.

177. Например, кто от именительного падежа Zeús создает формы косвенных падежей Zeós , Zeí , Zéa , тот выразился соответственно первой разновидности эллинской речи, а кто просто говорит Zēús , Zēví , Zēva , тот следует второй, более привычной для нас разновидности. Имея дело с наличием этих двух разновидностей эллинской речи, мы считаем практически пригодной вторую по причинам, уже указанным, а непригодной — первую по причинам, которые сейчас укажем.

178. Подобно тому как человек, лояльно придерживающийся известной монеты, имеющей хождение в городе согласно местному обычаю, может беспрепятственно производить денежные операции, имеющие место в том городе, другой же, такую монету не принимающий, но чеканящий какую-то иную, новую монету для себя самого и претендующий на ее признание, будет делать это впустую, так и в жизни тот человек близок к сумасшествию, кто не желает придерживаться речи, принятой подобно монете, но (предпочитает) создавать свою собственную.

179. Поэтому, если грамматика сулят преподать так называемую аналогию в качестве известного искусства, путем которого они заставят нас разговаривать согласно первой разновидности эллинской речи, то нам следует показать, что это искусство несостоятельно и что тем, кто желает говорить правильно, нужно полагаться на безыскусственное и простое наблюдение, согласное с жизнью и с общим обиходом, которому следует большинство.

180. И вот, ежели существует некое искусство по части эллинской речи, оно либо имеет начала, на которых зиждется, либо не имеет. Что оно начал не имеет, этого грамматика, конечно, утверждать не станут. Ведь всякое искусство должно зиждиться на известном начале. Если же это искусство имеет известные начала, то либо они техничны, либо нетехничны. И если они техничны, они должны были получиться либо сами собой, либо от какого-то другого искусства, а последнее в свою очередь от третьего, третье же от четвертого, и так до бесконечности, так что искусство, касающееся эллинской речи, ста-

новилось бы безначальным и таким образом не являлось бы вовсе и искусством.

181. Если же они нетехничны, то не найдется каких-либо иных начал, кроме обихода. Итак, обиход становится критерием того, что является эллинским и что этим качеством не отличается, и нет какого-либо иного искусства по части эллинской речи.

182. Далее, так как из числа искусств одни действительно являются искусствами, как скульптура и живопись, другие же лишь рекламируются как искусства, но в действительности отнюдь не являются таковыми, как халдейское и жертвенное, то для того чтобы распознать, является ли существующее якобы по части эллинской речи искусство только обещанием или заключает в себе и некие реальные возможности, нам понадобится некоторый критерий для его проверки.

183. А этот критерий в свою очередь есть либо нечто техничное и притом техничное по части эллинской речи (коль скоро ему присуща способность проверять относительно судящего об эллинской речи искусства, здраво ли оно судит), либо — нечто нетехничное. Но техничным в отношении эллинской речи этот критерий, конечно, не является по причине вышеуказанного бесконечного ненахождения соответствующего начала. Если же брать критерий нетехничный, то мы найдем не что иное, как обиход. Следовательно, обиход, служа сам по себе критерием искусства по части эллинской речи, не будет нуждаться в искусстве.

184. Если есть только одна возможность овладеть эллинской речью, а именно путем ознакомления с ней через грамматическое искусство, это является либо чем-то непосредственно наглядным и самоочевидным, либо чем-то в известной степени неясным. Но самоочевидным оно не является, иначе в этом деле господствовало бы всеобщее единомыслие, как и в остальных самоочевидных вещах.

185. К тому же для восприятия очевидной вещи нет надобности в каком-либо искусстве, как нет в нем надобности для того, чтобы видеть белое или отвеживать сладкое или прикасаться к теплomu. А для того чтобы говорить по-эллиниски, по мнению грамматиков, есть надобность в каком-то методе или искусстве. Следовательно, эллинская речь не есть нечто самоочевидное.

186. Если же она — нечто неясное, нужно, ввиду того, что неясное познается с помощью чего-то другого, либо руководствоваться некоторым природным критерием, дающим возможность распознавать, что — эллинское и что не отличается эллинским характером, либо нужно, для того чтобы понять это (неясное), воспользоваться обиходом одного человека, в совершенстве владеющего эллинской речью, или же — обиходом всех.

187. Но природного критерия для распознавания эллинского и неэллинского у нас нет никакого. Ведь когда житель Аттики говорит

τό τάριχος (ср. р.) как эллинскую форму, а житель Пелопоннеса произносит как форму вполне безупречную ὁ τάριχος (муж. р.) и один из них говорит τὴν στάμνον (жен. р.), а другой — τὸν στάμνον (муж. р.), то для того чтобы решить, что говорить нужно так, а не иначе, в распоряжении грамматика не имеется никакого верного критерия помимо обихода каждого (из говорящих), а этот обиход не является ни техничным, ни природным.

188. Если же грамматики укажут, что нужно следовать обиходу некоего одного человека (якобы в совершенстве владеющего эллинской речью), то либо они это укажут голословно, либо — пользуясь методическими доказательствами. Но тому, что они укажут голословно, мы противопоставим голословное же утверждение, что предпочтительно следовать большинству, а не одному человеку. Если же они будут доказывать методически, что данный человек говорит по-эллинически, то они будут принуждены признать критерием эллинской речи тот метод, с помощью которого показано, что этот человек говорит по-эллинически, а не самого человека.

189. Следовательно, остается руководствоваться всеобщим обиходом. А раз это так, то нет нужды в аналогии, нужно только наблюдать, как говорит большинство, и что оно принимает как эллинское, или чего оно, наоборот, избегает, как не являющегося таковым. Эллинское же является таковым либо по природе, либо в силу установления. Но по природе оно таковым не является, а то ведь не могло бы никогда одно и то же одним казаться эллинским, другим — неэллиническим.

190. Если же эллинская речь существует в силу установления и по людскому узаконению, по-эллинически говорит тот, кто особенно много практиковался в эллинской речи путем общения с людьми и понаторел в обиходе, а не тот, кто знает аналогию. Есть и иная возможность показать, что мы не нуждаемся в грамматическом искусстве для того, чтобы говорить по-эллинически.

191. В повседневной беседе люди будут либо порицать нас за некоторые слова, либо не будут порицать. И если они будут порицать, то немедленно же и исправят нас, и таким образом наша эллинская речь будет результатом того, что установлено самой жизнью, а не грамматиками.

192. Если же они не будут недовольны, но будут соглашаться с нашими оборотами как с вполне ясными и правильными, то и мы останемся при этих оборотах. Далее, согласно с аналогией говорят либо все, либо большинство, либо широкая масса людей. Но на самом деле этого нельзя сказать ни обо всех, ни о большинстве, ни о широкой массе. Еле-еле можно найти двоих или троих подобных людей, а большинство даже и вовсе незнакомо с ней.

193. Таким образом, коль скоро необходимо следовать обиходу массы, а не каких-нибудь двух человек, то приходится утверждать, что полезным для правильного пользования эллинской речью явля-

ется наблюдение над всеобщим обиходом, а не аналогия. Ибо удовлетворительным мерилom почти всего того, что полезно для жизни, служит возможность не попадать в неловкое положение по поводу предъявляемых ею запросов.

194. Вот почему, если также и эллинская речь получила признание по причине главным образом двух основных свойств, ясности и приятности (а с ними как нечто привходящее и впоследствии сопряжено умение выражать мысли метафорически, эмфатически и согласно прочим тропам), то мы теперь будем искать ответа на вопрос, откуда это получается в большей мере, из всеобщего ли обихода или же из аналогии, и в зависимости от того или иного разрешения вопроса мы и примкнем к одному из этих направлений.

195. И вот мы убеждаемся в том, что это удастся в большей мере, если отправляться от всеобщего обихода, чем если отправляться от аналогии. Следовательно, нужно пользоваться первым, а не второй. Ведь, когда при именительном падеже Ζεύς в косвенных падежах произносятся Ζηνός , Ζηνί , Ζῆνα , а при именительном падеже κύων , κυνός , κυνί , κύνα , то массе людской это представляется ясным и даже не допускающим никакого порицания, а эти случаи взяты из всеобщего обихода. А когда от именительного падежа Ζεύς образуют формы Ζεός , Ζεί , Ζέα , а от κύων — κύωνος , κύωνι , κύωνα или же при родительном падеже κυνός утверждают существование именительного падежа κῦς , а в области глаголов образуют φερήσω , βλεπήσω наподобие ποιήσω и θελήσω , то это представляется не только неясным, но и достойным осмеяния и даже порицания.

196. А употребление таких форм происходит от аналогии. Итак, повторяю, не ею следует пользоваться, а обиходом. Как бы не оказаться им неверными своему принципу и волей-неволей принужденными пользоваться обиходом и отказаться от аналогии. Обратимся к рассмотрению того, что говорят, исходя из аналогии, т. е. в результате следования грамматикам.

197. Когда исследуется, как нужно говорить, χρήσθαι или χρᾶσθαι , то они утверждают, что нужно говорить χρᾶσθαι , а когда от них требуют подтверждения этого, то они говорят, что χρήσις и κτήσις друг другу аналогичны; подобно тому как говорится κτᾶσθαι , но не говорится κτήσθαι , так же точно χρᾶσθαι можно будет сказать, но χρήσθαι — ни в коем случае.

198. А если кто, наседая на них, спросит далее: а откуда мы знаем, что правильно сказано то самое κτᾶσθαι , которым мы пользуемся для доказательства правильности χρᾶσθαι , — то они скажут, что κτᾶσθαι говорится в обиходе. Говоря так, они допускают, что на обиход, а не на аналогию, следует обращать внимание как на критерий.

199. Ведь если χρήσθαι следует говорить, потому что в обиходе говорится κτᾶσθαι , то мы должны, отбросив теорию аналогии, прибег-

нуть к обиходу, от которого находится в зависимости и самая теория аналогии. В самом деле: аналогия заключается в сопоставлении множества схожих имен, а сами-то эти имена взяты из обихода, так что и состав материала аналогии идет от обихода.

200. А раз дело обстоит так, то приходится ставить вопрос следующим образом. Либо примите обиход как верное средство для распознавания эллинской речи, либо отвергните его. Если вы его принимаете, то наша цель тем самым и достигнута, и нет надобности в аналогии. Если же вы его отвергаете, то вы отвергаете и аналогию, так как материальный состав аналогии дается обиходом. А ведь нелепо одобрять что-либо как надежное и то же самое отстранять как ненадежное.

201. Между тем, у грамматиков, которые хотят отвергнуть обиход за его ненадежностью и, обратно, принимать его как надежный, получается, что они одно и то же делают одновременно и надежным и ненадежным. Ведь для того чтобы показать, что не следует говорить согласно с обиходом, они вводят аналогию. А аналогия не получает силы, если она не подкрепляется (показаниями) обихода.

202. Таким образом у грамматиков получается, что, изгоняя обиход обиходом, они одно и то же одновременно делают надежным и ненадежным. Разве только они скажут, что они отмечают и в то же время одобряют не один и тот же обиход, но один отмечают, другой же одобряют. Именно так и говорят последователи Пиндариона. Аналогия, мол, по общему признанию, отправляется от обихода.

203. Ибо она является теорией сходного и несходного, а сходное и несходное берется из проверенного обихода, проверенной же и древнейшей является поэзия Гомера. Ведь до нас не дошло ни одного творения более древнего, чем его поэзия. Итак, будем говорить, следуя его обиходу.

204. Но, во-первых, не всеми признается, что Гомер — древнейший поэт. Ведь одни говорят, что Гесиод ему предшествует по времени, а также Лин, Орфей, Мусей и целый ряд других. Мало того, даже убедительным представляется, что до него и при нем существовало известное число поэтов, так как и сам он в одном месте говорит:

«Ведь люди прославляют особенно такую песнь, которая, когда они ее слушают, представляется им новейшей» («Одиссея», 1, 351—352). Но эти поэты остались в тени из-за яркого сияния вокруг Гомера.

205. Но даже если Гомера признавать древнейшим поэтом, то ничего удовлетворительного Пиндарионом не сказано. Ведь как мы раньше не знали, к какому прийти решению по вопросу, необходимо ли следовать обиходу или аналогии, так и теперь мы будем расходиться в мнениях по вопросу, обиходу ли следовать или аналогии, а если обиходу, то тому ли, который отвечает Гомеру, или же обиходу прочих людей. По этому вопросу ничего не сказано.

206. Далее, следует стремиться по преимуществу подражать такому обиходу, пользуясь которым мы не будем подвергаться осмеянию. Если же мы станем следовать гомеровскому обиходу, то наша эллинская речь будет встречена смехом по поводу таких слов, как *μαρτύριοι*, *σπάρτα*, *λέλυνται* и прочих еще более странных. Таким образом, и тут у нас не получится ничего путного, несмотря на признание того, правильность чего мы стремимся доказать, т. е. что аналогией пользоваться не следует.

207. В самом деле: какая получилась разница, прибегли ли мы к обиходу массы или к обиходу Гомера? Ведь подобно тому как, когда мы имели дело с обиходом массы, необходимо наблюдение, а не техничная аналогия, так же точно и тогда, когда мы имеем дело с Гомером: ведь мы будем говорить сообразно с нашим собственным наблюдением над тем, как он имеет обыкновение говорить.

208. Все дело в том, что, подобно тому как сам Гомер пользовался не аналогией, но следовал обиходу своих современников, так и мы ни в коем случае не станем придерживаться аналогии, хотя бы ее подкреплял и Гомер, но будем отображать обиход своих современников.

209. Итак, сейчас наше критическое рассуждение о грамматиках привело нас к тому заключению, что аналогия не ведет нас по правильному пути к эллинской речи и что полезно, напротив, наблюдение обихода.

210. Это можно сделать очевидным на примере их высказываний. Формулируя определение варваризмов и солекизмов, они говорят так: «варваризм — это погрешность против всеобщего обихода, наблюдаемая по отношению к единичному слову», и «солекизм — это расходящаяся с обиходом погрешность в отношении целостного словесного сочетания и анаколуф (несогласованность)».

211. На это мы можем сразу же сказать: если варваризм имеет место в отношении единичного слова, солекизм же — в отношении сочетания слов, а раньше было показано, что не существует ни единичного слова, ни сочетаний слов, то варваризм или солекизм — нечто несбыточное.

212. С другой стороны, если варваризм мыслится (в применении) к одному слову и солекизм в применении к сочетанию слов, но и тот, и другой термины не имеют отношения к лежащим в основе их вещам, то откуда же выходит, что я сделал ошибку, если сказал *οὗτος* (этот), показывая на женщину, или *αὕτη* (эта), показывая на юношу? Ведь, с другой стороны, я не допустил солекизма, потому что не произносил сочетания из ряда несогласованных друг с другом слов, а только единичное слово *οὗτος* (этот) и *αὕτη* (эта).

213. С другой стороны, я не допустил и варваризма. Ведь в слове *οὗτος* (этот) не было ничего необычного, вроде того как существующие в употреблении у александрийцев формы *ἐλήλυθαν* и *ἄπελήλυθαν*.

Однако таких замечаний по адресу грамматиков можно было бы сделать много.

214. Но чтобы не создалось впечатление, что мы решительно во всем специально выискиваем апории, вернемся к изначальной теме и скажем следующее. Если варваризм есть отклонение от всеобщего обихода, рассматриваемое на одном слове, и то же самое приложимо к солекизму, причем только основой для его возникновения служит целый ряд слов, если (в силу этого) варварским является *τράλεσα* (вместо *τράλεζα*) ввиду того, что этот звуковой состав слова не согласен с обиходом, а к солекизмам относится предложение «долго погулявший, утомлены мои ноги», ввиду того, что так не говорят в обиходе, тем самым установлено, что искусство аналогии есть излишний термин вместо «недопущение варваризмом и солекизмов», а необходимо наблюдать обиход и с ним согласовывать свою речь.

215. Ведь если бы грамматика, перестроившись, стали утверждать, что варваризм попросту — отклонение в единичном слове, не прибавляя «от всеобщего обихода», а солекизм — отклонение в отношении всего строя речи и анаколуп, не присовокупляя слова «необычный», то они навлекли бы на себя еще большую неприятность. Ведь следующего рода вещи будут сопровождать их по всему синтаксису: «Афины, прекрасный город», «„Орест“, прекрасная трагедия», «совет шестисот». Их придется назвать солекизмами, и однако солекизмами они не являются ввиду своей обиходности.

216. Следовательно, не на основании одного только согласования слов нужно судить о солекизме, а на основании обихода.

Хорошо было бы после возражения касательно результатов следования грамматикам и их высказываний подобратиться к ним еще со стороны перехода (к новым аналогичным образованиям) на основе сходства.

217. Раз они являются теоретическими исследователями сходного, то коль скоро понятию «быть битым по чашечке» аналогично «быть битым по носу» и «(быть битым) по животу», первое же выражается словом *ἀντικνημιάζειν*, то соответственно (можно было бы сказать) также *γαστρίζειν* и *μυκτρίζειν*. То же самое следует подсказать относительно *ἰπλάζεσθαι*, *κατακρημνίζεσθαι* и *ἠλιάζεσθαι*. Но мы этих образований не употребляем ввиду того, что они идут вразрез со всеобщим обиходом, а следовательно, не (употребляем) также *κνήσω*, *φερήσω* и все прочее, основанием к употреблению чего служила бы только аналогия, — не употребляем потому, что эти образования не соответствуют обиходу.

218. Далее: раз мы говорим, что по-фракийски лучше всего говорит тот, кто говорит, как это для фракийцев привычно, и наилучшим образом по-латыни говорит тот, кто говорит, как это привычно для римлян, то последовательность требует, чтобы мы сказали также, что по-эллинически как следует говорит тот, кто говорит,

как это привычно для эллинов, если мы последуем за обиходом, а не за предписанной нормой. Итак, эллинская речь получится у нас в том случае, если мы будем следовать обиходу, а не аналогии.

219. Вообще аналогия либо находится в согласии с обиходом, либо расходится с ним. Если она в согласии с ним, то, прежде всего, подобно тому как обиход не является техничным, так и она не станет искусством. Ибо нечто, согласованное с нетехничностью, и само безусловно является нетехничным. А затем то, что является эллинским на основании обихода, окажется эллинским и на основании аналогии, если только она согласна с обиходом, так что то, что является эллинским на основании обихода и будет подлинно эллинским.

220. А раз это так, то мы не будем нуждаться в аналогии для опознания эллинского характера речи, так как для этого в нашем распоряжении имеется обиход. Если же аналогия находится в разногласии (с обиходом), то она, вводя вопреки (существующему на деле) обиходу какой-то другой и как бы варварский, безусловно потеряет всякий вес и станет совершенно негодной ввиду того, что она дает поводы к порицанию).

221. Необходимо также обратиться к аргументации, отправляющейся от состава искусства грамматиков. Ведь они, составив себе известные общие соображения, хотят исходя из этих соображений судить обо всех отдельных именах, будут ли они эллинскими или нет. Но они неспособны на это потому, что, с одной стороны, в отношении общего они не встречают признания того, что оно является общим, а, с другой стороны, когда содержание этого общего раскрывается, оно уже не сохраняет своей природы общего.

222. Возьмем пример этого у самих грамматиков. Когда в отношении какого-либо из единичных имен, например εὐμενής, ставится вопрос, следует ли косвенный падеж произносить без сигмы (ς) и говорить εὐμενοῦ, или же, напротив, с сигмой (ς) εὐμενοῦς, то грамматики тут как тут, изрекают общее правило и с его помощью устанавливают как нечто незыблемое то, что в действительности еще является предметом исследования. А именно, они говорят: «всякое оканчивающееся на ης единичное имя, имеющее острое ударение на конечном слоге, обязательно будет произноситься с сигмой (ς) в родительном падеже, как например, εὐφυής — εὐφυοῦς; εὐσεβής — εὐσεβοῦς, εὐκλής — εὐκλεοῦς. А следовательно и εὐμενής, произносимое — с острым ударением на конечном слоге, необходимо подобно этим словам произносить с сигмой (ς) в родительном падеже, т. е. говорить εὐμενοῦς».

223. Но эти чудаки прежде всего не отдают себе отчета в том, что тот, кто считает нужным говорить εὐμενοῦ, не согласится с тем их положением, что их правило является общим; именно относительно εὐμενής, являющегося единичным именем и притом с ударением на

конечном слоге, он не признаёт, что оно произносится с сигмой, но будет утверждать, что грамматики предвосхищают искомое, как если бы оно было всеми признаваемым.

224. Далее, что если правило является общим, то составлено оно ими либо так, что они подвергли просмотру все отдельные имена и подметили наличную в них аналогию, либо так, что они подвергли просмотру не все имена. Но всех они, конечно, просмотру не подвергли. Ибо их неограниченное количество, а неограниченного нельзя познать. Если же они подвергли просмотру только некоторые, то какие есть основания полагать, что всякое имя отличается такими же свойствами? Ведь нельзя же приписывать всем именам то, что имеет место в отношении некоторых.

225. Однако среди грамматиков есть такие, которые на это возражают, что общее правило, мол, получается на основании большинства случаев. Но это смешно! Ведь они упускают из виду, что, во-первых, общее — это одно, а преобладающее — нечто иное, и что общее никогда нас не обманывает, а преобладающее изредка и обманывает.

226. А во-вторых, они упускают из виду, что если общее правило и получается из большинства случаев, то свойство, имеющее место в отношении большинства имен, вовсе не должно иметь места в отношении всех сходных имен. Напротив, подобно тому как и во многом другом природа кое-что создает своеобразно, например в числе змей, число которых безгранично, — рогатую гадюку, носящую рога; в числе четвероногих — слона, снабженного хоботом; в числе рыб — пятнистую акулу, производящую на свет живых детенышей; в числе минералов — магнит, притягивающий железо, так же точно естественно, что среди множества имен с одинаковым именительным падежом окажется и такое имя, которое склоняется не одинаково с большинством.

227. Ввиду этого перестанем исследовать, является ли данное имя аналогичным большинству имен, и обратим внимание на то, как оно употребляется в обиходе, аналогично ли большинству или же на свой собственный лад. И как оно употребляется в обиходе, так и мы будем его произносить.

Но вот грамматики ввиду разнообразных преследований, которым их всюду подвергают, стремятся придать апории иное направление.

228. Обиходов, говорят они, много: у афинян — один, у лакедемонян — другой, и более того, у афинян отличны друг от друга обиходы древний и современный, а также неодинаков обиход крестьянского населения с обиходом городских жителей. Поэтому и комический поэт Аристофан говорит: «Он держался речи средних граждан, не следуя ни слегка женственной речи столичных горожан, ни слегка мужицкой речи низших слоев».

229. Поскольку обиходов много, грамматики спрашивают, каким же из них мы будем пользоваться? Ведь нет возможности следовать

ни всем (одновременно), потому что они часто находятся в противоречии друг с другом, ни какому-нибудь одному из них, если только не будет отдано предпочтение одному определенному обиходу по соображениям технического порядка. Но прежде всего — скажем мы — самое искание ответа на вопрос о том, каким обиходом следует пользоваться, равносильно существованию известного искусства по части эллинской речи. Ведь она — я имею в виду аналогию — есть исследование сходного и несходного, а сходное и несходное берется из обихода. И когда что-нибудь оказывается употребительным, вы им пользуетесь, в противном же случае — нет.

230. Итак, осведомимся и мы, из какого обихода вы берете сходное и несходное? Ведь обиходов много, и часто между ними наблюдается разногласие! Но именно то, что вы скажете, отвечая на это, вы услышите также и от нас.

231. А затем когда вы будете называть варваризмом отступление от обихода в единичном слове, мы со своей стороны выдвинем апорию, спрашивая, какой обиход вы имеете в виду, поскольку их много, и мы заявим, что следуем тому самому обиходу, которому следуете, по вашим словам, вы.

232. И вот, хотя апория является обоюдной, у нас разрешение ее неизбежно. Дело вот в чем. Из обиходов одни сопряжены с теми или иными отраслями знания, другие же с повседневной жизнью. Так, определенные слова приняты в философии, а в особенности — в медицине, но также — в музыке и геометрии. Но существует еще и повседневный простой обиход обывателей, различающийся по городам и народностям.

233. Поэтому в философии мы примкнем к обиходу философов, в медицине — к специально медицинскому, а в повседневной жизни — к более обычному, безыскусственному и характерному для данной местности.

234. И в соответствии с этим в случаях двойного обозначения одной и той же вещи мы будем пытаться, применяясь к наличным собеседникам, употреблять такие обороты, которые не подвергнутся осмеянию, каковы бы они ни были по своей природе, как, например, одно и то же называется ἄρτοφόριον и παύριον, равным образом одно и то же σταμνίον и ἀμίδιον, а также ἴυδις и βυία. Но добиваясь того, что будет отличаться красотой и ясностью, и стремясь к тому, чтобы над нами не смеялись рабы, нам прислуживающие, и обыватели, мы скажем παύριον, хотя бы оно и являлось варваризмом, а не ἄρτοφόρις, точно так же — σταμνίον, а не ἀμίς, βυία, а не ἴυδις.

235. А в научной беседе мы, считаясь с присутствующими лицами, откинем обывательские слова и будем равняться по более изысканному и литературному обиходу. Ведь подобно тому как литературный обиход подвергается осмеянию у обывателей, так же и обывательский — у литературно образованных людей. И таким образом

мы, умело воздавая каждой обстановке то, что ей приличествует, очевидно будем говорить по-эллинически безупречно.

236. Далее, если обиход упрекают в неравномерности и разное, то и мы упрекаем грамматиков по этому же самому поводу. Ведь если аналогия есть сопоставление сходного, а сходное происходит из обихода, обиход же неравномерен и неустойчив, то по необходимости получится вывод, что аналогия не имеет прочно установленных правил.

237. И это можно показать и на именах, и на глаголах, и на причастиях, и на всем остальном.

Так, например, в отношении имен, — поскольку имена аналогичные и сходные между собой в именительном падеже, в косвенных падежах имеют формы не аналогичные и не сходные между собой, как ὄρις, Χάρης, χάρτης — Ἄρεως, Χάριτος, χάρτου; Μένων, Θεών, λέων — Μένωνος, Θεώνος, λέοντος; Σκόπας, μέλας, Ἄβας — Σκόπα, μέλανος, ἐἌβαντος.

238. И в глагольных образованиях многое, в настоящем времени сходное между собой, имеет не аналогичные формы в прочих временах, у некоторых же из них известные части спряжения отсутствуют, например, αὐλεῖ, ἀρέσκει — ἠύληκεν, ἀρήρεκεν; κτείνεται говорится, ἔκτανκε — не говорится. Ἀλήλιπται можно сказать, но — ἤλειπται уже нельзя. В причастиях: βουῶν, σαροῶν, νοῶν — βουῶντος, σαροῦντος, νοοῦντος. В именах нарицательных: ἄναξ, ἄβαξ, ἄνακτος, ἄβακος; γραῦς, ναῦς — γραός, νηός. Точно так же и в подобных этим случаях.

239. Так, слово ἄρχων употребляется как в качестве личного имени, так и в качестве обозначения «занимающего должность архонта». Но от имени косвенный падеж будет Ἄρχωνος, от причастия же ἄρχοντος. И сходным образом μένων, θέων, νέων в зависимости от того, являются ли они причастиями или личными именами, получают различное склонение. От имени образуется Μένωνος, от причастия же μένοντος; от имени — Θεώνος, от причастия же θέοντος.

240. А отсюда ясно, что ввиду неравномерности обихода правила аналогии не являются неизблемыми; нам поэтому следует от них отказаться и обратить внимание на формы, отвечающие обиходу, откинув аналогию.

Варрон. О латинском языке IX.

1.... Иным легче учить, чем научиться тому, чего они не знают. Так, известный грамматик Кратет, следуя остроумнейшему Хрисиппу, который оставил книги «Об аномалии», выступил против аналогии и Аристарха, но, как показывают его сочинения, по-видимому, не понял мысли ни того, ни другого: ибо и Хрисипп, говоря о неравномерности речи, ставил себе целью показать, что сходные вещи обозначаются несходными словами, и несходные — сходными,

как это и есть в действительности, и Аристарх, говоря о равномерности, советует соблюдать некое подобие в склонении слов, лишь насколько это допускает обиход.

2. Но если кто предлагает нам следовать в речи частично обиходу, а частично правилу, то он не так уже непоследователен.

3. Потому что обиход и аналогия ближе друг другу, чем думают противники: аналогия родилась из некоторого обихода, и из того же обихода — аномалия; следовательно, раз обиход охватывает несходные и сходные слова и их склонения, то не следует отвергать ни аномалию, ни аналогию; ведь нельзя отрицать, что человек состоит из души, на том основании, что он состоит из тела и души.

4. Но чтобы было яснее то, что я говорю, необходимо прежде провести различие в трех соотношениях (ибо по большей части с обеих сторон говорят общее то, что нужно отнести лишь к той или иной группе вещей): во-первых, в соотношении естественности и применимости: эти два определения заключают в себе различие, потому что одно — сказать, что существуют аналогии слов, а другое — сказать, что следует применять аналогию; во-вторых, в соотношении множества и границы — будем ли мы говорить об аналогии всех слов или некоторой части, или большей части; в-третьих, в соотношении лиц, которые должны пользоваться аналогией, — тут возможно несколько случаев.

5. Ибо одно свойственно народу в целом, другое — отдельным людям, а среди последних — не одно и то же оратору и поэту, потому что права их не одинаковы. Итак, народ в целом должен для всех слов применять аналогию, и если его привычки неправильны — сам их исправлять, тогда как оратор не должен применять ее повсюду, и не может сделать это, не нарушая пределов положенного, а поэт может безнаказанно выходить за эти пределы.

37. Надо заметить, что в природе есть четыре формы, с которыми должны согласовываться слова при склонении: должна существовать вещь, которая обозначается; затем, чтобы эта вещь имела применение; чтобы природа слова, взятого для обозначения, была такова, что допускает склонение; и чтобы внешний вид слова был таков, что может склонением породить из себя определенный тип.

38. Так, нельзя требовать, чтобы от terra (земля) было образовано terrus (муж. р.), потому что природа не допускает, чтобы в этом случае требовалось одно для мужского, другое для женского рода; подобно этому и исходя из применимости нельзя требовать, чтобы если Terentius означает одного человека, а несколько человек — Terentii (мн. ч.), то так же говорилось бы faba (боб, в собирательном смысле) и fabae (мн. ч.); ибо не одинакова применимость того и другого; и нельзя требовать, чтобы так же как от Terentius мы образуем Terentium (вин. п.), велось бы склонение от А и В, потому что не всякое слово по природе имеет склонение.

39. И не только в сравнении формы слов нужно искать, что у них сходно по внешнему виду, но нередко (надлежит искать сходство) и в том, каково их действие. Так, галльская и апулийская шерсть неопытному кажутся сходными на вид, тогда как опытный за апулийскую платит дороже, потому что она прочнее в употреблении...

40. На вопрос, с какой стороны должно быть сходство в словах — со стороны звука или значения, — мы отвечаем: со стороны звука; но все же нередко мы исследуем, сходно ли по роду обозначаемое, и сравниваем мужское имя с мужским, женское с женским — не потому чтобы само обозначаемое оказывало воздействие на звук, но потому, что нередко при несходстве вещей им придают сходные по форме названия; так, мы называем башмаки мужскими или женскими, смотря по их внешнему виду, хотя знаем, что иногда и женщина носит мужские башмаки, и мужчина — женские.

41. Так, мужчина носит имя *Perreppa* или *Alfena*, женское по форме; и наоборот, *ragies* (стена) по форме сходно с *abies* (ель), но первое из этих слов считается мужского рода, а второе — женского, тогда как по природе и то и другое среднего. Итак, мы причисляем к мужскому роду не те слова, которые означают мужчину, по которым мы придаем *his* и *hi* (этот, эти), и также к женскому — о которых можем сказать *haec* или *hae* (эта, эти).

55. Утверждают, что раз всякая природная вещь или мужского, или женского, или среднего рода, то должны были бы из каждого слова произойти три словесные формы, как *albus*, *alba*, *album* (белый, белая, белое); а между тем для многих вещей их по две, как *Metellus* — *Metella* (жен. р.), *Ennius* — *Ennia* (жен. р.), а иногда и по одной, как *tragoedus* (трагический актер), *comoeus* (комический актер); так, существует *Marcus*, *Numerius*, но не существует *Marcia*, *Numeria*; говорится *corvus*, *turdus* (ворон, дрозд), но не говорится *corva*, *turda*; напротив, говорится *panthera*, *merula* (пантера, черный дрозд), но не говорится *pantherus*, *merulus*... и вообще большое число слов этого рода не соблюдают аналогии.

56. На это мы отвечаем, что хотя за всякой речью скрывается природная вещь, однако, если она не доходит до практического применения, то и слова до нее не доходят; таким образом, говорится *equus* (жеребец) и *equa* (кобыла), потому что их различия имеют практическое значение; а *corvus* и *corva* — нет, потому что здесь природное различие не имеет практического значения. Поэтому в некоторых случаях раньше было не так, как теперь: например *columbae* (мн. ч. от *columba* — голубь) назывались все, и самцы и самки, потому что не были в домашнем употреблении, как теперь; теперь же, наоборот, вследствие их домашнего употребления, которое мы усвоили, самец называется *columbus*, а самка — *columba*.

57. Когда существуют три естественных рода и это различие имеет значение для практики, тогда оно проявляется, как например

в *doctus, docta, doctum* (ученый, ученая, ученое): ведь ученость может переходить по этим трем родам, а практика научила отличать ученую вещь от людей, а среди последних — мужчину от женщины. А в мужском, женском и среднем природа мужского и женского и среднего остается неизменной, и потому не говорится *feminus, femina* (женщина), *feminum* и прочее; так что они названы особыми, отдельными словами.

58. Поэтому, если в каких-либо вещах нет подобной природы и применения, то и в соответствующих словах не следует искать соотношений такого рода; таким образом говорится, как *surdus vir, surda mulier* (глухой мужчина, глухая женщина), так и *surdum theatrum* (глухой театр), потому что все три предназначены для слушания; напротив, никто не говорит *cubiculum surdum* (глухая спальня) (ср. р.), потому что она — для тишины, а не для слушания; но если в ней нет окна, то она называется *caecum* (слепое), так же как говорится *caecus* (слепой) и *caeca* (слепая): ведь свет должны иметь все помещения.

66. Необдуманно поступают также и те, которые недовольны, что не говорится *acetum* (уксус) — *aceta* (мн. ч.), *garum* (соус) — *gara* (мн. ч.), подобно *unguentum* (мазь) — *unguenta* (мази), *vinum* (вино) — *vipa* (вина). Действительно они хотят иметь обозначение множества для того, что подлежит скорее измерению и взвешиванию, чем счету: ведь о свинце, серебре, если произошло приращение, мы говорим *multum* (много) — *multum plumbum* (много свинца), *multum argentum* (много серебра), а не *plumba* (мн. ч.), *argenta* (мн. ч.), тогда как о том, что из них сделано, мы говорим *plumbea* (свинцовые, мн. ч. ср. р.), *argentea* (серебряные, мн. ч. ср. р.) (ведь когда говорится *argenteum* (серебряное), то тут нечто другое, тут уже есть изделие: «серебряное», это есть кубок или что-нибудь такое): и этим выражаем, что много кубков, а не много серебра.

67. Если у тех вещей, которым по природе присуща мера, а не число, есть несколько разновидностей, которые имеют практическое применение, они называются вследствие множественности разновидностей так, как *vipa* (вина) и *unguenta* (мази); ведь одного рода вино с Хиоса, другого — с Лесбоса, также и из других местностей... Точно так же, если бы на практике были известны существенные различия в масле, в уксусе и в других вещах подобного рода, то говорилось бы *olea* (мн. ч. от *oleum*, масло), как говорится *vipa*.

Таким образом в обоих случаях пытаются неосновательно разрушить аналогию — и тогда, когда ищут сходных слов при несходном употреблении, и тогда, когда думают, что одинаково нужно говорить о том, что мы измеряем, и о том, что мы считаем.

91. Упрекают Аристарха за то, что он отрицает сходство в именах *Melicertes* и *Philomedes* на том основании, что в звательном падеже

одно имеет *Melicerta*, а другое — *Philomedes*; также — если кто скажет, что между *lepus* (заяц) и *lupus* (волк) нет сходства, потому что у одного звательный падеж *lure*, а у другого — *lepus*; также *socer* (свекор), *maser* (тощий), потому что при переходе получится от одного трехсложное *soceri* (род. п.), от другого — двусложное *masi* (род. п.). Хотя на это уже дан ответ выше, где я говорил о шерсти (39), все же я и здесь еще добавлю, что сходными вещи называются не по одной только внешности, но и по некоторой присущей им силе и способности, которая часто бывает скрыта от зрения и слуха; так что мы не считаем сходными яблоки совершенно одинакового вида, если они различного вкуса...

93. Поэтому не заслуживает упрека тот, кто следует такому же правилу и по отношению к сходству слов.

94. Так, надлежит брать для различения сходного какой-нибудь падеж, подобно тому как нередко берется местоимение. Например для слов *petus* (роща), *lepus* (заяц): *hic* (этот) *lepus*, *hoc* (это) *petus*; соответственно они расходятся и тогда, когда говорится *hi leporum* (эти зайцы), *haec petum* (эти рощи). Так и другое что-нибудь можно будет присоединить извне, чтобы глубже было видно сходство; и это совсем не будет далеко от природы: ведь и о двух магнитных камнях не сможешь решить, сходны они или нет, если не положить вблизи мелкие кусочки железа, которые от сходных камней получают сходное движение, а от несходных — несходное.

96. Несправедливо выступают против аналогии, когда утверждают, что она не соблюдается во временах глаголов, когда говорится *legi* (я прочел), *lego* (я читаю), *legam* (я буду читать) и т. п.: ибо формы, сходные с *legi*, означают завершённое действие, а остальные две — *lego* и *legam* — только начатое. Ведь в каждом залоге и виде один и тот же взятый нами глагол можно провести по всем временам, как например *discebam*, *disco*, *discam* (я учился, я учусь, я буду учиться), и по тем же временам совершенного вида — *didiceram*, *didici*, *didicero* (я научился (раньше), я научился, я научусь).

99. Подобным же образом ошибаются и те, кто говорят, что в таких случаях, как *pungo*, *pungam*, *purugi* (я колю, я буду колоть, я уколол), *tundo*, *tundam*, *tutudi* (я ударяю, я буду ударять, я ударил), или все глаголы должны менять слоги с обоих концов, или ни один: ведь они сравнивают несходное, глаголы несовершенного вида с совершенными. А если бы они сравнивали только несовершенные, то все начала глаголов оказались бы неизменяемыми, как, например, *pungebam*, *pungo*, *pungam* (я колел, я колю, я буду колоть), и, наоборот, менялись бы с обоих концов, если взять совершенные, как, например, *purigebam*, *purugi*, *purigero* (я уколол (раньше), я уколол, я уколую).

108. Приводят против аналогии и то обстоятельство, что от сходного не склоняется сходное, как например от *dolo* (я обтесываю) и

colo (я возделываю): от одного говорится dolavi (я обтесал), от другого colui (я возделал). В этих случаях нужно дополнительно взять что-нибудь, чтобы легче было образовать остальное; вроде того, как это бывает с мелкими работами Мирмекида. Действительно, в глаголах сходство часто бывает так смутно, что не различается, если не перейдешь на другое лицо или время; и для данных глаголов становится понятным, что они несходны, когда перейдем ко второму лицу: один дает dolas, другой colis.

109. Поэтому в остальных формах каждый из этих двух глаголов следует своему образцу. Для различения сходств важно, имеет ли глагол во втором лице последний слог as, или is, или es: поэтому признак аналогии скорее здесь, чем в первом лице, где несходство бывает затемнено, как это видно на примере глаголов тео (ступая), пео (пряду), гуо (рушусь): при переходе от этих форм образуются несходные, ибо говорится так: тео — теas, пео — pes, гуо — guis; и каждая из этих разновидностей в дальнейшем сохраняет свою форму сходства.

Варрон, О латинском языке X.

3. Прежде всего следует сказать о сходстве и несходстве, потому что в этом основа всех склонений и закон, управляющий речью. Сходно то, что представляется имеющим большинство признаков такими же, как и то, с чем оно сходно. Несходно то, что представляется противоположным этому. Всякое сходство — и также всякое несходство — состоит не менее чем из двух вещей, потому что ничто не может быть сходным без того, с чем оно сходно, и ничто не называется несходным без присовокупления того, с чем оно не сходно.

4. Так, говорится, что человек похож на человека, копь на коня, и человек не похож на коня... а среди самих людей более похож мужчина на мужчину, чем мужчина на женщину, потому что у них больше одинаковых частей; и также старик более похож на старика, чем на мальчика. А еще более похожи те, у которых почти одинаково лицо, телосложение, фигура. Итак, те, кто имеют больше одинаковых черт, называются более похожими, а те, которые наиболее приближаются к тому, чтобы иметь все одинаковое, называются двойниками, вполне сходными.

7. Вот, следовательно, что нужно внимательно рассмотреть в словах, какие части и в каких отношениях должны иметь сходными те слова, которые считаются имеющими сходство; как будет показано ниже, это вопрос весьма скользкий. Действительно, что может показаться, при недостаточном внимании, более сходным, чем такие два слова: suis и suis? А между тем они не таковы, потому что одно означает шитье (suere — шить, 2 л. ед. ч.: suis), а другое — свинью (sus, род. п. suis). Так, те слова, которые мы признаем сходными по звукам и слогам, оказываются несходными как части речи, потому что одно имеет

времена, а другое — падежи: две вещи, которые создают наибольшее различие в области аналогии. Также и более близкие между собой по роду слова часто порождают подобную же ошибку, как, например, в следующем: слова *petus* (роща) и *lerus* (заяц) кажутся сходными, потому что оба имеют одинаковый прямой падеж; но здесь нет сходства, потому что для этого нужны известные сходные черты, в том числе — чтобы слова находились в одном роде имен, чего у этих слов нет: ибо *lerus* мужского рода, а *petus* — среднего...

9. Поэтому тот, кто станет исследовать, соблюдается ли в склонениях слов аналогия или нет, должен рассмотреть, какие и какого рода бывают сходства в этом отношении. Вопрос этот вследствие его трудности писавшие об этих вещах или оставляли в стороне, или только затрагивали, но не могли завершить.

10. И здесь обнаруживается разногласие, и даже много разногласий; одни определили число аналогий по всем вообще отличительным признакам (например, Дионисий Сидонский, который пишет, что их семьдесят одна), другие — лишь для той части, которая имеет падежи; да и здесь, в то время как он говорит, что отличий сорок восемь, Аристокл свел их к четырнадцати пунктам, Пармениск — к восьми, другие — к меньшему или большему числу.

14. Первое разделение в речи то, что одни слова совсем не склоняются, как, например, *vix* (едва), *toх* (вскоре), другие склоняются, как, например, от *lino* (я полирую), *lino* (я буду полировать), от *fero* (я несу), *fero* (я нес); и так как аналогия может быть только в тех словах, которые склоняются, то кто говорит, что сходны слова *noх* (ночь) и *toх* (вскоре), тот ошибается, ибо эти слова не одного и того же рода: *noх* должно подчиняться чередованию падежей, а *toх* и не должно и не может.

15. Второе разделение касается тех слов, которые могут склоняться, потому что одни из них — от произвола, другие — от природы... Из этих двух частей произвольное склонение относится к области обихода, естественное — к области аналогии.

16. Поэтому нельзя, сравнивая одно с другим как сходное, сказать, что как от *Roma* (Рим) — *Romanus* (римлянин), так от *Capua* (Капуя) надо говорить *Capuanus* (вместо *Capuensis*, житель Капуи); здесь в обиходной речи сильные колебания, потому что склоняющие неумело дают имена вещам, а когда это от них воспринимается обиходом, то оказывается необходимым говорить неровно. Таким образом ни аристарховцы, ни другие аналогисты не взяли на себя защиту этого рода склонения, но, как я уже сказал, здесь склонение в обиходной речи страдает недугом, потому что порождается переменчивым и неопытным народом; поэтому в этой области речи в большей мере имеет место аномалия, чем аналогия.

17. Третье разделение: слова, склоняющиеся от природы, делятся на четыре части; первая имеет падежи и не имеет времени, как,

например, *docilis* ([легко] учимый), *facilis* ([легко] делаемый); вторая имеет времена и не имеет падежей, как, например, *docet* (он учит), *facit* (он делает); третья имеет и то и другое, как, например, *docens* (учащий), *faciens* (делающий); четвертая — ни того, ни другого, как, например, *docte* (учено), *facete* (остроумно). В этом разделении каждая часть несходна с тремя остальными. Поэтому, если сравниваемые между собой слова не принадлежат к одной и той же части, то при наличии схождения между ними, сходство это не должно приводить к одинаковым результатам.

21. Чтобы именование было сходно с именовани^{ем}, оно должно быть того же рода, того же вида, а равно в том же падеже и с тем же окончанием. Того же вида — чтобы если сравнивать имя, то именем было и то слово, с которым сравниваешь; сходно родом — чтобы не одно только, а оба были, например, мужского рода; сходно падежом — чтобы если одно в дательном, то и другое было в дательном; окончанием — чтобы какие имеет одноконечные буквы, такие же имело и другое.

22. К этому четверному источнику направляются ряды по двум направлениям — одни поперечные, другие отвесные, как это бывает на доске для игры в кости. Поперечные — это те, что склоняются от прямого падежа вкось, как, например, *albus, albi, albo* (белый, белого, белому); отвесные — те, что склоняются от прямого падежа к прямым же, как, например, *albus, alba, album* (белый, белая, белое); и те и другие имеют по шесть частей. Части поперечных рядов называются падежами, отвесных — родами; и те и другие переплетаются между собой в самой форме.

25. Важно также, каков внешний вид слова, потому что он может претерпеть изменение иногда в начале слова, как, например, *sūt, sūit* (он шьет, он сшил); иногда в середине, как например *curso, cursito* (бегаю, бегаю взад и вперед); иногда в конце, как например *doceo, docui* (я учу, я научил); иногда общее, как, например, *lēgo, lēgi* (я читаю, я прочел). Важно, значит, из каких букв состоит каждое слово, и особенно его конец, потому что в большинстве случаев изменяется именно он.

26. Поэтому и в этих частях одни устанавливают сходство хорошо, другие дурно, и надо следить, правильно или неправильно это делается при сравнении падежей; но везде, где только колеблются буквы, надо обращать внимание не только на них, но также и на ближайшие, остающиеся неподвижными, ибо это соседство имеет некоторое значение в склонении слов.

27. В этом внешнем виде мы назовем сходным не то, что означает сходные вещи, а то, что имеет такую форму, которая по установившемся порядку обычно означает такого рода вещи; подобно тому как мужской или женской туникой мы называем не ту, которую носит мужчина или женщина, а ту, которую они должны носить по уста-

новившемся порядку; ведь может мужчина носить женскую, а женщина мужскую, например как мы это видим на сцене у актеров; но мы называем женской ту, которая принадлежит к такому роду одежды, какой положено пользоваться женщинам. Как актер носит женскую одежду, так можно сказать, что Перпенна и Кекина, и Спурина носят женские по внешнему виду имена, но не имена женщин.

28. Надо обращать внимание и на сходство в изменении, потому что свойства одних слов видны из тех самых слов, от которых они склоняются; например, почему от *praetor, consul* (претор, консул) должны быть *praetori, consuli* (претору, консулу); другие уясняются в переходе: например, *socer, maser* (свекор, тощий): одно образует *socerum* (свекра, вин. пад.), другое *maserum* (тощего, вин. пад.), и оба в остальных склонениях как единственного числа, так и множественного следуют своему пути, указываемому переходом. Происходит это потому, что есть два рода естественных свойств, которые можно сопоставить между собой; один род ясен сам по себе, как *homo* (человек) и *equus* (конь); другой не может уясниться без некоторой взятой извне вещи, как *equus* (конник) и *equus* (конюх), ибо и тот и другой получили название от коня.

29. Поэтому узнать, похож или не похож человек на человека, можно по самим наблюдаемым людям, сравнив их; а одинаково ли эти двое превосходят ростом своих братьев, невозможно сказать, если не будешь знать, какого роста эти менее высокие, с которыми их сравнивают; также не может быть усмотрено, без привнесения чего-то извне, сходство в более широком, более глубоком и в остальном того же рода. Так, следовательно, и некоторые падежи, относящиеся к этому роду, нелегко назвать сходными, если будешь рассматривать только слова сами по себе, взятые в отдельности, и не присоединить сюда и другого — в какую сторону клонится переход слова.

30. Для членов кое-что будет так же, кое-что иначе. Действительно, из пяти родов два первых они имеют теми же, потому что бывают и мужскими, и женскими, и средними, и иные означают единичное, иные множественное; из падежей они имеют пять, так как обозначения звательного падежа у них нет. Отличительное их свойство — что частью они определенные, как *hic, haec* (этот, эта), частью неопределенные, как *quis, quae* (какой, какая). Так как их аналогия смутна и скудна, больше говорить о них в этой книге нет необходимости.

31. Второй род — это слова, которые имеют времена и не имеют падежей, но имеют лица. У них есть шесть видов склонений. Одно называется временным, как *legebam, gemebam* — *lego, gemo* (я читал, я стонал — я читаю, я стону). Другое — по лицам: *sero, meto* — *seris, metis* (я сею, я жну — ты сеешь, ты жнешь). Третье — вопроса, как *scribone, legone* (пишу ли я, читаю ли я). Четвертое — ответа, как *tingo, pingo, fingis, pingis* (я леплю, я рисую, ты лепишь, ты рисуешь). Пятое — пожелания, как *dicerem, facerem, dicam, faciam* (чтобы я

говорил, чтобы я делал). Шестое — повеления, как *саре, гаре, сарито, гарито* (бери, хватай, ты должен брать, ты должен хватать).

33. Сюда присоединяются разновидности от четырех попарных разделений: несовершенное и совершенное — *емо, edo; емі, еді* (я покупаю, я ем; я купил, я съел); однократное и многократное — *scribo, lego; scriptitavi, lectitavi* (я пишу, я читаю; я пописывал, я почитывал); действительное и страдательное — *уго, ungo; ugor, ungor* (я жгу, я мажу; я жгусь, я мажусь); единственное и множественное — *laudo, culpro; laudamus, culparamus* (я хвалю, я виню; мы хвалим, мы виним).

51. Аналогия имеет основу или в произволе людей, или в природе слов, или в том и другом. Произволом я называю установление слов, природой — склонение слов, к которому прибегают, не имея научных знаний. Кто последует за установлением, тот скажет, что если сходно в прямом падеже *dolus* (умысел) и *malus* (злой), то в косвенном будет *dolo* (умыслом) и *malo* (злым); кто последует за природой, скажет, что если сходно в косвенных *Marcus, Quinto* (Марку, Квинту), то должно быть *Marcus, Quintus* (Марк, Квинт); кто последует за тем и другим, скажет, что если есть сходство, то каков переход в *servus, serve* (раб — им. п., раб — зват. п.), такой же должен быть и в *servus, serve* (олень — им. п., олень — зват. п.). Общим для всех случаев является, что четыре словесные формы имеют соотносительное склонение.

53. Кто полагает начало аналогии в установлении, отсюда должен будет склонять косвенные формы; кто полагает его в природе — наоборот; кто — и в том и другом, образует от переходов упомянутого рода и остальные формы склонения. Установление в нашей власти, а мы во власти природы: ибо каждый устанавливает имя, как ему угодно, а склоняет так, как угодно природе.

54. Но слово устанавливается двумя способами — или для единичной вещи, или для множества: для единичной, как *сісег* (горох), для множества — как *scalae* (лестница, собственно, «ступени»); и нет сомнения, что ряд склонений, в котором будут склоняться одни лишь единичные вещи, должен отправляться от некоторого единичного падежа, как *сісег, сісегі, сісегіс* (горох, гороху, гороха); и что, наоборот, в том ряде, который свойствен одному только множеству, надлежит начинать от некоторого множественного падежа, как *scalae, scalis, scalas*; вот и нужно рассмотреть, когда соединены две природы и являются два рода склонений, как *mas, mages* (мужчина, мужчины — им. п. мн. ч.), откуда тогда должен начинаться порядок аналогии: от единичной вещи ко множественности или наоборот? Ведь если природа восходит от одного к двум, то отсюда не следует, что позднейшее не может быть более значительным в изложении, так что начинать нужно было бы обязательно с того, чтобы показать, что является первым. Так и те, которые рассуждают обо всей природе и потому называются физиками, отправляясь отсюда, от целостной

природы, обратно, показывают, каковы начала мира. И хотя речь состоит из букв, грамматики изъясняют буквы, исходя из речи.

56. И так как следует скорее отправляться от того, что очевиднее, чем от того, что первее, и скорее от неискаженного начала, чем от искаженного, и скорее от природы вещей, чем от произвола людей, а эти три предпочтительные части менее присутствуют в единичном, чем во множественном, — то поэтому при доказательстве удобнее исходить из множественности: в этих началах меньше оснований для измышления слов.

58. Если окажется, что прямой падеж множественного числа имеет искаженную форму, что бывает редко, то мы его исправим прежде чем начать с него: нужно выбрать из косвенных те формы, которые будут недвусмысленны — единичные или множественные — чтобы из них можно было видеть, к какому образцу они должны относиться.

60. Мы должны предпочтительнее всего следовать за таким началом, основанием которого являлась бы природа, потому что тогда в склонении легче установить закономерность. Ведь легко заметить, что ошибка скорее может произойти в установлении, которое происходит по большей части в прямом падеже единственного числа, потому что необразованные и несогласно действующие люди дают вещам имена так, как их повлечет прихоть; а природа сама по себе большей частью остается неискаженной, если ее не извратит кто-нибудь неумелым обращением.

61. Поэтому, если кто положит в основу аналогии природные падежи, а не устанавливаемые, то на долю обихода остается лишь немного, и человеческая прихоть будет исправляться природой, а не природа прихотью; у тех же, кто захочет следовать за установлением, это будет происходить наоборот.

62. А если кто предпочтет исходить из единственного числа, то ему нужно будет начать с шестого падежа, который является собственным латинским, ибо по различиям букв этого падежа ему легче будет различать многообразие остальных: этот падеж оканчивается или на *a*, как *has terra* (этой землей), или на *e* как *has lance* (этим блюдом), или на *i*, как *has levi* (этой легкой), или на *o*, как *hos caelo* (этим небом), или на *u*, как *hos versu* (этим стихом). Итак, для показания склонений возможен двоякий путь.

74. Не одинаково определяется та аналогия, которая руководится природой слов, и та, которая приноравливается к обычной речи. Первая должна определяться так: аналогия есть сходное склонение сходных слов. Вторая же так: аналогия есть сходное склонение сходных слов, не противоречащее общепринятому обиходу. Если к определению последней из этих двух в конце его прибавить: до некоторой степени, — то получится определение поэтической аналогии. Из этих аналогий первой должен следовать народ в целом, второй — каждый отдельный представитель народа, третьей — поэты.

79. Что представляет собой аналогия в речи и каких бывает видов, и какой из них представляется нужным следовать, — я коротко изложил, как мог; теперь скажу, где ее не должно быть, хотя ее и там обыкновенно ищут, как будто бы она там должна была быть.

Таких случаев можно насчитать четыре. Во-первых, не следует искать аналогии в словах такого рода, которые не склоняются, как например в таких: *pequam* (негодный, несклоняемое слово), *tox* (вскоре), *vix* (едва)...

82. Во-вторых, если слова имеют только один падеж, потому что не склоняются, каковы все имена букв. В-третьих, если ряд данного слова единичен и не имеет другого, с которым мог бы быть сравнен, каковым считают *caput*, *capiti*, *capitis*, *capite* (голова, голове, головы, головой). В-четвертых, если между теми четырьмя словами, которые сравниваются между собой, нет нужного соотношения, как *socet*, *socrus*; *soceros*, *socrus* (свекор, свекровь; свёкров, свекровей — вин. п.).

83. С другой стороны, в тех случаях, когда следует искать аналогии, должны соединиться, пожалуй, столько же условий. Во-первых, чтобы существовали вещи; во-вторых, чтобы они имели применение; в-третьих, чтобы эти вещи имели названия; в-четвертых, чтобы они имели естественные склонения.

VIII. СИСТЕМА «АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ» ГРАММАТИКИ

ИСКУССТВО

2-е приложение к руководству Дионисия Фракийца.

Искусство (τέχνη) есть система приемов, усвоенных для какой-нибудь полезной в жизни цели. В искусствах две разновидности. Одни из них — логические, другие — практические; логические — например, грамматика, риторика, философия; практические — например, строительное, кузнечное и сходные с ними.

ГРАММАТИКА

Определения у отдельных авторов

Дионисий Фракийец 1.

Грамматика есть осведомленность (эмпирия) в большей части того, что говорится у поэтов и прозаиков.

Птоломей. (Секст Эмпирик, Против грамматиков 61.)

Птоломей Перипатетик упрекает его (Дионисия Фракийца), так как не надлежало называть грамматику эмпирией. Эмпирия есть некий навык и пользуется голым наблюдением и упражнением, без искусства и логики; а *грамматика* — искусство.

Асклепиад из Мирлеи. (Секст Эмпирик, там же, 74.)

Грамматика есть искусство, относящееся к тому, что говорится у поэтов и прозаиков.

Харет. (Секст Эмпирик, там же, 76.)

Высшая *грамматика* есть основанное на искусстве умение разбираться точнейшим образом в том, что у эллинов говорится и мыслится, кроме (вопросов), подлежащих ведению других искусств.

Деметрий Хлор. (Секст Эмпирик, там же, 84.)

Грамматическое искусство есть знание словесного выражения у поэтов и в обыденной речи.

Аристон. (Марий Викторин VI, 4 К.)

Грамматика есть искусство понимать поэтов и историков, руководящее главным образом формой речи в соответствии с аналогией и обиходом.

ЧАСТИ И ЗАДАЧИ ГРАММАТИКИ

Дионисий Фракийец 1.

Частей у нее шесть: первая — чтение, умелое, соответственно просодии, вторая — объяснение согласно наличным поэтическим тропам, третья — общепонятная передача трудных слов и рассказов, четвертая — нахождение этимологии, пятая — отбор аналогий, шестая — оценка произведений, что является самым прекрасным в этом искусстве.

Диомед I, 426 К.

У грамматики две части: одна называется *экзегетикой*, другая *ористикой* (ὀριστική). Экзегетика — изъяснительная часть, которая касается чтения; ористика — определительная, которая указывает наставления; разделы ее — части речи, достоинства и недостатки (стиля). Грамматика в целом состоит главным образом в понимании поэтов и прозаиков, в легком изложении рассказов и в теории правильности речи и письма.

Задачи грамматики, как утверждает Варрон, складываются из четырех частей: чтения, изъяснения, исправления, оценки.

ЭЛЕМЕНТ, БУКВА (στοιχεῖον, γράμμα; littera)

Дионисий Фракийец 6.

Букв двадцать четыре от α до ω.

Буквы (γράμματα) называются так от того, что изображаются черточками (γράμμαί) и царапинами; ведь γράψαι означает «царапать» у древних, как, например, у Гомера: «Ты, у меня лишь пята оцарапавши, столько гордишься» (Илиада, XI, 388). Они же называются и элементами (στοιχεῖα), так как в них есть некий порядок (στοῖχος) и строй.

Из них гласных семь: α, ε, η, ι, ο, υ, ω. Они называются гласными, так как они сами по себе образуют полный звук.

Из гласных — долгих две: η и ω, кратких две: ε, ο, двухвременных три: α, ι, υ. Последние называются двухвременными, так как они и удлиняются и сокращаются. Гласных, ставящихся впереди, пять: α, ε, η, ο, ω. Они называются ставящимися впереди, так как, будучи

поставлены перед ι и υ, образуют слог, например, αι, αυ. Ставящихся позади две: ι и υ. Иногда υ ставится перед ι, как в словах μυῖα и ἄρτυια.

Двугласные шесть: αι, αυ, ει, ευ, οι, ου.

Согласные остальные семнадцать: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ. Согласными они называются потому, что сами по себе не имеют звука, но в сочетании с гласными образуют полный звук.

Из них полугласных восемь: ζ, ξ, ψ, λ, μ, ν, ρ, σ. Полугласными они называются потому, что они, хотя и менее чем гласные, обладают звуком при мычаниях и свистах. Безгласных девять: β, γ, δ, κ, π, τ, θ, φ, χ. Безгласными они называются потому, что дают худший звук, чем остальные, подобно тому как мы называем безголосым трагического актера с дурным голосом.

Из них простых три: κ, π, τ; густых три: θ, φ, χ; средних между ними три: β, γ, δ. Средними они называются потому, что они гуще простых и проще густых. И в частности β есть средняя между π и φ; γ — средняя между κ и χ; δ — средняя между θ и τ.

Из согласных двойными являются три: ζ, ξ, ψ. Двойными они называются потому, что каждая составлена из двух согласных: ζ из σ и δ, ξ из κ и σ, ψ из π и σ.

Неизменяемых четыре: λ, μ, ν, ρ. Неизменяемыми они называются потому, что не изменяются в будущих временах глаголов и в склонении имен. Они же называются и плавными.

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен 14.

Началом человеческой членораздельной речи, уже не поддающимся делению, является то, что мы называем элементами или буквами: буквами (γράμματα) — потому что они обозначаются начертаниями (γραμμάι), а элементами — потому что всякая речь берет начало от них и разлагается в конечном счете на них же. Природа элементов или букв не у всех одинакова. Различаются они, во-первых, как это объясняет Аристоксен, автор сочинений о музыке, тем, что одни из них передают голоса, а другие — шумы: голоса передаются так называемыми гласными, всеми же остальными передаются шумы. Во-вторых, негласные буквы делятся на такие, которые могут сами по себе передавать некоторые шумы, как свист, шипенье, сопенье и некоторые другие подобного рода звуки, и на такие, которые совершенно не имеют ни голоса, ни шума и звучать сами по себе не могут. Поэтому-то их и называют иногда безгласными, а те — первые — полугласными. Иногда же, давая основным, элементарным голосовым средствам деление тройное, называют гласными все те буквы, которые и сами по себе, и в сочетании с другими обладают голосом, будучи самозвучными; полугласными — те, которые в сочетании с гласными звучат сильнее, чем взятые одни, сами же по себе звучат хуже и не полно; безгласными — те, которые сами по

себе не имеют ни самостоятельного, ни полусамостоятельного звука, а звучат лишь в сочетании с другими.

Определить в точности их число нелегко: большие затруднения создавал этот вопрос и нашим предшественникам. Некоторые полагали, что звуковых элементов имеется всего тринадцать, прочие же образуются из них; другие считали, что их больше даже тех двадцати четырех букв, какими мы в настоящее время пользуемся. Впрочем, это вопросы скорее грамматики и метрики, или, если угодно, даже философии; мы же, предположив, что число основных звуков не меньше двадцати четырех, но и не больше, и начав наше рассмотрение с гласных, ограничимся описанием того, что с звуками происходит.

Гласных букв всего семь: две кратких, *эпсилон* и *омикрон*, две долгих, *эта* и *омега*, и три дwoяких, *альфа*, *иота* и *ипсилон*. Последние три могут быть и долгими и краткими, почему и называют их дwoякими буквами или, иначе, переменными. Все они произносятся горлом, издающим звук одновременно с выдохом, при простом положении рта и без всякого участия языка, остающегося спокойным. Долгие, а из дwoяких такие, которые произносятся долго, требуют длительного напряжения дыхательного горла, а краткие и говоримые кратко произносятся отрывочно, одним лишь ударом дыхания и недолгим напряжением горла. Самые сильные из гласных, дающие наиболее приятный звук, это долгие и те из дwoяких, которые при произношении растягиваются: они звучат продолжительно, не прерывая дыхания. Хуже краткие и произносимые кратко, потому что они слабоголосы и в них мало звука. В свою очередь среди долгих самая благозвучная *альфа*, когда она бывает растянута: она произносится при очень широко открытом рте и при направлении воздуха вверх, к небу. *Эта* занимает второе по благозвучию место, так как она упирает звук вниз к основанию языка, а не вверх, при умеренно открытом рте. Третье место принадлежит *омега*: при ее произнесении рот округляется, губы сморщиваются, и удар воздуха бывает направлен на край рта. Еще слабее *ипсилон*: сильно стягиваются самые губы, и звук удушается и выходит жидким. На самом же последнем месте стоит *иота*: воздух ударяется о зубы, причем рот мало раскрывается, а губы не усиливают звучности. Из кратких гласных нет ни одной красивой, но *омикрон* менее безобразен, чем *эпсилон*, потому что при нем шире раскрывается рот и напор в дыхательном горле получается более сильным.

Такова природа гласных букв; природа же полугласных следующая. Из полугласных, общее число которых восемь, пять букв, *лямбда*, *ми*, *ни*, *ро* и *сигма*, простые, а три буквы, *дзэта*, *кси*, *пси*, двойные. Двойными называют их или потому, что они оказываются составными, так как *дзэта* складывается из *сигмы* и *дельты*, *кси* из *каппы* и *сигмы*, *пси* из *пи* и *сигмы*, причем после взаимного слияния этих букв они получают свой собственный звук, или же потому, что каждая

из них преемственно занимает в слоге место двух букв. Из полугласных двойные сильнее простых: они значительнее их и, по-видимому, ближе подходят к самостоятельным буквам. Простые буквы слабее вследствие того, что они собирают звук в более ограниченное пространство. Произношение же каждой из них примерно следующее: при произношении *ламбды*, в то время как звук поступает из дыхательного горла, язык упирается в нёбо; при произношении *ми* губы сжимают рот, а воздух выходит через ноздри; при произношении *ни*, язык задерживает движение воздуха и относит звук в ноздри; при произношении *ро* дыхание задерживается кончиком языка, поднимающегося у зубов к нёбу; при произношении *сигмы* язык весь целиком подводится к нёбу, и воздух проходит между нёбом и языком, пробиваясь сквозь зубы легким и слабым свистом.

Остальные три полугласных дают смешанный звук, складывающийся из одной полугласной буквы, *сигмы*, и одной из трех безгласных, а именно *дельты*, *каппы* или *пи*.

Таковы формы произношения полугласных букв.

Что касается безгласных, каковых имеется девять, то три из них лишены придыхания, три произносятся с придыханием и три занимают среднее между первыми и вторыми место. Не имеют придыхания *каппа*, *пи* и *тау*, придыхание имеют *тэта*, *фи* и *хи*, среднее место занимают *бэта*, *гамма* и *дельта*. Способ же произношения каждой из них следующий.

Три буквы произносятся краями губ, когда, при закрытом рте, вырывающийся из дыхательного горла воздух преодолевает стоящее перед ним препятствие. Из числа этих букв одна — *пи*, лишенная придыхания, другая — *фи*, придыхание имеет, а третья, *бэта*, занимает среднее место: произносится с меньшим придыханием, чем *фи*, но с большим, чем *пи*. Это первая группа из трех безгласных букв, каждая из которых одинаковым способом произносится, отличаясь от двух остальных либо отсутствием, либо степенью придыхания.

При произношении трех других букв язык упирается в верхней части рта в верхний ряд зубов, а затем отбрасывается от них дыханием и дает ему выход у зубов книзу. Различаются эти буквы одна от другой присутствием или отсутствием придыхания: не имеет придыхания *тау*, имеет *тэта*, среднее место занимает *дельта*. Это — вторая группа безгласных букв. При произношении же остальных трех букв язык поднимается к нёбу близ глотки, причем дыхание образует звук внизу, в горле. И эти буквы в способе произношения ничем одна от другой не отличаются: только *каппа* не имеет придыхания, в то время как *хи* произносится с придыханием, а у *гаммы* придыхание умеренное и занимает она среднее между *каппой* и *хи* место.

Из этих букв наиболее сильны произносимые с сильным придыханием; второе место принадлежит тем, для которых требуется сред-

няя степень придыхания; самые слабые это те, которые придыхания лишены. Последние обладают лишь собственной своей силой, тогда как первые получают еще добавление от придыхания, так что они как бы совершеннее первых.

Марий Викторин VI, 32—34 К.

Прежде чем поведи речь о природе слогов, которые в метрике считаются то долгими, то краткими, я хочу сначала сказать о произношении отдельных букв и о звуке, который образуется у нас во рту при различным образом изменяющемся ударе и усилении голоса. Голос же или звук производится не только получившим толчок воздухом, когда мы слышим, но и всякое тело, испытав удар и толчок, издаст звук смутного голоса, и притом различный и многообразный в зависимости от качества ударов.

Итак, буквы разделяются на два вида, а именно гласные и согласные: одни из них — те, без которых едва может составиться слог, называются гласными, другие — те, которые, соединяясь с предыдущими, помогают звучанию голоса и как бы удваивают благодаря соединению того и другого приносимое ушам ощущение, — называются согласными; последние также разделяются на две части, а именно: полугласные и немые. Из них полугласные издают шум собственным произношением, при полузакрытом рте, немые же ни при разевании рта, ни при усилении звука не могут издать звук, если не будут соединены с гласными. Объясню теперь, как умею, в каком месте нашего рта каждая из них возникает и каким дуновением и усилием образуется, как проявляет силу и свойства своего звучания.

Буква *a* произносится при широко раскрытом зеве и при висящем и не прижатом к зубам языке. Следующая, *e*, произносится при умеренном раскрытии рта и приведенных внутрь губах; *i* даст звук при полузакрытом рте и языке, слегка прижатом к зубам; *o*, как и *e*, издает двойное звучание голоса в зависимости от условий длительности. Поэтому среди наших гласных греческие η и ω пропущены как излишние.

Таким образом, кто произносит краткое *o*, не станет размыкать губы большим зиянием и будет держать язык отведенным назад, долгое же *o* даст трагический звук при вытянутых губах, округленном зеве, языке, висящем в полости рта. Почти то же самое соблюдается и для буквы *e*. Когда мы произносим букву *i*, то делаем это при вытянутых и сходящихся губах. Чтобы не умолчать и о букве *y*, принадлежащей к числу греческих гласных, употребления которой, как известно, часто требуют некоторые глаголы и имена, — мы сохраним ее для греческих слов, когда таковые встретятся, а мы вместо нее изобрели подходящую для наших слов букву *i*, которую греки не могут написать или произнести иначе как при помощи соединения *oi*.

Теперь мы расскажем о согласных в том порядке, как они пойдут, если объединять близкие между собой по звучанию голоса и по самому расположению рта.

Из них буквы *b* и *p*, будучи вследствие присоединения гласных почти слогами (ибо немая их часть скрыта внутри: усилие не может раскрыть губы и образовать какой-либо путь для голоса, если гласные не разомкнут рта и не дадут выхода), различаются между собой по работе рта. При произнесении первой звук вырывается из середины губ, а при произнесении второй губы сжаты и напор голоса как бы задержан внутри. *c* и *d*, так же как и предыдущие, будучи весьма близкими по звуку, различаются по усилию и работе рта: *c*, нажимая с обеих сторон на коренные зубы втянутым назад языком, выгоняет задерживающийся внутри рта звук голоса; *d* смягчает силу предыдущей, приближая её к нёбу, при таком же положении языка. *D* и *l*, некоторым образом, сказал бы я, соседние по звуку, различаются поднятием и положением языка: если он будет своим концом одновременно ударять в верхние и нижние зубы, то производит букву *d*; если же, приподнявшись, коснется того места, где начинаются верхние зубы, то звучанием голоса выразит *l*. *K* и *q* большинство ученых считают излишними в числе букв, потому что буква *c* может выполнить их назначение. Действительно, в то время как начальная часть буквы *c* нема и бездеятельна, последний свой звук она видоизменяет в зависимости от качества присоединенного к ней звука голоса. При этом однако безразлично, какая именно из этих букв стоит на первом месте: *c*, *q* или *k*. Обе последние, как это очевидно, производятся глоткой, одна при раскрытых, другая при вытянутых губах; *h* грамматики также считают бесполезной среди букв и учат, что этот знак придыхания может находиться перед всеми гласными, а перед ним из согласных могут стоять только четыре, в тех случаях, когда греческим словам придается латинская форма: это *c*, *p*, *r*, *t*, как в словах *chori*, *Phyllis*, *rhombos*, *thymos*. Произносится *h* глубоким дыханием, проходящим через глотку, при расширенном рте.

Остается перечислить по порядку последние семь, полугласные и издающие шум неким дуновением. Из них букву *f* мы произнесем, прижимая нижнюю губу к верхним зубам и пригнув язык к своду нёба, с легким выдыханием. Далее следует *l*, которая прозвучит как-то сильно, причем язык упирается в ту часть нёба, где начинаются верхние зубы, а рот приоткрыт; *m* даст какое-то мычание, причем губы прижаты одна к другой, а полости рта и носа соединены; *n* производится двойным выдыханием через нос и рот, причем язык примыкает к своду нёба. Далее следует *r*, которая издает звук дрожащими ударами от колебания кончика языка по направлению к нёбу. Наконец две последние, *s* и *x*, правильно будет объединить, потому что они свистят сходным звуком, при стянутых губах; однако при этом если звук первой, возбужденный за зубами, устремляется

дальше мягко, то у второй он звучит грубо, жестким выдохом, потому что она производится соединением *c* и *s*, место которых она занимает и значение которых выражает, как нам показывает чувство слуха. Последнюю у нас, *z*, в (имени) которой заключается не звук буквы, а слово и двойной слог, как уместную только в греческих словах, если они встретятся, мы сохраним ради иностранных слов, как и упомянутую раньше *y*.

Варрон, Фрагмент 43.

Варрон говорит, что полугласные должны начинаться с *e*, а немые заканчиваться *e*. Поэтому те буквы, которые не начинаются с *e* и не заканчиваются *e*, могут быть обвинены в том, что они не настоящие буквы или не являются необходимыми; например, среди полугласных *x* и *z*. Ибо они не необходимы: это двойные буквы, которые могут быть составлены из других. Из числа немых на этом же основании устраняются *h*, *k*, *q*: *h* — потому что это — придыхание, а не буква, *k* и *q* — потому что буква *c* может их заменить.

Варрон, Фрагмент 46.

Как пишет Ион, есть двадцать пятая буква, которую называют *агма*; она не имеет начертания, а звук свойствен и грекам и римлянам, например, в таких словах: *aggulus*, *aggens*, *agguilla*, *iggerunt*. В этих случаях греки и наш Акций пишут два *g*, другие — *n* и *g*.

Секст Эмпирик, Против грамматиков.

104. Прежде всего я утверждаю, что нелепо грамматикки говорят, будто некоторые из элементов являются двойными. Ведь двойное есть сочетание из двух, элемент же не является сочетанием из чего-либо. В самом деле он по необходимости должен быть простым, а не составным из чего-либо другого. Итак, двойных элементов не существует. Или иначе: если составные части двойного элемента являются элементами, то двойное, состоящее из этих элементов, не будет элементом. Но составные части двойного элемента действительно — элементы. Следовательно, двойное не есть элемент.

105. Подобно тому как упраздняются двойные элементы, так упраздняются и двухвременные элементы, о которых полагают, что им присуща обоюдная природа долготы и краткости. Поскольку они являются таковыми, это значило бы, что буква сама по себе и лишнее придыхания, если это встретится, начертание отличаются способностью быть носителями двухвременной природы и могут то сокращаться, то подвергаться растяжению согласно с тем или иным показателем количественности.

106. Но начертание само по себе не является показателем элемента, обоюдного по своей природе. Ибо оно не показывает ни того, что он удлиняется, ни того, что он укорачивается, ни также того,

что он в одно и то же время и удлиняется и укорачивается. Напротив, подобно тому как относительно образуемого им слога (что сказано по поводу слова 'Αρες) в случае неприсоединения показателей количественности нельзя распознать, долог ли слог или краток, так же точно и α, ι, υ, если они взяты сами по себе, будут отличаться не общностью того и другого значения, а отсутствием их обоих.

107. Остается тогда сказать, что обоюдность получается при наличии показателей количественности. Это опять-таки не дает удовлетворительного выхода из положения. Ведь элемент, принимая показатели количественности, становится либо долгим, когда показатель долог, либо кратким, когда показатель краток, но никогда не получится элемент обоюдный. Следовательно, нет элементов, двухвременных по своей природе.

108. Если же грамматики стали бы говорить, что элементы являются по природе обоюдными, поскольку они *допускают* для себя и то и другое (свойство), долготу и сокращение, то они незаметно скатятся почти к той же самой апории. Ведь то, что допускает для себя известное свойство, не будет (в то же время и) тем, что оно для себя допускает. Ибо подобно тому как бронза допускает для себя возможность сделаться статуей, но не является статуей в силу того, что она допускает эту возможность; подобно тому как бревна обладают природой, пригодной к тому, чтобы им превратиться в корабль, но еще не являются кораблем, — так и подобного рода элементы допускают для себя возможность долготы и сокращения, однако не являются ни долгими, ни краткими, ни одним, ни другим, прежде чем они не получают то или иное свойство от показателей количественности.

109. Притом, помимо всего сказанного, краткость и растяжение являются противоположностями и не совместны. Ведь растяжение получается путем уничтожения краткости, а краткий слог возникает, когда уничтожается долгий. По этой причине невозможно слогу, носящему облеченное ударение, сделаться кратким, потому что с наличием облеченного ударения по необходимости сопряжена долгота.

110. Поэтому если имеется какой-либо элемент, по природе двухвременный, то относительно него будет существовать значение как краткости, так и растяжения, либо совместно, либо раздельно по частям. Но совместное существование невозможно: ведь относительно одного и того же произносимого едва ли могут иметь место в одном и том же отношении взаимно друг друга упраздняющие значения. Остается таким образом (сосуществование) раздельное. Это опять-таки невразумительно: ведь когда налицо долгота (или краткость), тогда нет элемента, отличающегося обоюдным качеством краткости и долготы, и только имеется элемент (долгий или) краткий.

111. Тот же способ умозаключения следует применять также к элементам, по природе лишенным придыхания, или к элементам,

имеющим его, или обоюдно имеющим и то и другое качество. Но мы довольствуемся тем, что показали самый род умозаключения.

Так как нами упразднены обоюдные элементы и показано, что они только подвергаются растяжению или сокращению, то следствием этого будет еще и то, что каждый является двойким: во-первых, по природе долгим, во-вторых, по природе кратким.

112. А коль скоро α , ι , υ являются двойкими, то гласных элементов получится уже не семь только, из которых два долгих η и ω , два кратких ε и o и еще три двухвременных, α , ι и υ , по в общей сложности десять, а именно: пять из них долгие: η , ω и долгие α , ι , υ и столько же кратких: ε , o , и краткие α , ι , υ .

113. Но так как племя грамматиков допустило существование не двух только просодий долготы и краткости, но также ударения острое, тяжелое и облеченное и придыхания густое и легкое, то каждый из названных гласных, имея в каждом данном случае какую-либо из двух просодий, станет особым элементом. И поскольку не было элемента, объединяющего в себе долготу и краткость, а либо элемент только долгий, когда он имеет показатель долготы, либо элемент краткий, когда он имеет показатель краткости, постольку и не будет никакого элемента, объединяющего в себе остроту и тяжесть, но или только острый, когда он получит острое ударение, или тяжелый, когда он получил тяжелое ударение. В остальных случаях — соответственно. А так как каждый из двух существующих кратких элементов допускает для себя пять просодий, — показатель краткости, ударения острое и тяжелое, и придыхания густое и легкое, то их получится десять.

114. Если же долгие гласные, которых в свою очередь имеется две, вдобавок получают еще и облеченное ударение (ведь они снабжаются показателями долготы, ударениями острым и тяжелым, придыханием густым и легким и в качестве характерной именно для них особенности — ударением облеченным), то их получится двенадцать. А каждый из трех элементов, которые установлены как обоюдные, допускает для себя все семь просодий, и их получается двадцать один. Таким образом всего навсего гласных сорок три, а если с ними сложить семнадцать согласных, то получится шестьдесят элементов, а не двадцать четыре.

115. Но существует еще и другой способ рассуждения, согласно которому, отлично от упомянутого, полагают, что гласные, наоборот, образуют меньшее число элементов по сравнению с теми семью, о которых у грамматиков принято говорить. Ведь если α , по их учению, удлиняясь и сокращаясь, представляет собою не различные элементы, а один обоюдный, а равным образом и ι и υ , то последовательным будет считать, что ε и η также являются одним элементом, обоюдным на основе одного и того же значения. Ибо в обоих случаях имеется одно и то же значение: η , будучи сокращено, становится ε , ε же,

подвергшись растяжению, становится η. Таким же точно образом в отношении о и ω получится одна обоюдная природа элемента, различная только в зависимости от растяжения или сокращения, поскольку ω является долгим о, а о — кратким ω.

116. Итак, грамматики страдают куриной слепотой и не замечают того, что вытекает из их же учения, когда утверждают, что гласных насчитывается семь, между тем как по существу их только пять.

Но, с другой стороны, по утверждению некоторых философов, окажется большее число элементов, таких, которые имеют иное значение, чем те, которые обычно преподаются, как α, ου и всё, что им подобно по своей природе. Ведь элемент приходится определять как таковой прежде всего по тому, что соответствующий звук является не составным и ему присуще одно единое качество, подобно звуку α, ε и ο и остальных.

117. И вот, ввиду того, что звуки αι и ει являются простыми и единообразными, то и они будут элементами. А доказательством их простоты и единообразности послужит следующее. Составному звуку несвойственно оставаться до конца таким, каким он в самом начале доходит до восприятия; напротив, по мере протяжения он изменяется; звук же простой, действительно отличающийся свойством элемента, от начала и до конца не подвержен изменениям. Например, ясно, что если мы будем произносить звук ρα протяжно, то наше чувство воспримет его при первом его воздействии не так же точно, как при последнем, но поначалу оно будет возбуждаться произнесением ρ, в дальнейшем же, когда впечатление от него сойдет на нет, оно будет ясно воспринимать звуковое значение α. В силу этого и все ему подобное, конечно, не будет элементом.

118. Если же станут произносить звук αι, то ничего подобного не произойдет, но какой поначалу слышится особенность звука, такой же она слышится и под конец. Следовательно, αι будет элементом. Коль скоро это так, то поскольку звук ει и ου воспринимается однообразным, несоставным и от начала до конца неизменным, и он также будет элементом.

119. Но оставим это разыскание и скажем нечто такое, что способно досадить грамматикам в большей мере.

Если три элемента α, ι, υ называются обоюдными потому, что они допускают для себя долготу и краткость, то последовательным будет утверждать, что всякий элемент является обоюдным. Ведь всякий элемент допускает для себя четыре просодии: показатели тяжелого удара и острого удара и придыханий легкого и густого. А если грамматики не решаются утверждать, что всякий элемент является обоюдным, то пусть не называют обоюдными и тех других в силу того, что они допускают для себя растяжение и сокращение.

СЛОГ (συλλαβή; syllaba)

Дионисий Фракийец, 7.

Слог есть, строго говоря, соединение согласных с гласной или гласными, например, καρ, βούς; в несобственном смысле — и состоящий из одной гласной, например, α, η.

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен, 15.

Вот из стольких-то букв, обладающих такими качествами, и образуются так называемые слоги. Из них долгими являются все те слоги, которые состоят из долгих или двояких гласных, в тех случаях, когда последние произносятся долго, а также все слоги, оканчивающиеся на долгую или долго произносимую букву, или на какую-нибудь полугласную или безгласную. Краткими же являются все те слоги, которые состоят из краткой гласной или двоякой, произносящейся кратко, а также те, которые такой буквой заканчиваются.

УДАРЕНИЕ (τόνος; accentus)

Дионисий Фракийец, 3.

Ударение есть звучание гармонического голоса — или путем повышения в острой (просодии), или путем понижения в тяжелой, или с переломом в облеченной.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ (στιγμή; distinctio)

Дионисий Фракийец, 4.

Знаков препинания три: полный, средний, запятая. И полный знак препинания есть знак законченной мысли, средний делается для того, чтобы передохнуть, запятая же есть знак мысли, еще не законченной, но нуждающейся в продолжении.

Чем отличается полный знак от запятой? Временем: ведь при полном знаке остановка длительная, а при запятой — совсем небольшая.

ПРЕТЕРПЕВАНИЯ (πάθη)

Античные грамматики устанавливают следующие виды «претерпеваний» (т. е. звуковых изменений) слова.

1. Prosthesis — aphaeresis: прибавление или урезывание слога или буквы в начале или конце слова.
2. Anadiplosis — arsis: удвоение или уничтожение удвоения первого слога.
3. Ectasis — systole: удлинение кратких или сокращение долгих гласных.
4. Epectasis — syncope: вставка или устранение слога в середине слова.
5. Diaeresis — synaeresis: разложение долгого на две гласных или срастание двух гласных (или гласной и дифтонга) в долгую гласную или дифтонг.
6. Parenthesis — ellipsis: вставка или устранение гласной (слоговой или неслоговой) в середине слова.
7. Diplasiasmus — paralipsis: удвоение или уничтожение удвоения согласной в середине слова.
8. Parempthesis — ecthlipsis (thlipsis): вставка или устранение согласной в середине слова.
9. Proschematismus — aprocopie: прибавление или урезывание слога в конце слова.
10. Crasis: слияние гласной или дифтонга в конце одного слова с гласной или дифтонгом в начале другого слова.
11. Metathesis: перестановка букв.
12. Trope: переход буквы в другую.

СЛОВО (λέξις; dicto)

Дионисий Фракийец, 11.

Слово есть наименьшая часть связной речи.

Схолий к Дионисию Фракийцу, 11 (512 Н).

Слово — членораздельный звук, выражающий нечто подуманное.

Диомед, I, 436 К.

Слово — членораздельный звук с каким-нибудь значением, из которого составляется и на который разлагается предложение («речь»).

Харисий, I, 16 К.

Слово — состоящее из слогов законченное речение с определенным значением.

Схолий к Дионисию Фракийцу, 11 (352 Н).

Слово — мельчайший членораздельный звук, неделимый на части, особо высказанный и особо подуманный, проводимый под одним ударением и придыханием.

Присциан, II, 14.

Слово — мельчайшая часть построенного, т. е. расположенного в порядке, предложения: часть — в той мере, в какой она служит к пониманию целого... это сказано для того, чтобы кто-либо не попытался разделить слово *viges* (силы) на две части *vi* (силою) и *ges* (вещи) и т. п. Ибо это разделение не служит к пониманию целого.

Односложные слова могут некоторым образом быть и слогами, однако не в полном смысле, так как слог никогда не может сам по себе что-либо обозначать: это свойственно слову.

Харисий, I, 16—17 К.

Слова бывают простые, как *facio*, и составные, как *conficio*. Из составных слов некоторые создаются из двух несовершенных слов, как *sinciput*, смысл которого *sematum caput* (половинная голова), некоторые из несовершенного и целостного, как *cismare*, обозначающее *citra mare* (по сую сторону моря), некоторые из целостного и несовершенного, как *cornicen*, смысл которого *cornu capens* (трубящий в рог), некоторые из двух целостных, как *sacra via* (священная дорога).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, «РЕЧЬ» (*λόγος, oratio*)

Дионисий Фракийец, 11.

Речь есть соединение слов, выражающее законченную мысль.

Схолий к Дионисию Фракийцу, 11 (214 Н).

Предложение — взаимосогласованное сочетание слов, доводящее мысль до завершения.

Диомед I, 300 К.

Предложение — сочетание слов, завершающее мысль и обозначающее законченный предмет.

Скавр (Диомед, там же).

Предложение — пущенное из уст и упорядоченное по словам высказывание.

ЧАСТИ РЕЧИ (μέρη τοῦ λόγου; partes orationis)

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен, 2.

Теодект, Аристотель и современные им философы насчитывали таких частей три, давая основное членение речи на имена, глаголы и союзы. Позже, главным образом благодаря руководителям стоической школы, отделившим от союзов члены, их число доведено было до четырех. Последующие же ученые, отделившие от имен собственных нарицательные имена, открыли пять основных частей. Другие, отделив от имен местоимения, ввели шестой элемент; третьи отделили наречия от глаголов и от союзов предлоги и причастия от нарицательных; четвертые путем новых подразделений число основных частей речи увеличили еще более. По этому поводу сказать можно бы немало.

Дионисий Фракиец, 11.

Частей речи восемь: имя, глагол, причастие, член, местоимение, предлог, наречие, союз. Ведь нарицание, как вид, подчинено имени.

Донат, IV, 372 К.

Частей речи восемь: имя, местоимение, глагол, наречие, причастие, союз, предлог, междометие. Из них две основные части речи — имя и глагол. Римляне не причисляют к частям речи члена, греки — междометия.

ИМЯ (ὄνομα; nomen)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дионисий Фракиец, 12.

Имя есть склоняемая часть речи, обозначающая тело или вещь (тело — например, камень; вещь — например, воспитание) и высказываемая как общее и как частное: общее — например человек; частное — например, Сократ.

Харисий, I, 152 К.

Имя есть часть речи, имеющая падеж, не имеющая времени, обозначающая телесную или бестелесную вещь собственным или общим образом — собственным, как Рим, Тибр, общим, как город, община, река.

Схолий к Дионисию Фракийцу, 12 (524 Н).

Последователи Аполлония и Геродиана следующим образом определяют имя: «имя есть падежная часть речи, уделяющая каждому

из подлежащих тел или вещей общее или частное качество». Последователи Романа и Филопона заменяют «качество» «субстанцией».

Комментарий к Донату, IV 489—490 К.

Совершенным определением является то, которое отделяет вещь от прочих общих (наименований) и изъясняет ее собственное свойство... «Что есть имя? — Имя есть часть речи, имеющая падеж, обозначающая тело или вещь собственным или общим образом» (Донат). Словами «имеющая падеж» он отделил имя от глагола, отделил от наречия, отделил от союза, отделил от предлога, отделил от междометия; но не отделил еще от двух частей речи — от местоимения и причастия. Ибо падежи свойственны местоимению и причастию. Что же отделяет от них имя? Лицо или время: ибо местоимениям свойственно лицо, причастиям — время. Остается сказать, что есть собственное свойство самого имени? — Чтобы оно было либо собственным, либо нарицательным: этого нельзя найти ни в какой другой части речи.

АКЦИДЕНЦИИ (παρελόμενα; accidentia)

Дионисий Фракиецу, 12.

Акциденций у имени пять: роды, виды, образы, числа, падежи.

Харисий, I, 153 К.

Акциденции имени — качество, род, образ, число, падеж.

РОД (γένος; genus)

Дионисий Фракиецу, 12.

Родов три: мужской, женский, средний. Некоторые присоединяют к ним два других — общий и совместный.

Сервий, Комментарий к Донату, IV, 407—408 К.

Роды получили свое название от того, что они порождают, и поэтому есть только два основных рода, мужской и женский... Роды бывают или от природы, или основаны на установившемся обычае: от природы, как *vir* (муж), *mulier* (женщина); основаны на установившемся обычае, как *hic paries* (муж. р.; эта стена), *haec fenestra* (жен. р.; это окно). В этих последних мы не усматриваем природного пола, но следуем за тем, который закреплен установившимся обычаем. Остальные роды проистекают от вышеназванных, как *средний* («ни тот, ни другой»), который не есть ни мужской, ни женский, *общий*, который есть и мужской и женский, *всяческий*, который

содержит в себе все вышеназванные роды, *смешанный*, который не содержит в себе различий пола. Разница между *общим* и *смешанным* в том, что *общий* имеет место там, где мы зрением различаем пол, как *canis* (пес), а *смешанный*, напротив, там, где мы зрением не различаем пола, как *piscis* (рыба). Между *смешанным* и *общим* разница в том, что в *общем* мы различаем пол с помощью члена, как *hic canis*, *haec canis*, а в *смешанном* берется один член, и мы разумеем оба пола, как *haec aquila*. А член мы берем тот, который дан установившимся обычаем. Ибо поскольку в *смешанном* роде мы не имеем возможности природным образом установить пол, мы вынуждены опираться на установившийся обычай.

Варрон, Фрагмент 7.

В нашей власти назначить роды тем предметам, которые по природе не имеют рода.

Консенций, V, 343—344 К.

Третий род, который называют *средним* («ни тем, ни другим»), некоторые считают *искусственным*, так как он применяется лишь в отношении неодушевленных предметов: природа, говорят они, не имеет этого рода. Другие, однако, справедливо считают и этот род *естественным*: ибо, говорят они, то, что по природе не есть мужское и вместе с тем не есть женское, есть по природе *ни то, ни другое*. Стало быть, природа изначально установила три рода. Искусство, последовав за ней, а частично в целях некоей правильности, почти везде сохранило число родов, отказавшись однако от естественного разделения вещей. Ибо все то, что по природе не имеет пола, должно было бы считаться *среднего* рода. Но искусство отнесло все это к родам по своему усмотрению в одних случаях произвольно, в других *пристойным* образом... Искусство ввело и *четвертый* род ради тех имен, которым на основании *жизненного* обычая приличествуют и тот и другой роды, как *hic* и *haec sacerdos* (жрец, жрица), так как занимать эту должность свойственно обоим полам. Так как этот род причастен не к одному роду, а к двум или ко всем, то он добавляется к числу родов и называется *общим*... Кроме того есть некоторые *смешанные* имена, которые греки называют *совместными*; однако не следует на этом основании увеличивать число родов, так как они имеют склонение либо целиком мужское, либо целиком женское.

ВИД, КАЧЕСТВО (εἶδος; qualitas)

Схолий к Дионисию Фракийцу, 12 (527 Н).

Виды имен бывают по звуку и по значению; виды по звуку — первичное имя и производное, которое подразделяется на отчества и пр., а по значению — имя собственное, нарицательное и пр.

Донат, IV, 373 К.

Качество имен двоично: имена суть или собственные или нарицательные. Собственных имен у римлян четыре вида, личное имя (praenomen), родовое (nomen), прозвище (cognomen), добавочное прозвище (agnomen), как Публий Корнелий Сципион Африканский. Виды нарицательных имен многочисленны.

Дионисий Фракийец, 12.

Видов два, первичный и производный. Первично то, что сказано согласно первому установлению, например, Гея (Земля) (Γῆ). Производное то, что получило происхождение от другого, например, Геин (землевой) (Γαιήιος).

Видов производных имен — семь: отчество, притяжательное, сравнительное, превосходное, ласкательное, отыменное, глагольное.

1. Отчество в собственном смысле есть то, что образовано от имени отца, а в широком смысле — и от имени предков, например, *Пелид, Эакид*, т. е. Ахилл.

2. Притяжательное имя есть то, что находится во владении, причем в нем содержится указание на владеющего, например, *Пелеевы кони, Гекторова рубашка, Платонова книга*.

3. Сравнительное имя есть то, что включает в себе сравнение одного с одним же однородным, как: Ахилл *храбрее* Эанта, или одного со многими разнородными, как: Ахилл *храбрее* троянцев.

4. Превосходное имя — то, что принимается в смысле усиления одного над многими при сравнении.

5. Ласкательное — выражающее безотносительно уменьшение первичного имени, например, человек (ἀνθρωπίσκος), камешек (λίθαξ), мальчонка (μειρακύλλιον).

6. Отыменное — созданное от имени, например, Θέων, Τρύφων.

7. Глагольное — выведенное от глагола, как Φιλήμων, Νοήμων.

Подчинено имени то, что также называется видом: имя собственное, нарицательное, прилагательное, относящееся к чему, как бы относящееся к чему, равноименное, соименное, (имяносное), двуименное, наименное, племенное, вопросительное, неопределенное, относительное (которое называется также уподобительным, указательным, соответственным), охватывающее, распределяемое, объемлющее, зву-

коподражательное, родовое, видовое, порядковое, количественное, абсолютное, присущное.

1. Имя собственное — то, которое обозначает особенную сущность, например, *Гомер, Сократ*.

2. нарицательное — то, которое обозначает общую сущность, например, *человек, конь*.

3. Прилагательное — то, которое прилагается равноименно к собственным и нарицательным и выражает похвалу или порицание. Берется оно тройко — от души, от тела, от внешних обстоятельств. От души, как *благоразумный, необузданный*; от тела, как *быстрый, медлительный*; от внешних обстоятельств, как *богатый, бедный*.

4. Относящееся к чему-то, как *отец, сын, друг, правый*.

5. Как бы относящееся к чему то, как *ночь, день, смерть, жизнь*.

6. Равноименное есть имя, равноименно применяемое ко многому, например, в собственных, как *Эант*, сын Теламона, и *Эант*, сын Илея, — в нарицательных, как *мышь* морская и *мышь* землеродная.

7. Соименное — то, которое разными именами выражает одно и то же, например, меч — ἄορ, ξίφος, μάχαира, σπάθη, φάσγανον.

8. Имяносное есть то, которое назначено на основании чего-нибудь случившегося, как *Τισσαμενός, Μεγαλένδης*.

9. Двуменное — два имени, назначенные одному собственному, например, *Александр*, он же *Парис*, причем это утверждение не оборачивается: ведь если кто-нибудь есть Александр, то он не обязательно и Парис.

10. Наименное, называемое также двуменным, вместе с другим собственным применяется к одному (предмету), как *Эносихтон* к Посейдону и *Феб* к Аполлону.

11. Племенное обозначает племя, как *фригийцу, галат*.

12. Вопросительное, которое называется и испытующим, говорится в вопросе, например, *кто* (τίς), *каковой* (ποῖος), *сколький* (πόσος), *сколь большой* (πηλίκος)?

13. Неопределенное говорится в смысле, противоположном вопросительному, например, *всякий кто* (ὅστις), *всякого качества* (ὅποῖος), *всякого количества, всякой величины* (ὅπόσος, ὀηλίκος).

14. Относительное, которое называется также уподобительным, указательным, соответственным, обозначает уподобление, например, *такой* (τοιοῦτος), *столький* (τοσοῦτος), *столь большой* (τηλίκοῦτος).

15. Охватывающее — единственным числом обозначает множество, например, *народ, хор, толпа*.

16. Распределяемое — заключает в себе перенесение с двух или многих на одно, например, *тот и другой* (ἐκάτερος), *каждый* (ἐκαστος).

17. Объемлющее обнаруживает нечто, заключаемое в нем, например, *лавровая роща* (δαφνών), *девичья* (παρθενών).

18. Звукоподражательное говорится в подражание особенностям звуков, например, шум (φλοῖστος), свист (ροῖζος), гул (ὄρυγματός).

19. Родовое может быть разделено на много видов, например, животное, растение.

20. Видовое — выделенное из рода, например, бык, конь, виноград, маслина.

21. Порядковое — показывающее порядок, например, первый, второй, третий.

22. Количественное — обозначающее количество, например, один, два, три.

23. Абсолютное мыслится само по себе, например, бог, логос.

24. Присущное — причастно к какой-нибудь сущности, например, огненный, дубовый, олений.

Залогов имени два: действие и страдание; действие как судья, судящий; страдание как подсудимый, судимый.

ОБРАЗ (σχῆμα; figura)

Дионисий Фракийец, 12.

Образов имен три: простой, составной, образованный из составного. Простой, например, Μέμνων; составной — Ἀγαμέμνων; образованный из составного, например, Ἀγαμέμνονίδης.

Среди составных четыре разновидности: одни из них (составлены) из двух целых, другие — из двух неполных, третьи — из неполного и целого, четвертые — из целого и неполного.

ЧИСЛО (ἀριθμός; numerus)

Схолий к Дионисию Фракийцу, 12 (545 Н).

Число есть примета слова, имеющая способность указывать различие в количестве.

Диомед, I, 301 К.

Число — приращение количества, движущееся от единого к многому.

Присциан, V, 48.

Числа присущи тем словам, которым присущи также и лица, определенные и неопределенные, т. е. именам, глаголам, причастиям, местоимениям.

Дионисий Фракийец, 12.

Чисел три: единственное, двойственное и множественное. Есть некоторые образцы единственного, относящиеся к множеству, например, *народ, хор, толпа*; также образцы множественного, относящиеся к единственному и двойственному, — к единственному, как *Афины, Фивы*, двойственному, как *ἄμφότεροι* (оба).

ПАДЕЖ (πτῶσις; casus)

Диомед, I, 301 К.

Падежи суть некие ступени склонения, названные так потому, что большинство имен по ним изменяется и падает, уклонившись от своего первого положения.

Схолий к Дионисию Фракийцу. 12 (383 Н).

Падеж — изменение формы падежного слова, образуемое изменением конечного слога в разных направлениях.

Дионисий Фракийец, 10.

Падежей имени пять: прямой, родительный, дательный, винительный, звательный. Прямой падеж называется также именительным, родительный — притяжательным и отеческим, дательный — поручительным, винительный — (испорчено), звательный — обращательным.

Присциан, V, 68.

Именительный, или, как некоторым угодно, *прямой*, падеж называется падежом, потому что он падает из родового имени в видовые — подобно тому, как мы можем о падающем из рук грифеле сказать, что он упал прямо; или он называется падежом абюзивно, поскольку от него рождаются все другие; или потому, что, падая из своего окончания в другие, он образует *косвенные* падежи.

Присциан, V, 75.

Аблатив — собственный падеж римлян, хотя и его они, по-видимому, заимствовали у древнейших греческих грамматиков, которые называли шестым падежом формы, как *οὐρανόθεν* (с неба).

ГЛАГОЛ (ῥῆμα, verbum)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дионисий Фракийец, 13.

Глагол есть беспадая часть речи, принимающая времена, лица и числа и представляющая действие или страдание.

Херобоск, II, 3 Н.

Глагол — беспadeжная часть речи, показывающая в изменениях собственных форм различные времена с действием или страданием или средним («ни тем, ни другим») состоянием, обозначающая лица, когда она показывает вместе с тем и душевные расположения. *Беспadeжная* прибавляется для противопоставления причастиям: ибо причастия падежны, а глаголы беспadeжны... *Показывающая в изменениях собственных форм* — прибавляется из-за временных наречий, как-то: «вчера», «сегодня», «завтра»; ведь и они означают время и показывают различные времена, но разными словами, а не изменениями собственных форм... *С действием или страданием* — присоединяется, поскольку из глаголов одни означают действие, другие — страдание... *Или средним (состоянием)* прибавляется ... поскольку есть некоторые глаголы, не означающие ни действия, ни страдания, например, «живу». *Означающая лица* — прибавляется, поскольку глаголы означают лица, а когда она показывает вместе с тем и душевные расположения — прибавляется, поскольку одни из глаголов, как-то: изъявительные, повелительные, желательные, подчинительные — все те, которые содержат и душевное расположение, т. е. намерение, имеют лица, а другие нет, как-то: неопределенные, поскольку они не содержат душевного расположения... не имеют и лиц.

Дионисий Фракийец, 13.

Акциденций у глагола восемь — наклонения, залогии, виды, образы, числа, лица, времена, спряжения.

НАКЛОНЕНИЕ (ἑγκλίσις; modus)

Анонимный грамматик.

Наклонением называется форма слова, показывающая, каково душевное движение.

Херобоск, II, 4 Н.

Наклонение — душевное намерение, т. е. к чему наклонна душа.

Дионисий Фракийец, 13.

Наклонений пять — изъявительное, повелительное, желательное, подчинительное, неопределенное.

Диомед, I, 338 К.

Почти все грамматикии согласны, что наклонений пять. Те, кто принимают шесть, присоединяют по-разному: одни — *обещательное*, другие — *безличное*; кто — семь, те прибавляют к вышеназванным и

то и другое; кто — больше, прихватывают *вопросительное*; кто — девять, отделяют *подчинительное* от *союзного*; кто — десять, приписывают еще и *увещательное*. Впрочем, *безличное* и *причастное* некоторые склонны принять, так как этого требует самое склонение глаголов.

Определительное или изъявительное (ὀριστικὴ ἢ ἄλοφαντικὴ; definitivus sive indicativus).

Присциан, VIII, 63.

Изъявительное, которым мы определяем или объявляем, что делается нами или другими.

Повелительное (προστατικὴ; imperativus)

Присциан, VIII, 67.

Повелительное, которым мы повелеваем другим, чтобы они что-либо сделали или страдали... законченное в себе, как и изъявительное, не нуждаясь в помощи другой части речи для полного значения, хотя по природе и имеет не все времена и лица.

Желательное (εὐκτικὴ; optativus)

Присциан, X VIII, 76.

Желательные глаголы сами по себе означают вместе с содержанием глагола и пожелание, а наречие *utinam* (о если бы) означает только пожелание; оно, стало быть, присоединяется к желательным глаголам для распространительного указывания.

Подчинительное (ὕποτακτικὴ; subjunctivus, conjunctivus)

Присциан, VIII, 68.

Четвертое наклонение — *подчинительное*, которое для законченного смысла нуждается не только в наречии или союзе, но и в другом глаголе... Имея различные значения, оно получило свое имя от своего синтаксиса.

Присциан, VIII, 64.

Некоторые называли подчинительное *колебательным*.

Неопределенное (ἀπαρέμφατος; infinitivus)

Диомед, I, 340 К.

Неопределенное названо потому, что не имеет достаточно определенных лица и числа.

ЗАЛОГ (διάθεσις; significatio, genus)

Херобоск, II, 5 Н.

Древние называли *залогами* совместно и наклонения и залого и лишь впоследствии произвели разделение, называя душевные расположения *наклонениями*, а телесные — *залогами*.

Дионисий Фракийец, 13.

Залогов три — *действие, страдание, середина*. *Действие*, например, бью (τύπτω); *страдание*, например, я побиваем (τύπτομαι); *середина* — то, что являет иногда действие, иногда страдание, например, λέλθηα (я вколотил, я вколотен), διέφθορα (я погубил, я погиб), ἐλοίψαίμην (я сделал для себя), ἐγραψάμην (я написал для себя).

Макробий, V, 627—628 К.

Греки определяют залого нижеследующим различием: те, которые оканчиваются на ω, имея действительное значение, и соединяются с падежами родительным или дательным, или винительным и с помощью прибавления слога μαι переходят в страдательные, они называли *действительными*... Напротив, *страдательными* они называли те, которые, окончиваясь на μαι, означают страдание, необходимо должны присоединиться к родительному с предлогом ὑλό и могут при опущении μαι вернуться в действительный залог. Тот, у которого не хватает какого-либо из упомянутых определений, не называется ни *действительным*, ни *страдательным*; но если он оканчивается на ω, он именуется ни *тем*, ни *другим* или *абсолютным*, например, живу. Среди них можно, с одной стороны, найти явное и безусловное действие, с другой стороны — обозначение страдания. Ибо бегу, завтракаю, гуляю — говорится о действующем лице, а болею — несомненно о страдании. Но ни те не называются *действительными*, так как не сочетаются с упомянутыми падежами и не принимают μαι..., ни болею, хотя и является глаголом страдания, не может быть назван *страдательным*, так как не оканчивается на μαι, не указывает никакого источника страдания, и к нему не присоединяется родительный с ὑλό, что свойственно страдательным. Ибо при действительном и страдательном обязательно должны

наличествовать два лица — выполняющее и переносящее... И подобно тому, как у греков некоторые глаголы, оканчивающиеся на ω , означают страдание, так можно найти много оканчивающихся на $\mu\alpha\iota$ и имеющих одно лишь действительное значение. Есть у греков и *общие*, которые они называют *средними*, оканчивающимися на $\mu\alpha\iota$ и с помощью одной и той же формы обозначающие и действие и страдание... Этим именем *средних* именуются только страдательные (формы), но греки называли *средними* и некоторые, сходные с действительными, которые употребляются в равной мере для обозначения и действия и страдания.

Диомед, I. 336—337 К.

Основных залогов два — *действительный* и *страдательный*. От них рождаются другие — *средний* (*ни тот, ни другой*), *общий*, *отложительный*. Таким образом число их доходит до пяти. Некоторые принимают и *безличный* залог.

Действительный залог, когда при наличии действующего есть и претерпевающий, т. е. когда обозначается наше действие вместе со страданием другого. Он оканчивается буквой σ так, что с прибавлением буквы τ может принять страдательное значение.

Страдательный залог — когда при наличии страдающего выполнение принадлежит другому лицу, т. е. когда обозначается наше страдание вместе с действием другого. Он оканчивается слогом $\sigma\tau$ так, что при опущении буквы τ может принять действительное значение.

Средний (*ни тот, ни другой*) залог — тот, который, имея форму действительного, замыкается буквой σ , но никогда не принимает буквы τ и не может поэтому явить страдательную форму. Ибо, где нет возможности страдания, от действительного склонения страдательное не образуется. Точно так же если при наличии страдания и действительной формы выполнение не принадлежит другому, мы называем залог *средним*. Он единообразно означает одно из двух, действующего или страдающего: действующего, как *гуляю*, страдающего, как *горю*. Сюда же относятся те глаголы, у которых нельзя усмотреть значение действия или страдания, как *сизжу*.

Общий залог — тот, который имеет и действительное и страдательное значение. Он оканчивается буквой τ и не может ее опустить, как и отложительный.

Отложительный залог — тот, который оканчивается буквой τ , как страдательный, но при отнятии этой буквы перестает быть латинским словом... Будучи страдательной формы, он не имеет действительной. Эти глаголы таким образом не являются ни страдательными, так как не обращаются в действительные, ни общими, поскольку *общие* при одной форме склонения содержат оба значения.

ВИД (εἶδος; qualitas, species, forma)

Дионисий Фракийец, 13.

Видов два — первичный и производный. Первичный, например, ἄρδω (орошаю); производный, например, ἄρδεύω (орошаю).

Донат, IV, 381 К.

Видов четыре: законченный, замыслительный, участительный, начинательный; законченный, как lego (читаю), замыслительный, как lecturio (хочу читать), участительный, как lectito (читываю), начинательный, как fervesco (вскипаю), calecso (нагреваю).

ОБРАЗ (σχῆμα; figura)

Дионисий Фракийец, 13.

Образов три — простой, составной, образованный из составного. Простой, например, мыслю (φρονέω); составной, например, замышляю (катаφρονέω); образованный из составного, например, антигонствую (ἀντιγονίζω), филиппствую (φιλιππίζω).

ЧИСЛО (ἀριθμός; numerus)

Дионисий Фракийец, 13.

Чисел три — единственное, двойственное и множественное.

ЛИЦО (πρόσωπον; persona)

Дионисий Фракийец, 13.

Лиц три — первое, второе, третье: первое — от кого речь, второе — к кому речь, третье — о ком речь.

Херобоск, II, 10 Н.

Аполлоний порицает это определение и утверждает, что к нему нужно нечто еще добавить и сказать так: первое лицо — от которого речь обо мне, обращающем речь, второе лицо — к которому речь о нем самом, к кому речь обращена, третье лицо — о ком речь, кроме обращающего ее и того, к кому она обращена.

Присциан, VIII, 101.

Первое лицо, которое говорит о себе, одном или вместе с другими: говорю, говорим; второе, к которому (первое) говорит о нем же, одном или вместе с другими: говоришь, говорите; третье, о котором

говорит предполагаемое первое, помимо себя самого и того, к кому оно обращает речь.

ВРЕМЯ (χρόνος; tempus)

Диомед, I, 335 К.

Время — чередование вещей, схваченное в тройкой изменчивости, если только может быть схвачено то, что никогда не останавливается... Само по себе время не может никоим образом быть разнято, так как оно течет само в себя, и вечно едино. Но так как наши действия различны и не всегда одни и те же (ибо мы либо делаем, либо сделали, либо собираемся делать), поэтому мы нераздельному времени назначаем части времени, не разделяя самое время, но обозначая различие наших действий.

Дионисий Фракийец, 13.

Времен три — настоящее, прошедшее, будущее. Из них прошедшее имеет четыре разновидности: *длительное* (παράτατικός), *предлежащее* (παρὰχέμενος), *преждезавершенное* (ὑπερσυντελικός), *неограниченное* (ἀόριστος). В них три сродства — настоящего с длительным, предлежащего с преждезавершенным, неограниченного с будущим.

Н а с т о я щ е е (ἐνεστώς; praesens, instans)

Присциан, VIII, 51—52.

Настоящим временем называется, собственно говоря, то, часть которого прошла, а часть будет. Так как время катится, подобно реке, неостанавливающимся течением, оно способно содержать в настоящем едва-едва одну точку. Наибольшая часть его поэтому или прошла, или будет, за исключением глагола *есмы*, который греки называют ὑπαρκτικός (присущным), а мы можем именовать substantivum (сущностным); он всегда наисовершеннейший из всех и ни в чем не имеет недостатка... Другие же глаголы настоящего времени, как мы сказали, — между прошедшим и будущим; например, я начну писать стих; тогда я буду говорить: «я пишу стих», пока я еще не дошел до конца, и часть его уже написана, а часть еще должна быть написана. Поэтому мы называем это время настоящим, так как оно содержит и сопрягает как бы в некоей точке соединения прошедшего с будущим без всякого разрыва.

Схолий к Дионисию Фракийцу, 13 (250 Н).

Стойки называют настоящее *настоящим* длительным, так как оно протягивается и на (прошедшее и на) будущее.

Прошедшее (παρωχημένος; praeteritum)

Длительное, незаконченное (παρατατικός; imperfectum)

Херобоск, II, 12 Н.

Прошедшее, которое прошло частично и еще не закончено, образует так называемое *длительное*.

Схолий к Дионисию Фракийцу, 13 (249 Н).

Длительное — в течение которого время прошло, а дело сделано с протяжением.

Присциан, VIII, 53.

Допустим, что я начинаю в прошедшем писать стих и оставляю его незаконченным; тогда я пользуюсь *прошедшим незаконченным*, говоря: «Я писал стих».

Схолий к Дионисию Фракийцу, 13 (250 Н).

Стойки называют *длительное* — *прошедшим длительным*.

Предлежащее, законченное (παρακείμενος; perfectum)

Херобоск, II, 12 Н.

Если прошедшее только что прошло и действие только что закончено, оно образует так называемое *предлежащее*.

Присциан, VIII, 53—54.

Если начатое настоящее доходит до конца, мы тотчас же пользуемся *прошедшим законченным*; как только стих написан до конца, я говорю: «Я написал стих»... Следует знать, что римляне пользуются *прошедшим законченным* не только в отношении только что законченного дела, где это время имеет значение того, которое у греков называется *предлежащим*, а стойки называли *настоящим* *завершенным*, но и вместо неограниченного времени.

Преждезавершенное, более чем законченное (ὑπερσυντελικός; plusquamperfectum)

Херобоск, II, 12 Н.

Прошедшее, которое давно прошло, образует так называемое *преждезавершенное*.

Присциан, VIII, 53.

Вскоре после того, как стих написан, при еще недавней завершенности, я говорю: scripsi (я написал, прошедшее законченное); если же дело давно закончено, время начинает переходить в *более*

чем законченное; поэтому мы говорим об этом: scripseram (я некогда писал, прошедшее более чем законченное).

Неограниченное (ἀόριστος)

Херобоск, II, 12 Н.

Если неизвестно, когда именно прошло прошедшее, оно образует так называемое *неограниченное*.

Будущее (μέλλων; futurum)

Херобоск, II, 12 Н.

Так как будущее неизвестно, а неизвестное не может... иметь разделов, *будущее* время не имеет в силу этого разделов; однако, афиняне разделили и его на *будущее* и *вскоре будущее*.

ПРИЧАСТИЕ (μετοχή; PARTICIPIUM)

Дионисий Фракиец, 15.

Причастие есть слово, причастное к особенностям и глаголов и имен. Акциденции причастия — те же самые, что у имени и глагола, кроме лиц и наклонений.

Присциан, XI, 1—3, 5, 8, 15, 11.

Вставал вопрос, правильно ли отделили грамматики причастие от прочих частей речи — и первым из них был Трифон, а за ним следует и Аполлоний, величайший авторитет в грамматическом искусстве. Ибо... стоики утверждали, что причастие есть «отраженное нарицание», например, «читающий есть читатель» и «читатель читающий»... или глагольное имя, или падежное наклонение глагола... Они потому и не излагали отдельно причастия как части речи, что никакая другая часть речи не бывает всегда производной и лишенной собственного установления... Что касается этого последнего, а именно, что среди слов первичных и находящихся в собственном установлении, нет причастий, стоики, по-видимому, поступили правильно. Но, с другой стороны, причастиям мешает быть именами принятие ими времен, происходящее в изменениях собственных форм наподобие глаголов. Но если кто скажет, что имеется много имен, означающих время, мы ответим: между причастием и временными именами та разница, что имена эти ничего другого не означают, кроме времени самого по себе, как «год», «месяц», «день», «полдень», «сегодняшний», «вчерашний», «завтрашний», и не образуются в изменениях собственных форм, а причастия означают действие и страдание,

происходящие в разное время, а не время само по себе, и за ними следуют те же падежи, что и за глаголами... Поэтому, если они сохранили глагольную последовательность, они — пр частия; если же, потеряв времена, они привлекают к себе и те падежи, которые обычно следуют за глагольными именами, они переходят в них... и это показывает, что причастие есть нечто иное, чем имя. Глаголом же оно не может быть, так как имеет падежи и склонения, и роды по образцу имен; ибо ни один глагол не может иметь этого. Поэтому, так как и некие свойства глагола мешают ему быть именем — это времена и залоги, а особенности имени мешают ему быть глаголом — это роды и падежи... — причастие осталось посредине между именем и глаголом, и грамматики разумно дали ему это наименование в силу того, что оно скрепляет две основных части речи...

Причастие, стало быть, есть часть речи, которая берется вместо глагола и естественным образом от него производится, имеющая род и падежи наподобие имени и акциденции глагола, кроме различения лиц и наклонений...

Причастия, как и неопределенные глаголы, имеют наподобие желательных соединенные времена настоящего и прошедшего незаконченного, прошедшего законченного и более чем законченного...

Потенциально и по значению причастие содержит все наклонения... Оно получает значение того наклонения, с глаголом которого соединяется, — и в этом также обнаруживается, сколь близко оно связано с неопределенным.

ЧЛЕН (ἄρθρον; articulus)

Дионисий Фракийец, 16.

Член есть склоняемая часть речи, стоящая впереди и позади склоняемых имен.

Акциденций у него три: роды, числа, падежи.

Схолий к Дионисию Фракийцу, 16 (74 Н).

Член есть часть речи, которая прикрепляется к падежным формам с помощью постановки рядом с ними, впереди или позади, с соответствующими акциденциями имени для указания на предварительную известность, — то, что называется *отнесением*.

МЕСТОИМЕНИЕ (ἀντωνυμία; pronomen)

Аполлоний, О местоимении 3 Schn.

Аристарх назвал местоимениями слова, сопряженные по лицам.

Тиранион назвал их *означениями*.

Аполлоний, там же 4.

Аполлоний, там же 5.

Стойки называют также и местоимения *членами*, отличающимися от наших членов тем, что первые — определенные, последние — неопределенные... Аполлодор Афинянин и Дионисий Фракиец называли местоимения также и *указательными членами*.

Дионисий Фракиец, 17.

Местоимение есть слово, употребляемое вместо имени, показывающее определенные лица.

Харисий, I, 157 К.

Местоимение есть часть речи, которая, будучи поставлена вместо имени, означает меньше, но почти то же самое.

Донат, IV, 379 К.

Местоимение есть часть речи, которая будучи поставлена вместо имени, означает почти столько же и иногда принимает лица.

Аполлоний, там же 9.

Местоимение должно определять следующим образом: слово, ставящееся вместо имени, указывающее на определенные лица, различающееся по падежам и числам тогда, когда оно не выражает своим звуком рода.

Всякое местоимение — либо указательное, либо относительное.

Присциан, XII, 1.

Местоимение есть часть речи, которая берется вместо собственного имени каждого (предмета) и принимает определенные лица.

Аполлоний, там же 26.

Местоимения не ставятся ни вместо нарицательных имен, ни вместо прилагательных, так как они определяют нечто единое, а нарицательное расходится по многим предметам... Прилагательные показывают или величину, или качество, или душевное расположение, или что-нибудь в этом роде, а местоимения ничего не являют из этого — только одни сущности.

Дионисий Фракиец, 17.

Акциденций у местоимения шесть: лица, роды, числа, падежи, образы, виды.

Аполлоний, там же 16.

Следует называть, как и Трифон, я и прочие первичными, а (такие как) *наш...* производными и притяжательными, так как они происходят от первичных и указывают на принадлежность.

Дионисий Фракийец, 17.

Лица первичных местоимений: я (ἐγώ), ты (σύ), он (ὁ), производных — мой (ἐμός), твой (σός), свой (ός).

Роды первичных местоимений различаются не по звуку, но по содержащемуся в них указыванию, значимости, например, я (ἐγώ), а роды производных различаются по звуку, например, мой (ἐμός), моя (ἐμή), мое (ἐμόν).

Числа первичных: единственное, двойственное, множественное; производных — единственное, двойственное, множественное.

Харисий, I, 157 К.

Качество местоимений или определенное, или неопределенное. Определенное, которое указывает на известное лицо: я, ты, он. Неопределенное, которое может быть присоединено к любому лицу: кто, какой.

Проб, IV, 131 К.

Качество местоимений разделяется на четыре вида: определенное, не вполне определенное, неопределенное, притяжательное.

ПРЕДЛОГ (πρόθεσις; praepositio)

Дионисий Фракийец, 18.

Предлог есть часть речи, стоящая перед всеми частями речи и в составе слова и в составе предложения.

Коминиан (Харисий, I, 181 К.)

Предлог не должен прибавляться к наречиям в качестве самостоятельного слова.

НАРЕЧИЕ (ἐπίρρημα; adverbium)

Дионисий Фракийец, 19.

Наречие есть несклоняемая часть речи, высказываемая о глаголе или прибавляемая к глаголу.

Коминиан (Харисий, I, 190 К.)

Наречие есть часть речи, которая, будучи присоединена к глаголу, дополняет и изъясняет его значение.

Аполлоний, *О наречиях* 119 Schn.

Наречие — несклоняемое слово, высказывающее нечто о глагольных формах (обо всех или о части их), без которых оно не в силах закончить мысль.

Коминиан (*Харисий, I, 180—181 К.*)

Наречия бывают или собственного установления, или переходят из других частей речи. Рождаются из себя, как *вчера*, переходят из других, как *ученый*, *учено*.

Акциденции наречия — значение, образ, сравнение.

Дионисий Фракийец, 19.

Из наречий одни — простые, другие — составные; простые, как *давно* (πάλαι), составные, как *давным-давно* (πρόπαλαι).

1. Одни показывают время, как *теперь* (νῦν), *тогда* (τότε), *потом* (αὐτίς). Этим следует подчинить, как виды, наречия, представляющие момент, например, *сегодня* (σήμερον), *завтра* (αὔριον), в то время (τόφρα), некоторое время (τέως), в какое время (πηνίκα).

2. Другие показывают средину, например, *прекрасно* (καλῶς), *мудро* (σοφῶς).

3. Другие — качество, например, *кулаком* (πύξ), *ногой* (λάξ), *гроздьями* (βοτρυδόν), *толпой* (ἀγεληδόν).

4. Другие — количество, например, *часто* (πολλάκις), *редко* (ὀλιγάκις).

5. Другие показывают число, например, *дважды* (δίς), *трижды* (τρίς), *четырежды* (τετράκις).

6. Другие — местные, например, *вверх* (ἄνω), *вниз* (κάτω); у них три состояния: на месте, на место, из места, например, *дома* (οἴκοι), *домой* (οἴκαδε), *из дому* (οἴκοθεν).

7. Другие означают желание, например, *если бы* (εἴθε, αἶθε), *о если бы* (ἀβάλε).

8. Другие — сетующие, например, *ах* (παλαῖ), *увы* (ιοῦ), *о!* (φεῦ).

9. Другие — наречия отрицания или отказа, например, *не* (οὐ), *совсем нет* (οὐχί), *отнюдь нет* (οὐδῆτα), *никак* (οὐδαμῶς).

10. Другие — согласия, например, *да* (ναί), *вполне* (ναίχι).

11. Другие — запрещения, например, *не* (μή), *нет* (μηδῆτα), *никоим образом* (μηδαμῶς).

12. Другие — сопоставления или уподобления, например, *как* (ὡς), *совершенно как* (ὡσπερ), *подобно* (ἥύτε), *подобно тому как* (καθάπερ).

13. Другие — удивление, например, *ба!* (βαβαί).

14. Другие — предположения, например, *может быть* (ἴσως), *пожалуй* (τάχα), *случайно* (τυχόν).

15. Другие — порядка, например, рядом (ἐξῆς), сряду (ἐφεξῆς), отдельно (χωρίς).

16. Другие — собрания, например, совершенно (ἄρδην), вместе (ἅμα), весьма (ἥλιθα).

17. Другие — поощрения, например, ну (εἶα), ну же (ἄγε), давай (ἤερε).

18. Другие — сравнения, например, больше (μᾶλλον), меньше (ἥττον).

19. Другие — вопроса, например, откуда (πόθεν), какое время (πηνίκα), как (πῶς).

20. Другие — усиления, например, слишком (λίαν), весьма (σφόδρα), очень (πάνυ), чрезвычайно (ἄγαν), наиболее (μάλιστα).

21. Другие — охвата, например, вместе (ἅμα), совместно (ὁμοῦ), совокупно (ἄμυδις).

22. Другие — клятвенно-отрицательные, например, ей нет (μά).

23. Другие — клятвенно-утвердительные, например, ей (νή).

24. Другие — подтверждения, например, очевидно (δηλαδῆ).

25. Другие — установительные, например, следует жениться (γαμητέον), следует плыть (πλευστέον).

26. Другие — вдохновения, например, эвой (εὐοί), эвон (εὐάν).

Коминиан (Харисий, I, 181 К.)

Наречия допускают сравнения, поскольку сравниваемы те нарицания, из которых они переходят.

СОЮЗ (σύνδεσμος; coniunctio)

Дионисий Фракийец, 20.

Союз есть слово, связывающее мысль в известном порядке и обнаруживающее пробелы в выражении мысли.

Из союзов одни — соединительные, другие — разъединительные, другие — связующие, другие — вдобавок связующие, другие — причинные, другие — вопросительные, другие — выводные, другие — восполняющие.

Коминиан (Харисий, I, 224 К.)

Союз есть часть речи, связующая и упорядочивающая мысль. Акциденции союза: образ, порядок, значение.

Образ есть та акциденция, в силу которой союз именуется простым или составным.

Порядок есть та акциденция, которая выявляет, какой союз может ставиться только впереди, какой только позади, какой и впереди и позади.

По значению союзы делятся на пять видов: соединительные, разъединительные, восполняющие, причинные, выводные.

МЕЖДОМЕТИЕ (*interiectio*)

Харисий, I, 238 К.

О междометии, как говорит Коминиан: междометие есть часть речи, обозначающая душевный аффект.

Палемон так определяет: междометия — те, которые не заключают в себе высказываемого, однако обозначают душевный аффект.

Донат, IV, 391 К.

Междометие есть часть речи, помещаемая между другими частями речи для выражения душевных аффектов.

Присциан, XV, 40.

Греки помещают междометие среди наречий, так как оно либо присоединяется к глаголам, либо глаголы при нем подразумеваются; например, если я говорю: «рарае (эге), что я вижу?» или «рарае» само по себе, то хотя к нему не присоединяется «я удивляюсь», оно имеет в себе значение самого глагола. Именно это обстоятельство более всего побудило римских составителей руководств отделить эту часть речи от наречий, так как она, по-видимому, содержит в себе глагольный аффект и дает полное обозначение душевного движения, хотя бы глагол и не присоединялся.

СИНТАКСИС

Аполлоний, Синтаксис, III.

6. Итак, следует, остановившись, изложить, что представляет собой то, что производит несогласованность, а не прибегать попусту к нагромождению примеров; ведь некоторые ограничились тем, что провозгласили это солекизмом, но не объяснили, что именно его производит; между тем, если это не понять, то получится не приводящее ни к какой цели нагромождение примеров.

8. Не укрылось от меня и то, что некоторые запутали всеми согласно признанное положение, что неправильность в одном слове есть варваризм, а неправильность в соединении несогласованных слов есть солекизм, допустив, что и в одном слове возникает солекизм — если сказать *этот* для женского рода или когда предметом является множество, присоединив сюда и другие столь же нелепые примеры. Но, во-первых, прямой падеж никогда не составляет законченного предложения без глагола, и притом глагола, не требу-

ющего другого падежа, косвенного. Ведь *этот прогуливается* — законченное предложение, а *вредит* — нет, так как не хватает *кому*. И если бы мы сказали так: *кто тебя ударил?* то ответное *этот* имеет при себе общий заимствующий глагол. *Кто называется Эантом?* — *Этот*. Итак, неверно, будто в одном слове бывает солекизм.

9. И очевидно, что сама по себе речь построена правильно, а искажение рода обнаруживается на основании показа, связанного с речью. Ясно, что этот недавно выдуманный солекизм из-за местоимения *этот* не случится ночью, и поэтому надо было бы прибавить к определению: когда синтаксическая погрешность сделана не в ночной обстановке, так как то, что относится к роду, явно воспринимается зрением. Последнее, однако, смехотворно: ведь солекизмы воспринимаются слухом, улавливаемые на основании имеющейся в образующих единый ряд слова несогласованности, и их схватывают даже люди с поврежденным зрением — ведь они не лишены того, чем осваивается голос, я имею в виду слух...

10. Итак, выражение *этот меня ударил*, сказанное о женщине, не включает в себе погрешности речи: ведь оно обладает должной согласованностью. Если же кто-нибудь, когда дело идет о женщине, сказал бы *эта меня ударила*, он, без сомнения, скажет солекизм вследствие несогласованности слов, хотя он и правильно указывает род. Ведь согласованность или несогласованность заключается не в предметах, но в соединении слов, которые могут изменяться в должном направлении, между тем как предметы все время остаются теми же.

13. Как мы сказали выше, самая общая причина несогласованности следующая. Из частей речи одни видоизменяются по числам и падежам, как имя и все то, что может выразить число вместе с падежом; другие — по лицам и числам, как глаголы и местоимения; третьи — по родам, как вышеупомянутые имена и все то, что способно показать в себе различие в роде; некоторые же ничего этого не принимают, как все то, что употребляется в одной форме, как-то: союзы, предлоги и почти все наречия.

14. Итак, вышеназванные части речи, взятые на основании собственных им изменений в нужной — в смысле вышеупомянутых чисел или лиц, или родов — форме, распределяются в составе речи так, чтобы получилось соединение с тем, к чему они могут относиться, например, множественное к множественному, при наличии совпадения в лице — *пишем мы, пишут люди*. Ведь с переходом в другое лицо не потребуется обязательно одно и то же число; например, возможно сказать — *бьют человека* или же *бьют людей*.

15. То же самое относится и к тому, что совместно берется в одном роде и падеже — *слышат нас самих*; ведь опять-таки с переходом в другое лицо падеж и число другого слова становятся безразличными — *слышит нас сам, слышат нас сами*. Если бы опять-

таки это слово сошлось с другим в падеже, то оно будет относиться вследствие согласования в падеже к тому же самому лицу, если только внедрение союза не произведет разрыва в лице, как — *слышат нас и самих*.

16. То же самое относится и к родам. Мы ведь скажем *эти мужи* или в косвенном падеже *этих мужей*; ведь опять-таки при перемене лица здесь будут безразличны и род и число — *этих оскорбила женщина*. Излишне прибегать для этого к нагромождению примеров; ведь вполне ясно, о чем идет речь.

17. Итак, если, как мы сказали выше, оказывается, что какое-нибудь слово не показывает в себе этих различий, то оно будет безразлично связываться со всем вышеуказанным, я имею в виду — с различными родами, падежами, числами, лицами и всем прочим, что может принять на себя что-либо такое; ведь оно не имеет собственных видоизменений, которые могли бы служить уликой погрешности.

18. Пусть у нас будет какое-нибудь соединение слова *прекрасно* или подобных ему со всяким лицом, со всяким числом — тогда мы говорим *я прекрасно написал* или *прекрасно пишу*, или *прекрасно пишете* и с видоизмененными временами, я имею в виду *я написал* или *напишу*. Вполне ясно, что такое соединение — согласованное; ведь вся совокупность наречий, не способная принимать на себя числа или лица, или наклонения, а также времена, которые принимает глагол, может беспрепятственно в разных случаях вступать в связь, так как единообразная форма не допускает погрешности. Но о слове *прекрасный* нельзя заметить того же: ведь оно оказывается в третьем лице и единственном числе и поэтому допускает именно третье лицо единственного числа слова *писать* — *прекрасный пишет*, *прекрасный прогуливается*. А так как слово *прекрасный* не обозначает момента времени, то оно безразлично соединяется с различными временами.

19. Наречия же, предназначенные для различных времен, соединяются с различными лицами и числами, но не соединяются с глаголами в будущем или настоящем времени (наречия, относящиеся к прошедшему); однако все это ограничение не касается наречий, приложимых к протяжению всего времени, я имею в виду *теперь* и подобные ему. Одинаковым образом ограничены и наречия, принимающие значение наклонений, я имею в виду *о если бы* или *ну же*; ведь повелительное наклонение несоединимо с желательным, и таким образом *о если бы* несовместно с повелительными формами, а *ну же* — с желательными. Другие же наречия, которые лишены такого значения, способны безразлично соединяться со всеми наклонениями. О таком соединении мы точнее изложили в сочинении о наречиях; о нем будет еще говорено по мере надобности.

20. Можно показать это и на союзах, так как они, не распределяясь по упомянутым выше подразделениям, безразлично вступают

в соединения с различными родами или падежами, или разными лицами. Если же у них имеется какое-нибудь различие в отношении к подразделениям, то оказывается и недостаток в способности соединяться вследствие заложенного в союзе смысла. Для того чтобы сейчас не говорить о союзах, мы воспользуемся только одним примером.

21. О союзе ἄν (бы) — на основании голого наблюдения утверждается, что он соединяется с прошедшими временами, за исключением подлежащего. При таком способе сочетания, если спросить, почему в выражении *напишу бы* (γράφω ἄν) возникла несогласованность, то в чем именно несогласованность — можно объяснить только на основании предварительного знания значения этого союза: ведь не происходит ошибочной замены в числе или в чем-нибудь другом, что может послужить уликой отсутствия согласованности с глаголом в числе или времени, или залоге. Причина же следующая. Данный союз стремится устранить действительно совершившиеся события, переводя их в область возможного, почему он и назван *возможным*. Ведь *я написал* (ἔγραψα) или *я писал* (ἔγραφον) или *я оказался написавшим* (ἔγεγράφειν), или частично совершены, или уже давно совершены; поэтому данный союз и подходит к тому, что может перенять его смысл — *я писал бы* (ἔγραφον ἄν), *я написал бы* (ἔγραψα ἄν), *я оказался бы написавшим* (ἔγεγράφειν ἄν), а не к *пишу* (γράφω) или *напишу* (γράψω); ведь эти действия еще не прошли, так что нет места для вызываемого союзом устранения совершившегося и указания на возможное. И отсюда мы убеждаемся, что подлежащее время обозначает не завершенность прошедшего, но завершенность в настоящем, почему оно и не принимает на себя ничего, что могло бы случиться после него, и потому именно оказывается не терпящим союза ἄν (бы). В отделе о синтаксисе союза все это будет показано полнее. Следует, однако, вернуться к предмету рассмотрения.

22. Итак, слова, будучи распределены, как мы сказали, согласно подобающим положениям, изобличают, благодаря сопряженным с ними соответствиям, слова, каким бы то ни было образом попавшие на неподходящие места. В этом можно удостовериться и при помощи того, о чем мы недоумевали в вышеизложенном, и при помощи того, что мы сейчас приведем.

Слово *мне* не прилагается к третьему лицу: ведь оно изобличается сопряженным с ним словом *ему*. И ясно, что на том же основании *ему* не говорится о первом лице, как и *пишу* не говорится вместо *пишет*, а *пишет* вместо *пишу*. То же относится и ко вторым лицам. Каким же образом слово *сам*, образующее соединение с третьим лицом, дает в то же время первое и второе? Потому, что не имеет для обозначения лица соответствующего, сопряженного с ним, другого слова, которое могло бы изобличить неправильно употребленное лицо.

23. И ясно, что то, что не бывает в соответствии с лицом, не будет погрешать против соответствия лицу, а то, что бывает в соответствии с родом, падежом и числом, уже не будет вступать в соединения вопреки правилам о них; ведь надо говорить *меня самого* и *нас самих*. Это опять-таки ясно из других местоимений, которые, не различая рода, могут беспрепятственно соединяться со всеми тремя родами; говорим же мы *ты сам* или *ты сама*, а также *мне самому* и *мне самой*. И это не ошибка, так как не имеется того, что может изобличить ошибку. То же самое относится и к *тот* и *этот*; опять-таки без препятствия можно сказать *этот я* и *тот я*, согласно тому, что мы сказали выше.

Разрешается и то недоумение, что *самих себя* (ἐαυτοῦς) распространяется и на первое лицо, что было бы ошибкой, если бы изобличалось местоимением ἐμαυτοῦς как погрешность против лица. Но так как изобличить его нет возможности, оно без опасения выступает в соединении с разными лицами.

24. То же самое относится к глаголам. Все наклонения, распределенные по лицам и числам, изобличают несогласованность именно благодаря числам и лицам; неопределенное же наклонение, лишенное их, подходит ко всем лицам и всем числам. Так как однако оно не лишено залогов и времен, то при нарушении их оно обнаруживает несогласованность.

25. Ничто не мешает тому, чтобы это наклонение, имеющее более физический смысл и лишенное оттенка душевного расположения, употреблялось вместо всех других наклонений с прибавлением отличительной особенности каждого наклонения, и обратно — чтобы всякое другое наклонение было обращено в неопределенное. Ведь *пиши* может иметь тот же смысл, что *приказываю тебе писать*, причем обязательно вставляется «приказывать» и местоимение; ведь неопределенное наклонение лишено их. *О если бы ты прогуливался* — желаю тебе прогуливаться; *ты пишешь* — я определяю тебя писать (что ты пишешь). Вполне ясен и переход оборотов *о если бы Дионисий писал* — он пожелал Дионисию писать; *пусть Дионисий пишет* — он приказал Дионисию писать. Почему имеющиеся при этом прямые падежи становятся косвенными, об этом мы будем говорить точнее в отделе о глаголах, где мы и изложим свойственный неопределенному наклонению синтаксис в целом.

26. В этом можно удостовериться и на причастиях, которым их выход из глаголов придает род, падеж и присущее этим последним число, но отнимает различие лица и душевного настроения. И вследствие этого мы не погрешаем против того, что отнято: в лицах — *я, написавший, встал*; *ты, написавший, встал*; *он, написавший, встал*; в наклонениях — *написавший, я мог бы встать*; *написавший, встань*. Оставшееся же — я имею в виду залог или различие во временах — подпадает под понятие несогласованной речи, если сочиняется вопреки должному.

IX. ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Анонимный грамматик, О диалектах.

Диалектов пять: ионийский; аттический; дорийский; эолийский; общий.

Ионийским был назван диалект ионийцев, от Иона, сына Аполлона и Креусы, Эрехтеевой дочери;

Аттическим — диалект аттиков, от Аттиды, дочери Краная;

Дорийским — диалект дорийцев, от Дора, сына Эллина;

Эолийским — диалект эолийцев, от Эола, сына Эллина.

Общим (κοινῆ) — тот, которым мы все пользуемся.

Аттическим писал Аристофан; ионийским Гомер; дорийским Феокрит; эолийским Алкей; общим — Пиндар.

ОБ ИОНИЙСКОМ ДИАЛЕКТЕ

§ I. Ионийский диалект — тот, которым пользовались ионийцы; по-видимому, это древний аттический.

§ II. Его особенность та, что он употребляет η вместо α; разделяет слоги, имеющие облеченное ударение, на два слога; принимает κ вместо λ; вместо придыхательных звуков при слиянии дает глухие; в некоторых словах выбрасывает ι.

§ VIII. Разновидностей этого диалекта было четыре.

§ IX. Пользовались им Гомер и Гесиод и многие другие творцы эпоса, Анакреонт, Гиппонакт, историограф Геродот, физик Демокрит и врач Гиппократ.

ОБ АТТИЧЕСКОМ ДИАЛЕКТЕ

§ I. Аттический диалект — тот, которым пользовались афиняне.

§ II. Его особенность та, что он широко пользуется слиянием, дает нерасчлененное произношение в некоторых словах; дает, далее, τ и ρ вместо σ, и υ вместо ε, и ξ вместо σ.

§ VIII. Его частной особенностью является пользование двойственным числом.

§ IX. Разновидностей этого диалекта было три, так что существуют различные формы слов, соответственно каждой разновидности и каждому выговору.

§ X. Пользовались же им писатели, среди коих известны Менандр и Филемон, кроме того историограф Фукидид, Ксенофонт, философы школы Сократа — каждый наиболее близкой ему разновидностью аттического диалекта.

О ДОРИЙСКОМ ДИАЛЕКТЕ

§ I. Дорийским называется диалект, которым пользовались дорийцы.

§ II. Им свойственно употреблять \bar{a} вместо η и \bar{a} вместо ω ; сокращать винительные падежи множественного числа; произносить кратко некоторые слова, имеющие долготу в прямом падеже множественного числа; употреблять ω вместо дифтонга ou ; принимать η вместо ϵi ; иногда — σ вместо ϑ ; и выбрасывать i в некоторых словах.

§ XI. Разновидностей этого диалекта было множество, не только по городам, но и по племенам.

§ XII. Пользовались им Алкман, Стесихор, Ивик, Вакхилид, Эпихарм. Но в пользовании им наблюдаются различия.

ОБ ЭОЛИЙСКОМ ДИАЛЕКТЕ

§ I. Эолийский диалект — тот, которым пользовались эолийцы.

§ II. Его особенность та, что он превращает слова в баритонические: вставляет i в винительном падеже множественного числа некоторых имен женского рода; иногда употребляет ω вместо ou ; и u вместо o ; придает произношение без придыхания словам, начинающимся с гласного; ставит η вместо дифтонга ϵi ; прибавляет в начале слов β к ρ ; принимает два π вместо двух μ . Он противоположен дорийскому.

§ XI. Есть у них частные особенности; так, например, вместо предлога $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}$ они берут $\lambda\acute{\epsilon}\delta\alpha$. А иногда они говорят $\beta\omega\lambda\acute{\alpha}$ вместо $\beta\omega\lambda\acute{\eta}$, $\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\omicron\varsigma$ вместо $\acute{\alpha}\gamma\acute{\omega}\nu$, $\gamma\bar{\alpha}$ вместо $\gamma\eta$, $\text{Π}\acute{\epsilon}\rho\rho\acute{\alpha}\mu\omicron\varsigma$ вместо $\text{Π}\acute{\rho}\iota\alpha\mu\omicron\varsigma$; много имеют и других частных особенностей.

§ XII. Разновидностей этого диалекта было три.

§ XIII. Пользовались им Сапфо, Алкей, Мия и другие.

ОБ ОБЩЕМ ДИАЛЕКТЕ

§ I. Те, кто не желают причислять общий диалект к четырем упомянутым выше, обосновывают это таким образом: он не содержит

в себе, говорят они, ничего своего собственного; и подобно тому, как четырехсоставное лекарство, состоя из четырех снадобий, называется четырехсоставным, так как не имеет ничего своего собственного, так и общий диалект, образовавшийся из четырех диалектов, не должен причисляться к ним.

Из тех же, кто вводят в число диалектов общий, одни говорят, что он уподобляется всем диалектам одинаково звучащими (словами), как, например, φίλος, φύξ и т. п.; другие же — что он не имеет особого типа, а составлен и собран из различных слов.

§ II. Разновидностей его мы не находим.

II. ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ

С. Меликова-Толстая

АНТИЧНЫЕ ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

1

К началу V в. до н. э. в передовых государствах Греции в связи с усложнением общественных отношений и разрушением старого уклада происходит переворот и в области научных интересов. Во второй половине V в. научная мысль греков, занятая до тех пор исключительно объяснением явлений природы, обращается к проблемам тех наук, которые мы теперь называем науками общественными. А в области этих наук среди явлений, которые прежде всего начинают привлекать к себе внимание, оказывается явление речи. В частности, в связи с той ролью, какую играла ораторская речь в политической жизни греческого полиса, интересуются не столько проблемой человеческой речи вообще — хотя занимаются и ею — сколько, на первых порах, чисто практическими проблемами речи как искусства и как силы в общественной жизни. Античная традиция приурочивает зарождение этой новой науки, риторики, к Сицилии эпохи падения там тирании и установления демократической формы правления. Но эта новая наука хочет быть чем-то большим, нежели только теорией ораторской речи. Идеологический переворот, происшедший в V в. в связи с крушением пережитков рода, разрушает и старую систему воспитания. И вот риторика берет на себя задачу заменить собою это старое воспитание. Те люди, которые приносят ее в Афины, называют себя «учителями мудрости», софистами. Вербуя себе учеников, они обещают подготовить их к политической деятельности и научить при помощи красноречия слабому аргументу давать перевес над сильным. В этом последнем обещании отражается крушение старых норм этики и относительность новой этики, открывающая широкое поле для красноречия. Здесь, может быть, надо искать объяснения того, почему риторика зародилась в западной Греции: кроме указанных социальных условий, которые были налицо и в других местах, хотя бы в шедших впереди других ионических городах Малой Азии, здесь могло сыграть роль соседство с философской школой элеатов. Элеаты, поставившие на место знания о мире мнение (δόξα) и разорвавшие казавшуюся до тех пор естест-

венной, самой природой установленной связь между словом и вещью, сделав вместо этого слово лишь условным обозначением вещи, произвели тот идеологический переворот, в котором и надо искать мировоззренческий корень риторики. Один из первых софистов и риториков, Горгий, начинает свою деятельность как элеат, доказывая, что ничего не существует, а если бы и существовало, то не могло бы быть познано человеком, а если бы было познано, то это свое познание человек не мог бы передать другим.

Но там же, в западной Греции, в Италии, в кругах философв-пифагорейцев идет изучение действия на человеческую душу звуков, преимущественно звуков музыкальных. Под влиянием подобного рода исследований в риторике, занимавшейся до тех пор только приемами доказательств и вопросами построения речи, появляется новая глава. К числу приемов психического воздействия на слушателя прибавляется еще один: самый язык. Стиль речи рассматривается как один из способов убеждения. Этот новый этап в развитии риторики связывается нашей традицией, по-видимому справедливо, с именем того же Горгия. Называя на своем метафорическом языке риторику «мастером убеждения», Горгий в числе средств, с помощью которых оратор «ведет за собою» душу слушателя (*ψυχαγωγία*), видное место отводит стилю речи и в особенности ее звуковой стороне. Он знает, какое впечатление производят на людей волшебные заговоры, внимательно присматривается к звуковой организации тех словесных приемов, какие в них применяются, и переносит их в свою речь. Горгий сам говорит об этом: «Заклинания, проникнутые божественной силой речи, и радость наводят и печаль отвращают, потому что мощь заклинания, соприкасаясь с человеческой мыслью, чарует ее, убеждает и переиначивает средствами своего волшебства. Существует же два способа волшебного чародейства: чарование духа и обман мысли» («Елена», § 10). Сравнивает речь с искусством волшебного заговора и современник Горгия Фрасимах, слова которого о том, что он умеет «заклинанием своим зачаровывать рассерженных», цитирует Платон в «Федре» (267 CD). Сравнение с заговором имеет у Фрасимаха несколько иной смысл, чем у Горгия: его внимание направлено главным образом на возбуждение речью определенных, нужных оратору, аффектов — гнева, страха, сострадания. Среди приемов, которыми это достигается, имеются однако же и звуковые. Фрасимах является первым теоретиком речевого ритма, как Горгий — первым теоретиком звуковых повторов. Античная традиция приписывает Горгию «изобретение» словесных фигур, в особенности трех: антитезы, симметрии слогов и созвучия их. Если тут и нельзя говорить об изобретении в собственном смысле, так как эти приемы существовали в греческой литературе задолго до Горгия, с тех самых пор как вообще начала существовать греческая литература, однако речи Горгия безусловно показывают, что он обратил на эти фигуры

внимание, учел их значение как средства повышения звуковой стороны языка и сознательно применил их в небывалых размерах. Неизвестно, оставил ли Горгий после себя теоретическое изложение своих наблюдений; по-видимому, действительно существовало написанное им руководство, но до нас оно не сохранилось. Как бы то ни было, а в школе Горгия создается обширная литература как раз по вопросам стиля, литература, известное представление о которой мы получаем из платоновского «Федра» (267 С): «А как не сказать (говорит Сократ в «Федре») о словесах Муз Пола, о повторении слов, приведении изречений, употреблении образных выражений, о всех тех Ликимниевых словах, которыми последний одарил творческую красоту речи Пола?» Здесь, в этой несколько загадочной и иронической форме, которая современникам говорила несомненно больше, чем нам, упоминаются два ученика Горгия, Пол и Ликимний, как теоретики художественной речи. С первым связывается чисто горгиевский прием повторения слова ради повышения звукового, музыкального значения речи и ее образности, а со вторым — учение о красивых словах; последнее находит себе подтверждение и в «Риторике» Аристотеля (см. стр. 186).

Наиболее ранним литературным памятником, в котором отражаются наблюдения софистов над художественным, преимущественно поэтическим, языком, является для нас комедия Аристофана «Лягушки» (405 г. до н. э.). Мы видим здесь, как и в платоновском «Федре», уже начатки специальной терминологии. Так, Еврипид упрекает Эсхила в «неясности» (ст. 927), предвосхищая тем самым требование от речи «ясности», которая в античной риторической системе, начиная с Аристотеля, считается главным качеством речи. На основании «Лягушек» мы можем заключить, что это требование выставлялось уже софистами. Больше того, Аристотель говорит в «Поэтике» (гл. 22, см. стр. 185), что сплошь метафорическая речь в своей неясности становится или загадкой или варваризмом. Знает это учение, по-видимому, и Аристофан, когда говорит дальше (ст. 930), что речи Эсхила «не разгадать» и что его образы напоминают изображения на персидских тканях (ст. 938). Далее мы читаем о «весе» слов и стиля (ст. 941, 1367) — метафора, впоследствии очень обычная. Здесь она еще ощущается как таковая, и Аристофан ради комического эффекта реализует ее в картине взвешивания слов на весах (ст. 1365 и сл.):

Его сейчас я на весах испробую.

Последнее осталось испытание:

Стихов и слов теперь мы тяжесть взвешаем.

Если в позднейшей риторике обычно противопоставление скудного, сухого типа речи другому, величавому и богатому украшениями, возвышенному, то «Лягушки» позволяют — или, вернее, заставляя-

ют — нас отнести и это противоположение уже к софистическому периоду. Еврипид говорит у Аристофана (ст. 939 и сл.):

Когда из рук твоих поэзию я принял
Распухшую от пышных слов, надутую от бредней,
 Сперва ее я подсушил, от тучности избавил
 Пилюлями истертых слов, слабительным из мыслей
 И кислым соком болтовни, настоенным на книжках.

Здесь все полно терминов, употребляющихся позднее уже без ощущения их метафоричности. Заимствованная из медицины картина лечения тучности высмеивает введенные софистами еще непривычные метафоры. В другом аспекте и при помощи других метафор противопоставляются друг другу два стиля (ст. 901 и сл.): тонкий, отполированный стиль Еврипида и бурный, полный аффекта стиль Эсхила:

Утонченно, изощренно
 Будет говорить один,
 А другой, с корнями вырвав
 Слов стволы,
 Бросит их, и хруст промчится
 По ристалищу речей.

Для всей греческой литературы характерно искание не новых тем, а новых трактовок. В частности, конечно, новизна трактовки понимается и как новизна словесного выражения. Это требование выставляет и Исократ в своей программной речи «Против софистов» (13 § 12, 13), где он говорит, что наиболее искусным кажется тот человек, который, говоря на тему, уже использованную ранее его другими, сумеет найти в ней другими не сказанное. Еще определеннее выражена та же мысль в его «Панегирике» (4 § 8): речи отличаются тем свойством, что можно об одном и том же говорить на разные лады и старую тему излагать по-новому. Это особенно ярко формулируется в эллинистическую эпоху (см. стр. 210). Но почти та же самая формулировка дана уже Аристофаном, у которого предводитель хора в «Лягушках» приглашает обоих поэтов выразиться в их словесном состязании так, как не выразился бы никто другой (ст. 906). Наконец, требование, выставляемое Эсхилом (ст. 1059—1061), чтобы способ выражения соответствовал действующим лицам и герои говорили бы величественным слогом, включает явный намек на требование «уместности», «соответствия» предмету речи и характеру говорящего, занимающее видное место в «Риторике» Аристотеля, но разрабатывавшееся, без сомнения, и раньше. Единственная сохранившаяся комедия, имеющая своей основной темой современные ей литературные споры, дает таким образом богатейший материал

для частичной реконструкции софистической теории художественной речи. Приведенные примеры служат только иллюстрацией и всего не исчерпывают. Другие комедии Аристофана, затрагивающие те же темы лишь мимоходом, и даже скудные отрывки утраченных комедий других авторов дают добавочный материал. Таким образом комедия и Платон позволяют до некоторой степени заглянуть в погибшую для нас софистическую литературу и дают известное представление о ее богатом содержании. Мы присутствуем здесь при самом процессе создания терминологии, видим ее еще живой, еще не окостеневшей и, как всякая терминология, метафоричной, наблюдаем ее в той стадии, когда метафоры вызывают еще определенные конкретные образы, впоследствии постепенно теряющие свою конкретность. Относить все те теории, на которые намекает Аристофан, к какому-нибудь определенному, известному нам имени едва ли следует и вряд ли вообще возможно уже по одному тому, что нам известно слишком мало имен и что поэтому подобное приурочение неизбежно будет случайным.

Вопросы риторики занимали в то время не только профессиональных учителей красноречия, и не только последние высказывались о них в литературе: нам известно, например, что политический деятель Терамен написал целый ряд сочинений, касавшихся теории стиля. Одно из них озаглавлено «Об образах»: следовательно, это та же тема, какую мы встретили и у Пола. Два других сочинения для нас менее ясны: в одном, по-видимому, опять трактовались вопросы созвучий, и, следовательно, оно примыкает к стилистическим тенденциям Горгия; третье говорит о *σχηματα*. Угадать его содержание мешает то, что термин здесь употреблен, несомненно, не в том обычном значении «фигуры», какое это слово приобретает в риторике лишь гораздо позже. У Аристотеля термин «схема» означает структуру речи (см. стр. 193). Возможно, что и Терамен имеет в виду нечто подобное, хотя не следует, с другой стороны, забывать и того, что подлинное значение этого слова — «поза», «жест» — ведет нас в область гимнастики, и что сравнения риторики с гимнастикой в литературе настолько обычны, что вероятно и этот, как и многие другие термины V века, как мы это только что видели у Аристофана, является еще не стершейся, живой метафорой.

Ряд случайностей сохранил нам одни имена и позволил другим навсегда погибнуть. Риторическое движение в конце V и в начале IV веков было, очевидно, гораздо шире и гораздо богаче, чем оно нам известно, но несомненно главную роль в нем сыграли два лица — Фрасимах и Горгий. Школу создал главным образом последний, и наследие этой школы перешло к Исократу. По примеру софистов и Исократ свою роль учителя понимает широко, свое преподавание он называет новым в то время словом «философия», но как в содержании этого общего образования, даваемого риторикой, так и для учения

о стиле в частности наступает период, когда богатство некогда новых, смелых по содержанию и еще более по форме, мыслей упорядочивается, входит в определенное русло, когда добавляются недостающие в системе звенья, а все случайное, парадоксальное отбрасывается и наступает более спокойный период школьного развития словесной техники. Учебное руководство Исократу, составленное им в целях преподавания, до нас не дошло. Очевидно, что при тогдашней конкуренции среди учителей красноречия Исократу не было смысла его опубликовывать и тем самым давать в руки своим соперникам средство легкой наживы; оно имело хождение только среди его учеников и потому неизбежно должно было сравнительно скоро выйти из обращения, а затем и погибнуть. Но то, что цитируется впоследствии как отрывки из учебника Исократу, несомненно близко ему и по времени и по духу (см. стр. 181). Эти отрывки вполне согласуются с теми случайными высказываниями самого Исократу, которые мы встречаем в его речах.

Очень скоро теория приобретает ремесленный, схоластический характер; наблюдения, бывшие интересными, когда они были сделаны впервые, теперь, когда они становились предметом обучения, превращаясь в такого рода приемы, которые должны были усвоить и повторять обучающиеся, оказываются мертвыми; научная мысль перестает ими питаться и грозит заглохнуть. Отражением этого положения вещей является для нас «Риторика» Анаксимена (см. стр. 181). Она дает нам образчик заурядного учебника красноречия в доаристотелевский период. Главы о словесной форме речи в нем самые слабые. Строгого плана в изложении еще нет, оно путано: одно наставление нанизано на другое, часто без достаточной логической связи. Древней чертой в этом учении о стиле является то, что здесь, как и у софистов, форма речи, ее стиль, играет роль одного из средств убеждения: языковая сторона представляется действующей на настроение и психику слушателя наравне с доказательствами. С другой стороны, почти от каждого пункта этих стилистических наставлений идут нити к позднейшей риторике. Все, включенное в этот учебник, а следовательно, и вообще в древнейшие руководства, выживает; правда, отдельные наставления перемещаются, вступают в новые связи, но оказываются жизнеспособными и нужными. В частности, конечно, много общего можно усмотреть между «Риторикой» Анаксимена и ближайшим к ней по времени изложением риторики у Аристотеля, но это сходство не исключает коренного различия, обусловленного тем, что «Риторика» Аристотеля — это ученый труд, а книга Анаксимена — учебное руководство, ставящее перед собой чисто практические задачи. Платон видит только эту «прикладную» риторику, видит всю ее ненаучность и чувствует к ней отвращение. В своем «Федре» он набрасывает целую программу совсем иначе понимаемой риторики: только на основе знания каждого

предмета и знания человеческой души, на основе диалектики и психологии возможно истинное красноречие, не то, которое видимым правдоподобием убеждает слушателей, а то, которое сообщает подлинное знание, и вылиться такое красноречие должно не в связные длинные речи, а в диалог. Что касается словесной формы речи, то Платон неоднократно повторяет софистическое определение ее как «заклинания», и искусство оратора охотно называет «волшебством» и «чародейством». Но если софисты хотели выразить этим силу слова, то его могущество, к осуществлению которого они стремились, для Платона в этом определении заключается высшее порицание: вместо сообщения знания — это обман. Такое определение Горгий принял бы как выражающее законную сущность убеждения; ведь называл же он поэзию с создаваемой ею иллюзией обманом, обманом законным. Сам величайший стилист древности, Платон отрицает позволительность пользования стилистическими приемами, а следовательно, и теории стиля для него не может существовать. Здесь, в лице Платона и софистов, сталкиваются две взаимно враждебные идеологии: последний защитник аристократии, безвозвратно уходящей с арены греческой истории, борец за безнадежное уже дело, и приходящая к власти на смену новая демократия, интересам которой служат софисты.

2

Иначе относится к риторике Аристотель: неоднократно в своих работах он возвращается к вопросам художественной речи. Он подходит к ним без той страстности, с какой подходил к ним Платон: привычными ему методами естествоиспытателя он спокойно анализирует те явления, с которыми он встречается.

Преподавание риторики он вел еще при жизни Платона. Имея обыкновение поручать запись и обработку своих курсов отдельным ученикам, он и в данном случае поступил так же: задача издания его лекций по риторике выпала на долю Теодекта, бывшего ранее учеником Исократов, а потому полезного Аристотелю своим знакомством с софистическими учениями в этой области, как они кристаллизовались в школе Исократов. Но вместе с тем уже в этот период он противопоставляет свое преподавание ремесленному схоластическому преподаванию Исократов: несомненно имеет под собою какую-то почву античный анекдот, приписывающий Аристотелю слова, пародирующие стих одной из трагедий Софокла: «позорно молчать и давать возможность говорить Исократам».

Когда после смерти Платона Аристотель уехал из Афин, Теодект продолжал его преподавание, пользуясь своими записями лекций Аристотеля, но внося в них кое-что и от себя. Так получилась та

редакция риторики, которую античные писатели, в том числе и сам Аристотель, впоследствии цитируют как «риторику Теодекта». Она нам не сохранилась, но, насколько мы можем судить о ней по цитатам, она, по-видимому, еще в сильной степени стояла на почве риторики софистической и исократовской школы. Когда Аристотель снова вернулся в Афины в 335 г., результатом нового пересмотра им своих позиций в области изучения ораторской речи явилась дошедшая до нас «Риторика» Аристотеля в трех книгах, из которых первая половина третьей трактует специально о стиле. Еще до того была написана Аристотелем «Поэтика», где также уделяется место — хотя, правда, и небольшое — вопросам стиля. Таким образом три раза в течение своей жизни Аристотель высказывался по интересующему нас вопросу, наиболее полно и зрело — в «Риторике». За те годы, которые отделяют эту новую его работу от риторики Теодекта, он далеко ушел вперед, очень углубил свои взгляды на сущность ораторского слова, впервые подойдя к этому материалу как настоящим исследователем. Нередко он полемизирует с тем первым Теодектовым вариантом, но иногда и отсылает к нему, чаще всего тогда, когда ему приходится говорить о формальной стороне дела, которая его мало интересует и где он не может добавить ничего нового к своей прежней трактовке вопроса, между тем как именно тут софисты и исократовская школа оказываются особенно сильными. При чтении глав о стиле, в этой позднейшей его риторике обращает на себя внимание некоторая двойственность: вначале Аристотель резко противопоставляет прозаическую речь поэтической и говорит, что приемы, пригодные для последней, неприменимы для первой, а затем нередко для подтверждения своих дальнейших частных положений приводит примеры как раз из поэзии. Кроме того, многие вопросы трактуются им как бы вдвойне: сначала идет настоящая исследовательская работа, отливающаяся в ряд иногда разрозненных, плохо между собою связанных замечаний, представляющих собою как бы сырой материал, только что сложившийся в голове исследователя, наблюдения, не сведенные им еще в одно целое, а после такого типа работы вдруг следует связное, очевидно, традиционное, изложение того же вопроса. При этом примеры, заимствованные из поэзии, встречаются только в этой второй трактовке, ссылки на собственную «Поэтику» — только в первой. Двойственность эту приходится, конечно, объяснить тем, что Аристотель действительно не успел слить воедино свои собственные наблюдения с той богатой и сослужившей ему немалую службу литературной традицией, которую он уже нашел готовой, которая является для него во многих случаях точкой отправления и от которой он во многих других отталкивается. Два элемента, создавшие его «Риторику», — с одной стороны, результат собственных наблюдений, с другой — теории предшественников, — он дает не как одно слитное целое, а рядом, один

с другим. Поэтические цитаты, находящиеся во втором, традиционном варианте, показывают, что в школе Горгия учение о стиле ориентировалось на поэзию. Таким же остатком общей трактовки поэтического и прозаического языка является и тот упор, который делается Аристотелем на требовании наглядности: предмет должен как бы вставать перед глазами слушателя, — требование, более приложимое к поэзии, чем к прозе.

3

Эта недоделанность и недостаточная систематичность изложения у Аристотеля исправляется и дополняется Феофрастом. Хотя книга Феофраста «О стиле» до нас и не дошла, однако нам ясно, что вся дальнейшая античная теория речи стоит на ее плечах: это он для многих отделов учения о художественной речи привел весь обширный, накопившийся к его времени, материал в ту систему, в какой он нам затем и преподносится эллинистическо-римской риторикой. Содержание книги Феофраста приходится восстанавливать на основании позднейших цитат, угадывая выписки из него у позднейших писателей иногда даже там, где они сделаны и без упоминания его имени. Книга Феофраста заслонила собою трудночитаемую «Риторику» Аристотеля, к которой довольно скоро перестают обращаться и которую почти никто не читает. Классиком риторики становится Феофраст.

Одно из главных его учений, на основе которого строятся потом все последующие системы, это учение о достоинствах речи. У Феофраста таких достоинств четыре: чистота, ясность, соответствие говоримому и говорящему и красота, подразделяющаяся на приятность (сладость) и величавость. Эти четыре качества, различно варьируемые, в принципе все же неизменно затем указываются всей позднейшей теорией. Мы видели, что зачатки этого учения имеются уже у софистов: требование чистоты греческой речи, ее ясности и соответствия характеру говорящего мы встретили еще у Аристотеля. Позднее, в школе Исократ и в риторике Теодекта, ряд качеств — ясность, краткость и правдоподобие — требовались не от речи вообще, а специально лишь от той ее части, которая содержит изложение дела. Правдоподобие Феофраст подчиняет ясности. Намек на это имеется и у Аристотеля: у него правдоподобие, как качество, подчинено уместности. Понятие «уместности» или «соответствия предмету и говорящему», возникло, по-видимому, в кругах, занимавшихся эстетикой музыки и ее воспитательной ролью, т. е. в кругах пифагорейцев V в., а от них было усвоено Горгием вместе со многими другими элементами теории художественной речи и литературной теории вообще. У Горгия это учение связывается еще с другим — с

учением об уместности того или другого в определенный момент. У него понятие уместности не ограничивается только словесным выражением, а понимается шире, как шире же понимается оно еще и «Поэтикой» Аристотеля; но в «Риторике» Аристотель уже ограничивает его областью лишь стилистики, подчиняя его, довольно искусственно, требованию ясности речи. Окончательное свое место в риторике получает оно как особое качество речи у Феофраста. Как противоположность уместности, как недостаток речи, толкуется Феофрастом то, что античные теоретики называют «холодностью», — качество, у Аристотеля рассматриваемое в другой связи, там, где он останавливается на противопоставлении поэзии и прозы.

Красота речи, как неперемное условие воздействия речи на слушателя, несомненно связана со школой Горгия. Таким образом, все элементы феофрастовского учения о качествах речи существуют уже до Аристотеля. Аристотель однако не принимает их такими, какими они сложились в предшествующей литературе: он полемизирует с учением о множественности качеств: для него существует только одно основное качество речи — ясность. Отсюда, из этого монизма его, объясняется и то, что требование строить речь так, чтобы она соответствовала и предмету, и положению, и характеру говорящего, выставляется им как одно из условий ясности речи. Иными словами, достоинство речи оценивается Аристотелем с точки зрения ее познаваемости. В этом философское обоснование его трактовки вопросов стиля. Ради этого же речь должна быть не безграничной (ἄλειρος), а иметь пределы (πέρας). Это же дает возможность и все учение о периоде и о ритме (см. стр. 193) подчинить тому же требованию ясности. Ему же подчиняется и учение об украшениях речи, и трактовка лексики художественной речи, и теория метафоры и т. д.: степень достоинства всего этого определяется для Аристотеля степенью удобопонимаемости, служащей и удовлетворению прирожденного человеку стремления к познанию. Подобная точка зрения является в риторике Аристотеля наследием платоновской школы. Платон, в прямую противоположность софистам, видел единственную цель человеческой речи в уяснении мысли, а в связи с этим уже и он постоянно требовал ясности. Психическое воздействие речи (ψυχαγωγία) и наслаждение, доставляемое ею, упоминаются им только полемически в его выпадах против софистов, для которых ведение за собою слушателя и его услаждение (оба понятия объединяются в термине ψυχαγωγία) и являются основной целью. Аристотель до известной степени сочетает обе тенденции — и платоновскую и софистическую — давая место последней в учении об аффектах (II кн. «Риторики»), но изгоняя ее из учения о стиле, как это делает и Платон. Несколько иную позицию занимает Аристотель только в заключительной главе этой части своей «Риторики», где он противопоставляет письменную речь речи устной.

Примыкая к этому противоположению, Феофраст уже определеннее формулирует разницу между речью практической и речью художественной (см. стр. 201). Таким образом в учении о качествах речи Феофраст возвращается к доаристотелевскому положению о множественности качеств, возвращаясь тем самым к точке зрения, некогда сложившейся среди практиков-преподавателей красноречия, и отказываясь от философского построения Аристотеля. Вся дальнейшая теория следует Феофрасту, а не Аристотелю. Вообще, по-видимому, в систему Феофраста гораздо более широкой струей, чем это имело место у Аристотеля, вливается традиционное учение, как оно было суммировано Исократом. У Феофраста намечается также и другое основное деление теории стиля — на учение о выборе слов, т. е. о лексике литературного языка, и на учение о словосочетании. Впрочем, последнее понятие у него еще окончательно не кристаллизуется, не становится еще тем устойчивым термином, каким оно оказывается впоследствии. Круг вопросов, охватываемых этим термином, еще не обладает достаточной определенностью; поэтому рядом оказывается еще третий элемент, впоследствии часто подчиняемый понятию словосочетания, фигуры. В этом несоответствии роли последних в классификационной схеме Феофраста опять чувствуется прошлая история учения о фигурах, то место, какое оно занимало в школе Горгия, согласно античной терминологии их «изобретателя». Эти три главных раздела теории стиля — выбор слов, словосочетание и фигуры, занимающие в позднейших системах самостоятельное место, — у Феофраста подчиняются четвертому качеству речи — красоте.

В первом разделе учения, в теории выбора отдельных слов, намечается дальнейшая дифференциация: выдвигается учение о красивых словах и об уклонении лексики литературной речи от обиходной. Учение о красивых словах уже у Аристотеля занимает довольно много места в его «Риторике»; указан им и его источник: Аристотель ссылается на Ликимния, писателя из горгианских кругов, у которого, по словам Аристотеля, красота слова определялась его звучанием и значением. Учение об евфонии несомненно восходит еще к V в.: комические поэты смеются над одним стихом из «Медеи» Еврипида, где несколько раз повторяется звук с, у греков считавшийся некрасивым, а от таких литературно-критических замечаний комиков нити ведут обыкновенно в школы софистов. И действительно, из псевдоплатоновского диалога «Гиппий Большой» мы узнаем, что софист Гиппий занимался изучением «свойств букв, слогов и ритмов». О благозвучных и неблагозвучных буквах и о красоте слов писал также философ Демокрит, и его евфонические учения использованы Платоном в «Кратиле» (см. стр. 61). В «Риторике» Аристотеля к классификации Ликимния прибавляется еще третий источник красоты: воздействие на зрение или на какое-нибудь другое чувство. В качестве иллюстрации дается пример из

Гомера: «розоперстая заря». Едва ли это добавление принадлежит самому Аристотелю. Уже то одно, что Аристотель как здесь, так и в гл. 11, при трактовке понятия наглядности, примеры заимствует исключительно из поэтов, склоняет к предположению о возникновении и этого учения в софистическо-исократовских кругах. Феофраст, принимая это учение о красоте слов, располагает три условия красоты в ином, логическом, порядке: акустическая сторона, зрительная, смысловая. Здесь опять-таки мы видим у Феофраста систематизацию накопленного материала, тогда как у Аристотеля расположение материала в большей степени определяется его источниками.

Учение о художественной речи, как отклоняющейся от обычной, т. е. от разговорного языка, и тем производящей впечатление на слушателя, дается Аристотелем дважды: и в «Поэтике», и в «Риторике». Средством придать речи художественный характер является, согласно теории Аристотеля, употребление слов необычных, в частности иноземных и устарелых или вновь образованных, и метафор. Феофраст среди слов, чуждых обиходной речи, отводил, по-видимому, гораздо больше места, чем Аристотель, поэтизмам. Мы знаем, по крайней мере, что он рекомендовал ораторам чтение поэтов. Античная риторика, издавна занимавшаяся вопросом о неологизмах, особенно большое внимание уделяла составным словам: в «Лягушках» Аристофана Еврипид высмеивает пристрастие Эсхила к таким словам и, пародируя их, дает нелепые выражения, вроде «орлогрифонов», «конепетухов» и «козлооленей». Платон упоминает о теории составных слов у Пола; Аристотель критикует практику подобного рода слов у Горгия. Под термином «метафора» собирается в это раннее время большая часть тех языковых явлений, которые позднее обозначаются еще не знакомым перипатетической риторике термином «троп». Феофраст формулирует как причину, так и цель метафоры: недостаток слов в языке, с одной стороны, и приятность метафоры как таковой — с другой. Им же высказывается и повторяемое затем много раз последующей риторикой основное предъявляемое к метафоре требование быть «скромной», не оказываться слишком смелой.

На примере метафоры и сходных явлений — как у Аристотеля и Феофраста, так и в позднейшей теории — яснее всего видны те границы античной риторики, выше которых ей никогда не удалось подняться: она описывает только внешние формы, проникнуть вглубь явления она не умеет. В трактовке метафоры, например, нет речи об образе: метафора для нее только семантический перенос.

И элементы учения о сочетании слов тоже почти все уже имеются налицо ко времени Феофраста. Перипатетическая риторика приводит их в строгую систему; принадлежит ли эта система целиком Феофрасту, этого мы решить не можем. Только в учении о ритме сравнительно отчетливо видно, что можно в нем отнести на счет Феофраста. В наиболее подробной трактовке вопросов ритма, какую

мы имеем в «Ораторе» Цицерона (см. стр. 260), наблюдается почти полное совпадение с учением Аристотеля; тем не менее ссылается Цицерон не просто на Аристотеля, а обычно на Аристотеля и Феофраста вместе, или даже на одного только Феофраста, притом и в таких случаях, когда учение вполне совпадает с аристотелевским. Из этого следует заключить, во-первых, что Цицерон знает Аристотеля только через Феофраста, и, во-вторых, что последний почти целиком принял теорию ритма своего учителя.

В частном вопросе теории периода, в вопросе об антитезе, Феофраст дает более детальную классификацию, чем Аристотель (см. стр. 290). У Аристотеля теория антитезы еще нова и потому обосновывается рядом примеров. Феофраст, по-видимому, упоминал ее только вскользь и переходил затем непосредственно к фигурам, которые и у Аристотеля следуют за трактовкой антитезы, причем Феофраст гораздо решительнее, чем это делает Аристотель, высказывает свое пренебрежение к этим приемам.

Вот в главных чертах та система учения о стиле, которая была выработана в Греции к началу эллинистической эпохи. Это — итог развития теории за весь тот период, когда теория эта находилась в тесной связи с практикой, с живой ораторской речью. Дальнейшее развитие теории идет уже в отрыве от практики. Изменившиеся политические условия жизни греческих городов в монархиях Александра Македонского и его преемников совершенно уничтожают роль политической речи и очень суживают роль речи судебной. Теория продолжает жить только в школе. Как в других областях, так и в риторике постепенно исчезают в эту эпоху живая мысль и широкая проблематика. Их заменяет сухой схематизм, только окончательные результаты той творческой, живой работы, которая когда-то в этой области делалась. Конечно, это вовсе не исключает того, что отдельные науки в это время обогащаются новым конкретным фактическим материалом, что уточняются или делаются новые наблюдения, усовершенствуется методика. В частности, это идет на пользу разработке также и теории стиля. Теперь развитие ее сосредоточивается не столько в риторических школах, сколько в школах грамматиков, где последней ступенью образования является эстетическая критика литературного текста. На первых порах и среди грамматиков первенствующее место остается за перипатетиками, и какая интенсивная работа идет здесь над уточнением отдельных понятий и терминов, над дальнейшей детализацией системы, мы можем в общих чертах еще оценить, сопоставляя ее картину с «Риторикой» Аристотеля, к которой, развивая ее и корректируя, примыкают через Феофраста позднейшие перипатетики. Убедительно открывается это нам при изучении тех мест текста позднейших теоретиков, преимущественно I в. до н. э. и I в. н. э., Цицерона, Дионисия Галикарнасского, Квинтилиана, где эти авторы совпадают друг с другом. В особенности

показательна в этом отношении книга Деметрия «О стиле», целиком базирующаяся на перипатетической теории. Эта работа перипатетиков не знаменует собою никакого переворота, но это все-таки подлинно научная работа, все время шаг за шагомдвигающая вопрос вперед, в сторону его более полного освещения. Школа не замыкается в догматизме, и внутри ее все время идет полемика (вероятно, в результате критики извне). В книге Деметрия мы это очень ясно улавливаем (см. стр. 257).

4

Дальнейшее развитие классификации стилистических явлений наблюдается в области теории выбора слов, в особенности по отношению к неологизмам: среди них различают звукоподражательные слова, составные, производные и образованные по аналогии. Учение о сочетании слов распадается на три отдела: 1) о порядке слов, 2) о сочетании в узком смысле, т. е. о явлениях, наблюдаемых на стыке слов, и 3) о периоде и о ритме.

О порядке слов говорили уже исократовцы, обставляя логическую последовательность слов строжайшими правилами; против этой ригористичности требований и полемизируют — это чрезвычайно характерно для них — позднейшие перипатетики (см. стр. 251). Анаксимен предостерегал от инверсии и двусмысленности, от неясности, возникающей в результате беспорядочного расположения слов, уча так строить фразу, чтобы союзы и другие второстепенные части речи, требующие себе соответствия, действительно это соответствие находили, — иными словами, чтобы фраза не давала анаколуфа (см. стр. 182). К этому старому традиционному материалу, восходящему без сомнения, еще к софистическому периоду, присоединяется теперь новое требование, — наиболее сильные и яркие элементы фразы ставить в конце, чтобы речь шла, усиливаясь, а не ослабевая.

Вторая часть учения — о сочетании слов — также восходит, по крайней мере, ко времени Исократов. Речь идет здесь в большинстве случаев о зиянии и о других желательных и нежелательных явлениях в двух смежных словах, например о недопустимости совпадения конца одного слова с началом следующего. Позднейшие перипатетики и тут становятся на менее ригористичную по сравнению с исократовцами точку зрения, порой усматривая в зиянии даже известное преимущество в целях звучности сочетаний. Учение о периоде подвергалось в перипатетических кругах принципиальным изменениям, которые нам довольно ясно видны благодаря подробной трактовке вопроса о периоде у Деметрия (см. стр. 255).

Другая струя идет из школы стоиков. Ранние стоики, правда, сделали в этой области мало, и роль их, пожалуй, до известной

степени даже отрицательная, поскольку, например, Хрисипп высказывался против чрезмерного интереса к внешнему стилю изложения и заботы о нем. С другой стороны, однако, уже непосредственный ученик основателя стоической школы Зенона, Аристон Хиосский, выдвигает как критерий качества стиля воздействие его на слух (см. стр. 240). Мы узнаем об этом из полемики с Аристоном эпикурейца Филодема. Для самих эпикурейцев эти тенденции не существовали; они отрицали возможность воздействия на душу даже средствами музыки, а в речи придавали цену только тому, что постигается логикой. В связи с этим Эпикур возвращается к аристотелевскому требованию только одного качества речи — ясности (см. стр. 205). Относительно учения об евфонии Филодем указывает, что оно исходит от «критиков» (так называл себя высший разряд грамматиков, занимавшихся литературной критикой). В этом учении выдвигается на первое место, заслоняя собою все остальные, лишь одно из установленных Феофрастом качеств речи: приятность. Положение это широко затем развивается в эстетической литературе I в. У первых поколений стоиков, однако, исключительное преобладание одного качества над другими не является общепризнанным учением: напротив того, Диоген Вавилонский вносит в список качеств Феофраста еще одно новое — краткость (см. стр. 202), т. е. одно из тех качеств, которых исократовская школа требовала для повествовательной части речи; еще другой стоик, кто именно — неизвестно, требует от речи силы. Словосочетание, занимающее у Феофраста подчиненное по отношению к красоте речи место, становится в ряд основных отделов стилистики. Так начинается постепенное увеличение числа качеств речи, которое затем растет все дальше и дальше.

Но настоящее влияние Стои на литературную критику начинается позднее, в середине II в. до н. э., под влиянием школы Кратета, главы философствующего языкознания в Пергаме. То, что сделали «критики» для учения о стиле, Кратет приводит в новую, хорошо продуманную систему, согласованную с философскими учениями Стои. Аномалист в вопросах грамматики, он и здесь окончательно теоретизирует учение о решающем значении слуха для суждения о достоинствах литературного произведения, иначе говоря — простого навыка, а не строгих правил. В его школе теория стиля, созданная перипатетиками, обогащается обширной главой о типах, или характерах, речи. Что это понятие зародилось и создано не в риторических школах, а именно там, где занимались литературной критикой, ясно уже потому, что различаются по типам не только ораторы, но и поэты. Мало того, учение о характерах речи оказывает свое влияние на эстетическую оценку также и произведений изобразительного искусства. Определение «характера» стиля писателя является последней и высшей задачей античной литературной критики. Исконное учение о характерах речи различает их три: «величе-

ственный», или «пышный», «скудный», или «тощий», и «средний». Последний характеризуется отрицательными чертами как промежуточная ступень между двумя первыми; своих индивидуальных качеств он не имеет.

Таким образом в основе здесь лежит деление лишь на два противоположных типа, совпадающее в общем с делением Аристотеля, различающего письменную речь и речь устную (см. стр. 198), и с двойным же делением речи у Феофраста — на речь, обусловленную лишь предметом изложения, и такую, которая рассчитана на оказание влияния на слушателей, на покорение их себе (см. стр. 201), иными словами, с делением на речь практическую и речь художественную. Скоро учение это претерпевает дальнейшее видоизменение: третий тип оказывается уже не просто серединой между двумя другими — теперь он либо рассматривается как смешение обоих крайних, либо ему дается особая характеристика, заключающаяся в простоте и прелести, или же, наконец, он сливается с «цветистым» стилем, который первоначально считается лишь разновидностью величественного, или пышного, стиля. Иногда оба новых типа, т. е. смешанный и цветистый, стоят рядом особо, вследствие чего оказывается уже не три, а четыре типа. Таким путем делается первый шаг к постепенному росту их числа; следующий шаг — появление «мощного» стиля, рассчитанного главным образом на возбуждение аффектов. Указать с точностью момент, когда возникает это понятие, играющее такую важную роль в литературной теории поздней античности, не удастся. Но характеристика стиля Эсхила в «Лягушках» (см. выше, стр. 157) уже содержит в себе основные черты, отличающие «мощный» стиль. Он противопоставляется стилю Еврипида, который явно характеризуется чертами, присущими впоследствии стилю скудному. Мысли эти затем на долгое время не получают дальнейшего развития, но если сопоставить с ними слова перипатетика Деметрия (см. стр. 292), что из всех типов речи только эти два абсолютно противоположны друг другу и никогда не смешиваются между собою, то придется, может быть, отнести появление в теории стиля понятия *δεινότης* (мощи) как качества речи к очень раннему, скорее всего софистическому, периоду, в общую концепцию которого оно хорошо укладывается. После долгого перерыва понятие это всплывает в тот момент, когда Демосфен выдвигается как лучший объект подражания, т. е. уже у Цицерона, а затем — определеннее — у Дионисия Галикарнасского, у автора сочинения «О возвышенном» и у Деметрия. Но у Цицерона *δεινότης* Демосфена состоит в умении владеть всеми тремя типами речи и применять, когда надо, тот или другой из них, т. е. в самом этом понятии никакой определенной характеристики не заключается. Другое значение имеет оно в сочинении «О возвышенном» — как особенно патетическая форма возвышенного стиля. У Деметрия мощный тип также характеризуется особыми, присущими

ему, чертами. В этих двух значениях продолжает и в дальнейшем жить этот термин: в значении высшей степени ораторского искусства вообще и в значении «мощной» речи. Уже имена тех авторов, в сочинениях которых так настойчиво начинает появляться в I в. до н. э. и в I в. н. э. понятие «мощной» речи, имена Цицерона, Дионисия, Деметрия, заставляют искать происхождение учения о новом мощном типе речи в перипатетической школе. К этому присоединяется и то соображение, что из всех философских школ эллинистической эпохи только перипатетическая допускает возбуждение речью аффектов.

5

Учение о типах приобретает особое значение — а может быть и вообще возникает — в связи с изучением литературы в практических целях нахождения образцов для подражания (*μίμησις*), т. е. в связи с классицизмом и в литературе, и в литературной теории. Классицизм впервые появляется в Греции, быть может, уже около 200 г. до н. э., но решающее значение и в литературе, и в литературной критике приобретает он приблизительно в 70—50-х годах до н. э. в Риме, причем и там его первыми представителями были греки. Он возникает как реакция против так называемого азианского стиля, который в раннюю эллинистическую эпоху (особенно в Малой Азии, откуда этот стиль и получил свое название) возрождал приемы старой софистики, преследуя лишь одну цель — почти чувственного наслаждения слушателя. Азианцы пишут либо короткими фразами с резко подчеркнутым ритмом и созвучиями, либо патетическим стилем со всевозможными поэтизмами, образными выражениями, перифразами и неестественной расстановкой слов. Все это очень далеко от того, к чему пришла в своем развитии аттическая проза. Образцы этой последней противники азианизма ему и противопоставляют, получая отсюда название «аттицистов». Азианское направление, не задавленное вполне классицизмом, все же было оттеснено им на задний план, и следы его в теории стиля только спорадичны. Корни классицизма следует искать в перипатетической школе; с другой стороны, классицизм опирается на александрийскую грамматическую школу с ее теорией аналогии в языке. Мы знаем, что александрийские грамматика собирали в своих целях выражения, несогласные с чисто аттическим диалектом, и этими своими языковыми материалами они давали в руки классицистов прекрасное орудие. Пути тех и других шли параллельно, и методы часто бывали одни и те же. Настоящая борьба разгорелась во 2-й трети I в. до н. э. Только родосская школа продолжала занимать среднюю позицию. Центром борьбы был Рим. То, что придавало этим спорам особенно актуальный характер, втягивая в них широкие круги, далеко выходявшие за стены ритор-

ских школ, было то, что в Риме теория снова встретилась с практикой. В этот последний век существования римской республики с ее ожесточенными классовыми боями красноречие становится, как когда-то в Греции, актуальной силой. Это уже не предмет занятий немногих любителей, не материал для отвлеченных теоретических рассуждений или школьных экспериментов, каким являлась риторика в Греции эллинистической эпохи и каким будет она еще в большей степени в эпоху империи: в момент революционных бурь I в. в Риме риторика играет роль большой общественной силы.

Двумя крупнейшими ораторами конца римской республики были азиатец Гортензий, деятельность которого падает на отрезок времени от 90 до 50 г. до н. э., и Цицерон. В молодости также азиатец, сглаживающий, впрочем, крайности азиатской школы после возвращения с острова Родоса и знакомства с господствовавшей там школой, гораздо более умеренно пользовавшейся риторическими средствами, Цицерон в основе остается верен богатству ораторских приемов и решительно отгораживается от современного ему аттического направления, видящего идеал в возможной простоте, безыскусственности и обнаженности стиля от каких бы то ни было искусственных украшений.

В первых теоретических сочинениях, возникших на римской почве, эти принципиальные споры еще не отражаются. В анонимном руководстве, известном под именем «Риторики к Гереннию», написанном в конце 80-х годов, их нет еще вовсе. И далее в диалоге Цицерона «Об ораторе» (55 г.), когда Цицерон в первый раз подробно останавливается на вопросах стиля, т. е. там, где ему несомненно представлялся случай затронуть эти проблемы, он на них не останавливается. Лишь в более поздних произведениях — в «Бруте» (46 г.), дающем исторический очерк римского красноречия, и в «Ораторе» (того же года) — Цицерон определяет свою позицию, резко отмежевывается от новоаттического направления, не становясь однако и на сторону азиатцев. Образцом оратора служит для него Демосфен. Цицерон указывает на него, советуя будущему оратору заняться выработкой в себе способности владеть одновременно всеми тремя типами стиля и применять тот или иной тип в зависимости от различных условий, которые оратор обязан учитывать.

Классицизм поддерживается Цезарем, становясь как бы официальной теорией зарождающейся мировой монархии. За этими принципиальными спорами о правильном литературном стиле скрывается борьба классовых группировок, столкновения враждебных одна другой общественных сил, глубокое идеологическое расхождение программ и взаимно исключающих одна другую политических установок. Разрушалась республика старого патрицианского сената, преодолевалась силами того нового социального слоя, близкая победа которого вела Рим к диктатуре Цезаря и принципату Августа. Сам

аттицист в своей литературной деятельности и аналогист в своих грамматических работах, Цезарь делает одного из виднейших представителей теории аналогии и несомненно одного из наиболее крупных аттицистов того времени, Аполлодора, учителем своего наследника Октавиана. Этим Цезарь рассчитывал обеспечить дальнейшее победное шествие аттицизма. Однако надежды его не оправдались. Как принципат Августа не был осуществлением затеваемой Цезарем мировой монархии и опирался на совсем иные общественные силы, так и классицизм времени Августа не тождествен с аттицизмом Цезаря. Один из его лучших выразителей, Гораций, и на практике и в теории, в своих двух стихотворных посланиях на литературные темы, горячо борется против архаистических тенденций. Дальнейшее развитие и литературы вообще, и красноречия в частности в I в. империи еще дальше отходит от господствующего течения последних десятилетий республики: стиль этой эпохи, хотя и не определяется никогда античными теоретиками как азианизм, но это по существу недалекий от него патетический стиль. Вновь утверждается аттицизм только со времени Флавиев: этот стиль, притом в его крайнем, архаистическом течении отвечает консервативным тенденциям римского меццанского общества конца I в. На этот раз аттицизм утверждается уже прочно, до самого конца античного мира.

Борьба литературных группировок в момент зарождения нового строя связана с именами Аполлодора и его противника Теодора Гадарского. Это — затяжная ожесточенная борьба, сначала между ними самими, а затем между их последователями, аполлодорейцами и теодорейцами. Теодор и его сторонники не были азианцами: Теодор, долгое время преподававший на Родосе, вносит в борьбу с аттицизмом традиции этой школы. Против непреложных норм, выставяемых Аполлодором, он выдвигает учение о пафосе и экстазе как источнике поэзии, а в учении о типах ораторского стиля теодорейцы отказываются от неподвижного, закрепленного раз навсегда числа типов: для них тип речи меняется в зависимости от обстановки, от случая, от момента. Это — восстановление старого софистического учения об уместности. Спор между двумя школами, царящий долго и непримиримый, вертится главным образом вокруг понятия пафоса, аффекта и его роли в творчестве. Если для одной стороны, для аполлодорейцев, стилистические категории имеют какое-то самостоятельное бытие, не связанное с психикой автора, поэта или оратора, то у теодорейцев эмоциональный личный момент выступает на первый план. Этой стороной своей теории теодорейцы примыкают к воззрениям стоика Посидония (первая половина I в. до н. э.), одной из самых ярких и самых многогранных фигур эллинистической эпохи. Азиат по происхождению, уроженец сирийской Апамеи, Посидоний развивает на Родосе многостороннюю научную деятельность с универ-

сализмом, могущим быть поставленным в параллель только с Аристотелем. Он оставляет свой след в ряде научных дисциплин — в истории, в географии; его философские работы существенно меняют самый характер стоической школы, внося в нее значительный элемент платонизма. Не меньшую важность представляют работы Посидония и для риторики, или вернее для литературоведения, так как его интересы не ограничивались областью красноречия. Посидоний — для него это характерно — не проводит резкой грани между прозой и поэзией, считает, что как проза, так и поэзия подчинены одному и тому же общему закону, и разницу между ними видит не качественную, а количественную (см. стр. 201). Это как будто бы является резким шагом назад. Когда Аристотель требовал, чтобы изучение прозы шло своим путем, независимо от изучения поэзии, то по сравнению с точкой зрения софистов это было несомненно прогрессом. Требование Аристотеля уточнило изучение, изоцирило наблюдение над спецификой того и другого рода. Но в дальнейшем эта спецификация привела к отрицательным результатам, создав чисто ремесленный подход к делу, и некоторая реакция со стороны Посидония должна была здесь оказать благотворное влияние: снова расширился круг наблюдений, исследователи выходили из своей замкнутости.

Эти два направления в их резко выраженной взаимной противоположности — с одной стороны, аналогистическое собирание бесконечного количества частных фактов в целях классификации и систематизации, установления норм и строжайших формул, и с другой стороны, патетическое направление, которое на место норм ставит понятие уместности или соответствия каждый раз моменту, а на место поверхностного и безжизненного рубрицирования — стремление проникнуть в психологию явления, в его генезис, — оба эти направления отражаются для нас в маленьком анонимном сочинении «О возвышенном», написанном неизвестным автором в I в. н. э. Автор этого сочинения, несомненный теодорец, пишет его в противовес сочинению с тем же заглавием Цецилия из Калакты, ученика Аполлодора, и стремится показать поверхностность работы Цецилия. Он, не задумываясь, полемизирует и с Аристотелем, и с Феофрастом тогда, например, когда те ставят пределы пользованию метафорами (см. стр. 231).

Цецилий, с которым полемизирует этот автор, — очень заметная фигура в области литературной критики I в. Это — крайний аттицист; мы знаем характерные заглавия двух его сочинений: «Против фригийцев» (т. е. азианцев) и «Чем отличается аттический стиль от азианского»; он же составляет словарь аттических слов как практическое пособие для оратора, в стремлении обеспечить оратору максимальную чистоту речи, свободной от выражений, не засвидетельствованных в классической литературе. Словарь Цецилия был первым

пособием, открывшим собою многочисленную серию других, аналогичных ему. Классиком по преимуществу является для Цецилия Лисий; Платон с его вдохновенной речью, не поддающейся строгим правилам, подвергается с его стороны жестокой критике. А именно Платон и оказывается как стилист высшим идеалом для противника Цецилия, анонима, написавшего сочинение «О возвышенном». Цецилий сыграл большую историческую роль, служа долго источником для позднейших теоретиков речи. Его влияние очень ощутимо в позднейшей и греческой, и римской теоретической литературе, но до нас его сочинения не дошли: мы знаем Цецилия только по отражениям и по скудным позднейшим цитатам из его сочинений.

Для нас аттицистская литература связана прежде всего с именем младшего современника Цецилия и его друга Дионисия Галикарнасского, человека иного склада, совершенно не самостоятельного, довольно многочисленные сочинения которого не представляют ничего оригинального, но неплохо суммируют и очень верно передают господствовавшие в то время тенденции. Несмотря на очевидно небольшую хронологическую разницу между Цецилием и Дионисием, они тем не менее представляют разные этапы в развитии аттицизма: Цецилий еще борется за победу и, вероятно, в значительной мере именно он — творец этой победы. Дионисий работает уже в лагере победителей; он может поэтому относиться к трактуемым вопросам с меньшей страстностью; больше того, он иногда даже полемизирует с собственными своими единомышленниками, протестует против ряда крайностей их учения. Для него идеалом оратора является уже не Лисий, открывающий собою классическую эпоху аттического красноречия, а ее завершитель, Демосфен, который затем, до самого конца античности так и останется «оратором» по преимуществу. Отныне, цитируя Демосфена, даже не называют его по имени, а говорят просто «оратор», и при этом все понимают, что имеется в виду Демосфен, подобно тому как, когда говорят «поэт», то бывает всем ясно, что речь идет о Гомере.

Помимо той роли, какую играет Цецилий в истории литературного стиля как один из решительнейших борцов за аттицизм, с его именем связана специально еще одна глава в риторической системе — глава о словесных фигурах. Здесь он является главным источником для последующих теоретиков и систематизаторов этого материала. Учение о фигурах восходит к самым началам теории стиля, и если трудно утверждать с уверенностью, что уже Горгий дал теоретическое обоснование своей практике, то несомненно, что в обучении Исократа этот элемент стилистики играл видную роль. Самый термин «фигура» (*figura*, греч. *σχήμα*) входит в употребление уже в эллинистическое время, вероятно на Родосе, где учение это, по-видимому, и развилось. Много места уделяет фигурам Цецилий в своем сочинении об ораторах, откуда видно, что в трактовке этого вопроса он ориентируется

не на риторическое преподавание, а на факты литературы, усматривая в теории фигур одно из орудий литературной критики. Характерно, что автор сочинения «О возвышенном», говоря о фигурах, целиком пользуется терминологией Цицилия. Уже это одно показывает, как велик был авторитет Цицилия в этой области и насколько его учение о фигурах получает, так сказать, монополию.

У писателей IV в. упоминаются только три фигуры, обыкновенно в одном и том же, неизменном порядке: 1) антитеза, 2) созвучие колонов (πάρισον), 3) их равенство (ἰσόκωλον). У Цицилия число фигур возросло. Для аналогистов это типично: они, как правило, стремятся разбивать материал возможно дробнее, чтобы тем удобнее было его классифицировать.

6

В дальнейшей картине развития учения о художественной речи, после того как бои аттицистов с азианцами утихли, закрепив победу за аттицистами, самым существенным моментом, — уже в эпоху гораздо более позднюю, является замена учения о типах речи учением о ее качествах, или, как их тогда называли, об «идеях». Завершение свое это новое учение получает в работах ритора Гермогена (кон. II—нач. III в. н. э.), который как для поздней античности, так и для Византии становится главным авторитетом в вопросах риторики. Процесс развития этого позднейшего риторического учения об «идеях» речи шел постепенно, причем общее его течение характеризуется все большим и большим увеличением количества «типов» речи. Вместе с тем, в течение всего этого периода с учением о типах не перестает конкурировать старое учение Феофраста о качествах. Так, Деметрий, например, говоря о «типах», на самом деле дает «качества» Феофраста; поэтому-то у него и оказывается их четыре вместо трех. Непрерывному росту числа типов речи конец кладется тем путем, что на место приуроченного к определенным авторам определенного количества типов ставится неопределенное количество качеств речи. Качества эти получаются в результате анализа стиля идеального оратора Демосфена. Эти качества, различным образом комбинируемые, собственно и должны служить предметом подражания. Как говорил еще Дионисий, оратор должен быть своего рода Протеем, меняющим облик свой по желанию, в зависимости от ряда условий. Создается же этот облик путем комбинаций тех мельчайших элементов стиля, которые называются идеями. Так, теория типов, созданная в свое время в интересах подражания, позднее ради того же подражания, для более полного и удобного его осуществления, должна уступить свое место иному принципу. При совершенно иных условиях и преследуя совсем новые цели, конец смыкается здесь с началом.

Риторика снова возвращается к той неопределенной множественности своих элементов, которую мы наблюдаем при самом ее зарождении у софистов и у Исократа, множественности, против которой боролся Аристотель, желавший все подчинить одному принципу, и которую, не уничтожая ее, как того хотел Аристотель, пытался свести к определенной системе Теофраст, создавая свои четыре качества, и неопределенность которой другим путем сводили к определенности создатели учения о трех типах речи.

ТЕКСТЫ

І. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ШКОЛА ИСОКРАТА

(Исократ, Фр. 6).

В речи не должно быть столкновения гласных, потому что тогда речь будет спотыкающейся, и нельзя одно слово кончать, а другое, следующее за ним, начинать одним и тем же слогом. Точно так же не надо ставить близко одну от другой одинаковые частицы, а частица зависящая не должна следовать непосредственно за частицей руководящей. Употреблять слова надо подходящие для метафор не тяжеловесных, или же красивые, или наименее искусственные, или самые общеизвестные. Проза не должна быть прозой вполне: иначе она будет суха; но не должна быть она и всецело метричной, так как это слишком бросается в глаза. Но пусть перемешаны будут в ней разные ритмы, в особенности же ямбические и трохеические. Излагать дело надо так, чтобы за первым фактом следовал второй и т. д. по порядку, и не переходить к следующему, не закончив первого.

(Квинтилиан, IV, 2, 31).

Многие писатели, в особенности из школы Исократа, требуют чтобы изложение было ясно, кратко, правдоподобно.

Риторика Теодекта (Квинтилиан, IV, 2, 63).

Теодект требует, чтобы изложение было не только величественно, но и приятно.

Анаксимен, Риторика.

22. Скажем о том, как надо поступать, чтобы говорить изящно и делать речь пространной, когда это кому-нибудь бывает желательно. Говорить изящно — значит говорить высказывая мысль наполовину, но так, что другая ее половина слушателям и без того понятна. Следует также вводить в речь изречения. Мысли необходимо всячески разнообразить, меняя выражения и никогда не давая повторения сходных мыслей одинаковыми словами. Тогда речь будет выглядеть изящной.

Желающий говорить пространно должен о каждом предмете говорить, применяя к нему возможно больше слов. Желающий же быть кратким должен весь предмет целиком охватывать одним словом и

притом таким, которое из обозначающих данный предмет является самым кратким, давать меньше союзов, а больше соприжений (зевгм). Это касается слов; что же касается конструкций, то не следует пользоваться такими, где одна и та же мысль высказывается двояким образом. А если ты предпочитаешь средний путь, то надо и в выражениях соблюдать умеренность, избегая как слишком длинных, так и чрезмерно кратких, и не применяя нескольких слов для обозначения одного предмета, а пользуясь словами средней величины.

Остановимся на сочетании слов, так как и это необходимо.

23. Во-первых, существуют три рода слов: простые, сложные и переносные. Равным образом и сочетание слов бывает тройким. Одно сочетание — это кончать слогами на гласные и с гласных же начинать; второе — начав с согласной, согласной же и заканчивать; третье — связывать согласные с гласными. Что касается порядка слов, то для этого имеются четыре способа. Первый — сходные слова либо ставить рядом одно с другим, либо разбрасывать; второй — или пользоваться одними и теми же словами, или варьировать их; третий — обозначать предмет одним словом или же многими; четвертый — излагать события в их последовательности или эту последовательность нарушать.

А теперь скажем, что надо делать, чтобы стиль был красивым.

24. Надо говорить ясно.

А вопрос о том, как это достигнуть, требует опять-таки рассмотрения.

25. Прежде всего, о чем бы ты ни говорил, называй вещи их именами, избегая двусмысленностей. Относительно же гласных букв берегись помещать их рядом одну с другой. Обращай также внимание на так называемые члены, чтобы добавлять их к словам, когда надо. Следи, кроме того, за порядком слов, чтобы не получалось ни сбивчивости, ни перемещений, так как от этого речь делается неясной. А ставя частицы, давай вслед за ними и то, что им сопутствует. Вот пример случая, когда частица влечет за собой и то, что ей сопутствует: «*я-то* был там, где быть обещал, а *ты*, обещав прийти, не явился». Или еще — пример случая, когда частица является в то же время и словом сопутствующим: «*ты* и в том повинен, повинен и в этом *ты*».

Итак, о частицах сказано; на основании приведенных примеров надлежит разбираться и в остальных случаях.

И порядка слов ни сбивчивым не надо делать, ни перемещенным. Сбивчивым окажется он тогда, когда ты скажешь, например, так: «ужасно, что это поражает». Будет неясно, которое же «это» является здесь поражающим. Но неясность не исчезает, если ты скажешь: «ужасно, что это поражается этим». Вот это и называется делать порядок слов сбивчивым.

Гласных же не ставь рядом одну с другой, если только это не вызывается прямой необходимостью, или если не делается ради пояснения, или если не обусловлено иным каким-либо перерывом.

А вот что значит избегать двусмысленностей. Одни и те же слова означают иногда различные предметы: всегда в таких случаях надо подбирать слова в их основном значении.

Если мы будем так поступать, то наша речь, поскольку дело касается выбора слов, будет ясной.

26. Скажем теперь об антитезах, о равенствах и о созвучиях частей периода: пригодится нам ведь и это. Антитеза содержит либо одновременно и словесную, и смысловую противоположность, либо одну словесную, либо одну только смысловую. Лучшим является двойное противоположение — и смысловое, и словесное одновременно; но и два других — тоже антитезы.

27. Равенство — это когда два колона фразы равны между собою, причем значительное количество малых колонов может равняться незначительному количеству больших и одинаковые по величине колоны могут равняться одинаковым по числу. Фигура равенства следующая: «или вследствие недостатка денег, или вследствие размеров войны». Тут нет ни сходства, ни противоположности: здесь только равенство.

28. Созвучие есть усиление равенства: оно не только уравнивает колоны, но и уподобляет один колон другому, образуя их из сходных слов. Особенно важно делать сходными заключительные слова, потому что главным образом этим путем и создается подобие колонов. А сходными являются слова, состоящие из сходных слогов, совпадающих между собой в большей части букв.

II. АРИСТОТЕЛЬ

Поэтика, 21.

1457 в. Всякое слово может быть или общеупотребительным, или глоссой, или метафорой, или украшением, или вновь сочиненным, или растяженным, или сокращенным, или измененным.

Общеупотребительным я называю такое, которым пользуются все, а глоссой — которым пользуются немногие. Ясно, что глоссой и общеупотребительным может быть одно и то же слово, но не у одних и тех же людей.

Метафора — перенесение слова с измененным значением из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или в форме пропорции. Я говорю о перенесении из рода в вид, например: «а корабль мой вот стоит», так как стоять на якоре — это особый вид понятия «стоять». Пример перенесения из вида в род: «да, Одиссей совершил десятки тысяч дел добрых». Десяток тысяч вообще большое число, и этим словом тут воспользовался поэт вместо «множество».

Пример перенесения из вида в вид: «отчерпнув душу мечом» и «вырубив воду (т. е. подземный источник) несокрушимой медью». В первом случае «отчерпнуть» значит «отрубить», во втором «вырубить» поэт поставил вместо «отчерпнуть». Нужно заметить, что оба слова обозначают: что-нибудь отнять.

Пропорцией я называю такой случай, когда второе слово относится к первому так же, как четвертое к третьему. Поэтому вместо второго можно поставить четвертое, а вместо четвертого — второе. Иногда присоединяют к метафоре то слово, к которому заменяемое слово имеет отношение. Я имею в виду такой пример: «чаша так же относится к Дионису, как щит к Аресу»; поэтому можно назвать чашу щитом Диониса, а щит — чашей Ареса. Или: «что старость для жизни, то вечер для дня»; поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость — вечером жизни, или, как у Эмпедокла, закатом жизни.

Иногда у одного из сравниваемых понятий нет в языке прочно установившегося названия; тем не менее можно сказать так же. Например, вместо «бросать» семена говорят «сеять», а для разбрасывания солнцем света нет соответствующего слова. Однако, так как «бросать» имеет такое же отношение к лучам солнца, как «сеять» к семенам, то у поэта сказано: «сея богозданный свет».

Метафорой этого рода можно пользоваться еще иначе: назвав предмет принадлежащим ему именем, отрицать за ним какое-

нибудь свойство, присущее этому имени: например, если бы кто-нибудь назвал щит не чашей Ареса, а чашей без вина.

Сочиненное слово — такое, которое совершенно не употребляется другими, а придумано самим поэтом.

Бывают слова растяженные и сокращенные. Растяженное — если какому-нибудь гласному придать больше долготы, чем ему свойственно, или вставить в слово слог. Сокращенное — если у слова что-нибудь отнято. Измененное — когда в слове одно оставляют, а другое вносят.

22. Достоинство слога — быть ясным и не низким. Самый ясный слог тот, который состоит из общеупотребительных слов, но это — слог низкий. А возвышенной, удаляющейся от разговорной будет речь, пользующаяся необычными словами. Необычными я называю глоссу, метафору, растяжение и все, что выходит за пределы обыденной речи. Но если употреблять только такие слова, то получится или загадка, или варваризм. Если предложение будет состоять из метафор — загадка, а если из глосс — варваризм. Сущность загадки состоит в том, чтобы, говоря о действительном, соединять с ним невозможное. Посредством сочетания общеупотребительных слов этого сделать нельзя, а при помощи метафор возможно.

Из глосс образуется варваризм. Следовательно, необходимо, чтобы эти слова были как-нибудь перемешаны. Глоссы, метафоры, украшения и другие виды слов, упомянутые мною, сделают слог не обыденным и возвышенным, а общеупотребительные выражения придадут ему ясность. В особенности способствуют ясности речи, не делая ее разговорной, растяжения, усечения и изменения значения слов. С одной стороны, благодаря уклонению от обыкновенного способа выражения, своим непривычным характером эти слова делают речь не будничной, а тем, что в ней находятся обычные выражения, будет достигнута ясность. Поэтому несправедливы порицания тех, кто осуждает подобного рода слог и высмеивает поэтов, как, например, Евклид Старший, будто легко творить, если предоставить возможность растягивать гласные сколько угодно.

Правда, слишком явно пользоваться такими формами смешно. Мера — общее условие для всех видов слова. В самом деле, если бы кто стал употреблять метафоры, глоссы и другие украшения некстати и нарочно, для смеха, тот произвел бы такое же комическое впечатление.

Насколько важно, чтобы все было подходящим, можно судить по эпическим произведениям, вставляя в метр слова разговорной речи, да и по глоссам и метафорам и другим украшениям. Если кто поставит на их место разговорные слова, то увидит, что мы говорим правду. Например, у Эсхила и Еврипида имеется одинаковый ямбический стих, но вследствие замены одного только слова — разговорного, обычного — глоссой один стих кажется красивым, другой — бесцветным. Эсхил в «Филоктете» сказал:

«И рак, который мясо ест моей ноги...»

А Еврипид вместо «ест» поставил «пирует».

Арифрад высмеивал трагиков еще и за то, что они употребляют такие выражения, каких никто не допустил бы в разговорной речи; между тем такие выражения вследствие неупотребительности их в разговорной речи придают стилю возвышенный характер. На это он не обратил внимания.

Великое дело надлежащим образом пользоваться каждым из указанных видов слов — и сложными словами, и глоссами. Но особенно важно быть искусным в метафорах, так как только этому одному нельзя научиться у других; эта способность служит признаком таланта. Ведь создавать хорошие метафоры значит подмечать сходство.

Сложные слова более всего подходят к дифирамбам, глоссы — к героическим стихам, метафоры — к ямбам. В героических стихах пригодны все вышеуказанные виды слов, а в ямбах, так как они ближе всего воспроизводят разговорную речь, пригодны те слова, которыми можно пользоваться в разговоре. Таковы общеупотребительные слова, метафоры и украшения.

Риторика, III.

1. Так как все дело риторики направлено к возбуждению того или другого мнения, то следует заботиться о стиле не как о чем-то, заключающем в себе истину, а как о чем-то неизбежном. Всего правильнее было бы стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни неприятного ощущения, ни наслаждения; справедливо сражаться оружием фактов так, чтобы все, находящееся вне области доказательства, становилось излишним. Однако стиль приобретает весьма важное значение вследствие испорченности слушателя. Стиль имеет некоторое небольшое значение при всяком обучении, так как для выяснения чего-либо есть разница в том, выразишься ли так или иначе, но значение это не так велико, как обыкновенно думают: все это внешность и рассчитано на слушателя. Поэтому никто не пользуется этими приемами при обучении геометрии.

Поэты, как это и естественно, первые выдвинули эти приемы. Слова представляют собой подражание, и из всех наших органов голос наиболее способен к подражанию. Но так как поэты, трактуя об обыденных предметах, как казалось, своим стилем приобретали себе славу, то сначала создавался поэтический стиль, как например стиль Горгия. И теперь еще многие необразованные люди полагают, что именно такие люди выражаются всего изящнее. На самом же деле это не так, и стиль в прозе и в поэзии совершенно различен, как это доказывают факты: ведь даже авторы трагедий уже не пользуются теми оборотами, какими пользовались прежде, а подобно тому как они перешли от тетраметра к ямбу, на том основании, что последний более всех остальных метров подобен разговорному языку,

точно так же они отбросили все слова, которые не подходят к разговорному языку, но которыми первоначально они украшали свои произведения и которыми еще и теперь пользуются поэты, пишущие гексаметрами. Поэтому смешно подражать людям, которые уже и сами не пользуются этими оборотами. Отсюда ясно, что мы не обязаны подробно разбирать все, что можно сказать по поводу стиля, но должны сказать лишь о таком стиле, который является предметом нашего настоящего рассуждения. О другом мы говорили в «Поэтике».

2. Достоинство стиля заключается в ясности; доказательством этого служит то, что раз речь не ясна, она не достигает своей цели. Стил не должен быть ни слишком низок, ни слишком высок, но должен соответствовать предмету речи; из имен и глаголов ясной делают речь те, которые вошли во всеобщее употребление. Другие имена, которые мы перечислили в сочинении, касающемся поэтического искусства, делают речь не низкой, но изукрашенной, так как отступление от речи обыденной способствует тому, что речь кажется более торжественной: ведь люди так же относятся к стилю, как к иноземцам и своим согражданам. Поэтому-то следует придавать языку характер иноземного, ибо люди склонны удивляться тому, что приходит издалека, а то, что возбуждает удивление, приятно. В стихах многое производит такое действие и годится там (т. е. в поэзии), потому что предметы и лица, о которых там идет речь, более удалены от повседневной жизни. Но в прозаической речи таких средств гораздо меньше, потому что предмет ее менее возвышен; здесь было бы еще неприличнее, если бы раб, или человек слишком молодой, или кто-нибудь, говорящий о слишком ничтожных предметах, выражался возвышенным слогом. Но и здесь прилично говорить то принижая, то возвышая слог сообразно с трактуемым предметом, и это следует делать незаметно, чтобы казалось, будто говоришь не искусственно, а естественно, потому что естественное способно убеждать, а искусственное — напротив. Как к смешанным винам, люди недоверчиво относятся к такому оратору, как будто он замышляет что-нибудь против них. Хорошо скрывает свое искусство тот, кто составляет свою речь из выражений, взятых из обыденной речи.

Речь составляется из имен и глаголов; есть столько видов имен, сколько мы рассмотрели в сочинении, касающемся поэтического искусства; из числа их следует в редких случаях и в немногих местах употреблять необычные выражения, слова сложные и вновь сочиненные; где именно следует их употреблять, об этом мы скажем потом, а почему — об этом мы уже сказали, а именно: потому что употребление этих слов делает речь отличной от обыденной речи в большей, чем следует, степени. Слова общеупотребительные, точные и метафоры — вот единственный материал, пригодный для стиля прозаической речи. Доказывается это тем, что все пользуются только

такого рода выражениями: все обходятся с помощью метафор и слов точных и общеупотребительных. Но, очевидно, у того, кто сумеет это легко сделать, иноземное слово проскользнет в речи незаметно и будет иметь ясный смысл. В этом и заключается достоинство ораторской речи. Из имен омонимы полезны для софиста, потому что с помощью их софист прибегает к уловкам, а синонимы — для поэта.

О том, что такое каждый из этих терминов, сколько есть видов метафоры, а равно и о том, что последняя имеет очень важное значение и в поэзии, и в прозе, — обо всем этом, как мы уже заметили, было говорено в сочинении о поэзии; в прозаической речи на это следует обращать тем больше внимания, чем меньше вспомогательных средств, которыми пользуется прозаическая речь, по сравнению с метрической. Метафора в высокой степени обладает ясностью, приятностью и прелестью новизны, и перенять ее от другого нельзя. Эпитеты и метафоры должны быть подходящими, а этого можно достигнуть с помощью пропорции; в противном случае метафора и эпитет покажутся неподходящими вследствие того, что противоположность двух понятий наиболее ясна в том случае, когда эти понятия стоят рядом. И если желаешь представить что-нибудь в хорошем свете, следует заимствовать метафору от предмета лучшего в этом самом роде вещей; если же хочешь выставить что-нибудь в дурном свете, то следует заимствовать ее от худших вещей. Так, если противоположные понятия являются понятиями одного и того же порядка, то, например, о просящем милостыню можно сказать, что он просто обращается с просьбой, а об обращающемся с просьбой сказать, что он просит милостыню; на том основании, что оба выражения обозначают просьбу, можно применить упомянутый нами прием. Точно так же и грабители называют себя теперь пористами, сборщиками чрезвычайных податей. С таким же основанием можно сказать про человека, поступившего несправедливо, что он ошибается, а про человека, впавшего в ошибку, — что он поступил несправедливо, и про человека, совершившего кражу — или что он взял, или что он ограбил.

Ошибка может заключаться в самых слогах, когда они не заключают в себе признаков приятного звука; так, например, Дионисий, прозванный Медным, называет в своих элегиях поэзию криком Каллиопы на том основании, что и то и другое — звуки. Эта метафора нехороша вследствие своей звуковой невыразительности. Кроме того на предметы, не имеющие имени, следует переносить названия не издали, а от предметов родственных и однородных, так, чтобы при произнесении названия было ясно, что оба предмета родственны.

Из хорошо составленных загадок можно заимствовать прекрасные метафоры; метафоры заключают в себе загадку, так что ясно, что загадки — хорошо составленные метафоры. Следует еще переносить названия от предметов прекрасных; красота слова, как говорит

Ликимний, заключается в самом звуке или в его значении, точно так же и безобразие. Есть еще третье условие, которым опровергается софистическое правило: неверно утверждение Брисона, будто нет ничего дурного в том, чтобы одно слово употребить вместо другого, если они значат одно и то же. Это — ошибка, потому что одно слово более употребительно, более подходит, скорей может наглядно представить предмет, чем другое. Кроме того разные слова представляют предмет не в одном и том же свете, так что и с этой стороны следует считать, что одно слово прекраснее или безобразнее другого. Оба слова означают прекрасное или оба означают безобразное, но не говорят, чем предмет прекрасен или чем безобразен, или говорят об этом, но одно в большей, другое в меньшей степени. Метафоры следует заимствовать от слов прекрасных по звуку или по значению или заключающих в себе нечто приятное для зрения или для какого-либо другого чувства. Например, выражение «розоперстая заря» лучше, чем «пурпуроперстая», еще хуже «красноперстая».

То же и в области эпитетов: можно создавать эпитеты на основании дурного или постыдного, например эпитет «матереубийца»; но можно также создать их на основании хорошего, например «мститель за отца». С той же целью можно прибегать к уменьшительным выражениям. Уменьшительным называется выражение, представляющее зло и добро меньшим, чем они есть на самом деле; так, Аристофан в шутку говорил в своих «Вавилонянах» вместо золота золотце, вместо платье — платьице, вместо поношения — поношеньице и нездоровьице. Но здесь следует быть осторожным и соблюдать меру в том и другом.

3. Ходульность стиля может происходить от четырех причин: во-первых, от употребления сложных слов; эти выражения поэтичны, потому что они составлены из двух слов. Вот в чем заключается одна причина. Другая состоит в употреблении необычных выражений. Третья причина заключается в употреблении эпитетов или длинных, или неуместных, или в слишком большом числе; в поэзии, например, вполне возможно называть молоко белым, в прозе же подобные эпитеты совершенно неуместны; если их слишком много, они выдают себя, показывая, что раз нужно ими пользоваться, то это уже поэзия, так как употребление их изменяет обычный характер речи и сообщает стилю оттенок чего-то чуждого. В этом отношении следует стремиться к умеренности, потому что неумеренность здесь есть большее зло, чем речь простая (т. е. лишенная вовсе эпитетов): в последнем случае речь не имеет достоинства, а в первом она заключает в себе недостаток. Вследствие неуместного употребления поэтических оборотов стиль делается смешным и ходульным, а от многословия — неясным, потому что, когда кто-нибудь излагает с прикрасами дело лицу, знающему это дело, то он уничтожает ясность темнотою изложения. Люди употребляют сложные слова, когда у данного понятия нет названия или когда легко составить сложное слово; таково, например,

слово «времяпрепровождение»; но если таких слов много, то слог делается совершенно поэтическим. Наконец, четвертая причина, от которой может происходить ходульность стиля, заключается в метафорах. Есть метафоры, которых не следует употреблять, — одни потому, что они неприличны (метафоры употребляют и комики), другие из-за их чрезмерной торжественности и трагичности; кроме того метафоры имеют неясный смысл, если они далеки.

4. Сравнение есть также метафора, так как между ним и метафорой существует лишь незначительная разница. Так, когда поэт говорит об Ахилле: «он ринулся как лев», это есть сравнение. Когда же он говорит: «лев ринулся» — это есть метафора: так как оба — Ахилл и лев — обладают храбростью, то поэт, пользуясь метафорой, назвал Ахилла львом. Сравнение бывает полезно и в прозе, но в немногих случаях, так как вообще оно свойственно поэзии. Сравнения следует допускать так же, как метафоры, потому что они — те же метафоры и отличаются от последних только вышеуказанным, и очевидно, что все удачно употребленные метафоры будут в то же время и сравнениями, а сравнения, наоборот, будут метафорами, раз отсутствует слово сравнения («как»). Метафору, заимствованную от сходства, всегда возможно приложить к обоим из двух предметов, принадлежащих к одному и тому же роду; так, например, если фиал есть щит Диониса, то возможно также щит назвать фиалом Ареса.

5. Итак, вот из чего слагается речь. Стиль основывается прежде всего на умении говорить правильно по-гречески, а это зависит от пяти условий: от употребления частиц, от того, размещены ли они так, как они по своей природе должны следовать друг за другом, сначала одни, потом другие, как некоторые из них этого определенно требуют. Притом следует ставить их одну за другой, пока еще о требуемом соотношении помнишь, не размещая их на слишком большом расстоянии, и не употреблять одну частицу раньше другой необходимой, потому что подобное употребление частиц лишь в редких случаях бывает удачно. Итак, первое условие заключается в правильном употреблении частиц. Второе заключается в употреблении точных обозначений предметов, а не описательных выражений. В-третьих, не следует употреблять двусмысленных выражений кроме тех случаев, когда это делается умышленно, как поступают, например, люди, которым нечего сказать, но которые тем не менее делают вид, что говорят нечто. В-четвертых, следует правильно употреблять роды имен, как их разделял Протагор, — мужской, женский и средний. В-пятых, следует соблюдать согласование в числе, идет ли речь о многих или о немногих, или об одном.

Вообще написанное должно быть удобочитаемо и удобопроизносимо, что одно и то же. Этими свойствами не обладает речь со многими частицами, а также речь, в которой трудно расставить знаки препинания.

Солекизм получается еще и в том случае, если для двух различных понятий употребляется выражение, не подходящее к ним обоим: например, для звука и цвета выражение «увидев» не подходит к тому и другому, а выражение «заметив» подходит. Кроме того неясность получается еще и в том случае, если, намереваясь многое вставить, не поместишь вначале того, что следует.

6. Пространности стиля способствует употребление определения понятия вместо имени; например, если сказать не «круг», а «плоская поверхность, все конечные точки которой равно отстоят от центра». Сжатости же стиля способствует противоположное, т. е. употребление имени вместо определения понятия. Эта замена уместна также тогда, когда в том, о чем идет речь, есть что-нибудь позорное или неприличное; если что-нибудь позорное заключается в понятии, можно употреблять имя, если же в имени — то понятие. Можно также в пространным стиле пояснять мысль с помощью метафор и эпитетов, остерегаясь при этом того, что носит поэтический характер, а также употреблять множественное число вместо единственного, как это делают поэты.

Можно также ради пространности не соединять двух слов вместе, но к каждому из них присоединять все относящиеся к нему слова, например: «от жены от моей», а ради сжатости, напротив: «от моей жены». Выражаясь пространно, следует также употреблять союзы, а если выражаться сжато, то не следует их употреблять, но не следует также при этом делать речь бессвязной; например, можно сказать «отправившись и переговорив», а также: «отправившись, переговорил». Полезна также манера Антимаха при описании предмета говорить о тех качествах, которых у данного предмета нет.

Таким путем можно распространить описание до бесконечности. И можно говорить как о хороших, так и о дурных качествах, которыми данный предмет не обладает, смотря по тому, что требуется. Отсюда и поэты образуют такие эпитеты, как «бесструнная и безлирная мелодия». Они производят эти выражения от отсутствия качеств; этот способ очень пригоден в метафорах, основанных на сходстве: например, если сказать, что труба есть безлирная мелодия.

7. Соответственным стиль будет в том случае, если он будет выражать чувства и характер и если он будет соответствовать излагаемым предметам. Последнее бывает в том случае, когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках не говорится торжественно, и когда к простым словам не прибавляется украшающих эпитетов; в противном случае стиль кажется комическим. Стиль полон чувства, если он представляется языком человека гневающегося, раз дело идет об оскорблении, и языком человеком негодующего и сдерживающегося, когда дело касается вещей безбожных и позорных, если о вещах похвальных говорится с восхищением, а о вещах, возбуждающих сострадание, — скромно; подобно этому и в других случаях.

Стиль, соответствующий данному случаю, придает делу вид вероятного: здесь человек ошибочно заключает, что оратор говорит искренно, на том основании, что при подобных обстоятельствах он сам испытывает то же самое, так что он принимает, что положение дел таково, каким его представляет оратор, даже если это на самом деле и не так. Слушатель всегда сочувствует оратору, говорящему с чувством, если даже он не говорит ничего основательного; вот таким-то способом многие ораторы с помощью только шума производят сильное впечатление на слушателей.

Это — показ характера на основании его признаков, потому что для каждого положения и у каждого состояния есть свой подходящий ему показ; положение я различаю по возрасту (например, мальчик, муж и старик), по полу (например, женщина или мужчина), по национальности (например, лаконец или фессалиец). Состоянием я называю то, сообразно чему человек в жизни бывает таким, а не иным, потому что образ жизни бывает именно таким, а не иным в зависимости не от каждого состояния; и если оратор употребляет выражения, присущие какому-нибудь состоянию, он изображает соответствующий характер, потому что человек неотесанный и человек образованный сказали бы не одно и то же и не в одних и тех же выражениях.

Все эти приемы одинаково могут быть употреблены кстати или некстати. При всяком несоблюдении меры лекарством должно служить известное правило, что говорящий должен предупреждать упрек слушателей, сам себя исправляя, потому что, раз оратор отдает себе отчет в том, что делает, его слова кажутся истиной. Другая аналогичная ошибка — не пользоваться разом всеми средствами уловления слушателя: например, жесткие слова произносить не жестким голосом, не делать жесткого выражения лица и других соответствующих действий. В таком случае каждое из этих действий выдает себя. Ту же ошибку незаметно для себя допускает и тот, кто использует некоторые средства, а других не использует. Итак, если оратор говорит жестким тоном нежные вещи или нежным тоном жесткие вещи, он становится неубедительным. Сложные слова, обилие эпитетов и слова малоупотребительные всего пригоднее для говорящего в состоянии аффекта. В самом деле, человеку разгневанному простительно назвать несчастье «необозримым как небо» или «чудовищным». Простительно это также в том случае, когда оратор уже завладел своими слушателями и воодушевил их похвалами или порицаниями, гневом или дружбой.

Такие вещи люди говорят в состоянии увлечения, и выслушивают их люди, очевидно, под влиянием такого же настроения. Поэтому-то такие выражения свойственны поэзии, так как поэзия есть вдохновение. Употреблять их следует или так или иронически.

8. Что касается формы речи, то она не должна быть ни метрической, ни лишенной ритма. В первом случае речь не имеет убедительности, так как кажется искусственной и вместе с тем отвлекает внимание слушателей, заставляя их следить за возвращением сходных повышений и понижений. Силь, лишенный ритма, имеет незаконченный вид, и следует придать ему вид законченности, — но не с помощью метра, потому что все незаконченное неприятно и невразумительно. Все измеряется числом, а по отношению к форме речи числом служит ритм, метры же — его подразделения; поэтому-то речь должна обладать ритмом, но не метром, так как в последнем случае получатся стихи. Ритм не должен быть строго определенным, это будет в том случае, если он будет простирается лишь до известного предела. Из ритмов героический ритм отличается торжественным характером и не обладает гармонией, которая присуща разговорной речи. Ямб есть именно форма речи большинства людей. Вот почему из всех размеров люди всего чаще в разговоре употребляют ямбы. А речь оратора должна обладать некоторой торжественностью и вызвать подъем в слушателях. Трехей более подходит к комическим танцам, что доказывают тетраметры, потому что тетраметры — ритм скачков. Затем остается пэан, которым пользовались начиная с Трасимаха, но не умели объяснить, что это такое. Пэан — третий ритм; он примыкает к вышеупомянутым, потому что представляет отношение трех к двум, а из преждеупомянутых ритмов один представляет отношение одного к одному, а другие — двух к одному; к этим ритмам примыкает ритм полуторный, а это и есть пэан; остальные ритмы следует оставить в стороне как по вышеизложенным причинам, так и потому, что они стихотворны, пэан же следует иметь в виду, так как из числа всех упомянутых нами ритмов он один не образует стиха так, что им можно пользоваться наиболее незаметным образом. Теперь употребляют один и тот же вид пэана, как в начале, так и в конце, а между тем следует различать конец от начала. Есть два вида пэана, противоположные один другому: один из них годен для начала, где его и употребляют; это именно тот, у которого в начале долгий слог, а затем три кратких; другой, напротив, начинается тремя краткими, а оканчивается долгим. Этот вид пэана следует помещать в конце, так как короткий слог по своей неполноте делает окончание как бы увечным. Конец должен приходиться на долгий слог и ясно быть различимым не благодаря писцу, отмечаться не черточкой, а самым ритмом.

Итак, мы сказали, что стиль должен быть ритмичным, а не лишенным ритма, сказали также, какие ритмы и при каких условиях делают стиль ритмичным.

9. Речь бывает или низанной, скрепленной только союзами, каковы прелюдии в дифирамбах, или же закругленной, подобной антистрофам древних поэтов.

Речь нанизанная — древнейшая. Прежде этот стиль употребляли все, а теперь его употребляют немногие. Я называю нанизанным такой стиль, который сам по себе не имеет конца, пока не оканчивается предмет, о котором идет речь; он неприятен по своей незаконченности, потому что всякому хочется видеть конец; по этой же причине состязающиеся в беге задыхаются и обессиливают на повороте, между тем как раньше они не чувствовали утомления, видя перед собой предмет бега. Вот в чем заключается нанизанный стиль; стилем же закругленным называется стиль, составленный из периодов (кругов). Я называю периодом фразу, которая сама по себе имеет начало и конец и размеры которой легко обозреть. Такой стиль приятен и понятен; он приятен потому, что представляет собой противоположность речи незаконченной, и слушателю каждый раз кажется благодаря этой законченности, что он что-то схватывает; а ничего не предчувствовать и ни к чему не приходиться — неприятно. Понятна такая речь потому, что она легко запоминается, а это происходит от того, что периодическая речь имеет число, число же всего легче запоминается. Поэтому-то все запоминают стихи лучше, чем прозу, так как у стихов есть число, которым они измеряются. Период должен заключать в себе и мысль законченную, а не разрубаться.

Период может состоять из нескольких колонов или быть простым. Период, состоящий из нескольких колонов, есть период законченный, имеющий деления и удобный для дыхания весь целиком, а не по частям. Колон — одна из двух частей периода. Простым я называю период одночленный. Ни колоны, ни сами периоды не должны быть ни укороченными, ни слишком длинными, потому что краткая фраза часто заставляет слушателей спотыкаться: в самом деле, когда слушатель, еще стремясь вперед к тому пределу, о котором он носит в себе представление, вдруг должен остановиться вследствие прекращения речи, он как бы спотыкается, встретив препятствие. А длинные периоды заставляют слушателей отставать, подобно тому как бывает с людьми, которые, гуляя, заходят за назначенные пределы: они таким образом оставляют позади себя тех, кто с ними вместе гуляет. Подобным же образом и периоды, если они длинные, превращаются в целые речи и становятся похожими на прелюдии.

Периоды со слишком короткими колонами — не периоды, они влекут слушателя вперед слишком стремительно.

Период, состоящий из нескольких колонов, бывает или разделительный, или антитетический. Пример разделительного периода: «я часто удивлялся тем, кто установил торжественные собрания и учредил гимнастические состязания». Антитетический период — такой, в котором в каждом из двух членов одна противоположность стоит рядом с другой или один и тот же член присоединяется к двум противоположностям, например: «они оказали услугу и тем, и

другим — и тем, кто остался, и тем, кто последовал за ними: вторым они предоставили во владение больше земли, чем они имели дома, первым оставили достаточно земли дома». Противоположности здесь: оставаться — последовать, достаточно — больше. Точно так же и в другой фразе: «и для тех, кто нуждаются в деньгах, и для тех, кто желают ими пользоваться» — пользование противопоставляется приобретению. Такой способ изложения приятен, потому что противоположности чрезвычайно доступны пониманию, а если они рядом, они еще понятнее, а также потому, что этот способ изложения походит на силлогизм, так как доказательство есть сопоставление противоположностей.

Вот что такое противоположение (антитеза). Равенством (парисозой) называется такой прием, когда оба колона периода равны, уподоблением (паромэоса) — когда крайние слоги обоих колонов сходны; сходство необходимо должно быть или в начале, или в конце; в начале бывают сходны имена, а в конце — последние слоги, или разные падежи одного и того же имени, или одно и то же имя. Но может случиться, что одна и та же фраза включает в себе все вместе: и противоположение, и равенство колонов, и сходство окончаний. Различные начала периодов перечислены в риторике Теодекта.

10. Разобрав этот вопрос, следует сказать о том, откуда берутся изящные и удачные выражения. Их создает даровитый или искусный человек, а показать, в чем их сущность, есть дело нашей науки. Итак, поговорим о них и перечислим их. Начнем вот с чего: естественно, что всякому приятно легко научиться чему-нибудь, а всякое слово имеет некоторый определенный смысл; поэтому всего приятнее для нас те слова, которые дают нам какое-нибудь знание. Слова необычные нам непонятны, а слова общеупотребительные мы понимаем. Наиболее достигает этой цели метафора; например, если поэт называет старость стеблем, остающимся после жатвы, то он научает и сообщает сведения с помощью родового понятия, ибо то и другое — нечто отцветшее. То же самое действие производят сравнения, употребляемые поэтами, и потому они кажутся изящными, если только они хорошо выбраны. Сравнение, как было сказано раньше, есть та же метафора, но отличающаяся присоединением слова сравнения; она меньше нравится, так как она длиннее, она не утверждает, что «это — то», а потому и наш ум этого от нее не требует.

Итак, тот стиль и те суждения естественно будут изящны, которые сразу сообщают нам знания; поэтому-то поверхностные суждения не в чести (мы называем поверхностными те суждения, которые для всякого очевидны и в которых ничего не нужно исследовать); не в чести также суждения, которые, когда их произнесут, представляются непонятными. Но наибольшим почетом пользуются те суждения, произнесение которых сопровождается появлением некоторого познания, когда такого познания раньше не было, или те, которые

несколько выше понимания; потому что в этих последних случаях как бы приобретается некоторое познание, а в первых двух — нет. Подобные суждения пользуются почетом ради смысла того, что в них говорится; что же касается внешней формы речи, то наибольшее значение придается суждениям, в которых употребляются противоположения. Суждение может производить впечатление и отдельными словами, если в нем заключается метафора, и притом метафора не слишком далекая, потому что смысл такой метафоры трудно понять, и не слишком поверхностная, потому что такая метафора не производит никакого впечатления. Имеет также значение то суждение, которое изображает вещь как бы находящейся перед нашими глазами, ибо нужно больше обращать внимание на то, что есть, чем на то, что будет.

Итак, нужно стремиться к этим трем вещам: 1) метафоре, 2) противоположению, 3) наглядности.

Из четырех родов метафор наиболее заслуживают внимания метафоры, основанные на пропорции: так, Перикл говорил, что юношество, погибшее на войне, точно так же исчезло из государства, как если бы кто-нибудь изгнал из года весну. Или, как сказано в эпитафии: «Достойно было бы, чтобы над могилой воинов, павших при Саламине, Греция остригла себе волосы, как похоронившая свою свободу вместе с их доблестью». Если бы было сказано, что грекам стоит пролить слезы, так как их доблесть погребена, это была бы метафора, и сказано было бы это наглядно, но слова «свою свободу вместе с их доблестью» заключают в себе некое противоположение.

11. Итак, мы сказали, что изящество получается из метафоры, заключающей в себе пропорцию, и из оборотов, изображающих вещь наглядно; теперь следует сказать о том, что мы называем «наглядным» и результатом чего является наглядность. Я говорю, что те выражения представляют вещь наглядно, которые изображают ее в действии: например, выражение, что нравственно хороший человек четырехуголен, есть метафора, потому что оба эти понятия обозначают нечто совершенное, не обозначая, однако, действия. Выражение же «он находится во цвете сил» означает проявление деятельности. И Гомер часто пользовался этим приемом, с помощью метафоры представляя неодушевленное одушевленным. Во всех этих случаях вследствие одушевления изображаемое кажется действующим. Поэт изображает здесь все движущимся и идущим, а действие и есть движение.

Метафоры нужно заимствовать, как мы это сказали и раньше, из области родственного, но не очевидного. Подобно этому, и в философии меткий ум усматривает сходство в вещах, даже очень различных. Архит, например, говорил, что одно и то же — судья и жертвенник, ведь и у того и у другого ищет защиты то, что обижено.

Большая часть изящных оборотов получается с помощью метафор и посредством обмана слушателя: человеку становится яснее, что он узнал что-нибудь новое, раз это последнее противоположно тому, что он думал; и разум тогда как бы говорит ему: «Как это верно! А я ошибался». И изящество изречений является следствием именно того, что они значат не то, что в них говорится. По той же самой причине приятны хорошо составленные загадки: они сообщают некоторое знание и притом в форме метафоры. Сюда же относится то, что Теодор называет «говорить новое»; это бывает в том случае, когда мысль неожиданна и когда она, как говорит Теодор, не согласуется с ранее установившимся мнением, подобно тому как в шутках употребляются искаженные слова; то же действие могут производить и шутки, основанные на перестановке букв в словах, потому что и тут слушатель впадает в заблуждение. То же самое бывает и в стихах, когда они заканчиваются не так, как предполагал слушатель, например: «Он шел, имея на ногах отмороженные места». Слушатель полагал, что будет сказано «сапандалии», а не «отмороженные места». Такие обороты должны становиться понятными немедленно после того, как они произнесены. Когда же в словах изменяются буквы, то говорящий говорит не то, что говорит, а то, что значит получившееся искажение слова. То же самое можно сказать и об игре словами. В этих случаях говорится то, чего не ожидали и что признается верным. Одно и то же слово употребляется здесь не в одном значении, а в разных, и сказанное в начале повторяется не в том же самом смысле, а в другом. Во всех этих случаях выходит хорошо, если слово надлежащим образом употреблено для омонимии или метафоры. Чем больше фраза отвечает вышеуказанным требованиям, тем она изящнее, например, если имена употреблены как метафоры и если во фразе есть подобного рода метафоры — и противоположение, и равенство, и действие.

И сравнения, как мы сказали это выше, суть некоторым образом прославившиеся метафоры. Как метафора, основанная на пропорции, они всегда состоят из двух понятий: например, мы говорим, что щит — фиал Ареса, а лук — бесструнная лира. Говоря таким образом, употребляют метафору не простую, назвать же лук лирой или щит фиалом значит употребить метафору простую. Таким-то образом делаются сравнения, например, игрока на флейте с обезьяной и человека близорукого со светильником, на который капает вода, потому что и тот и другой мигают. Сравнение удачно, когда в нем есть метафора: так, например, можно сравнить щит с фиалом Ареса, развалины — с лохмотьями дома. На этом-то, когда сравнение неудачно, и проваливаются всего чаще поэты и получают славу, когда сравнения у них бывают удачны.

И пословицы — метафоры от вида к виду.

Таким образом мы до некоторой степени выяснили, из чего и почему образуются изящные обороты речи.

И удачные гиперболы — метафоры; например, об избитом лице можно сказать: «его можно принять за корзину тутовых ягод», так под глазами сине. Но это сильно преувеличено.оборот «подобно тому как то-то и то-то» — гипербола, отличающаяся только формой речи. Гиперболы бывают наивны: они указывают на стремительность речи; поэтому их чаще всего употребляют под влиянием гнева. Человеку пожилому не подобает употреблять их.

12. Не должно ускользать от нашего внимания, что для каждого рода речи пригоден особый стиль, ибо не один и тот же стиль у речи письменной и у речи во время спора, у речи политической и у речи судебной. Необходимость знать оба стиля, потому что первый заключается в умении говорить по-гречески, а зная второй не бываешь принужден молчать, если хочешь передать что-нибудь другим, как это бывает с теми, кто не умеет писать. Стиль речи письменной — наиболее точный, а речи во время прений — наиболее актерский. Есть два вида последнего стиля: один передает характер, другой — аффекты. Если сравнивать речи между собой, то речи, написанные при устных состязаниях, кажутся сухими, а речи ораторов, даже если они имели успех, в чтении кажутся искусственными: причина этого та, что они пригодны только для устного состязания. По той же причине и их сценические приемы, не будучи воспроизводимы, не вызывают свойственного им впечатления и кажутся наивными: например, фразы, не соединенные союзами, и частое повторение одного и того же в речи письменной по справедливости отвергаются, а в устных состязаниях эти приемы употребляют и ораторы, потому что они сценичны. При повторении одного и того же необходимо менять интонацию, что как бы предшествует декламации. То же можно сказать о фразах, не соединенных союзами, например: «пришел, встретил, просил». Эти предложения нужно произнести с декламацией, а не говорить их с одинаковым выражением и одинаковым голосом, словно нечто единое. Речь, не соединенная союзами, имеет следующую особенность: кажется, что в один и тот же промежуток времени сказано многое, потому что соединение посредством союзов объединяет многое в одно целое; отсюда ясно, что при устранении союзов единое делается, напротив, многим. Следовательно, такая речь включает в себе амплификацию: «пришел, говорил, просил». Слушателю кажется, что он обозревает все то, что сказал оратор.

Того же впечатления хочет достигнуть и Гомер в стихах:

Три корабля соразмерных приплыли...

Вслед за Нирсем...

Вслед за Нирсем... (Ил. II, 671 сл.)

О ком говорится многое, о том, конечно, говорится часто; поэтому, если о ком-нибудь говорится несколько раз, кажется, что о нем сказано многое.

Стиль речи, произносимой в народном собрании, во всех отношениях похож на силуэтную живопись, ибо чем больше толпа, тем отдаленнее перспектива, поэтому-то и там и здесь всякая точность кажется неуместной и производит худшее впечатление; точнее стиль речи судебной, а еще более точна речь, произносимая перед одним судьей: такая речь всего менее заключает в себе риторики, потому что здесь виднее то, что идет к делу и что ему чуждо; здесь нет состязания, и решение ясно. Поэтому-то не одни и те же ораторы имеют успех во всех перечисленных родах речей, но где всего больше декламации, там всего меньше точности; это бывает там, где нужен голос, и особенно где нужен большой голос.

Наиболее пригоден для письма стиль речи эпидейктической, так как она предназначается для прочтения; за ней следует стиль речи судебной.

Излишне продолжать анализ стиля и доказывать, что он должен быть приятен и величествен; действительно, почему бы ему обладать этими свойствами в большей степени, чем умеренностью, благородством или какой-нибудь иной этической добродетелью? А что перечисленные свойства стиля помогут ему сделаться приятным, это очевидно, если мы правильно определили достоинство стиля; потому что для чего же другого, как не для того, чтобы быть приятным, стиль должен быть ясен, не низок, но соответствовать своему предмету? Если стиль многословен или слишком сжат, он не ясен; очевидно, что требуется середина. Перечисленные качества сделают стиль приятным, если будут в нем удачно перемешаны выражения общеупотребительные и редкие и если он будет обладать ритмом и убедительностью, основанной на соответствии.

III. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКО-РИМСКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СТИЛЯ

*Филодем, Риторика, кн. 4, кол., III, 18—25, IV, 1—5
(I, 164 и сл.).*

В речи различают три стороны: троп, форму (σχήμα) и тип (πλάσμα). Троп — это метафора, аллегория и т. п.; форму создают периоды, колоны и коммы, их сплетения и особенности; тип характеризуется богатством или скудостью, величием или гладкостью.

Риторика к Гереннию, IV, 7, 10.

На две части будет у нас распадаться учение о слоге. Сперва мы скажем о видах, какие неизменно ораторский слог принимает, а затем мы рассмотрим те качества, какими он неизменно обладать должен.

Цицерон, Об ораторе, III, 37, 149.

Всякая речь составляется из слов; сначала нам предстоит рассмотреть методы употребления их в отдельности, затем в сочетаниях. Ибо существуют украшения речи, заключающиеся в отдельных словах, и другие, состоящие из сочетания слов.

Дионисий Галикарнасский, О Фукидиде, 22.

Во всякой речи различаются две стороны: во-первых, выбор слов, излагающих дело, и сочетание больших и меньших ее членов, а затем каждая из них распадается на дальнейшие части; выбор элементов речи (я имею в виду имена, глаголы и союзы) заключается в выборе выражений, имеющих прямое значение и имеющих значение переносное, а сочетание слов складывается из комм, колонов и периодов. Как то, так и другое (т. е. и простые неделимые слова, и их сочетания) дают так называемые фигуры. А из так называемых качеств речи одни являются неотъемлемыми и неизбежно будут налицо во всякой речи, другие же представляют собою некое добавление и приобретают силу за счет их. Об этом многие уже говорили раньше.

РЕЧЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ И РЕЧЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Феофраст (Аммоний, Комментарий к «Об истолковании Аристотеля», стр. 65, 31 В.).

По определению философа Феофраста речь бывает двух родов: одна ориентируется на слушателей, когда говорящий ставит себе задачу убедить слушателей, другая находится в зависимости от предмета, относительно которого говорящий что-либо разъясняет. В речи, имеющей в виду слушателей, различаются речь поэтическая и ораторская. Перед ними стоит задача выбирать более торжественные слова, а не общеупотребительные и вульгарные, и гармонично соединять их одно с другим, так чтобы этими приемами и другими, связанными с ними, — как, например, ясностью, прелестью речи и другими качествами ее, а также уместным многословием и краткостью — услаждать слушателя и поражать, и, подчинив его себе силой убеждения, иметь в своей власти. В речи же, в которой интерес сосредоточен на предмете, философ прежде всего будет заботиться о том, чтобы опровергнуть ложь и доказать истину.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Посидоний (Прокл, стр. 223. W.).

Достоинства прозаического и поэтического языка одни и те же и отличаются между собой только большей или меньшей степенью.

Посидоний (Диоген Лаэртий, VII, 60).

Поэтический язык есть метрическая или ритмическая речь, путем украшений избегающая прозаичности.

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен, 26.

(214) Да никто меня не заподозрит в том, будто я не знаю, что так называемая прозаичность считается в стихотворении недостатком, и да не обвинит меня в подобном невежестве, думая, будто некий недостаток я причисляю к достоинствам стихотворных или прозаических произведений: пусть выслушают меня и поймут, (215) что отличать хорошее от ничего не стоящего я и в данном случае нахожу правильным. Я знаю, что существует речь обиходная — разумею болтовню, шутки — и что существует публичная речь, в которой главная доля приходится на то, что технически выработано: и вот, стихотворение, которое я найду похожим на болтовню и шутку, я сочту заслуживающим смеха, стихотворение же похожее на речь, технически выработанную, я признаю достойным ревностного подражания. И если бы таким образом та и другая речь носила каждая

особое название, то было бы вполне последовательно и стихотворения, на них похожие, обозначать особыми для того и другого рода наименованиями. Но так как и дельная речь, и речь ничего не стоящая называются обе равно речами, то не ошибется тот, кто стихотворения, похожие на хорошую речь, будет считать хорошими, а похожие на плохую — плохими, совершенно не смущаясь тождеством наименований. Общность обозначения, одинаково (216) прилагаемого к двум различным вещам, не мешает нам увидеть природу той и другой.

КАЧЕСТВА РЕЧИ

ДОСТОИНСТВА РЕЧИ (*ἀρεταὶ λέξεως*, *virtutes dicendi*)

Диоген Вавилонский (Диоген Лаэртий, VII, 59).

Достоинств речи пять: чистота эллинской речи, ясность, краткость, уместность, красота. Чистота эллинской речи заключается в чуждом ошибок способе выражения, в обиходной речи, но обработанной, а не случайной. Ясность есть способ выражения, представляющий мысль так, чтобы она была легко познаваема. Краткость есть выражение, заключающее в себе только необходимое для уяснения предмета. Уместность есть выражение, соответствующее предмету. Красота есть выражение, избегающее обыденности.

Риторика к Гереннию, IV, 12, 17.

Посмотрим теперь, какими же качествами должен обладать складный и отделанный слог. Слог, наиболее приличествующий оратору, должен обладать тремя качествами: изяществом, плавностью и внушительностью.

Цицерон, Об ораторе, III, 10, 37.

Какой способ речи может быть лучше, чем говорить чистым латинским языком, говорить ясно, красиво, всегда в согласии и соответствии с предметом обсуждения?

Дионисий Галикарнасский, Письмо к Помпею, 3.

Первое достоинство речи, без которого и все остальные теряют свое значение — это чистота словарного состава и эллинский характер речи... Третье место занимает так называемая краткость. Однако к этому можно прибавить, что краткость приятна, когда она сочетается с ясностью, без этого же она вредит речи. За этим стоит как первое из добавочных достоинств наглядность. Следующее достоинство составляет воспроизведение характеров и аффектов, потом те достоинства, благодаря которым проявляется величие и то, что вызы-

вает удивление в обработке речи. За этим следуют достоинства, заключающие в себе силу и напряженность, и другие подобные этим свойства речи. Остается еще самое основное из всех достоинств речи: уместность.

Чистота эллинской (латинской) речи
(ἑλληνισμός, sermo purus).

Риторика к Гереннию, IV, 12, 17.

Изящество — это то свойство, благодаря которому любое отдельное место речи кажется сказанным чисто и откровенно. Даруется это свойство обстоятельной ясностью хорошего латинского языка. А хорошим латинским языком будет тот, который сохраняет чистую разговорную речь свободной от всяких пороков. Пороков же речи, мешающих ей быть хорошим латинским языком, может быть два: солекизм и варваризм.

Солекизм — это когда в сочетании из нескольких слов слово последующее не согласовано с ему предшествующим.

Варваризм — когда какое-либо слово выговаривается ошибочно.

Цицерон, Об ораторе, III.

10, 38. Впрочем, что касается тех двух качеств, которые я упомянул на первом месте, именно чистоты и ясности языка, то никто, полагаю, не ждет от меня обоснования их необходимости. Ведь мы не пытаемся обучить ораторской речи того, кто вообще не умеет говорить; и не можем надеяться, чтобы тот, кто не владеет чистым латинским языком, говорил изящно; тем менее, конечно, чтобы тот, кто не умеет выражаться удобопонятно, стал говорить достойным восхищения образом. Итак, оставим эти качества, приобретаемые легко и совершенно необходимые. Первое усваивается при обучении грамоте в детском возрасте; второе имеет своим назначением обеспечить людям понимание друг друга, и при всей необходимости — это самое элементарное требование из предъявляемых оратору.

39. Но всякое умение говорить изящно, хотя и вырабатывается путем школьного знакомства с литературными памятниками, однако много выигрывает от самостоятельного чтения ораторов и поэтов. Ибо эти древние мастера, не умевшие еще пользоваться украшениями речи, почти все говорили прекрасным языком; кто усвоил себе их способ выражения, тот не будет в состоянии даже при желании говорить иначе, как настоящим латинским языком. Однако ему не следует пользоваться теми словами, которые уже вышли из употребления в нашем обиходе, разве только изредка и осторожно, ради украшения, что я укажу ниже. Но, пользуясь употребительными

словами, тот, кто усердно и много занимался сочинениями древних, сумеет применять самые избранные из них.

11, 40. При этом для чистоты латинской речи следует позаботиться не только о том, чтобы как подбор слов не мог ни с чьей стороны встретить справедливого порицания, так и соблюдение падежей, времен, рода и числа предупреждало извращение смысла, отклонение от обычного словоупотребления или нарушение естественного порядка слов, но необходимо также управлять органами речи и дыханием, и самым звуком голоса.

41. Не нравится мне, когда буквы выговариваются с изысканным подчеркиванием, также не нравится, когда их произношение затемняется излишней небрежностью; не нравится мне, когда слова произносятся слабым, умирающим голосом, не нравится также, когда они раздаются с шумом и как бы в припадке тяжелой одышки.

Говоря о голосе, я не касаюсь того, что относится к области художественного исполнения, а только того, что мне представляется как бы неразрывно связанным с самой живой речью. Существуют, с одной стороны, такие недостатки, которых все стараются избегать, именно: слабый женственный звук голоса или как бы немзыкальный, беззвучный и глухой.

42. С другой стороны, есть и такой недостаток, которого иные сознательно добиваются: так, некоторым нравится деревенское грубое произношение; им кажется, что благодаря такому звучанию их речь произведет впечатление сохраняющей в большей мере оттенок старины.

Что касается меня, то мне нравится такой тон речи и такая тонкость — я не говорю о словах, хотя это и главное, но это дается теоретическими сведениями, черпается из знакомства с литературой, подкрепляется постоянным упражнением в чтении и в устной речи — я же имею в виду то благозвучие, которое непосредственно исходит из уст, то самое, которое у греков в наибольшей мере свойственно жителям Аттики, а в латинском языке — говору нашего города.

12, 44. Поэтому, раз есть определенный говор, свойственный римскому народу и его столице, говор, в котором ничто не может оскорбить наш слух, вызвать чувство неудовольствия или упрек, ничто не может звучать на чуждый лад или отзываться чужеземной речью, то будем следовать ему и учиться избегать не только деревенской грубости, но также и чужеземных особенностей.

45. По крайней мере, когда я слушаю мою тещу Лелию — ведь женщины легче сохраняют нетронутым характер старины, так как, не сталкиваясь с разноречием широкой толпы, всегда остаются верными первым урокам раннего детства, — когда я ее слушаю, мне кажется, что я слышу Плавта или Невия. Самый звук голоса ее так прост и естествен, что, несомненно, в нем нет ничего показного, никакой подражательности; отсюда я заключаю, что так говорил ее

отец, так говорили предки: не жестко, не с открытым произношением гласных, не отрывисто, а сжато, ровно, мягко.

13, 48. Итак, оставим в стороне правила чистой латинской речи, которые приобретаются обучением в детстве, развиваются углубленным и сознательным усвоением литературы либо практикой живого языка в обществе и в семье, закрепляются работой над книгами и чтением древних ораторов и поэтов.

Ясность (*σαφήνεια*, *plana elocutio*).

Эпикур, Фрагмент 54.

В сочинении о риторике он считает, что (от оратора) не следует требовать ничего, кроме ясности.

Риторика к Гереннию, IV, 12, 17.

Ясность выражений есть то, что делает речь понятной и прозрачной. Создается ясность двумя вещами: употреблением общепринятых слов и слов, взятых в их точном значении.

Общепринятыми являются слова, находящиеся в повседневном употреблении, слова же, взятые в точном значении, — это слова, обозначающие или способные обозначить предмет нашей речи.

Цицерон, Об ораторе III.

13, 48. Не будем останавливаться и на втором вопросе, разбираться, какими средствами достигнуть того, чтобы то, что мы говорим, было удобопонятно.

49. Ясно, что эти средства следующие: говорить чистым латинским языком, пользуясь словами употребительными и точно выражающими то, что мы хотим обозначить и изобразить, без двусмысленности как в отдельных словах, так и в связной речи, без слишком длинных периодов, не слишком задерживаясь в сравнениях на заимствованных из другой области образах, не разрывая мысли вставками, не переставляя событий, не путая лиц, не нарушая последовательности изложения. Зачем терять на это много слов? Все это так просто, что меня повергает в совершенное изумление, когда понять, что хочет сказать защитник, бывает труднее, чем если бы тот человек, который обратился к защитнику, сам говорил о своем деле. В самом деле, люди, поручающие нам ведение своих дел, часто так нам сами излагают, что большей ясности нельзя и желать.

Деметрий.

(191) Ясность достигается многими способами: (192) прежде всего точностью слов, во-вторых, связностью. Отсутствие союзов и разорванность речи ведут к полной неясности. В этом случае начало каждого

нового колона вследствие своей оторванности не будет отчетливо выделяться. (193). Отрывочный стиль скорее пригоден для споров. Он называется также актерским, так как отрывочность требует декламации. Стиль же письменной речи должен быть удобочитаем, а таким является стиль связный и как бы поддерживаемый союзами. (196) Ясная письменная речь должна избегать также двусмысленностей, а из фигур употреблять так называемый эпаналепсис.

(197) Ради ясности следует нередко и два раза повторить одно и то же. Краткость, правда, приятна, но не всегда ясна. Как иногда можно не заметить пробегающих мимо людей, так и речь может быть не расслышана благодаря своей быстроте. (198) Следует избегать также косвенных падежей, так как и они ведут к неясности. (199) Вообще, надо придерживаться естественного порядка слов.

Надо стараться не слишком растягивать фразы. (203) Относительно ясности ограничусь этим, считая, что сказано немногое из того многого, что можно было бы сказать.

Гермоген, Об идеях, I.

2. (202) Ясность речи создается точностью и чистотой ее.

3. (205) В словарный состав чистого языка входят общепонятные, обращенные ко всем слова, не иносказательные, но и не сухие.

(208) Колонны чистой речи должны быть малыми, комматическими, в которые мысль вся до конца укладывается. Ни длинные колонны, ни периоды не присущи чистоте речи.

Чистое сочетание — это прежде всего сочетание простое и совершенно не занимающееся мелочным устранением зияний, забота о чем скорее характерна для речи нарядной, чем для простой и чистой. Во-вторых, это такое сочетание, которое приближается к разговорной речи, то есть ямбическое, например, или трохеическое: подобное сочетание не так возвышенно. Не следует требовать здесь особенной точности, которая в данном случае и невозможна: достаточно, если местами рассеяны будут преимущественно такие стопы, если будут стоять они в начале колонов и если во всем сочетании трохеи и ямбы будут преобладать над дактилями, анапестами и иными того же рода размерами. Да и вообще необходимо примешивать к ним и другие стопы, чтобы не вышла речь уже совсем метрической, а (209) заключала бы в себе размер лишь отчасти, в пределах, я бы сказал, естественности и ни в коем случае не становилась бы сплошь размеренной. Ритм в прозаической речи, создаваемый в ней тем или иным сочетанием, вместе с клаузулой, должен быть и не быть размером, и размером быть в речи одного рода одним, а в речи другого рода другим, как в нашем, например, случае ямбическим или трохеическим.

А клаузула, как это ясно и из сказанного уже выше, необходимо должна соответствовать сочетанию, задерживая речь на ямбическом

или трохеическом слове и на той или иной ямбической или трохеической концовке из числа тех, какие среди трохеических и ямбических размеров имеются, чтобы и ритм получил тот же характер, потому что ритм в прозаической речи должен, как я сказал, и обладать естественной метричностью и не быть метричным. Такою в тщательной речи чистого стиля должна быть, говорю я, клаузула.

Следует, впрочем, знать, что все это, то есть сочетание слов по стопам — именно по стопам, не иное какое-нибудь — а затем клаузула и возникающий на основе того и другого ритм — все это, несмотря на всю свою трудность и столь точную его у нас разработку, очень мало способствует чистоте, способствует, конечно, отчасти, но незначительно. И с прочими качествами, если не со всеми, то, скажу, с большинством, дело обстоит так же: клаузулы, ритмы, да, клянусь Зевсом, и сочетания слов по стопам меньше имеют значения, чем что-либо другое из всего того, под действием чего образуются отдельные виды речи.

4. (210) Точность и по самой природе своей содержит в себе нечто такое, что содействует ясности, (211) но чистоте она вряд ли помогает особенно много в том, чего чистота стремится достигнуть. Чистота стремится сделать речь ясной, а точность исправляет речь в тех случаях, когда речь невольно впадает в неясность под влиянием таких погрешностей, какие часто в речах встречаются. (214) Словарный состав точной речи тот же, что и речи чистой.

Фигурами точности являются: разграничение того, что берется в своей совокупности; например: «он сказал здесь о двух вещах, о том и об этом». Слушатель ждет услышать не больше, чем о двух вещах, и заранее знает, что речь пойдет и о второй вещи. Таковы фигуры (215) расчленения и перечисления. В одном случае речи придается пространность путем привлечения новых мыслей; в другом все заранее уточняется, как только говорящий заявляет слушающим, что должна последовать новая мысль.

Точности и ясности очень способствуют также и повторения. Дело в том, что если ты дал одну из фигур привлечения новой мысли и если затем тебе приходится вставить еще ряд других мыслей, которые нарушают последовательность, то повторение и уточнение необходимы во избежание неясности и спутанности речи. (217) А колоны, сочетания слов, клаузулы и ритмы в точности те же, что и чистоты.

Но довольно говорить о ясности.

Следует знать — и я мог бы это подкрепить доказательствами — что без этого или без чего-то из этого, образующего чистоту и точность, речь не может стать ясной.

Уместность (прéлов, decorum)

Цицерон, Об ораторе III, 14, 53.

Те, кто, распоряжаясь средствами речи, видоизменяют их в зависимости от характера событий и лиц, те заслуживают похвалы за то, что я называю согласованностью и соответствием с предметом.

Цицерон, Оратор 21.

(70) Как в жизни, так и в речи нет ничего труднее, как видеть, что уместно. Греки называют это прéлов, мы — тактом. Об этом существует много прекрасных наставлений, и тема эта заслуживает изучения. Из-за незнания этого делается много ошибок не только в жизни, но особенно часто в поэзии и в ораторской речи. (71) А между тем оратор должен соблюдать такт не только в содержании, но также и в выражениях. Не для всякого общественного положения, не для всякой должности, не для всякой степени влияния человека, не для всякого возраста, так же как не для всякого места и момента и слушателя подходит один и тот же стиль, но в каждой части речи, так же как и в жизни, надо всегда иметь в виду, что уместно: это зависит и от существа дела, о котором говорится, и от лиц, и говорящих, и слушающих.

Гораций, Поэтика, 112—118.

Если ж с судьбой говорящих слова звучат несогласно,
Римские всадники хохот подымут — и пешие тоже.
Будет различье большое: то бог выступает, герой ли,
Старец преклонный, иль пылкий цветущею юностью отрок,
Женщина знатная родом, иль просто льстивая нянька,
К морю ль привыкший купец, виноградарь ли только усердный,
Колх, ассириец ли, Фив уроженец, иль Аргоса житель.

Дионисий Галикарнасский, Лисий 9.

Уместность — самое важное и совершенное из достоинств речи. Обладающая им речь согласуется должным образом и с говорящим, и со слушателями, и с темой (ведь в этом заключается уместность). Каждому возрасту, происхождению, каждой степени образования, профессии, образу жизни и всему остальному, чем один человек отличается от другого, она придает свойственный ему способ выражения и соизмеряет речь с особенностями слушателя; не одинаково приходится говорить перед судьями, перед народным собранием и перед праздничной толпой. Вначале речь должна быть спокойной и направленной к тому, чтобы охарактеризовать говорящего, при изложении дела — убедительной и не заключающей в себе ничего лишнего, в доказательстве — закругленной и насыщенной, при амплификации

и в патетических местах — торжественной и правдоподобной, в заключении — не периодической и сжатой.

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен 20.

(135) Если то, что согласуется с данным лицом или данным предметом, общепринято называть соответствием, тогда совершенно так же, как предмету речи выбор одних слов соответствовать будет, а выбор других не будет, и (136) сочетание слов, конечно, будет или не будет ему соответствовать. Брать пример нам надлежит из самой действительности. Я говорю вот о чем: не одни и те же употребляем мы сочетания слов в тех случаях, когда сердимся и когда радуемся, когда сетуем или когда страшимся, когда находимся в каком-нибудь горе или несчастье и когда мы думаем, что ничто не смутит нас и что ничто нас не опечалит. Далее, одни и те же люди, находящиеся в одинаковом состоянии духа, рассказывая о событиях, которых они были свидетелями, не обо всем говорят одинаковыми сочетаниями слов, а, невольно подчиняясь естественному стремлению, подражательно передают рассказываемое и самым сочетанием слов. Присматриваясь к этому, должен и (137) хороший поэт, так же как и хороший оратор, подражать тому, о чем он говорит, не только подбором слов, но и их сочетанием.

Красота (κατασκευή, ornatus)

Феофраст (Дионисий Галикарнасский, Исократ 3).

По словам Феофраста, три элемента вносят в речь величавость, торжественность и изысканность: выбор слов, их сочетание и те фигуры, в которые это отливается.

Андроменид (Филодем, О поэзии II).

Андроменид, по-видимому, ошибается, говоря: достоинством поэта является тщательная отделка языка и словоупотребления, и задача его состоит не в том, чтобы говорить то, чего никто не сказал, но в том, чтобы выразить это так, как не может никто другой выразить, а также еще и в том, чтобы выработать себе чистоту выражений и усвоить ритмы, звуки и гармонию муз. Людям от природы свойственно чувство ритма, их родственность музам для нас сама собою понятна, как видно это из того, как дети засыпают под звуки напева, не вложенного в слова. Кроме того поэт должен усвоить себе красоты слова, действующие на слух, и ярко звучащие буквы, выбирая их по их качеству и их количеству.

Риторика к Гереннию IV 13, 18.

Достоинство есть качество, которое украшает речь, внося в нее разнообразие. Это свойство может заключаться как в красоте слов, так и в красоте мысли. Красота слов состоит в особенной отделке самой речи. Красота мыслей сводится к известному достоинству не в словах, а в самых предметах.

Цицерон, Об ораторе III, 14.

52. Просты были те два раздела, которые я только что бегло рассмотрел, или, вернее, почти что мимоходом упомянул, именно об умении говорить чистым латинским языком, и говорить ясно: остающиеся вопросы обширны, сложны, разнообразны и многозначительны; от них-то и зависит все восхищение талантом, вся слава ораторского искусства. Ведь никто никогда не восхищался оратором только потому, что он владеет латинским языком. При отсутствии этого условия над ним смеются и его не то что за оратора, а и за человека-то не считают. Точно так же никто никогда не превозносил человека, сумевшего сказать так, что все присутствующие поняли его слова, но презрением обливали того, кто этого не сумел сделать.

53. Так кто же приводит людей в трепет? С кого они в оцепенении не сводят глаз, когда он говорит? Кто вызывает у них возгласы восторга? Кого они, так сказать, считают богом среди людей? Тех, кто говорит стройно, определенно, пространно, яркими словами и яркими образами, как бы вводя в самую речь некий стихотворный размер, одним словом, красиво.

Гораций, Поэтика 99, 100.

Мало стихам одной красоты: пусть сладостны будут,
Душу людскую послушно любым увлекая волненьем.

Гермоген, Об идеях I, 12.

(277) После речи о ясности и внушительности, основанной на величавости, последовательно сказать о тщательности и о красоте, как таковой, потому что ясной речи, обладающей весом и величавостью, безусловно необходимы и некая красота и благозвучность, если только не собираются делать речи совсем лишенной прелести. А что этому противоположны небрежность, отсутствие ритма и бедность построения — ясно. Вопрос другой, что иногда может пригодиться и это, например, при суровости и стремительности. Но у нас речь идет о красоте и тщательности. (280) Словарь красив тот, который чист. Суровый или богатый тропами может быть отчетлив или включать в себя иные подобные же качества, но красоты во всем этом нет.

(281) Красивые же фигуры — это такие, благодаря которым ярко проступает нарядность речи и ясно выказывается ее украшенность.

К их числу относятся парисозы и (284) анафора колонов. (285) Красоту сообщает речи еще и другая фигура: антистрофа. (286) Украшающей фигурой служит также и эпанастрофа. К числу ярко нарядных фигур, отчетливо выступающих, относится и так называемая ступенчатая фигура (климакс). (287) Содействует красоте и деление колонов на одинаковые по величине пары. Нарушение порядка слов, если делается оно не путем вставки, а посредством перестановки, создает тоже красоту речи. (288) Краткая вставка придает речи горячность, длинная делает ее пространной, а обилие вставок приводит к перегруженности. Украшающей фигурой является также и так называемая фигура падежного разнообразия в тех случаях, когда она проводится по колонам.

(289) Нарядные колоны — это, естественно, колоны умеренной величины, которые при сочетании не противоречат друг другу и притом такие, в которых совершенно отсутствует зияние и всюду слова примыкают одно к другому согласными буквами: это действительно украшает колоны.

(290) Из сказанного выше ясно, конечно, и то, какое сочетание требуется прекрасной речи: такое, в котором как можно реже будут встречаться зияния и кроме того такое, которое почти метрично и характером своих стоп соответствует речи, а также и тому качественному речевому типу, над которым мы в данном случае работаем. Ведь один метр подходит к речи торжественной, на что мы, говоря о торжественности, и указывали, а другой — другому речевому типу, как мы это каждый раз и оговаривали. И уж если в чем прекрасная речь нуждается, так это именно в соответствующих ей сочетаниях слов; проявляет себя она главным образом в них: здесь отчетливо проступают тщательность и красота отделки. Поэтому, (291) когда мы составляем красивую речь, ее ритм должен быть по возможности ближе к метру, а не расходиться с ним: последнее плохо.

Собираясь войти в подробное рассмотрение этих вопросов, прошу не сердиться на меня за мелочность моего изложения: тот, кому предстоит говорить о ритмах, да еще нарядных, безусловно обязан действовать с тем большей точностью и детальностью. Но я должен вернуться к тому, с чего начал.

При известных сочетаниях получается, говорили мы, такой ритм, благодаря которому речь звучит так, что производит впечатление почти метрической. Получается такой ритм в том случае, если, во-первых, не бывает, как я сказал, зияний; во-вторых, если стопы, образующие ритм, подходят одни к другим, а не вносят резкости своим разногласием; и главное, в-третьих, если части речи, на основе которых ритм складывается, не будут ни состоять из одинакового числа слогов, ни иметь одинаковой долготы, ни носить одинаковых ударений, но если одни из них будут состоять из меньшего, а другие из большего числа слогов то менее, то более долгих, и если одни

будут носить на последнем слоге острое ударение, а другие — иметь ударения иного рода, расположены же будут по отношению друг к другу разнообразно, так что между длинными словами будут встречаться короткие, а между короткими — длинные. Такого сочетание наиболее тщательное, свойственное украшенной речи. Подобающие же прекрасной речи клаузулы — это нестойкие клаузулы. Стойкость клаузул торжественнее и приличествует красоте торжественной. (292) Совершенно стойким становится ритм тогда, когда мысль кончается на каком-нибудь длинном слове, последний слог которого долог. Нестойким, напротив, а как бы колеблющимся или приподнятым ритм бывает тогда, когда при незаконченности мысли, в то время как она, так сказать, приостанавливается, концовка приходится на короткое слово, последний или предпоследний слог которого краток. (293) Четкость подобной клаузулы ритма еще ярче выступает, когда заключительное слово односложно.

Таковы замечания о красоте, которая может быть придана речи. (294). А так называемая прелестная речь, так же как и нежность речи, отличается не этой красотой, а той, какая заключена бывает скорее в сладости, нежели в простоте. Когда мы скажем о той и о другой, это станет яснее.

Внушительность (ἀξίωμα, dignitas) и
Величавость (μέγεθος, amplitudo)

Гермоген, Об идеях I, 5.

(217) После того как мы сказали о ясности, целесообразно было бы остановиться на величавости речи, так как ясность должна непременно соединяться с величавостью некоторым весом и внушительностью. (218) Рядом с исключительно большой ясностью стоит бедность, а последняя противоположна величавости. Это же признавал, думается мне, и оратор, именно потому, что публичная речь, безусловно, должна быть ясной, ввиду чего он и пользуется все время средствами, сообщающими речи ясность, но из опасения, как бы из-за ясности не впала у него речь в некоторую легковесность, он делает ее нередко пространной.

Величавость, вес и внушительность придаются речи следующими качествами: торжественностью, пространностью, блистательностью, живостью, а кроме того и стремительностью, мало чем отличающейся от суровости, как это выясним мы, когда будем говорить о ней. Среди них торжественность и пространность существуют самостоятельно, остальные же взаимно отчасти переплетаются, отчасти же не переплетаются, имея кое-что общее друг с другом в одном, и расходясь в другом. Пространность, как я сказал, существует самостоятельно, но речь о ней будет позже, потому что хотя она и в

большом ходу у оратора, но понять причины, почему он ею так много пользуется в целях придания речи веса, нельзя иначе, как познакомившись сперва с суровостью и блистательностью, а также с живостью и со стремительностью.

Но прежде всего о торжественности, прямой противоположностью которой скорее всего может служить простота.

Торжественность (σεμνότης, gravitas)

Гермоген, *Об идеях* I, 6.

(224) Торжественным является всякое широковещательное слово, растягивающее при произношении рот, такое, которое можно тянуть. Иные стараются делать так, чтобы долгота получалась по необходимости, в силу природных особенностей слов. Таковыми оказываются как некоторые другие, так в особенности слова, в состав которых преимущественно входят *альфа* и *о долгое*. Растягивая речь, всего сильнее ее поднимают буквы *о долгое* и *альфа*, когда они приходится на конечный слог слова. (225). Второе по торжественности место принадлежит словам, которые пишутся через *о краткое*, а затем таким, которые кончаются на какую-нибудь долгую букву, равно как и словам, изобилующим долгими слогами или дифтонгами, или оканчивающимся на дифтонг, кроме дифтонга *ie*. Точно так же и преобладание *иоты* само по себе скорее суживает рот и заставляет показывать зубы, а вовсе не растягивать рта. Торжественность и вес придают речи также слова, взятые в переносном значении: немалая здесь, однако, опасность в степени их применения. Торжественность сообщают они тогда, когда применяются в меру, когда же они переходят меру, то придают речи некоторую суровость; если же образность идет дальше, то она вносит в речь жестковатость; (226) а еще дальше она делает глуповатой речь и даже, пожалуй, несколько пошлой.

Кроме того торжественным является словарь именной, а также самые имена. Под именным я разумею словарь, переделывающий глаголы в имена, (227) составленный из причастий, местоимений и тому подобного. Ибо в условиях торжественности надлежит как можно реже употреблять глаголы.

Торжественные фигуры те же, что и фигуры чистые, то есть правильность и прочее в этом роде.

(229) Торжественные колонны те же, что и чистые, то есть более или менее короткие: они должны походить на афоризмы. Кое-где, если это почему-либо необходимо, колонн может быть подлиннее и при торжественности.

Торжественные сочетания — это те, которые не занимают мелочным устранением зияний, сочетания вообще дактилические, анапестические и пэонические, местами ямбические или, чаще, спон-

деические: торжественности подходят поэтому сочетания, состоящие из эпитритов. В свою очередь трохеические и ионические сочетания противоречат торжественности.

(231) Относительно торжественной клаузулы приходится сказать то же, что мы говорили о клаузуле чистой речи. Остановку речи следует делать на стопах, соответствующих торжественности, без каталексы, дабы клаузула не сбивалась на трохеи, и ритм не скрадывался, а был бы устойчив. Всего же определеннее окажется он ощутимым в том случае, когда он будет кончаться именем или каким-нибудь склоняемым словом, не менее чем в три слога, и если в клаузуле больше будет долгих слогов так, чтобы в клаузулу входил либо двойной спондей, либо один из эпитритов кроме четвертого. Особенную торжественность придает клаузуле ритм тогда, когда последняя или предпоследняя буква, на которую приходится клаузула, является одною из долгих букв, растягивающих (232) при ее произношении рот, как я сказал немного выше, говоря о торжественных словах.

Из сказанного ясно, каким будет и ритм. Необходимо, однако, иметь в виду, что ритмы теряют свою торжественность, хотя бы речь и состояла сплошь из эпитритов, дактилей и тому подобных размеров, если клаузулы не будут строиться так, чтобы и то, что пойдет за ними, давало стопы, соответствующие торжественности. То же самое утверждаю я относительно и всех остальных качеств речи. Если будет составлена какая-нибудь речь из определенных стоп, образующих определенный вид речи, но если клаузулы не будут заполняться ими же, то есть теми же стопами, а стопы будут разрубаться, тогда ритмы начнут смещаться и принимать видимость подходящих какому-либо виду, а не тому, какому они принадлежат и на котором вся данная речь построена.

Суровость (τραχύτης, asperitas)

Гермоген, Об идеях I, 7.

(236) Словарный состав суровой речи — это словарь переносных выражений, которые сами по себе сухи.

(237) Фигуры суровой речи — это преимущественно такие, которые связаны с повелительным наклопом; затем — обличительные фигуры вопросов. Суровая речь допускает, конечно, через каждые два-три слова едва ли не все фигуры, как допускают их, думается мне, и остальные качества речи; но присущие собственно ей — это указанные фигуры.

Колоны суровой речи — это довольно короткие колонны, или даже не колонны, а скорее коммы.

Суровое сочетание — сочетание, допускающее зияния, складывающееся из чуждых, не подходящих одна к другой стоп, такое, в котором нет и отзвука метра и которое не доставляет само по себе ни приятности, ни даже намека на какую бы то ни было благозвучность, а, являясь вообще скорее лишенным ритма и неблагозвучным, коробит слух. Вызывается это главным образом соответствующей клаузулой, подобно тому как и при других качествах именно определенная пауза в соединении с определенным сочетанием дает, сказали мы, завершение ритму. Пускай же и клаузула при суровости речи падает на стопы беспорядочно, (239) как несоответственным пускай будет и сочетание, и пусть колоны кончатся то на одну стопу, то на другую. Весь ритм становится суровым, расстроенным и даже как бы перестает быть ритмом. Те же приемы образуют и ритм стремительности. Но пора поговорить о стремительности вообще, дабы мы поняли, чем отличается она от суровости. Полной противоположностью и стремительности и суровости является сладость.

Стремительность ($\sigma\psi\omicron\delta\rho\acute{o}\tau\eta\varsigma$, *vehementia*)

Гермоген, Об идеях I, 8.

(241) Словарь стремительной речи тот же, что и словарь суровой. В ней, пожалуй, позволительно создавать и слова суровые, вроде тех, какие создал оратор: «ямбофаг», «крючкотвор» и тому подобное. В речах суровых я слов, созданных в таком типе, не нахожу; и в этом, может быть, также лежит отличие стремительности от суровости.

(242) Отличается стремительная речь от суровой также и фигурами, а не только мыслями и особенностями словаря. Пожалуй, отличается она от нее и своими колонами. Колоны стремительной речи — это и не колоны, а коммы, какие имеются в суровой речи; только в них содержится больше стремительности, поскольку они даже не коммы, а отдельные слова, вроде «негодяй!», «зараза!» и тому подобное, на которые и приходится в большинстве случаев пауза.

(243) Что касается сочетаний, клаузулы и ритма стремительной речи, то особенно распространяться об этом нечего: это ясно и так из сказанного нами раньше в том месте, где мы достаточно подробно говорили о речи суровой. Одно и то же происходит и там и здесь.

Вслед за вопросом о суровости и стремительности идет речь о блистательности, которой некоторым образом противоположна всякая горячо произносимая речь, в особенности же отрывистый, разговорный и вообще боевой тип речи. Но сейчас надлежит говорить о блистательности.

Блистательность (λαμπρότης, splendidum)

Гермоген, Об идеях I, 9.

(243) После речи о торжественности и суровости, а затем и стремительности необходимо говорить о блистательности, так как среди тех качеств, которые придают речи величавость и внушительность, особенно выделяется блистательность. Внушительной речи блистательность необходима как по разным другим причинам, так и потому, что и для торжественной, и для суровой, и для стремительной речи, дабы не вышла такая речь совсем строгой, безусловно требуется в той или иной степени также и яркость, не яркость свежести, вызываемая (244) сладостной простотой, но и не та, которую дает красота искусного сочетания — ничтожные, хотя и частые у оратора, прикрасы, ни возвышенности, ни величия речи не сообщающие — нет: для величия речи как такового нужна не такая, а исполненная внушительности яркость. Эта-то яркость и сообщается речи блистательностью, о которой нам предстоит сказать.

Говоря о стремительности, мы уже указали, что противоположным блистательности видом является отрывистый, разговорный тип речи, боевой по существу и вообще горячий.

(247) Блестящий словарь — это то же, что словарь торжественный.

(248) Колоны, образующие блестящую речь, должны быть довольно длинными.

Блестящие сочетания это торжественные, о которых у нас уже было сказано. Иной раз можно воспользоваться и трохеическими сочетаниями: такие сочетания не вредят торжественности, лишь бы торжественной была клаузула. При наличии длинных колонов такие клаузулы сделают ритм торжественным и блестящим, даже если он складывается из трохеев.

Живость (ἄκμῆ, vigor)

Гермоген, Об идеях I, 10.

(249) Какими сами по себе бывают и торжественность, а затем и суровость, и стремительность, и блистательность, и как придают они речи величие, внушительность и вес, об этом у нас достаточно сказано выше, после речи о ясности. А вслед за рассмотрением суровости, стремительности и блистательности необходимо остановиться на живости: говорить о ней после их рассмотрения необходимо как в силу прочих соображений, так и ввиду того, что благодаря им естественно возникает и живость речи.

(250) Словарь живости — это словарь строгости и стремительности с примесью словаря блистательности.

И фигуры живости те же, что и у блистательности и у стремительности. (252) Все же остальное, то есть колоны, сочетания, клаузулы, ритм у живости те же, что и у блистательности.

Пространность (περιβολή, exaggeratio)

Гермоген, Об идеях I, 11.

(258) Теперь своевременно сказать и о пространности, так как из всех качеств, придающих речам величие, одно оно осталось у нас еще не рассмотренным.

Противоположностью пространности служит чистота.

(258) Решив после вопроса о ясности сказать о величии, весе и внушительности речи, мы указали, что все это достигается торжественностью и суровостью, а кроме того и стремительностью, а также блистательностью и живостью, и в конце концов и пространностью речи. И вот, так как мы уже сказали обо всех остальных качествах, сообщающих величие речи, то необходимо сказать сейчас и о пространности. Что пространности противоположна чистота, об этом уже сказано, когда говорилось о ясности.

(265) Особым, собственным словарем, таким, какие имеются у прочих качеств, пространность, по-моему, не обладает, если только принадлежащими специально ей не сочтет кто-нибудь тех синонимов, которые можно ставить рядом одни с другими. (266) Синонимы могут заключать в себе, пожалуй, некоторый плеоназм, уточнение, амплификацию, ясность или другое нечто подобное; если же и производят они впечатление также и пространности, то во всяком случае не со стороны словаря. Никакие слова не могут быть сами по себе пространны: впечатление пространности речь получает вследствие взаимного сплетения одних слов с другими.

(276) Особых колонов, сочетаний, клаузул, ритмов, принадлежащих пространности, мы назвать не можем. Пространность, так сказать, допускает всякие колоны и всякие ритмы, при всяких качествах речи, всевозможные сочетания и какие угодно клаузулы, допускает все качества кроме, пожалуй, одного: чистоты. При пространности чистота перестает быть самой собой. Вот почему пространность и чистота, если не во всем, то во многом противоположны друг другу.

Горячность (γоруότης, celeritas)

Гермоген, Об идеях II, 1.

(295) Мы уже сказали, каким путем становится речь красивой и как вместе с тем приобретает она и вес, и внушительность, а затем и ясность. Такой речи безусловно необходима еще и горячность,

дабы величавость и красота ее были не только блистающе ясными, но еще и горячими: ведь противоположностью горячности служит слабость и вялость.

Словарный состав при горячности имеет мало значения.

(297) Фигуры горячности — это, с одной стороны, такие, которые по самой своей природе горячи и отрывочны и привлекаются ради горячности; а с другой — такие, которые удаляют из речи появляющуюся в них нередко в силу тех или иных причин вялость. Этот второй вид фигур — как бы лекарство против вялости: его действие подобно действию точности в условиях ясности. Ведь и точность, как мы это в своем месте показали, устраняет сбивчивость, приводя речь к ясности: точно так же и эти фигуры выпрямляют вялую речь, вкладывая в нее горячность. То, о чем я собираюсь сказать, напоминает мои замечания по поводу ясности: подобно тому как там ясную речь создавала чистота, но в тех случаях, когда речь становилась сбивчивой, она нуждалась для исправления в точности, совершенно так же и здесь горячность создается главным образом отрывочным характером речи; если же по той или иной причине речь начинает впадать в вялость, то бывают необходимы вышеуказанные фигуры, естественно поднимающие речь и пробуждающие ее от вялости. Яснее же всего отрывочность и горячность речи выявляются в фигурах и ритмах. Следует знать, что иногда речь отрывочная, будучи таковой, не кажется отрывочной, иногда же речь кажется отрывочной, в действительности не создавая отрывочности, иногда же речь и отрывочна, и отрывочной кажется.

Теперь скажем прежде всего о таких фигурах, которые, являясь отрывочными, выражают безусловно горячность. Это следующие фигуры: отрывочная, бессоюзная речь, перечисления имен, частые перемены конструкции в мелких отрезках, (299) коммы с созвучной концовкой, короткие предложения, быстро одно с другим сплетаемые. Если же таких сплетений будет много, но мысль не будет заканчиваться на каждом отрезке, а будет как бы охвачена одним периодом, то хотя все-таки создается впечатление отрывочности (300) и даже горячности речи, оно будет слабое: получится скорее перегруженность, нежели горячность.

(302) Колоны горячей речи, безусловно, должны быть короткими.

Сочетание же при горячности либо редко допускает зияния, либо совсем избегает их. В истинно горячей речи, конечно, не должно быть зияний, если только ей не нужна суровость. Непременно должны здесь преобладать трохеи и трохеические соединения.

(303) Клаузула горячей речи, естественно, кончается на трохей и нестойкая: не может же, в самом деле, ритм горячей речи быть стойким.

Простота (*ἀφέλεια*, *simplicitas*)

Гермоген. Об идеях II, 3.

(311) Простой словарь в большей своей части тот же, что и словарь чистоты, но есть в нем и кое-что, присущее собственно простоте: (312) например, острословие. В большинстве случаев такие слова создают в условиях простоты впечатление сладости, а сладость — как бы украшение простоты.

Фигуры простой речи и ее колонны те же, что и у речи чистой; равным образом и сочетания те же, что и у чистой речи, причем более отрывистые сочетания проще. Отсюда ясно, каков и ритм простой речи, потому что определенное сочетание дает и определенный ритм.

Клаузула простой речи стойкая, так как хотя такая пауза и торжественна, она все-таки лучше подходит здесь, чем срывная или колеблющаяся: последняя более нарядна; неподвижная клаузула ритма и стойкая концовка проще. Более подробно об этом сказано у нас там, где мы рассуждаем о красоте.

Сладостность (*γλυκύτης*, *suavitas*)

Гермоген. Об идеях II, 4.

(319) Словарный состав сладостности — это, помимо упомянутого нами чистого словаря, словарь, который присущ простоте, а затем еще и словарь поэтический. Главным образом в заботе о сладостности во многих случаях пользовался и Геродот всяким присущим простоте словом. Разлитая в его языке сладостность главным образом зависит еще и от того, что самый диалект, им избранный, является именно поэтическим: ионический диалект приятен, будучи поэтическим по своей природе. А если Геродот пользовался кроме того словами также и других диалектов, то (320) это еще ничего не значит, потому что ведь и Гомер, и Гесиод, и немало других поэтов тоже употребляли слова и других диалектов, в основном, понятно, придерживаясь ионического диалекта. Ионический же диалект, как я сказал, диалект поэтический, а потому и приятный.

(322) Сладостной также является речь, употребляющая эпитеты. Да и в самой поэзии эпитеты по сравнению с иными словами кажутся как-то сладостнее и большую доставляют приятность. И острословие равным образом принадлежит к числу слов, придающих сладостность.

Фигуры сладостной речи одинаковы с теми, какие названы были нами фигурами простоты, равно как и чистоты: ими же служат кроме того фигуры красивой и нарядной речи.

Сладостное сочетание то же, что и красивое, то есть такое, которое делает речь похожей на речь метрическую: ведь и в сочетании

сладостность должна вкладывать некую приятность для чувств. Стопы преобладать в ней должны такие, какие присущи торжественности.

И клаузулы в речи, заключающей в себе приятность, пусть будут торжественными и стойкими, потому что ритм должен быть здесь стойким, как мы и тогда говорили, когда останавливались на вопросе о простоте.

Правдивость (ἀλήθεια, veritas)

Гермоген, Об идеях II, 7.

(344) Всякое суровое слово, стремительное и вновь созданное, может служить для выражения гнева, особенно при нападках, когда уместны бывают и необычные, тут же придуманные слова. При нападках, говорю я, имеют силу суровые, стремительные слова, делающие речь правдивой и как бы воодушевленной. (345) Там, где мы высказываем другое какое-нибудь душевное переживание, применять те же самые средства, конечно, нецелесообразно: так, в тех случаях, когда оратор хочет вызвать сострадание, они будут уже вовсе неподходящими. Тут, то есть в патетических частях речи, при душевных страданиях, более нужны чистота, простота, сладостность, приятность.

(348) Колоны, сочетание, клаузулы и вытекающие отсюда ритмы — все это приблизительно то же, что и при стремительности (349) за исключением случаев, когда жалостливой речью хотят вызвать в ком-нибудь сострадание: в этих случаях все это должно быть более просто, и применяться тогда должны те приемы, которые указаны были нами, когда мы говорили о простоте.

Мощность (δεινότης, vis)

Гермоген, Об идеях II, 9.

(354) Мощь речи есть, по-моему мнению, не что иное, как правильное пользование всеми вышеназванными видами речей и им противоположными, а кроме того еще и всем остальным, что приводит к созданию тела речи. Знать и уметь должным образом вовремя так или этак пользоваться всеми видами речи — или, говоря проще, способность своевременно и как надо пользоваться всем тем, благодаря чему создается тело речи, — это действительно и есть, думается мне, мощь.

(360) Также и словарный состав многих качеств речи согласуется с действительной и видимой мощью: ведь и торжественные, и суровые, и стремительные, и все переносные слова оказываются, правильно применяемые, действительно мощными благодаря своей яркости, когда они обозначают ту или иную вещь ярко, и по той

же причине такими они нам и представляются. А фигуры, сочетание и остальное, что к этому примыкает, составляя принадлежность качеств, обуславливающих величавость речи, не все целиком составляет принадлежность также и мощности, а лишь то, что входит в состав торжественности, живости, блистательности и пространности. Мощности особенно близка фигура сжатости, так как в ней много природной силы и притом эта сила в ней ясно проявляется.

НЕДОСТАТКИ РЕЧИ (κακίαί, vitia)

Сбивчивость (σύγχυσις, confusio)

Гермоген, Об идеях I, 4.

217. Противоположность точности — сбивчивость, возникающая тогда, когда, не привлекая средств, создающих точность, перегружают речь, делая ее пространной: это ошибка. Просто неясность — еще не порок. Такие, например, намеки, как «ради чего-то его поддерживающие», «но об этом я умолчу», или фигуры обличительных вопросов умышленно говорят о вещах неясно, а не станем же мы в самом деле утверждать, что вводить их не следует, и не будем же мы усматривать в них недостаток речи.

Напыщенность (τὸ οἰδοῦν, tumor)

О возвышенном 3.

3. К недостаткам, которых особенно трудно избежать, принадлежит напыщенность. Все те, кто стремятся к величавости стиля, из боязни упрека в вялости и сухости как бы в силу какого-то закона природы приходят к напыщенности. Они считают правильным изречение: «потерпеть неудачу в стремлении к великому — это ошибка благородная».

4. Но опухоли не хороши ни в теле, ни в речи: такая речь надута, неискренна и нередко противоположна тому, к чему мы стремимся; ведь говорят же, что нет ничего более сухого, чем человек, страдающий водянкой.

Ребячливость (μεϊρακίῳδες)

О возвышенном 3, 4.

Если напыщенная речь стремится превзойти возвышенную, то ребячливая совершенно противоположна величавой: она низменна и мелочна и представляет собою поистине самый неблагоприятный из пороков. Но что же такое ребячливость? Не схоластичность ли это

мысли, приводящая в своем педантизме к ходульности? Соскальзывают на этот вид стиля те, кто в стремлении к необычайному и изысканному, а более всего к привлекательности приходят к мишуре и безвкусию.

Ложный пафос (παρένθρον, furor)

О возвышенном 3, 5.

Третий недостаток патетического стиля тот, который Теодор называл ложным пафосом. Это — неуместный и пустой пафос там, где вообще не должно быть пафоса, или неумеренный там, где нужен умеренный.

ВЫБОР СЛОВ (ἐκλογὴ ὀνομάτων, delectus verborum)

Цицерон. Об ораторе III.

37, 149. Словами мы пользуемся или такими, которые употребляются в собственном значении и представляют как бы точные наименования понятий, почти одновременно с самими понятиями возникшие, или такими, которые употребляются в переносном смысле и становятся, так сказать, на чужое место, или наконец такими, которые мы в качестве нововведений создаем сами.

150. В отношении слов, употребляемых в собственном значении, достойная задача оратора заключается в том, чтобы избегать затасканных и приевшихся слов, а пользоваться избранными и яркими, в которых обнаруживаются известная полнота и звучность. Одним словом, в этом разряде слов, употребляемых в собственном значении, должен производиться определенный отбор, и при этом мерилom его должно служить слуховое впечатление; навык хорошо говорить также играет здесь большую роль.

151. Поэтому весьма обычные отзывы об ораторах со стороны людей непосвященных вроде: «у этого хороший подбор слов» или «у такого-то плохой подбор слов», не выводятся на основании каких-либо теоретических соображений, а внушаются известным, как бы врожденным чутьем; при этом невелика еще заслуга избегать промахов (хотя и это большое дело); умение пользоваться словами и большой запас хороших выражений образуют как бы только почву и фундамент красноречия. 152. А то, что на этом основании строит сам оратор и к чему он прилагает свое искусство, это нам и предстоит исследовать и выяснить.

42, 170. Превосходство и совершенство оратора, поскольку оно может проявиться в употреблении отдельных слов, сводится к трем возможностям: или к употреблению старинного слова, такого, однако,

которое приемлемо для живого языка; или созданного вновь либо путем сложения, либо путем словопроизводства; здесь также приходится считаться с требованиями слуха и живой речи; или наконец — к метафоре, которая придает наибольшую яркость и блеск речи, усыпая ее как бы звездами.

О возвышенном.

30, 1. Так как мысль и словесное ее выражение в значительной степени обуславливают друг друга, то рассмотрим, не входит ли еще что-нибудь в состав словесного выражения. Излишне, конечно, распространяться перед людьми сведущими о том, что выбор точных и прекрасных слов оказывает изумительное действие на слушателей, увлекаая и очаровывая их, и что он является главной заботой всех ораторов и писателей; он придает речи, как прекраснейшим статуям, величие и вместе с тем красоту, патину старины, значительность, силу и мощь и прочие качества, какие только возможны. Он как бы вкладывает в предмет некую говорящую душу. Прекрасные слова — это действительно присущий уму свет.

2. Однако величавая речь не всегда пригодна: рядить в большие и торжественные слова мелкие делишки значило бы то же, что надевать большую трагическую маску на малого ребенка. 31, 1. Иногда слова из обиходного языка оказываются выразительнее, чем слова красивые. Они сразу понятны, так как взяты из быта, а всем привычное внушает к себе больше доверия. 2. Такие слова граничат с вульгаризмами, но они не вульгарны благодаря своей выразительности.

43, 1. Незначительные слова чрезвычайно снижают величавость речи.

КРАСОТА СЛОВА (κάλλος ὀνομάτων)

Феофраст (Деметрий, 173).

Феофраст так определил красивые слова: в слове красотой является то, что приятно для слуха или для зрения, или высоко по мысли.

Цицерон. Оратор 49.

163. Слова необходимо выбирать по преимуществу благозвучные, но не изысканные и взятые ради их звуковой стороны, как то делают поэты, а заимствованные из обычной речи.

164. Поэтому будем лучше пользоваться хорошими словами нашего родного языка, чем блестящими греческими.

Благозвучие (εὐφωνία, vocalitas)

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен.

14 (79) Буквы действуют на слух неодинаково. Ламбда ласкает слух: из всех полугласных она самая сладостная; (80) раздражает слух *ро*, из однородных ей букв самая сильная. Среднее действие на слух производят произносимые через нос буквы *ми* и *ни*, звучащие наподобие рога. Некрасива и неприятна *сигма*. Слышимая в большом количестве она страшно мучительна: ее свист ближе звериному, бессловесному голосу, чем говоримой речи. Иные из древних пользовались сигмой редко и с осторожностью, а некоторые даже целые стихотворения давали без сигмы. (82) Из трех же остальных полугласных букв, из тех именно, которые называются двойными, *дзета* ласкает слух больше, чем две другие: *кси* из-за *каппы*, а *пси* из-за *ли* производят свист, так как и *каппа*, и *ли* лишены придыхания, тогда как *дзета* произносится с некоторым придыханием, являясь среди однородных ей букв наиболее сильной.

15 (89) Так как буквы чрезвычайно разнообразны, отличаясь одна от другой не только долготой и краткостью, но и звуками, о чем сказал я немного выше, то и сопоставляемые или сплетаемые из букв слоги должны с неизбежностью сохранять одновременно и свойства каждой буквы в отдельности, и получаемые вследствие слияния или расположения одной буквы рядом с другой свойства общего их объединения. Отсюда возникают нежные и твердые звуки, (90) гладкие и шероховатые, усладительные для слуха и неприятные, резкие и расплывчатые, и бесчисленные иные, вызывающие всякого рода другие физические ощущения.

16 (96) К чему же сводится наше рассуждение? Сводится оно к тому выводу, что различные свойства слогов получаются благодаря сплетению букв, а разнообразие природы слов — благодаря сочетанию слогов, многообразность же речи — благодаря построению слов. Отсюда таким образом необходимо следует, что красива та речь, в которой слова красивы, и что причиной красоты слов являются слоги и буквы: приятным язык становится благодаря приятно действующим на слух словам, слогам и буквам, и те, для каждого единичного случая отличающие их особенности, в которых находят свое отражение и характеры, и чувства, и настроения, и действия лиц, и то, что со всем этим связано, проистекают от основных свойств букв.

Деметрий.

(174) Для слуха приятны столкновения двух *ламбд* или двух *ни*, обладающие некоторой звучностью. (176) У теоретиков музыки одни слова называются гладкими, другие — шероховатыми, иные — складными и еще иные — тяжеловесными. Гладкими являются слова,

состоящие или целиком, или преимущественно из гласных. Шероховатые слова своими звуками подражают тому, что они собою выражают. Складное слово заключает в себе черты того и другого и равномерное смешение разных букв. (177) Тяжеловесность слова заключается в трех свойствах: открытом произношении, долготе и характере отдельных букв. (178) Из названных видов слов надо пользоваться только гладкими как обладающими изяществом.

Приятность слов для зрения

Деметрий, 174.

Для зрения приятны такие слова, как «розоцветный», «цветоносная зелень». На что приятно смотреть, то и высказанное словами красиво.

УКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЫДЕННОГО СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ (ἐξηλλαγμένη λέξις, aliena verba)

Малоупотребительные слова (γλῶσσαι, vocabula)

Цицерон, Об ораторе III, 38, 152.

Малоупотребительные слова — это преимущественно архаические выражения, в силу своей устарелости давно уже вышедшие из обихода разговорной речи; они более допустимы как поэтическая вольность в стихах, чем у нас: однако изредка употребляемое то или иное поэтическое выражение придает также прозе более возвышенный характер.

Деметрий, 112.

Что поэтизмы в речи способствуют ее величавости, ясно, как говорится, и слепому. Но одни писатели подражают поэтам совершенно откровенно, вернее даже не подражают им, а пересаживают в прозу их обороты, другие, если и возьмут что-нибудь у поэта, воспользуются этим по-своему и сделают таким образом заимствованное своей собственностью.

Неологизмы (πεποιμένα, novata)

Риторика к Гереннию IV, 31, 42.

Настойчивое употребление нового слова вызывает неудовольствие. Но если кто станет прибегать к новым словам кстати и изредка, тот повизной не только никого не оскорбит, но даже изукрасит ею свою речь.

Цицерон, Об ораторе III, 38, 154.

Что касается новообразований, то это такие слова, которые рождаются и создаются самим говорящим, иной раз путем соединения двух слов, но часто также создаются новые слова и помимо такого соединения.

Цицерон, Риторические разделы 5, 16.

Неологизмы — это слова, образованные от существующих или по аналогии, или путем подражания, или изменения, или присоединения слов друг к другу.

Цезарь, Об аналогии. (Геллий, Аттические ночи 1, 10).

Храни это в памяти и в сердце: избегай как подводного камня нового и непривычного слова.

Гораций, Поэтика 47—59, 60—62, 68—72

Скажет поэт хорошо, когда знакомому слову
 Новый оттенок придаст сочетаньем искусным. Когда же
 Новых примет выраженье найти неизвестному нужно,
 Слово такое создать, что неслыхано было Цетегам,
 Будет удачей. Но вольность дается с условием меры:
 Созданным вновь и вводимым словам окажут доверье,
 Если на греческий лад умело составлены будут.
 Варию или Вергилию как отказать в этом праве,
 Данном римским народом Цецилию или же Плавту?
 Что же меня упрекать за немногие новшества, если
 Энний уже и Катон создавали слова и богатством
 Новым язык наделили отцов? И было и будет
 Право всегда выраженья вводить современной чеканки.
 Так же, как из году в год меняют леса свои листья:
 Старые падают — так и слова ветшают и гибнут.
 Пусть. Расцветают и крепнут, как дети, на смену другие.
 Вечного нам не создать. Деянья смертных погибнут.
 Речи ж тем боле значенье и прелесть не могут быть вечны.
 Много опавших уже возродится, а тех, что в расцвете,
 Много слов опадет, коль скоро захочет обычай.
 Ибо в решеньях его — и право и правила речи.

Деметрий.

(95) Создание нового слова по образцу привычных кажется чем-то глубокомысленным, потому что творец новых слов представляется подобным тем, кто первые дали предметам их названия. (96) При создании новых слов надо стремиться прежде всего к ясности и к привычному типу, а затем к сходству с существующими уже словами,

чтобы эти новые слова не казались вкрапленными в греческий язык фригийскими или скифскими словами.

Квинтилиан, VIII, 6.

31. Словотворчество, т. е. создание новых слов, очень высоко ценимое греками, у нас едва допускается. Большая часть таких слов установлена теми, кто изначала создавал речь, согласуя звуки с ощущениями. Отсюда произошли такие слова, как мычание, шипение и шепот. 32. Затем, как бы считая все возможности исчерпанными, мы сами уже не решаемся что-либо творить, и наоборот, многое, созданное древними, непрерывно отмирает. Мы едва допускаем лишь то, что называют словообразованием, то есть введение таких слов, которые получают путем каких-либо видоизменений слов, уже вошедших в употребление.

Звукоподражание (ὄνοματοποιία, fictio nominis)

Риторика к Гереннию IV, 31, 42.

Путем подражания предки наши изобрели такие выражения, как «рычать», «мычать», «журчать», «шипеть». Этим видом украшений пользоваться следует редко.

Деметрий.

(94) Звукоподражательные слова определяются как созданные путем подражания какому-нибудь аффекту или действию. (95) Такие слова придают речи величавость благодаря своему сходству с шумами и своей необычностью. В этом случае употребляются не существовавшие еще слова, а только сейчас появляющиеся.

Сложные слова (σύνδετα, composita)

Деметрий.

(91) Надо употреблять и сложные слова, но не такие, которые составлены так, как это делается в дифирамбах, а сходные со сложными словами обиходной речи, которую я вообще ставлю мерилom всякого словообразования. (92) Сложное слово дает одновременно и некоторое разнообразие благодаря своему составному характеру, и величавость, и вместе с тем некоторую краткость, так как вместо целой фразы ставится одно слово. Но иногда, напротив, при разложении сложного слова во фразу получается более величавый оборот. (93) Однако надо остерегаться употреблять слишком много сложных слов: это чуждо прозаической речи.

Словообразование (παρονομασία, derivatio).

Деметрий.

(97) Следует создавать новые слова или для понятий, не имеющих наименований, или самостоятельно образовывать их от уже существующих поэтов. Сложное слово, состоящее из двух, является частным случаем среди новообразованных слов, так как ясно, что все составное создано из чего-то существующего.

ТРОПЫ (τρόποι, tropi)

Риторика к Гереннию IV, 31, 42.

Остаются еще другие словесные украшения, которые не помещены нами среди перечисленных выше, но отделены от них, потому что все они образуют единый, особый род. Характерны для всех них: отказ от обычного значения слов и сопровождаемый некоторой приятностью переход речи к иносказанию.

Цицерон, Об ораторе III, 42.

168. Вы видите таким образом во всем ее объеме эту группу оборотов речи, когда путем видоизменения или замены одного слова другим то же самое понятие выражается красивее, то есть все те случаи, когда сказанное понимается не на основании буквального значения отдельных слов, а по общему смыслу.

169. Часто такое отклонение от точного значения слова не бывает изящно как при метафорах, но если и допускает известную вольность, то все же не выходит за грани допустимого. Впрочем, надеюсь, вы заметили, что те обороты, которые согласно изложенному мною складываются из целого ряда метафор, относятся не к теории употребления отдельных слов, а к связной речи? Что же касается тех оборотов, которые состоят или в замене слов, или в замене их буквального значения иным, то они представляют в известном роде метафоры.

Квинтилиан, VIII, 6, 1.

Троп есть такое изменение собственного значения слова или словесного оборота в другое, при котором получается обогащение значения. Как среди грамматиков, так и среди философов ведется неразрешимый спор о родах, видах, числе тропов и их систематизации.

Риторика к Гереннию IV, 31, 42.

Из этих украшений первым является нахождение имени. Этот прием позволяет нам, если вещь или совсем не имеет названия, или если это название оказывается недостаточно подходящим, приложить

к ней наименование, в порядке ли подражательности, или в целях выразительности.

Метафора (метафорá, translatio)

Феофраст (Цицерон, Письма XVI, 17).

Пусть, как этого хочет Феофраст, метафора будет «скромной».

Риторика к Гереннию IV, 34, 45.

Перенос имеет место тогда, когда на тот или иной предмет переносится название другого предмета, если видимое взаимное сходство предметов делает подобный перенос допустимым. Применяется перенос либо ради того, чтобы предмет предстал перед нашими взорами (ради наглядности), либо в целях краткости речи, либо во избежание непристойности, либо для возвеличения предмета, либо для его умаления, либо для его приукрашения. Перенос обязан, как говорится, быть скромным и переходить с достаточным основанием на сходный предмет, дабы не казалось, будто он без разбора, необдуманно и жадно перебежал на совсем несхожий предмет.

Цицерон, Об ораторе III.

38, 155. Третий способ употребления слов в переносном смысле имеет широкое применение. Его породила необходимость, он возник под давлением бедноты и скудости словаря, а затем уже красота его и прелесть расширили область его применения.

Подобно тому как одежда, сперва изобретенная для защиты от холода, впоследствии стала применяться также и для украшения тела и как знак отличия, так и метафорические выражения, введенные из-за недостатка слов, стали во множестве применяться ради услаждения. Например «роскошный рост травы», «веселые нивы» говорят даже в деревне. Когда то, что едва ли даже может быть выражено подходящим словом в его собственном значении, высказывается с помощью метафоры, то мысль, которую мы хотим передать, выигрывает в яркости от вызываемого перенесенным из другой области словом сходного представления.

156. Таким образом, эти метафоры представляют как бы заимствования, когда то, чего нет в нашем распоряжении, приходится занимать на стороне; несколько более смелы те формы, которые не вызываются недостатком слов, а сообщают речи известный блеск; стоит ли мне излагать вам правила их подбора и описывать их виды?

39, 157. Метафора есть сравнение, сокращенное до одного слова, причем, если в этом слове, занявшем как бы по праву чужое место, сходство улавливается, то оно приятно, если никакого представления

о сходстве не возникает, то язык такую метафору отвергает; следует применять такие метафоры, которые или более образно представляют предмет, 158 или содействуют более точной характеристике всего дела, будет ли то какой-нибудь поступок или намерение. Иногда также метафорой достигается краткость выражения, как например: «если копье выскользнуло из руки». То, что копье было брошено нечаянно, не могло бы быть высказано с такой сжатостью буквальными выражениями, как это передано одним словом, употребленным метафорически. 159. В отношении к метафорам меня очень часто удивляет, почему всем больше нравятся слова в переносном значении и заимствованные из другой области, чем слова, взятые в собственном, им присущем значении. 40. Ибо, если предмет не имеет своего наименования и точного обозначения, то естественно, что необходимость вынуждает недостающее слово брать из другой области; но и при наличии большого запаса точно соответствующих слов все же заимствования из других областей, если только они удачны, нравятся людям гораздо больше. 160. Это, думаю, происходит либо потому, что характерной чертой человеческого ума является склонность перескакивать через то, что расположено у самых ног, и хвататься за иное, далекое; либо потому, что слушатель мысленно уносится при этом в другую область, не теряя однако основного пути, что служит источником величайшего удовольствия; либо потому, что в каждом подобном случае одним словом сразу очерчивается и данный предмет, и связанный с ним сходством целостный круг представлений; либо потому, что всякая метафора, по крайней мере примененная правильно, обращается непосредственно к внешним чувствам, а в особенности к зрению, чувству наиболее обостренному. 161. Так, и «городской дух», и «мягкость образованной среды», и «рopot моря», и «сладость речи» — образы, заимствованные из области остальных чувств; но зрительные образы гораздо ярче, они почти что развертывают перед умственным взором вещи, недоступные физическому, зрительному восприятию. Ведь в окружающей природе нет такого предмета, обозначением и именем которого мы не могли бы воспользоваться для какого-либо понятия из другой области. В самом деле, там, где может быть подмечено сходство, — а подмечено оно может быть везде, — там одним только словом, употребленным метафорически, вносится в речь яркий образ, если это слово действительно содержит сходство. 162. Тут прежде всего следует избегать несходных образов. 41, 163. Затем следует позаботиться о том, чтобы сравнение не было слишком далеким. Мысленный взор скорее обращается к зрительным образам, чем к слуховым. Далее, поскольку высшее достоинство метафор заключается в том, чтобы взятое в переносном значении слово поражало чувство, необходимо избегать всего безобразного среди того, к чему сопоставление привлекает внимание слушателей.

164. Я считаю недопустимым, чтобы метафорическое выражение было более узко в своем значении, чем могло бы быть собственное и точное выражение. 165. Кроме того, если есть опасение, что метафора покажется слишком смелой, ее следует смягчить; часто это делается при помощи вставки перед нею слов «если можно так выразиться». И действительно, метафора не должна быть навязчивой, чтобы получалось впечатление, что она переселена на чужое место, а не самовольно завладела им, и что она заняла его условно, а не вторглась насильственным путем.

166. Поскольку речь идет об употреблении отдельных слов, нет тропа более блистательного, сообщающего речи большее количество ярких образов, чем метафора.

Цицерон, Оратор 27.

92. Метафорическими, как я говорил это уже неоднократно, я называю такие слова, которые ввиду сходства переносятся с одного предмета на другой или ради живости речи, или ввиду отсутствия в языке соответствующего понятию слова, а метонимическими выражениями такие, в которых вместо точно соответствующего предмету слова подставляется иное с тем же значением, заимствованное от предмета, находящегося с данным в теснейшей связи. 94. Аристотель же под метафору подводит и эти выражения, и фигуру злоупотребления, которую он называет «катахрезой», когда мы неправильно употребляем близкое по значению слово, если в этом встречается надобность, либо ради приятности, либо ради красоты.

О возвышенном 32.

1. Относительно числа метафор Цицилий присоединился к мнению тех, которые устанавливают в качестве закона, что можно применить зараз только две или, самое большее, три метафоры. Пределы пользования метафорами должны определяться подходящим моментом, а таким подходящим моментом будет тот, когда чувство несется бурным потоком и влечет за собой их множество как нечто необходимое. 3. Аристотель и Феофраст говорят, что смягчением смелости метафор служат такие слова, как «как будто бы» или «как бы», или «если можно так выразиться», или «если употребить несколько смелое выражение», так как, говорят они, некоторое осуждение собственного выражения уменьшает его смелость. 4. Я согласен с этим, но все же, по моему мнению, оправданием большого числа и смелости метафор является уместная страстность речи и благородная возвышенность ее. Растущему приливу бурного чувства естественно все увлекать и нести с собою. Оно требует рискованных оборотов речи как вещи необходимой и не позволяет слушателю остановиться над вопросом, почему метафор так много, так как он сам вне себя вместе с говорящим. В трактовке общих мест и в описаниях нет

ничего столь выразительного, как частые, один за другим идущие тропы.

Квинтилиан, VIII, 6.

4. Начнем с наиболее употребительного и вместе с тем бесспорно самого красивого из тропов: я имею в виду переносное значение, называемое по-гречески метафорой. Метафора дарована нам самой природой, так что ею нередко пользуются, сами того не замечая, и неученые люди. С другой стороны, она так приятна и красива, что и в самой блестящей речи сияет собственным светом. 5. Этот троп по справедливости нельзя признать ни вульгарным, ни низменным, ни неприятным. Вместе с тем метафора обогащает речь, привнося в нее нечто новое, до того в ней не содержавшееся, и — чего бывает так трудно достигнуть — она содействует тому, чтобы ни один предмет не оставался без обозначения. Имя или глагол оттуда, где он был употреблен в своем прямом значении, переносится туда, где или отсутствует подлинное наименование, или переносное значение оказывается лучше прямого. 6. Это делается или по необходимости, или для большей значимости, или же ради приличия. Если же ни тому, ни другому, ни третьему метафора не содействует, то употреблять ее не следует. 8. В общем метафора есть укороченное сравнение. Различие только в том, что в одном случае с предметом, который мы хотим описать, нечто сравнивается, метафора же заменяет название самого предмета. Когда мы говорим о человеке, что он сделал что-нибудь как лев, то это — сравнение, когда же мы о нем говорим: «он — лев», то это — метафора. Ее возможности сводятся, по-видимому, к четырем случаям: либо одушевленный предмет заменяется другим одушевленным же, 10. либо неодушевленные предметы заменяются одни другими, либо неодушевленные предметы — одушевленными, или же наоборот. 11. Особенную возвышенность придают речи метафоры, употребленные в смелом и почти рискованном значении, когда мы приписываем способность действовать и влагаем душу в предметы, лишённые способности чувствовать. 13. Метафоры распадаются на несколько видов: например, перенос значения с предметов, одаренных разумом, на одаренные же разумом или с лишённых разума на лишённые же его, или взаимно с одних на другие по тому же принципу, или перенос значения от целого к части и от части к целому. 14. Насколько, однако, употребление метафоры к стати и с соблюдением меры придает блеск речи, настолько злоупотребление ею затемняет речь и надоедает. 17. Крайне ошибочно думать, будто все, дозволенное поэтам, которые сообразуются только с доставляемым ими наслаждением и часто самим размером стиха бывают вынуждены менять выражения, подходит и прозе. 18. Ведь метафора должна либо занимать свободное место, либо, становясь на чужое, быть значительнее того, что она вытесняет.

Деметрий.

(78) Метафоры вносят в речь и приятность, и величавость, но пользоваться ими надо не слишком часто (иначе написанное нами будет дифирамбом, а не прозой), и притом метафорами, заимствованными не слишком издалека, а из области близкой и сходной. (79) Впрочем, не все сходные между собою понятия могут взаимно заменять друг друга. (80) Если метафора кажется рискованной, надо превратить ее в сравнение. Это будет безопаснее. Сравнение — это расширенная метафора. Если прибавить слово «как», получается сравнение, и оборот становится менее смелым; без этого слова он будет метафорой и более рискованным. (81) Аристотель считает самой лучшей метафорой так называемую метафору действия, т. е. когда неодушевленные предметы представляются действующими как одушевленные. (82) Некоторые вещи при помощи метафоры находят себе более ясное и точное выражение, чем то, какое они получают даже в точных определениях. Если переделать такие обороты в прямое значение, они не станут от этого ни правильнее, ни яснее. (83) Надо, однако, иметь в виду, что некоторые метафоры делают речь скорее тривиальной, чем величавой, хотя бы метафора и была употреблена ради пышности. (84) Одним из средств избежать этого будет давать метафору от большего к меньшему, а не наоборот. (85) Некоторые избегают рискованности метафоры тем, что прибавляют к ней эпитеты, если она кажется им слишком смелой, как например Феогнид, говоря о стреляющем из лука, называет лук «бесструнная лира». Выражение «лира» смело в применении к луку, благодаря же слову «бесструнная» оно становится менее рискованным. (86) Обиходная речь является лучшей наставницей как во всем остальном, так в особенности в употреблении метафор. Она почти все употребляет в переносном значении, но мы не замечаем этого — с такой уверенностью это делается. Ее метафоры так искусны, что кажутся буквальными выражениями. (87) Я устанавливаю такое мерило для метафор: природа или искусство, опирающееся на обиходную речь. Обиходная речь создала такие хорошие метафоры для некоторых понятий, что мы уже не нуждаемся для них в точных выражениях: такая метафора утвердилась в языке, заняв место буквального обозначения. (89) Когда мы из метафоры делаем сравнение, как было сказано выше, мы должны стремиться к краткости и не добавлять ничего кроме слова «как», иначе вместо сравнения получится поэтическая парабола. (90) Такие параболы надо вводить в прозаическую речь не слишком часто и с большой осторожностью. Относительно метафоры главное этим сказано.

Загадка (*aivtyma*, *aenigma*)*Цицерон, Об ораторе III.*

41, 166. Из метафоры развивается тот прием, который не ограничивается уже одним употребленным в переносном значении словом, но складывается из многих связанных в предложение слов, так что говорится одно, а подразумевать следует иное. 42, 167. Это также важное украшение речи. В нем надо избегать темноты смысла. Сюда принадлежит то, что мы называем загадками.

Синекдоха (*συνεκδοχή*, *intellectio*)*Риторика к Гереннию IV, 33, 44.*

Распознавание — случай, когда целая вещь узнается по малой части или когда по целому узнается часть.

Цицерон, Об ораторе III, 42, 168.

(Иногда) мы либо под частью подразумеваем целое, например, вместо здания говорим «стены» или «кров»; либо под наименованием целого разумеем лишь часть его, когда, например, один конный отряд именуем «конницей римского народа»; сюда же примыкают менее красивые, но все же не заслуживающие полного забвения обороты, когда либо вместо множественного числа мы употребляем единственное, либо, напротив, множественным числом обозначаем один предмет.

О возвышенном.

23, 2. Я утверждаю, что изменение в числе украшает не только те фразы, в которых единственное число, будучи формально правильным, оказывается при ближайшем рассмотрении по смыслу множественным. Особого внимания заслуживают те случаи, когда множественное число оказывается торжественнее и поражает мысль выражаемым им количеством. 4. Если наставить целую массу имен во множественном числе, то рассказ сам собой зазвучит несколько широковещательно. Поэтому приемом этим следует пользоваться только в том случае, когда сам предмет допускает амплификацию, многословие, преувеличение, пафос — что-либо одно из этого или все вместе. Сплошь изукрашенная речь слишком искусственна. 24, 1. И наоборот, сведение множества к единству тоже иногда способствует величю. Обратить множественное число в единственное, т. е. сделать раздробленное единым, это значит конкретизировать самое число. 2. Причиной того, что оба случая содействуют украшению речи, я считаю одно и то же: когда имена стоят в единственном числе, то превращение их во множественное число дает впечатление неожидан-

ной страстности, когда же имена стоят во множественном числе, то объединение многого в едином, выраженном каким-нибудь благозвучным словом, действует неожиданностью обратного превращения.

Квинтилиан, VIII, 6.

19. Сказанное (о метафоре) едва ли не в большей мере относится к синекдохе. Ведь метафора изобретена главным образом для того, чтобы производить большее впечатление, что-либо подчеркивать, делать более наглядным. Синекдоха способна разнообразить речь, так что на основании чего-либо одного мы уразумеваем многое: по части — целое, по виду — род, из предыдущего — последующее. И наоборот. Поэты могут пользоваться этим приемом свободнее, чем ораторы. 20. Правда, прозаическая речь допускает замену меча лезвием, дома — крышей, но никак нельзя поставить корму вместо корабля и ель вместо досок; и далее, замена меча железом в прозе возможна, а замена коня четвероногим нет. Большую роль в речи играет и свободное обращение с единственным и множественным числом. 21. Этот способ выражения служит к украшению не только ораторской речи, но употребителен и в обыденном разговоре. Некоторые называют синекдохой и тот случай, когда из контекста речи мы улавливаем то, о чем умалчивается.

Метонимия (μετωνυμία, denominatio, nominis pro nomine positio)

Риторика к Гереннию, IV, 32, 43.

Переименование заимствует у родственных и близких предметов названия, под которыми могут подразумеваться вещи, не называемые их настоящими именами. Названия эти или образуются от имени их изобретателя, или заимствуются от изобретенной вещи, или с орудия переносятся на господина, или с того, что делается, на то, что делает, или с того, что содержится, на содержащее, или с содержащего на содержимое. При обучении всем этим переименованиям труднее бывает установить их классификацию, нежели в поисках за ними открыть их, потому что переименования подобного рода вполне привычны языку не только поэтов и ораторов, но и повседневной речи.

Квинтилиан, VIII, 6.

23. Метонимия состоит в замене одного названия предмета другим. Сущность ее заключается в замене того, о чем говорится, причиной этого последнего. По словам же Цицерона, риторы называют этот троп гипаллагой. Она обозначает изобретенные предметы именем изобретателя и вещи, принадлежащие кому-либо — именем их собственника. 24. Важно однако установить, в какой мере оратор может пользоваться этим тропом. Так, мы постоянно слышим, как

говорят «Вулкан» вместо огня, а в более изысканной речи: «сражались при изменчивом Марсе», или ради приличия «Венера» вместо полового акта; но сказать вместо вина и хлеба «Либер и Церера» — оборот слишком вольный, недопустимый для строгого форума. 25. Скорее можно назвать владельца вместо того, чем он владеет, и сказать: «пожирают человека», вместо «проедается его имущество». Таким образом получается бесчисленное множество видов метонимии. 27. И у поэтов и у ораторов очень часто встречается тот вид ее, когда вместо причины называется следствие. 28. У метонимии есть некоторое сходство с синекдохой.

Антономасия (ἀντονομασία, прономинаtio)

Риторика к Гереннию, IV, 31, 42.

Замена собственного имени другим обозначает как бы извне заимствованным прозвищем то, что не может быть названо собственным именем. Таким путем мы получаем возможность, и хваля, и порицая, на основании телесных и душевных качеств, а также внешних поводов как бы создавать не лишние изящества прозвища, заменяя ими точные названия.

Квинтилиан, VIII, 6.

29. Антономасия, которая вместо имени ставит нечто другое, очень часто употребляется поэтами, притом двойным образом: и в виде эпитета, который после устранения определяемого слова получает значение имени, и в той своей форме, когда имя заменяется главными качествами своего носителя. 30. Ораторы, хотя и редко, все же пользуются антономасией. Они не скажут «Тидид» или «Пелид», но «нечестивый» и «отцеубийца» они говорят и без колебания употребляют выражения «разрушитель Карфагена и Нумантии» вместо «Сципион» и «глава римского красноречия» вместо «Цицерон».

Катахреса (κατάχρησις, abusio)

Риторика к Гереннию, IV, 33, 45.

Злоупотребление состоит в том, что неточно пользуются похожим и родственным словом вместо определенного и точного.

Квинтилиан, VIII, 6.

34. Тем нужнее нам катахреса, которая правильно переводится как злоупотребление. Она приурочивает названия безымянным предметам, заимствуя их из близкой им области. 35. Подобных примеров тысячи. Весь этот род тропов должно отличать от метафоры, так

как катахреса применима там, где названия вовсе не было, а метафора — где одно название заменяется другим. Поэты часто пользуются катахрестически близкими названиями для обозначения и тех предметов, у которых есть свои собственные. В прозе это бывает редко. 36. Некоторые считают катахресой и такие случаи, когда говорят «храбрость» вместо «безрассудство», или вместо «расточительность» «щедрость». Я однако с этим не согласен, так как в этих случаях не слова заменяются одно другим, а понятия. Ведь никто не думает, что расточительность и щедрость означают одно и то же, но бывает так, что один называет расточительностью то, что другой называет щедростью, хотя ни тот, ни другой не сомневаются, что это две разные вещи.

Металепсис (μετάληψις, transumptio)

Квинтилиан, VIII, 6.

37. Из тропов, применяющих иносказание, остается еще металепсис, т. е. замена, представляющий как бы переход от одного тропа к другому. Встречается он крайне редко и в высшей степени не свойственен нам; у греков, однако, применяется довольно часто. 38. Сущность металепсиса состоит в том, что между переносимыми понятиями должна существовать некая средняя ступень, сама по себе ничего не значащая, но подготовляющая переход; мы скорее искусственно стремимся к тому, чтобы этот троп казался имеющимся в нашем языке, чем ощущаем в нем действительную потребность.

Эпитет (ἐπίθετον, appositum)

Квинтилиан, VIII, 6.

39. Прочие тропы касаются уже не значения слов и употребляются не для обогащения речи, а для ее украшения. 40. Так, украшает речь эпитет. Им поэты пользуются чаще и свободнее. Они удовлетворяются тем, чтобы эпитет подходил к слову, к которому он прилагается, и мы не порицаем у них ни «белых зубов», ни «влажных вин». У ораторов же, если эпитет ничего не прибавляет к смыслу, оказывается излишним. А прибавляет что-либо к смыслу такой эпитет, без которого оборот оказывается слабее. 41. Главным украшением эпитета служит переносное значение: «необузданная страсть», «безумные замыслы». Путем прибавления этих новых качеств эпитет становится тропом, как, например, у Вергилия: «безобразная бедность» и «печальная старость». При этом свойство эпитетов таково, что без них речь становится голой и некрасивой, при избытке же их она ими загромождается, становится длинной и запутанной. 42. Можно сказать, что она делается похожа на войско, в котором столько

же маркитантов, сколько солдат: численность двойная, а сил не вдвое больше. Впрочем, часто к одному слову дается даже не один эпитет, а несколько. (43) Некоторые же совсем не считают эпитет тропом, так как он ни в чем не изменяет значения слова. Эпитет несомненно является тропом в тех случаях, когда, будучи отделен от имени собственного, он приобретает самостоятельное значение и образует антономасию. Ибо, если сказать: «тот, кто разрушил Нумантию и Карфаген», то это — антономасия, а если добавить: «Сципион», то — эпитет. (44) Соединять, следовательно, эти два тропа в один нельзя.

Перифраза (περίφρασις, circumlocutio)

Цецилий (Квинтилиан, IX, 3, 97).

Цецилий причисляет перифразу к фигурам.

Риторика к Гереннию, IV, 32, 43.

Описательность есть способ изложения, описывающий простую вещь посредством привлечения сложных оборотов.

О возвышенном.

28, 1. Никто, думаю, не станет сомневаться, что перифраза содействует возвышенности речи. Подобно тому, как в музыке основной тон звучит приятнее благодаря так называемым созвучным, так и перифраза часто вторит главным словам и весьма содействует общей красоте, особенно же если в ней нет надутости и чего-нибудь режущего слух, а приятная сдержанность. 29, 1. Но перифраза — вещь опасная более чем что-либо другое, если она применяется некстати. В этом случае она звучит вяло, будучи порождением пусторечия и напыщенности.

Квинтилиан, VIII, 6.

59. Когда то, что может быть выражено одним или во всяком случае немногими словами, выражается многими, это называют перифразой, чем-то вроде «словесного обхода», иногда необходимого, именно в тех случаях, когда им прикрывают то, что, будучи высказано прямо, звучало бы некрасиво. Иногда же перифразы служат только целям красоты, что мы очень часто встречаем у поэтов. 61. Нередко они встречаются и у ораторов, но всегда в более сжатом виде. Все, что может быть выражено более кратко, а ради украшения излагается более пространно, есть перифраза. Впрочем, этот оборот называется перифразой лишь когда он служит к украшению, когда же он становится недостатком, он называется периссологией, «излишним многословием». Ведь все, что не служит на пользу, мешает.

Гипербат (ὕπερβατόν, transgressio)

Цецилий (Квинтилиан, IX, 3, 91)

Соединенное с изяществом нарушение обычного порядка слов, т. е. гипербат, признаваемый Цецилием за фигуру, нами отнесен к тропам.

Риторика к Гереннию, IV, 32, 44.

Перемещение — прием, нарушающий привычную расстановку слов путем их передвижки или перестановки. Подобного рода перестановка, если она не затемняет мысли, очень пригодится периодам: в периодах следует расставлять слова как бы в соответствии с неким поэтическим ритмом, дабы они могли быть доведены до конца с наибольшим совершенством отделки.

О возвышенном 22, 1.

К этому же разряду следует отнести и перестановку слов. Это такое построение фразы или мысли, при котором нарушена последовательность расположения их; оно является как бы самым верным признаком взволнованного чувства. Ведь люди, в самом деле гневающиеся на кого-нибудь, испуганные, раздраженные, движимые ревностью или каким-нибудь другим чувством — а чувств этих бесчисленное количество, и никто даже не может сказать, сколько их, — всякий раз сбиваются: начав с одного, они часто перескакивают на другое, делают посредине какие-то ненужные вставки, опять возвращаются к началу и мечутся под влиянием своей тревоги туда и сюда, точно под влиянием меняющего направление ветра, и, кидаясь от одних слов и мыслей к другим, всячески, на тысячу ладов, меняют естественный порядок речи. Поэтому перестановка слов и является у лучших писателей средством верно изобразить это свойственное человеку состояние. Действительно, искусство тогда бывает совершенным, когда оно кажется природой; природа же в свою очередь тогда достигает своей цели, когда в нее незаметным образом проникает искусство.

Квинтилиан, VIII, 6.

62. К числу достоинств речи мы вполне основательно относим и гипербат, т. е. изменение естественного порядка слов, так как применение его часто требуется исканием симметрии и красоты.

66. Позволительно, быть может, назвать гипербат тропом на том основании, что для него нужны как бы два понимания.

67. Вообще же такой оборот, где значение слов остается неизменным, меняется же только структура речи, может быть скорее назван словесной фигурой, как это и полагали многие.

Гипербола (ὑπερβολή)

Деметрий.

124. Самая ходульная из фигур — гипербола. Она бывает трех видов: она основывается или на сходстве, или на превосходстве, или на невозможности. 125. Всякая гипербола выражает невозможность, но третий ее вид по преимуществу называется «невозможным». Поэтому-то всякая гипербола и производит впечатление такой ходульности, что она близка к невозможному. 126. По этой же причине ею особенно охотно пользуются комические поэты: невозможное является для них источником смешного.

СОЧЕТАНИЕ СЛОВ (σύνθεσις ὀνομάτων, compositio)

Феофраст (Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен, 16, 101).

О сочетании слов сказал кое-что в общей форме и философ Феофраст в своем сочинении «О стиле», в том месте, где он дает определение, какие слова красивы по самой своей природе. Он считает, что при сочетании их и слог будет величавым, с другой стороны, есть другие слова, ничтожные и низменные; из них, как он говорит, не получится ни хорошего поэтического произведения, ни прозы.

Филодем, О поэзии, V, XX, 26—XXI, 11.

Нелепо вводить понятие благозвучия, появляющегося в словосочетании, и приписывать суждение о нем слуховым навыкам. Но еще более нелепо, когда он (Аристон Хиосский) суждение о самом словосочетании, достоинства и недостатки которого познаются рассудком, предоставляет неразумному слуху, не интересующемуся достоинствами и недостатками, и утверждает, что рассудком нельзя познать того, как можно выразить все особенности речи. Если и мы иногда ссылаемся на тех, кто опытен в вопросах поэзии, то мы все же не оставляем без внимания заключающихся в ней мыслей и не называем лирических стихотворений картинками, как делает это он, когда он процесс словосочетания приравнивает естественным навыкам слуха и зрения, тогда как этот процесс представляет собою нечто, совершенно от них отличное.

Риторика к Гереннию, IV, 12, 18.

Плавность есть способ сочетания слов, сообщающий всем частям речи одинаковую отделанность. Плавность будет соблюдена, если избегать частого столкновения гласных (такие столкновения делают речь неуклюжей и зияющей) и слишком частого повторения одной и

той же буквы; если, далее, не допускать чрезмерно частого повторения одного и того же слова и не пользоваться постоянно словами с одинаковыми грамматическими окончаниями; если избегать необычной расстановки слов, кроме случаев, когда подобная расстановка тонко рассчитана. Точно так же следует избегать длинных периодов, плохо действующих и на слух слушателя, и на дыхание оратора.

Цицерон, Об ораторе III, 42, 171.

Вопрос о сочетании слов требует рассмотрения главным образом двух вещей; во-первых, правильного расположения слов, затем известного ритма и законченности формы.

Цицерон, Оратор.

44, 149. Размещаться слова будут или так, чтобы наиболее складно сочетались окончания одних с началом следующих и притом так, чтобы это сопровождалось возможно большим благозвучием; или так, чтобы самая внешняя форма слов и симметрическое расположение их создавали своеобразную закругленность; или, наконец, так, чтобы весь период заканчивался ритмично и складно. Рассмотрим, в чем же существо этого первого приема; он, пожалуй, требует наибольшей тщательности; ибо здесь представляется как бы некое сложное построение, которое, однако, не должно осуществляться с усилием. 150. Нежелательно, чтобы этот столь мелочный характер сооружения выступал наружу: впрочем, искушенная опытом рука легко вырабатывает себе правила словосочетания. 48, 159. Речь должна считаться с тем, что приятно для слуха. 161. Если чуждая какой-нибудь теории повседневная речь столько сделала для услаждения слуха, то чего же мы вправе требовать от искусства и теории красноречия? 49, 162. Суждение относительно содержания речи и слов принадлежит уму, относительно же звуковой стороны и ритма судьей является слух. Первыми двумя сторонами речь обращается к сознанию, вторыми вызывает эстетическое наслаждение; поэтому там правила создает ум, здесь — чувство. 163. Итак, есть две вещи, ласкающие слух: звуки и ритм. О ритме речь будет дальше, сейчас наше исследование касается звука.

Гораций, Поэтика 240—243.

Я сочинял бы на тему знакомую, мог чтобы всякий
Взяться за то же, но много потел бы и тщетно старался б,
Взявшись за то же: так много значенья в порядке и связи;
Столько достоинств от них любое заданье получит.

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен.

2 (7) Сочетание, как показывает и само название, есть некое одних по отношению к другим размещение тех частей (8) речи,

которые иные называют элементами речи. Их сплетение и их размещение создают так называемые колоны, которых строй образует то, что обозначается словом период, а периоды дают завершение всей речи целиком. И вот, естественно расположить слова, придать колонам соответствующее построение и удачно разбить речь на периоды и является делом сочетания. И хотя в стилистике сочетание слов и занимает второе по порядку место — ведь ему предшествует учение о выборе слов, внимание к которому, естественно, привлекается раньше, — им гораздо сильнее, чем выбором обуславливается и приятность, и убедительность, и мощь речи. И пусть не кажется странным, что несмотря на многочисленность и важность (10) правил, касающихся выбора, о которых высказано было так много и философами, и политиками, сочетание, занимающее второе место и бывшее предметом куда менее оживленного обсуждения, обладает мощной способностью всю работу выбора подчинить себе и над нею господствовать: вспомним, что и в других искусствах (в плотничьем, например, в слесарном, в вышивании и тому подобном — то есть во всех тех искусствах, которые, пользуясь разнообразными собранными материалами, строят из них свои достижения) возможности сочетаний стоят на втором по порядку месте, а по силе — на первом. И если совершенно так же обстоит дело с речью, то и этому, стало быть, нечего удивляться. Но ничто не мешает также представить тому и доказательства, дабы не подумали, что мы принимаем как нечто уже готовое рассуждение, представляющееся еще спорным.

3 (11) Всякая речь, которой мы выражаем мысли, бывает либо стихотворной, либо прозаической; и как та, так и другая красивыми делает и стихи и прозу тогда, когда получается красивая стройность: слово, брошенное неумело, как попало, губит вместе с собой и полезную мысль. И вот многие и поэты и прозаики, как философы, так и ораторы, заботливо подбирая очень красивые выражения, но необдуманно и безвкусно их соединяя, ничего хорошего от такого труда своего не получают; и, наоборот, другие, пользующиеся презренными, простыми словами, но придающие им приятные и искусные сочетания, облачают речь величайшей прелестью. Соотношение сочетания и выбора можно, пожалуй, сравнить с соотношением слова и мысли: как бесполезна хорошая мысль, если она лишена красоты надлежащего словесного обозначения, так точно и здесь нет выгоды в изыскании чистого, благозвучного выражения, если последнее не вправлено в соответствующее ему красивое построение.

6 (39) Мне кажется, наука о сочетании преследует три задачи. Первая: установить, что в соединении с чем получает по самой своей природе красивое и приятное сочетание. Вторая: знать, каким способом в целях создания наибольшего впечатления стройности следует расположить то, чему предстоит быть одно к другому прилаженным. Третья: знать, не нуждается ли используемый материал в той или

иной переделке, в урезке, добавке или изменении, и уметь его соответствующим образом для предстоящего употребления обработать.

(40) Я утверждаю, что желающие хорошо сочетать части речи должны прежде всего обращать внимание на то, какое имя, или какой глагол, или какая иная часть речи, (41) поставленная рядом с какой другой, окажется стоящей удобно, где хорошо и где лучше. Ибо не все и не в любых сочетаниях производят они на слух одинаковое впечатление. Затем надлежит решать, какую придать форму имени, глаголу или другой части речи так, чтобы слово село возможно приятнее и смыслу речи отвечало бы возможно ближе, то есть по отношению к именам — решать, взятые ли в единственном или во множественном числе дадут они лучшее сочетание, стоя ли в именительном падеже или же в одном из косвенных, и смотря по тому, могут ли они менять мужской род на женский и женский на мужской или тот и другой на средний, какую лучше придать им форму, и так далее: по отношению же к глаголам — решать, в каком залоге лучше их брать, в действительном или страдательном, и взятые в каких наклонениях или в каких, как иные их называют, глагольных падежах, окажутся они более всего на месте, какие различия обнаруживают они во временах, и все остальное, что связано с глаголами. (42) И, чтобы не говорить о каждом случае в отдельности, скажу, что так же следует поступать и по отношению к остальным частям речи. Далее же решать, не нуждаются ли имя или глагол в какой-нибудь переделке, чтобы слово вышло стройное и пришлось лучше к месту. Этот прием находит себе более широкое применение в поэзии и более ограниченное — в прозаической речи.

7 (43) Одним из учений, входящих в состав науки о сочетаниях, является учение о частях и элементах речи, другим же, как я с самого начала сказал, — учение о так называемых колонах, требующее и более сложного, и более подробного изложения, учение, о котором, (44) насколько я понимаю его, я попытаюсь сказать сейчас. И колоны необходимо связывать одни с другими так, чтобы они представлялись родственными и отвечали друг другу, и придавать им по возможности наилучшую форму, предварительно обрабатывать их, где надо, путем сокращения или расширения, или других допустимых изменений: каждому из них научит сам опыт. Ведь часто один колон, предпосланный другому или, напротив, будучи поставлен вслед за ним, создает величавую благозвучность, а в ином сочетании оказывается неприятным и лишается величавости.

8 (45) Таково учение о соединении. В чем же состоит учение об их форме? Не существует (46) единого способа выражения различных мыслей, но высказываем мы их то утверждая, то спрашивая, то прося, то приказывая, то недоумевая, то предполагая, то придавая мысли еще какую-нибудь другую форму, и стремимся в согласии с этим придать соответствующую форму и речи. Форм речи, как и форм

мысли, существует много, и перечислить их невозможно: пожалуй, их число даже бесконечно. Это — обширный предмет, и ученье о нем глубоко. Понятно, неодинаковое значение будет иметь тот же самый колон, получив в одном случае одну, а в другом другую форму. 9 (47) Что иные колонны допускают по отношению к себе переделки — то получая добавления, для смысла не необходимые, то подвергаясь таким урезкам, не лишаящим мысли законченности, которые и поэтами, и прозаиками предпринимаются исключительно ради стройности, в целях приятности и красоты, — об этом, полагаю я, особенно распространяться нечего. (51) То же самое следует сказать и относительно так называемых периодов. Ибо, когда приходится давать речь периодическую, то и тут бывает необходимо предшествующие периоды согласовывать с последующими: периодизация речи пригодна, конечно, не всюду, и вопрос о том, когда и в какой мере следует пользоваться периодом и когда именно его применять не надо, составляет также вопрос науки о сочетаниях. 10 (52) Теперь, после того как я дал эти определения, было бы уместно сказать о целях, какие должен преследовать человек, желающий дать хорошее сочетание в своей речи, и о том, на основании каких правил он сможет достигнуть желаемого. И мне думается, что есть два основных начала, к которым надлежит стремиться составителям и стихов и прозы: это — приятность и красота. В самом деле, к тому и другому влечется слух, с которым происходит приблизительно то же, что и со зрением: ведь и зрение, взирающее на произведения скульптуры, живописи, резьбы и на прочие создания рук человеческих, испытывает чувство удовлетворения и больше уже ничего не ищет, если находит в этих произведениях приятность и красоту. Да не будет сочтено странным, что я указываю две цели, отделяя красоту от приятности, и да не усмотрят нелепости в том, что, по моему мнению, может иное выражение составлено быть приятно, но не красиво, и другое красиво, но не приятно: к такому заключению ведет нас действительность, и ничего необыкновенного в утверждении моем нет.

11 (53) Приятной становится речь и красивой благодаря следующим четырем решающим и важнейшим вещам: мелодии, ритму, разнообразию и соответственности, сопутствующей и мелодии, и ритму, и разнообразию. Под приятностью я понимаю свежесть, привлекательность, благозвучность, сладость, убедительность и тому подобное, а под красотой — возвышенность, значительность, торжественность, важность, патину старины и так далее. (54) Приятность и красота — вот, так сказать, основное, главное, то именно, чего желают достигнуть все работающие серьезно над писанием стихов, песен и так называемой прозы. Не знаю, существует ли помимо этого еще что-нибудь иное, но стяжавших перпенство как в прелести, так и в красоте, или и в том и в другом месте, имеется много превосходных писателей.

(55) Я сказал, что наслаждение слуху доставляется, во-первых, мелодией, во-вторых, ритмом, в-третьих, разнообразием и во всех трех случаях ответственностью. Что я говорю правду, тому в свидетельство я сошлюсь на показание опыта, опорочить который нельзя, так как он согласуется с присущими всем ощущениями. Действительно, не увлекает разве и не чарует человека та или иная мелодия, в то время как от другой он никаких чувств не испытывает? И разве не нравятся ему одни ритмы, тогда как другие ему противны? (57) Примером воспользовался я подходящим: ведь и наука о речах государственных была музыкальной наукой, отличавшейся от науки о пении или игре на инструментах не качественно, а количественно. Ибо и тут словесные обороты обладают и мелодией, и ритмом, и разнообразием, и ответственностью, так что и в этом случае слух испытывает наслаждение от мелодии, увлекается ритмом, приветствует разнообразие и ищет во всем соответствия: и разница тут лишь в степени.

12 (65) Не все элементы речи действуют на слух одинаково по своей природе, как не все видимые предметы действуют одинаково на чувство зрения, или съедобные вещи на чувство вкуса, (66) или другие возбудители на другие чувства: звуки и услаждают, и огорчают слух, и коробят его, и ласкают, и причиняют ему множество еще и других ощущений. Причиною служит, с одной стороны, отличающаяся большим разнообразием природа тех букв, из которых складывается наша речь, а с другой — многообразие форм слоговых сплетений. И вот, именно потому, что частицы словесного оборота обладают такими свойствами и что переделать их природу нельзя, нам остается лишь соединять их, перемешивать и располагать так, чтобы по возможности скрывать вызываемое некоторыми из них неприятное впечатление. Пусть не думают, будто я утверждаю, что нечто одно будет раз навсегда доставлять удовольствие, а нечто другое — только неприятность: я не так безумен! Я знаю, что удовольствие может вызываться и тем и другим, и однородным и неоднородным. Я только думаю, что надлежит (68) соблюдать во всем меру, ибо мера — лучшее мерило как удовольствия, так и неудовольствия. Чтобы сказать еще и об остальном, замечу, что тот, кто стремится доставить удовольствие слуху, должен, мне кажется, соблюдать в сочетаниях следующие правила: либо располагать вместе мелодичные, ритмичные, звучные слова, такие, которые услаждают чувства, ласкают их и вообще им нравятся, либо (69) те слова, которые по своей природе свойствами такими не обладают, сплетать и сшивать со словами, способными чаровать чувства, и прелестью этих слов затушевывать неприятность первых. Нечто подобное делают и разумные военачальники при построении войска: так же и они прикрывают слабые части сильными, и в армии у них не остается ничего неиспользованным. Прерывать же однообразие, думается мне, надо путем

внесения своевременных перемен: ведь во всяком деле переменна — неприятная вещь. И наконец последнее и самое важное: строй речи должен близко соответствовать содержанию. Бояться употреблять ходовые слова, будь то имена или глаголы, из опасения, как бы не оказались они неприличными, думаю, нечего: ибо не окажется, утверждаю я, никакой столь низкой, или столь грязной, или почему либо другому столь неудобной частицы речи, (70) обозначающей ту или иную часть тела или то или иное действие, которая бы не нашла себе подходящего места в речи. Я советую пользоваться ими мужественно, без всякого страха, полагаясь на сочетание и следуя примеру Гомера, у которого можно встретить зауряднейшие слова, а также на Демосфена, Геродота и других писателей. 13. Если спросят меня, как, на основании каких правил, достигается красота построения, то я, клянусь Зевсом, отвечу, что достигается она на основании не иных каких-либо, а тех самых правил, которые делают построение приятным. Средства в обоих случаях одинаковы: благородство мелодики, величавость ритма, роскошь разнообразия и всему этому сопутствующая ответственность. Ибо совершенно так же, как (71) становится речь приятной, становится она и благородной; и подобно тому как бывают нежные ритмы, так бывают и другие, важные, и как в разнообразии заключена прелесть, так в ней же заключена и сила. Что касается ответственности, то доля ее участия вряд ли в чем-либо ином будет так велика, как именно в красоте. И вот, говорю я, вкладывать красоту в строй речи надлежит всеми теми же средствами, какими сообщаем мы ей и приятность. Причиной служит и тут природа букв и сила слогов, слагающих слово.

19 (129) Третьим правилом, обуславливающим красоту построения, являлось у меня разнообразие: под разнообразием я разумею не смену лучшего худшим — это совсем нелепо! — но и не смену худшего лучшим, а разнообразие однородного. Ибо в постоянном своем повторении надоедает даже и всяческая красота, как надоедает и все приятное: напротив, продолжает вечно оставаться и то и другое новым в пестроте разнообразия. Пишущие стихи или песни могут менять не все и не во всем, и не настолько, насколько (130) они желают. (132) Что касается прозаической речи, то она может совершенно свободно распоряжаться разнообразием сочетаний и менять их по своему желанию. (133) Речь прозаическая из всех видов речи наиболее мощная, поскольку она вольна давать неограниченное число пауз, разнообразия ими конструкцию: в прозаической речи в то время как одно укладывается в период, другое выходит за пределы периода, и рядом с периодами, сплетенными из большего числа колонов, другие состоят из меньшего; и самые колоны бывают в ней то короче, то длиннее, одни проще, другие отделаннее; в ней ритмы постоянно меняются, фигуры принимают различные формы и различно напрягается голос посредством так называемых ударений, пестрое раз-

нообразии которых невозможным делает пресыщение. Особая в этом таится прелесть: прелесть сложения, кажущегося сложенным неумышленно. 21 (145) Я полагаю, что у сочетания имеется великое множество видовых различий, не поддающихся ни обозрению, ни точному подсчету; думаю, что каждого из нас отличает характер не только нашей наружности, но и наших (146) словесных сочетаний. Беру неплохой пример из живописи: ведь подобно тому как в живописи все живописцы пользуются одними и теми же красками, но смешивают их различно, совершенно таким же образом и в речи, художественной и всякой иной, словами пользуемся все мы одними и теми же, но сочетания придаем им неодинаковые. Я держусь убеждения, что существуют три рода сочетаний, подходящее название которым пусть придумает желающий, после того как он прослушает описание их общего типа и их особенностей. Не располагая особыми для них названиями, приложу к ним как к безымянным переносные обозначения, назвав один род сочетаний суровым, другой гладким, а третий умеренным. Как получается этот последний, путем ли (147) устранения крайностей первого и второго, или путем их смешения, я решить не могу, и хочется мне правду изречь двойко: к ясным догадкам здесь нелегко прийти. Не поможет нам и ссылка на то, что характеры средние, которых бывает множество, получаются вследствие ослабления или растяжения крайностей. Ведь это не так, как в музыке, где средняя струна отстоит от нижней и верхней на равном расстоянии: в слове средний характер не так, как здесь, одинаково удален от крайностей, а принадлежит к числу того, что, подобно стаду, куче и другому многому, созерцается взятое в совокупности всего своего содержания.

22 (148) Суровое построение имеет следующий характер. Хочет оно, чтобы слова утверждались прочно, занимали бы крепкое положение, ясно видимые, как на открытом пространстве, и чтобы частицы периода отделялись одна от другой заметными паузами. К резким, неприятным созвучиям, которые оно допускает нередко, оно относится безразлично: подобно этому, когда при постройках выводят стены, один к одному подбирая камни, основания стен складываются из камней неправильной формы и неотесанных, диких и необработанных. Нравится чаще всего суровому построению растянутость длинных, вширь развернувшихся слов: самоограничение слоговой краткостью за исключением только тех случаев, когда это вызывается необходимостью, ему противно. Вот, стало быть, что преследует и к чему стремится суровое построение в области слов; того же хочет достигнуть оно и в колонах фразы, и ритмов оно ищет важных, величественных, не требуя ни выравнивания колонов при придании им взаимного сходства, ни применения к ним насилия: нет, оно хочет, чтобы шли они один за другим благородно, торжественно и свободно, желает, чтобы в них было больше естественности, чем искусства, и чтобы

похоже было, что говорятся они не столько в силу привычки, сколько под влиянием чувства. Составлять такие периоды, которые заканчивали бы собою мысль, оно и не любит даже. Если иной раз оно к этому невольно и склонится, то оно спешит выразить неумышленность и непосредственность оборота, не пользуясь ради заполнения периода никакими добавками лишних слов, ничего не прибавляющих к смыслу. Не заботясь ни о театральности, ни о гладкости периодов, оно не соразмеряет их с силой дыхания говорящего, которая бы им придавала законченность, и ничем другим подобным не занимается. (150) Отличительными особенностями сурового построения служит еще и следующее: это построение уравнивает одни формы другими, оно бедно союзами, пропускает член, равнодушно к анаколуфу, совсем не цветисто, возвышенно, просто, бесхитростно, и красота его — в архаизме и патине.

23 (170) Гладкое же сочетание, которому мы отводили второе место, имеет следующий характер. Оно не стремится к тому, чтобы каждое слово в отдельности отчетливо варьировалось, ни к тому, чтобы были слова все размещены на основаниях широких и прочных, ни чтобы отделялись они одно от другого большими паузами, как вообще не нравятся этому сочетанию ни медленность, ни устойчивость: оно хочет, чтобы значения были подвижны и чтобы, переносясь с одних слов на другие и прицепляясь к ним, шли они в этом сцеплении непрерывным потоком. Оно требует взаимной связи частиц, их сплетения в общей ткани (171) так, чтобы они по возможности производили впечатление единого словесного целого. Достигается это путем тщательной обработки связей, не допускающей никаких ощутимых пауз между словами. Отчасти оно походит на произведения ткацкого мастера или живописи, переливающие светлыми и темными красками. Гладкое сочетание хочет, чтобы слова все сплошь были благозвучны, гладки, мягки и нежны: к грубо или резко звучащим словам питает оно отвращение и всего, что смело или рискованно, оно остерегается. И желает оно, чтобы не только слова старательно пригонялись к словам и вытаскивались, но чтобы и колонны фразы хорошо сочетались друг с другом, образуя общую ткань и завершаясь периодом. Устанавливает оно и величину колонов, которые не должны быть ни слишком короткими, ни слишком длинными, устанавливает и размер периода, рассчитанный на произнесение без передышки. (172) Не давать периода вовсе или давать период, лишенный колонов, или давать несоразмерные колонны, гладкому сочетанию невыносимо. Ритмы употребляет оно не самые длинные, а средние или сравнительно краткие, и любит кончать период стройной, как по мерке, клаузулой, придерживаясь противоположных правил относительно связи периодов и связи слов: слова оно одни с другими сливает, а периоды отделяет один от другого, стараясь придавать им, так сказать, легко обозримый вид, и фигуры употреблять оно любит не величавые и

старинные, не те, которым в той или иной мере присущи значительность, вес, сила, а фигуры обольстительно нежные, такие, в которых много и обманчивости, и театральности. Вообще этот второй род сочетания имеет форму, противоположную первому во всем том основном и главном, о чем незачем мне говорить вторично. 24 (186) Третье — а по месту, занимаемому им между двумя другими, мною описанными, среднее — построение, которое я за отсутствием лучшего, специального обозначения называю умеренным, никакой самостоятельной формой не обладает, являясь смешением обоих других и представляя как бы отбор всего лучшего, что в том и другом имеется. Оно, думается мне, и должно стяжать пальму первенства именно как умеренное, потому что, как учат и Аристотель, и остальные философы его школы, умеренность и в жизни, и в действиях есть добродетель. Впечатление производит оно не отдельными совершенствами, а, как я сказал, своим общим характером, причем дает множество разновидностей.

О возвышенном.

39, 1. Гармоничное сочетание слов является не только естественным источником убеждения и наслаждения, но также и изумительным средством для придания речи торжественности и страстности. 2. Разве свирель не заставляет слушателей испытывать определенное чувство, наполняя их как бы безумием и экстазом, разве не принуждает она их, подчинив шаг свой ритму, выступать ритмически и точно передавать все изменения мелодики, хотя бы они были совершенно немзыкальными людьми? Звуки кифары, которые сами по себе ничего не значат, модуляцией тонов, их звучанием и сочетанием созвучий часто наводят на людей дивные чары. 3. А все же это только жалкое подобие и подражание тому, что можно сделать убеждением, и все это не составляет, как я сказал, законного проявления человеческой природы. Не следует ли думать, что сочетание слов, выражающееся в некоей гармонии речи, врожденной человеку и ударяющей по самому сердцу, а не только по слуху, возбудит пестрые вереницы представлений о словах, мыслях, предметах, красоте, благозвучии, обо всем, что нам прирождено и что с нами сроднилось? Сочетанием и многообразием своих звуков не сообщит ли речь душе слушателей страстность говорящего и не заставит ли чувствовать с ним заодно? Разве не создает она нагромождением слов впечатления величия и этим не зачаровывает нас и не располагает всякий раз к восприятию важности, достоинства, возвышенности, вообще всех своих свойств и не покоряет всецело нашу мысль? 40, 1. Возвышенность придает речи, как и телу, главным образом расположение ее членов; как в теле каждый член сам по себе, отделенный от других, не представляет ничего замечательного, но все вместе они образуют совершенное целое, так и те приемы, которые создают величавость

речи, будучи разрознены, распыляют и возвышенность речи, объединенные же в одно тело и соединенные узами гармоний, они приобретают звучание благодаря самой своей округленности. В периоде обилие слов сообщает речи величавость. 2. Многие писатели и поэты, не отличаясь от природы возвышенностью, хотя не будучи и ничтожны, пользуясь в большинстве случаев простыми и общеупотребительными словами и не внося в свое творчество ничего особенного, умели построением и сочетанием их производить впечатление важности и высоты и отнюдь не казаться низкими. 42, 1. Всякую речь принижает также слишком большая отрывочность. Чрезмерная краткость калечит то, что величаво. Я говорю сейчас не о речи в меру сжатой, а, наоборот, о слишком краткой и раздробленной. Отрывистость уродует мысль; краткость же ведет ее прямым путем. Ясно, что речь, непрерывно тянущаяся, производит впечатление бездушной, неуместно тягучей.

ПОРЯДОК СЛОВ (τάξις, ordo)

Деметрий.

50. Располагать слова следует таким образом: в начале ставить не очень яркие, в середине и в конце более яркие. При такой расстановке нам и первое, когда мы его слышим, кажется ярким, и последующие еще более яркими. Иначе будет казаться, что речь наша ослабевает. 52. Всегда предшествующее, как бы оно ни было значительно, будет казаться слабее, если за ним будет следовать нечто еще более значительное. 53. Союзы не должны слишком точно соответствовать друг другу (в такой точности есть мелочность), надо употреблять их с некоторой небрежностью. 54. С другой стороны, поставленные один за другим союзы заставляют и малое казаться более значительным. 55. Второстепенными, дополнительными союзами надо пользоваться не как пустыми добавлениями и как бы красотами или украшениями, а только в тех случаях, когда они способствуют величавости речи. 56. Союз, поставленный в начале и отделяющий от первых слов последующие, придает речи некоторое величие: повторные начала способствуют торжественности. 57. И для изображения аффектов часто применяется такая постановка союза. Если изъять из такой фразы союз, вместе с ним исчезнет и ее пафос. Вообще, как говорит Праксифан, некоторые частицы употребляются вместо стонов и вздохов. 58. А те, говорит он, кто употребляют союзы, ничего не прибавляя ими к смыслу, похожи на актеров, произносящих восклицания рядом с совершенно не подходящими словами.

199. Как правило, надо придерживаться естественного порядка слов: сначала называется то, о чем идет речь, потом говорится, что это такое и т. д. по порядку. 200. Это не значит, что мы предписываем

навсегда один и тот же порядок и отвергаем какой-нибудь другой: мы выдвигаем только желательность естественного расположения слов.

Квинтилиан, IX, 4.

22. Во всяком сочетании слов необходимо соблюдение трех вещей: порядка слов, соединения их друг с другом и ритма. 23. Итак, прежде всего о порядке слов. Его следует соблюдать и по отношению к отдельным словам и по отношению к комплексам их. Соединение отдельных слов — это то, что мы называли бессоюзием. По отношению к ним надо остерегаться, чтобы речь не ослабевала, чтобы за более сильным словом не шло какое-нибудь более слабое, так как фразы должны идти в порядке возрастания и повышения. 24. Некоторые теоретики выставляли слишком строгое требование, чтобы имена предшествовали глаголам, а глаголы — наречиям, и чтобы имена предшествовали сопутствующим им словам и местоимениям. Нередко противоположный порядок бывает вполне уместным. 25. Слишком педантично также требование, чтобы то, что предшествует во времени, и в порядке изложения стояло раньше. Правда, в большинстве случаев это правильно, но иногда события более ранние важнее, а потому их надо ставить после менее значительных. Если допускает сочетание, самое лучшее вместе с концом фразы заканчивать мысль.

ПРИЛ А Ж Е Н Н О С Т Ъ (ἀρμογή, iunctura)

Цицерон, Об ораторе, III.

42, 171. Задачей расположения является сочетать и строить слова так, чтобы при встрече их друг с другом не получалось ни шероховатостей, ни зияний, но чтобы они производили впечатление как бы сплоченности и гладкости. 172. Такое расположение слов делает речь связной, сплоченной, гладкой, ровно текущей; этого вы достигнете, если будете соединять окончания слов с началом следующих так, чтобы эти сочетания не сопровождались ни резкими столкновениями, ни слишком ощутительным разрывом. 44, 173. За тщательным выполнением этого требования следует забота о ритме и законченности формы.

Цицерон, Оратор, 44, 150.

Как глаз при чтении, так и в речи мысль будет учитывать дальнейшее, чтобы столкновение окончаний слов с началом следующих не создавало зияний или жестких на слух звучаний. Как бы ни были интересны и многозначительны мысли, они оскорбляют однако же взыскательный слух, если они преподносятся в искусственной форме.

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен 12.

(66) Шероховатые буквы [надо] соединять с гладкими, твердые с мягкими, неблагозвучные с благозвучными, труднопроизносимые с удобопроизносимыми, долгие с краткими, тем же способом удачно располагая и остальное. Не надо сгущать следующих подряд одно за другим, ни таких слов, которые состоят из малого числа слогов — это режет ухо — ни слишком большого числа многосложных. Так же и слов, имеющих одинаковое ударение или одинаковую долготу, ставить рядом не надо. Следует варьировать падежи имен, так как (67) чрезмерно долгое повторение их делается неприятным для слуха, а равным образом избегать и однообразия, остерегаясь излишнего скопления в одном месте имен, глаголов или других частей речи; не употреблять постоянно одни и те же фигуры, а почаще менять их и не повторять вечно те же самые тропы, но и их разнообразить; ни начальных слов не должно давать в одинаковой форме, ни заключительных, избегая навязчивости в обоих случаях.

Квинтилиан, VIII, 6.

62. Если слова расставляются в их естественном порядке, т. е. последовательно присоединяются к предыдущим по мере их возникновения, хотя бы они и не увязывались с ними, то речь очень часто получается шероховатой, грубой, отрывистой и возникают зияния. 63. Поэтому некоторые слова необходимо отделять и переставлять вперед, подобно тому как в постройках из неотесанных камней каждый из них кладется на то место, где он подойдет. Ведь слова нельзя ни обтесывать, ни шлифовать для лучшей их пригонки друг к другу, а приходится брать их такими, каковы они есть, выбирая лишь наиболее подходящие для них места. 64. Только надлежащая перестановка слов может сделать речь ритмичной.

Зияние (σύνπτωσις φωνηέντων, χάσμα, hiatus)

Филодем, Риторика, IV (кол. II, 2—9).

Столкновение гласных делает стиль вообще ходульным, но оно может оказаться и уместным. Они (критики) не различают здесь каждого отдельного случая, но сводят все к услаждению или неприятному ощущению для слуха.

Цицерон, Оратор 23, 77.

В этих как бы зияющих провалах при столкновении гласных есть какая-то мягкость и доля непринужденности, свидетельствующей о привлекательной небрежности человека, больше озабоченного существом дела, чем словесным выражением.

Цицерон, Оратор 44, 150.

В данном случае требования самого латинского языка таковы, что не найдется такого необразованного человека, который не старался бы сливать гласные звуки.

Деметрий.

68. Относительно столкновения гласных одни судят так, другие — иначе. Сочетание слов не следует делать ни шумным, позволяя гласным встречаться безыскусственно и случайно (это будет создавать впечатление разорванности и беспорядочности речи), не следует, однако, и безусловно избегать зияния. Строение речи будет, может быть, благодаря этому более гладким, но зато и менее художественным и слишком беззвучным, так как будет лишено многих евфонических эффектов, проистекающих от столкновения гласных.

69. Надо обратить внимание прежде всего на то, что даже и обиходный язык часто дает зияния внутри слов, хотя он очень стремится к благозвучию. В его составе есть даже много слов, состоящих исключительно из гласных звуков, и эти слова нисколько не менее благозвучны, чем другие, а может быть даже более музыкальны.

70. Многие другие слова при произнесении с синалэфой были бы неблагозвучны, а при раздельном произнесении каждого гласного и их столкновении становятся более благозвучными. Синалэфа менее приятна для слуха и вульгарна.

Столкновение согласных

Квинтилиан, IX, 4, 37.

Также и согласные, в особенности более шероховатые из них, враждуют между собою в стыке двух слов, например если *s* в конце слова встречается со следующим *x*. Еще хуже, если сталкиваются два *s*: получается шипение.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕЧЬ (λέξις κατεστραμμένη)

Колон (κόλον, *membrum*)

Архедем (Деметрий 34).

Архедем, объединив определение Аристотеля с его добавлением к нему, дает следующее более ясное и полное определение: колон есть или простой период, или часть сложного периода.

Риторика к Гереннию, IV, 19, 26.

Колоном речи называется краткое высказывание чего-то о какой-либо вещи без выявления целиком всей мысли, которая вновь подхватывается другим колоном речи. Такое украшение может состоять из двух колонов; но самым удобным и самым законченным будет то, которое стоит из трех колонов.

Деметрий.

1. Подобно тому как в поэзии стих расчленяется на метрические единицы, например на полустишия, или на шесть стоп, или иначе, так и прозаическую речь разделяют и расчленяют так называемые колоны, которые как бы дают отдых говорящему и прерывают самую речь, ставя ей ряд границ, так как иначе она была бы длинна и безгранична и у говорящего попросту не хватило бы дыхания. 2. Задача этих колонов — отметить конец мысли, причем иногда они охватывают ее целиком, иногда же только законченную часть ее; подобно тому как у руки, являющейся чем-то целым, имеются части, которые тоже являются чем-то целым, как например пальцы или локоть (каждая их этих частей имеет свои очертания и свои части), так и у мысли, являющейся большим целым, колоны обнимают части, являющиеся в свою очередь тоже законченными целыми. 4. Не следует делать колоны слишком длинными, так как в таком случае конструкция будет неограниченной и трудно понятной. Ведь и в поэзии за редкими исключениями длина стиха не превышает гекзаметра. Ведь было бы нелепо, если бы стих был бесконечным, так чтобы при его окончании мы забывали, когда он начался. И слишком длинные колоны не пригодны в речи вследствие отсутствия меры, так как в таком случае получается так называемое сухое построение. Речь оказывается как бы изрубленной и искромсанной и производит жалкое впечатление, потому что все в ней мелко. 5. Бывают случаи, когда уместны и длинные колоны, например, в величавом стиле. Благодаря длине колонов и речь приобретает возвышенный характер: так и гекзаметр называется героическим стихом вследствие своих размеров и вследствие соответствия своего изображению героев.

К о м м а (кóмма, incisum)

Риторика к Гереннию, IV, 19, 26.

Под звеном понимается прием отделения слов одних от других интервалами посредством перерыва речи. Разница в силе этого приема и того, другого, который указан был нами выше, сводится к следующему: в первом случае речь продвигается медленнее, размереннее; во втором — более живо, более быстро. Поэтому в первом случае кажется, будто напряженным движением правой руки подносится к

телу меч, а во втором — будто ранится тело частыми, быстро следующими один за другим, ударами.

Деметрий, 6.

Бывает подходящий случай и для коротких колонов, а именно когда мы говорим о чем-нибудь маленьком. 7. Короткими колонами пользуются и в мощном типе речи, так как мысль в сосредоточенном виде будет сильнее и энергичнее. 8. Как животные сжимаются, когда дерутся, так и речь может как бы сжиматься в кольцо для приобретения большей мощи. 9. Такая краткая фраза называется комма. Ее определяют как короткий колон. Краткость выражения подходит для апофтегм и для гном. Сосредоточение большой мысли в кратком выражении придает речи характер мудрости: так в семени потенциально заключается целое дерево. Если растянуть мысль на большие колоны, она становится поучительной и риторичной, а не гномической.

Период (περίοδος, ambitus)

Риторика к Гереннию, IV, 19, 27.

Период есть густое и связное скопление слов с законченным выражением мыслей. Он более всего применим в трех случаях: при сентенциях, при противоположении и в заключениях. В этих трех случаях обилие слов, требующееся для придания силы периоду, столь необходимо, что талант оратора, не умеющего облекать сентенций, противоположений и заключений обилием слов, представляется ничтожным. Но также и в других случаях иногда бывает вполне уместно, хотя и не необходимо, для изложения некоторых вещей пользоваться подобного рода периодами.

Цицерон, Об ораторе III, 48, 186.

Раз этот прозаический ряд представляется гораздо более сложным и приятным для слуха, когда он разбит на более мелкие отрезки и члены, чем когда он тянется непрерывно и продолжительно, то эти члены должны быть упорядочены; если члены, помещенные на конце, оказываются короче, то рушится весь этот, так сказать, словесный круг, ибо так называют эти закругленно выраженные предложения греки. Поэтому последующие члены должны быть либо равны предшествующим, так же как конечные — начальным, либо, что еще лучше и приятнее, они должны быть длиннее.

Деметрий.

10. Из соединения колонов и комм получают так называемые периоды. Период есть система колонов и комм, искусно приуроченная

для выражения заключающейся в ней мысли. 11. Аристотель определяет период так: период есть словесный оборот, имеющий начало и конец. Это определение прекрасно и правильно. Уже самое слово «период» сразу дает понять, что он где-то начинается и что он стремится к какому-то концу, как состязающиеся в беге. И им уже с самого начала бега видится его конец. Потому этот оборот и носит название периода, название, в котором заключается уподобление кругообразному, кольцевидному пути. Вообще период не что иное, как некое связное построение. Если в нем уничтожить эту его кольцевидность и переставить слова, сущность дела останется той же, но периода не будет. 12. Происхождение же периода таково: один вид речи называется закругленным, это — речь периодизованная; другой — отрывочным, это — речь, распадающаяся на колоны, слабо связанные друг с другом; колоны здесь как бы свалены в кучу и набросаны без связи между собою и без взаимной опоры; они здесь не поддерживают друг друга, как в периоде. 13. Колоны периода подобны камням, поддерживающим и несущим на себе свод, а колоны речи отрывочной похожи на камни, разбросанные близко один от другого, а не сложенные в постройку. 14. Поэтому в этой более древней речи есть какая-то гладкость и чистота, как в архаических статуях, когда искусство заключалось в сухой простоте форм, а более поздняя речь подобна уже творениям Фидия, так как в ней есть и величавость, и отделанность. 15. Я считаю, что речь не должна состоять ни из сплошного ряда периодов, ни вся распадаться на отдельные колоны, как архаическая речь, но должна представлять собою смешение обоих этих видов построения. Таким образом она будет одновременно и отделанной, и простой и соединит в себе прелесть того и другого, не будучи ни слишком обыденной, ни слишком искусственной. У ораторов, произносящих сплошные ряды периодов, и головы, как у пьяных, не держатся прямо, а слушателей тошнит от неправдоподобия, или же они уже заранее произносят концы периодов, зная их наперед, и выкрикивают их прежде, чем оратор до них дойдет. 18. В сложных периодах последний колон должен быть длиннее других и как бы господствовать над ними и охватывать их. Такой период, оканчивающийся торжественным и длинным колоном, будет величавым и торжественным и не будет казаться обрубленным и хромым. 19. Существует три рода периодов: исторический, разговорный и ораторский. Исторический — не слишком закругленный и не слишком свободно построенный, но занимающий середину между этими двумя крайностями, чтобы не казаться риторичным и неубедительным вследствие своей округленности, и черпающий свое достоинство и пригодность для исторического повествования из своей простоты. 20. Период ораторской речи — стройный и округленный, требующий сильного голоса и жестов, сопровождающих его ритм. Уже с самого начала в этом периоде есть какая-то

сосредоточенность, и ясно, что он просто не закончится. 21. Период разговорной речи еще свободнее и проще, чем исторический. Его едва можно признать за период. Колонны набросаны в нем один на другой, как в отрывочной речи, и при окончании его мы едва замечаем, что сказанное было периодом. Разговорный период должен быть помещен между отрывочной и закругленной речью, как являющийся смешением обеих. Таковы виды периодов.

Размеры периода

Архедем (Деметрий, 35).

Говоря, что колон есть часть сложного периода, Архедем, следовательно, не ограничивает период двумя колонами, но допускает их и три, и больше. Мы уже указали выше предельные размеры периода.

Цицерон, Об ораторе 66.

221. Законченный в своем кругообороте период состоит, примерно, из четырех частей, называемых нами членами; в таком виде он дает достаточное удовлетворение слуху, будучи не короче и не длиннее, чем требуется. Впрочем иногда, или даже, вернее, часто, бывают отклонения и в ту, и в другую сторону, так что приходится или делать остановку раньше, или продолжать период несколько дольше с той целью, чтобы либо не обмануть ожиданий слушателей чрезмерной краткостью, либо не притупить их внимания излишне большой длиной периода. Но я имею в виду среднюю норму; ведь речь у нас идет не о стихе, а законы прозы значительно свободнее. 222. Итак, полный период состоит приблизительно из четырех членов, как бы из стихов, размером равных гекзаметрам. Концы этих отдельных стихов представляются как бы узлами для присоединения дальнейших частей, и в периоде мы эти узлы скрепляем. Если мы хотим говорить расчлененно, то делаем в этих местах остановки и таким образом, когда нужно, легко и часто отрешаемся от строгих требований этого непрерывного течения речи.

Деметрий.

14. Аристотель так определяет колон: колон — это одна из двух частей периода, а затем добавляет: бывает и простой период. Определяя таким образом: одна из двух частей, он очевидно считает, что период должен состоять из двух колонов. 16. Краткие периоды состоят из двух колонов, самые длинные — из четырех. Большее число колонов, чем четыре, превысило бы нормальные размеры периода. 17. Существуют периоды, состоящие и из трех колонов, и даже из одного. Последние называют простыми периодами. Если колон обладает известной длиной и закругляется в конце, тогда

получается простой период, но только при соблюдении обоих этих условий — и длины, и закругленности в конце, — при наличии же только одного из них периода не получается.

РИТМ (*ῥυθμὸς*, *numerus*)

Цицерон, Об ораторе III.

44 (173) Так хорошо вам знакомые древние авторитеты считали необходимым применение в этой прозаической речи почти что стихов, то есть размеров; именно они требовали, чтобы в речи были паузы, во время которых можно перевести дыхание, с предшествующими им ритмическими концовками, обусловленные однако не нашей усталостью и не отметками писца, а ритмом слов и фраз. (174) Итак, эти два приема, то есть управление тоном голоса и ритмическое завершение фраз, поскольку их допускает строгость прозаической речи, они сочли возможным из поэтической теории перенести на красноречие. (175) Едва ли не важнее всего отметить здесь следующее: если в прозе в результате сочетания слов получится стих, то это считается промахом, и тем не менее мы хотим, чтобы это сочетание наподобие стиха обладало ритмическим заключением, закругленностью и совершенством отделки. И среди многих других признаков нет ни одного, который в большей мере отличал бы оратора от неопытного и несведущего в искусстве речи человека, чем то, что этот неискusstный бессвязно распространяется, насколько хватает сил, и ограничивает свои словоизлияния запасом дыхания, а не художественными соображениями, оратор же всегда так укладывает мысль в слова, что она обрамляется определенным ритмом, выдержанным и в то же время свободным. (176) Именно ограничив ее сначала намеченной формой и ритмом, он затем раздвигает рамки и дает ей волю, изменяя порядок так, что слова не оказываются скованными как бы каким-то непреложным законом стиха и в то же время не настолько свободны, чтобы разбегаться в стороны.

45. Так каким же образом нам приступить к такой серьезной задаче и считать, что мы можем овладеть ритмической речью? Это дело не столь трудное, сколь необходимое. Ведь нет ничего столь мягкого, столь гибкого, так послушно следующего по пути, по которому вы ее поведете, как живая речь. (177) Из нее складываются стихи, из нее же — нестрого выдержанные ораторские ритмы; из нее же накопец и эта разнообразная и разнородная проза. В самом деле, слова в разговорном языке и в ораторской речи одни и те же; заимствуются слова и для ежедневного обихода и для пышной театральности из одного источника; но, извлекая их из повседневности, в которой они затеряны, мы формируем и лепим их по своему желанию наподобие мягкого воска. Благодаря этому речь наша бывает то возвышенной,

то скудной, то держится некоторого среднего пути; так характер ее следует избранной теме, видоизменяясь и преобразаясь в связи с любой задачей, будь то очарование слуха или передача аффектов. (178) Но природа как большинство своих творений, так и человеческую речь с непостижимым совершенством создала так, что то, в чем заключается наибольшая польза, одновременно обладает наибольшим величием и часто даже красотой. 46 (181) Клаузулы и знаки препинания между словами вызваны были необходимостью набирать свежий запас воздуха и переводить слабеющее дыхание, но это изобретение настолько привлекательно, что если бы кто-нибудь был наделен неистощимым дыханием, мы все же не захотели бы, чтобы он говорил без перерывов. Нашему слуху оказывается приятно то, что для легких говорящего не только доступно, но и легко. 47 (182) Таким образом самый большой возможный комплекс слов — это тот, который может быть произнесен одним запасом дыхания. Но это границы, поставленные природой: искусство ставит другие границы. Из многочисленных существующих размеров Аристотель исключает для оратора ямб и трохей, которые, однако, естественно напрашиваются в нашу речь и в разговор. Но в этих размерах слишком заметен такт и стопы их слишком мелки. Поэтому он приглашает нас пользоваться прежде всего гекзаметром, но из него можно безнаказанно взять, пожалуй, две стопы или только немного больше, чтобы речь не превратилась совсем в стихи, или не оказалась похожей на стихи. (183) Более всего рекомендует он пэан, которого имеется два вида: пэан начинается либо долгим слогом, за которым следуют три кратких, либо тремя подряд краткими с последним долгим. Философу нравится, когда начинают с первого и кончают вторым. Этот последний пэан не по числу слогов, а по слуху, который судит точнее и вернее, почти равен кретику, состоящему из долгого, краткого и долгого слогов. Его он считает подходящим для клаузул, которые, по его мнению, должны в большинстве случаев кончаться долгим слогом. 48 (184) Впрочем, здесь не требуется такого острого внимания и тщательности, какие приходится проявлять поэтам, которых необходимость и сами размеры и ритмы вынуждают так укладывать слова в стих, чтобы ничто даже на самый кратчайший вздох не оказалось ни короче, ни длиннее, чем следует. Проза менее связана и прямо-таки свободна до такой степени, что, не разбегаясь все же и не сбиваясь в стороны, она однако без всяких оков сама себя сдерживает. Я согласен с Феофрастом, считающим, что проза, если она хочет быть отделанной и художественной, должна обладать ритмом, хотя и не строго выдержанным, а довольно свободным. 49 (190) Это однако не требует такого большого труда, как кажется, и нет здесь необходимости подчиняться строжайшим предписаниям законов ритмики или музыки; мы должны добиваться только того, чтобы речь не расплывалась, чтобы она не отклонялась в стороны,

чтобы не допускала непредвиденных остановок, чтобы не выходила за намеченные пределы, чтобы она была правильно расчлененной, чтобы ее периоды были закончены. Не следует все время применять непрерывный способ изложения и пользоваться так называемыми периодами, а надлежит чаще прерывать речь более короткими членами, причем эти последние в свою очередь должны быть связаны ритмом. (191) Да не смущают вас также пэан и всем известный героический размер. Они сами попадутся вам на пути, сами, повторяю, предложат свои услуги и откликнутся без зова, лишь бы образовался такой навык в письме и устной речи, чтобы фраза кончалась вместе с мыслью и чтобы сочетание слов начиналось яркими и свободными размерами, преимущественно героическими или первым пэаном или кретиком, и завершилось разнообразно и четко. Ибо более всего заметно бывает однообразие перед паузой. И если эти начальные и конечные стопы соблюдены, то находящиеся в середине могут остаться без внимания, лишь бы сам период не был ни короче, чем ожидает слушатель, ни длиннее, чем позволяют силы и дыхание. 50 (192) Клаузулы же следует, по моему мнению, даже еще старательнее соблюдать, чем начальные части, так как на них преимущественно проверяется совершенство отделки и законченность. В стихе одинаковое внимание уделяется и начальным, и средним, и конечным его частям, и он страдает, если хоть в какой-либо его части обнаружилось шатание; в ораторской же речи, напротив, лишь немногие замечают начало, а конец — большинство, и так как эта часть бросается в глаза и привлекает к себе внимание, она должна разнообразиться, чтобы требования вкуса или пресыщение слуха ее не забраковали.

Цицерон, Оратор.

49 (164) Закономерность следует соблюдать не только во взаимном расположении отдельных слов, но также и в конечных членах периода, так как это, согласно вышесказанному, составляет второе требование слуха. Но закономерность в окончаниях происходит или путем самого расположения слов и как бы произвольно, или в силу известной однородности слов, что уже само по себе обуславливает их симметричный характер; имеют ли они одинаковые падежные окончания, сопоставляются ли ими однородные понятия или противопоставляются противоположные, — подобные сочетания уже по самой природе оказываются ритмическими, несмотря на полное отсутствие в них искусственности. 50 (166) Тем, что греки именуют антитезой, то есть противопоставлением взаимно различных понятий, всегда неизбежно создается ораторский ритм и притом без всякой искусственности. (168) Познакомимся же с этими ритмами и выясним, что из себя представляет этот третий вид размеренной и складной речи. Кто этого не чувствует, у того, не знаю я, что за уши и походит

ли вообще такой человек на людей. Мой слух, по крайней мере, и наслаждается законченным и полным периодом, и чувствует, когда он урезан, и не любит слишком длинных. Но зачем говорить только обо мне? Часто мне приходилось наблюдать, как целые собрания встречали криками одобрения складное заключение фразы. Ведь наш слух ждет, чтобы мысль, облакаясь в слова, превращалась в законченное целое. Этого не было у древних; а в то же время остальное почти все было: так, и слова они умели выбирать, и мысли находить многозначительные и приятные, но мало заботились об их стройной форме и об их развитии до совершенной полноты. «Это-то мне и нравится», — говорят некоторые. (169) Так что же? Если древнейшая живопись с малым количеством красок больше нравится, чем современная, уже достигшая совершенства, то, очевидно, нам надо вернуться к первой, а вторую отвергнуть. Они ссылаются на имена древних. Конечно, как среди разных возрастов наибольший авторитет принадлежит старости, так точно и в выборе образцов для подражания я сам придаю очень большое значение древности. И я вовсе не хочу требовать от древности отсутствующих в ней качеств, а скорее буду ценить в ней достоинства, ей присущие, именно потому, что то, что в ней есть, я считаю важнее того, чего нет в ней. Больше, в самом деле, хорошего и в словах и в мыслях, которыми они славятся, чем в периодической закругленности мыслей, которой у них нет. 51. Эта периодическая закругленность была изобретена позже, и древние, я уверен, применяли бы ее, если бы этот прием был им уже известен и введен тогда в употребление; после же его изобретения все великие ораторы им, как мы видим, пользовались. (170) Но враждебное отношение вызывает уже самый термин, когда говорят о ритме в судебной речи или речи на форуме. Это создает представление, будто применяется слишком много хитрости, чтобы завладеть слухом слушателей, если оратор в самом процессе речи выискивает ритмы. Основываясь на этом, эти люди и сами говорят отрывистыми и обрубленными фразами и порицают тех, кто произносит складные и законченные предложения; если последние состоят из пустых слов и скрывают незначущие мысли, то они справедливо их порицают; если же в них заключено достойное содержание и имеются избранные выражения, то какое основание предпочитать, чтобы речь спотыкалась и сопровождалась неожиданными остановками, тому, чтобы она плавно текла вровень с мыслью? Ведь этот «ненавистный» ритм ничего не влечет за собою иного, кроме складного охвата мысли словами; это делали и древние, но большею частью случайно, часто благодаря природному чутью, и те их выражения, которые особенно высоко ценятся, ценятся обычно как раз за свою законченную форму. (171) У греков по крайней мере вот уже почти четыреста лет, как этот ораторский прием пользуется общим признанием, а мы лишь недавно его усвоили. (172) На тех же, у кого такой неразвитый и

грубый слух, не подействует и авторитет самых ученых мужей. А кто же из всех был более учен, кто более умен, кто более строг как в изобретении, так и в оценке, чем Аристотель? Он стиха в ораторской речи не допускает, ритма же требует. Его слушатель Теодект, один из самых изящных писателей, как часто отмечает Аристотель, и теоретик, держится того же мнения и дает такие же предписания; а Феофраст говорит об этом еще с большей обстоятельностью. Так можно ли мириться с теми, кто не признают этих авторитетных мнений? Разве только они вообще не знают о существовании у этих авторов подобных предписаний. (173) Если же это так — а я и не думаю, чтобы могло быть иначе — то неужели им не подсказывает того же их собственное чутье? Неужели они не видят у себя никаких пустот, никаких недоделок, ничего не законченного, ничего хромающего, ничего лишнего? Если в стихах хотя бы один слог окажется короче или длильнее, чем следует, весь театр поднимает крик, а между тем толпа зрителей не знает стоп, не владеет стихотворными размерами и, когда ее слух оскорблен, не отдает себе отчета, чем, почему и в чем именно она оскорблена; и однако сама природа вложила в наши уши чуткость к долготе и краткости звуков, так же как к высоким и низким тонам.

52 (174) Итак, нам предстоит выяснить сначала причину, затем природу и наконец самую практику стройной и ритмической речи. 53 (177) Займемся вопросом о причине. Она настолько просто вскрывается, что удивительно, как древние не сделали соответствующих выводов, тем более что, как это нередко бывает, и им часто случалось высказывать те или иные изречения закругленно и складно. А раз этим задевались внимание и слух окружающих, так что становилось очевидным, как приятно прозвучал произвольно вылившийся оборот речи, то им следовало бы, конечно, отметить его характер и постараться впредь подражать ему. Ведь уши или, вернее, душа по подсказу ушей обладает некой природной способностью измерять все звуки. (178) Таким образом, она отзывается и на долготу, и на краткость и всегда требует совершенства и меры, чувствует оборванность и как бы урезку и оскорбляется этим, словно не сполна получив должное; в других случаях замечает растянутость и как бы излишек, что еще более неприятно слуху; ибо как в большинстве других областей, так и здесь все чрезмерное оскорбляет сильнее, чем то, что представляется недостаточным. Итак, подобно тому, как в поэзии стих был изобретен благодаря размеривающей деятельности слуха и наблюдениям сведущих людей, так и в прозе — правда, гораздо позже, но под руководством той же природы — была замечена наличность определенного течения и закругленного строения речи.

(179) Итак, поскольку мы указали также причину, разъясним пожалуй теперь и природу ритма, хотя вопрос этот и не относится впрочем к начатой нами беседе, а принадлежит скорее предмету

специальной теории красноречия. Могут быть поставлены вопросы: что такое ритм прозаической речи, в чем он заключается и откуда происходит, существует ли один его вид, или два, или много, как он слагается и в применении к чему, и когда, и в каком месте, и каким способом его надо применять, чтобы он доставлял какое-то наслаждение.

(180) Но как во многих других вещах, так и здесь возможны два пути рассмотрения, из коих один более длинный, а другой более краткий и к тому же более легкий. 54. На более длинном пути первый вопрос: существует ли вообще ритмическая проза? Некоторые отрицают ее существование, так как в ней нет ничего столь же определенного, как в стихах, и потому что те, кто утверждают существование таких ритмов, не могут отдать себе отчета, чем оно обусловлено. Затем, если есть в прозе ритм, то какой или какие, и из числа ли применяемых в поэзии или какого-либо иного рода, и если из числа поэтических, то какой или какие именно; ибо одним представляется, что применяется только один ритм, другим — что применяются многие, третьим — что они сплошь те же, что и в поэзии. Далее, каковы бы они ни были, надо решить, один ли то ритм или много их и свойственны ли одни и те же ритмы всякому роду прозы — ибо повествовательный род — один, убеждающий — иной, поучающий же еще иной, — или к каждому роду прозы применяются особые ритмы; если они общи всем видам прозы, то каковы они; если различны, то в чем разница и почему не одинаково проявляется ритм в прозе и в стихах. (181) Далее, то, что называется ритмическим элементом прозы, обуславливается ли оно только размером или также еще и определенным расположением, или самым характером слов, или же все это вносит в речь нечто свое, так что ритм проявляется в правильном чередовании пауз, расположение слов — в звуковых сочетаниях, а самый характер слов — в оформлении и красотах речи, и источником всего является сочетание слов, которым обуславливается и ритм, и эти так называемые оформления и красоты, которые (182) у греков, как я сказал, именуются фигурами. Но то, что приятно звучит, не тождественно с тем, что совершенно в силу размеренности частей и что приобретает блеск благодаря самому характеру слов, хотя именно последнее ближе всего понятию ритма, так как уже само в себе носит законченность; что касается расположения, то оно отлично и от того, и от другого, поскольку оно целиком служит многозначительному или ласкающему слух звучанию. Вот приблизительно те элементы, в пределах которых следует искать природу ритма.

55 (183) Итак, нетрудно убедиться в наличии известного ритма в прозаической речи. На это указывает непосредственное чувство. Неправильно не признавать чего-либо существующего только потому, что мы не можем отыскать его причины. Ведь и самый стих открыт

не теоретическим умствованием, а природой и естественным чутьем, а теория уже впоследствии путем измерений объяснила, что именно здесь происходит. Так, наблюдение и внимательное отношение к естественным явлениям породили искусство.

(185) Существует, вообще, два элемента, украшающие прозаическую речь: приятность слова и приятность размеров. В словах заключается как бы некий материал, а в ритме — его отделка. Но, как и в других областях изобретения, вызванные необходимостью, древнее тех, которые вызываются исканием наслаждения, так и здесь: голая и необработанная речь, предназначенная только для выражения мыслей, была изобретена многими веками раньше, чем речь художественная. (186) Ибо все более легкое и более необходимое всегда усваивается раньше. 56. Поэтому метафоры и новообразованные и сложные слова легко усваивались, так как заимствовались из житейского обихода и из разговорной речи; что касается ритма, то его нельзя было заимствовать из повседневной жизни, а тесного или естественного родства с прозаической речью он не имел. В силу этого, будучи замечен и усвоен несколько позже, он принес прозаической речи как бы известную выправку и последние, завершающие штрихи. (187) Так что, если какая-либо речь представляется сжатой или отрывистой, а иная, напротив, пространной или расплывчатой, то это очевидно должно зависеть не от свойства букв, но от различия, то более редкого, то более частого чередования пауз, и, поскольку связываемая и перемежающаяся ими речь представляется то устойчивой, то текучей, неизбежно этого рода свойство должно заключаться в ритмах. Ведь и самый период, о котором мы не раз говорили, в зависимости от ритма несется и спадает все стремительнее, пока не дойдет до конца и не остановится. Итак, ясно, что прозаическая речь должна быть подчинена ритму, но должна чуждаться стихов. (188) На очереди стоит рассмотреть, поэтические ли это размеры, или какие-либо иные. Нет размеров за пределами тех, которые применяются в поэзии; ведь число размеров ограничено. Все они принадлежат к одному из трех родов, потому что стопа, применяемая для размера, допускает три возможности: или она распадается на две, равные по долготе, части, или одна часть вдвое длиннее другой, или наконец она длиннее ее в полтора раза. Так, при равенстве частей получается дактиль, при двойной долготе — ямб, при полуторной — пэан. Как же могут эти стопы не встречаться в прозаической речи? А если они располагаются в известном порядке, то, что получается, неизбежно приобретает ритмический характер. (189) Но встает вопрос: каким размером или какими размерами предпочтительно следует пользоваться? А что все они могут встречаться в прозе, видно уже из того, что в прозе мы часто нечаянно произносим стихи. Это — большой промах, но мы на это не обращаем внимания, не вслушиваясь в наши слова; шестистопных ямбов и Гиппонактовых

стихов мы едва ли в состоянии избежать, ибо в значительной доле наша речь состоит из ямбов. Однако эти стихи слушатель признает охотно, так как они ему в высшей степени привычны; по неосмотрительности, однако, мы часто вставляем и менее привычные, но все же стихи; все это тяжелые промахи, которых необходимо избегать путем большого напряжения внимания. (190) Итак, следует считать установленным, что и прозаической речи свойственны ритмы и что ритмы ораторские тождественны поэтическим. 57 (191) На очереди стоит, следовательно, рассмотрение вопроса о том, какие размеры более всего подходят для складной прозаической речи. Некоторые считают таковым ямбический размер, так как он ближе всего подходит к прозе: поэтому-то в силу своей реалистичности он преимущественно и применяется в драме, тогда как дактилический размер более приспособлен к торжественному стилю гекзаметров. Эфор же, сам изящный оратор, прошедший прекрасную школу, придерживается пэана или дактиля и избегает спондея и трибраха. Так как в состав пэана входят три кратких слога, а в дактиль — два, то благодаря краткости и быстроте произношения такие слова, по мнению Эфора, льются более плавно, в спондее же и трибрахе получается обратное: от того, что первый состоит из одних долгих, а второй — из одних кратких слогов, в последнем случае речь оказывается слишком торопливой, в первом же — слишком замедленной, и ни та, ни другая не соблюдают меры. (192) Но и представители первого мнения ошибаются, да и Эфор не прав. Ибо те, которые обходят пэан, не замечают, что они оставляют в стороне размер в высшей степени непринужденный и в то же время чрезвычайно эффектный. Далеко не таков взгляд Аристотеля, который считает, что героический размер слишком торжествен для прозы, ямб же слишком близок к повседневному языку. Таким образом он не одобряет ни низкой и пошлой речи, ни слишком высокопарной, напыщенной; он настаивает однако на том, что она должна быть полна такого достоинства, которое бы приводило слушателей в тем большее восхищение. Трибрах же, по длительности равный хорее, он называет кордаком, (193) так как ускоренное произношение и краткость лишают речь достоинства. Итак, он рекомендует пэан и говорит, что им пользуются все, сами того не замечая; пэан, по мнению Аристотеля, стоит на третьем месте и занимает среднее положение между двумя другими упомянутыми стопами; вообще же эти стопы, говорит он, построены так, что в каждой из них имеется либо полуторное, либо двойное, либо равное взаимоотношение частей. Таким образом те, о которых я говорил выше, принимали в расчет лишь удобство произношения, нимало не заботясь о достоинстве речи. Но ведь ямб (194) и дактиль — размеры наиболее пригодные для стиха; поэтому, раз мы избегаем стихов в прозаической речи, то необходимо избегать и рядов этих стоп. Проза есть нечто отличное от поэзии и менее всего мирится

со стихами; пэан же наименее приспособлен для стиха, и тем охотнее его усвоила проза. А Эфор, избегая спондея, не учел даже и того, что он равен по длительности дактилю, им же признаваемому. Дело в том, что стопы, по его мнению, должны измеряться количеством слогов, а не длительностью: так же он поступает и по отношению к трибраху, который по длительности и взаимоотношению частей равен ямбу, но в прозе, в случае помещения его на конце, он недопустим, потому что в конце лучше ставить слова, оканчивающиеся на долгий слог. Так же, как Аристотель, высказываются о пэане Феофраст и Теодект. (195) Я же полагаю, что в прозаической речи как бы перемешиваются и сливаются все стопы. Ведь мы не могли бы избежать порицания, если бы постоянно пользовались одними и теми же размерами, так как проза, с одной стороны, не должна быть сплошь размеренной подобно поэтическому произведению, а с другой — не должна быть вовсе чужда ритму, подобно языку простого народа. В первом случае она будет слишком связана и обнаружит свой искусственный характер, во втором — слишком беспорядочна, так что произведет впечатление обыденности и пошлости; в итоге, первое не доставит наслаждения, второе вызовет отвращение. (196) Итак, согласно сказанному мною выше, прозаическая речь не должна быть ни беспорядочной, ни целиком размеренной; разнообразить же ее следует преимущественно пэаном, раз таково мнение лучшего авторитета, но также впрочем и другими размерами, которые Аристотель обошел молчанием. 58. Теперь надлежит поговорить о том, какие именно размеры с какими следует смешивать, наподобие смешения красок для получения оттенков, а также о том, для каких родов речи каждый из этих размеров наиболее приспособлен. Ямб, например, более всего распространен в таких речах, которые излагаются спокойным и простым языком, пэан же — в более возвышенных, (197) дактиль — и в тех, и в других. Поэтому в речи разнообразной по содержанию и длительной эти размеры следует перемешивать и сочетать друг с другом. При этом условии меньше бросятся в глаза старание произвести впечатление и намеренная отделка речи. Все это легче будет скрыть, если мы воспользуемся значительными и выразительными, и мыслями. Слушатели обращают внимание на эти две стороны и в них находят наслаждение, то есть в выражениях и в мыслях, и между тем как они воспринимают их с напряженным вниманием и восхищением, от них ускользает и проходит незамеченным ритм, при отсутствии которого, однако, те же самые элементы произвели бы меньшее впечатление.

(198) При всем том последование размеров (я имею в виду ритм прозы, ибо в стихах дело обстоит совсем иначе) не должно протекать так, чтобы метр ни в чем не нарушался: ведь это было бы тогда уже поэтическим произведением; нет, ритмической считается всякая речь, движущаяся ровно и устойчиво, без хромания и подобия ша-

тания. Не та ораторская речь признается ритмической, которая целиком основывается на ритмах, а та, которая более всего приближается к ритмам. Поэтому даже труднее говорить прозой, чем писать стихи, так как в стихах есть известный твердый, точно сформулированный закон, которому необходимо следовать; в ораторской же речи нет ничего наперед установленного, кроме требования, чтобы она не была бесформенной, или слишком стесненной, или беспорядочной, или, наконец, однообразно текучей. Таким образом, нет в ней, как при игре на флейте, отбивания такта, но весь период в целом и внешняя форма речи закончены и введены в границы, и проверяется это наслаждением, доставляемым слуху. 59 (199) Обычно ставится вопрос: во всем ли периоде целиком следует выдерживать размеры, или только в начальных и конечных его частях; большинство полагает, что ритмической должна быть только заключительная часть, только окончание фразы. И верно, что ритмической должна быть преимущественно она, но неверно, будто она одна, ибо период должен быть стройно расположен, а не беспорядочно брошен. В силу этого, поскольку слух всегда напряженно ожидает заключительных слов и на них успокаивается, постольку отсутствие в них ритма недопустимо. К этому, однако, концу должен с самого начала направляться период и на всем своем протяжении от истока протекать так, чтобы, подойдя к концу, он сам собою останавливался. Это, впрочем, для (200) людей, прошедших хорошую школу, которые много писали и все, что говорили без предварительной проработки в письменной форме, отделявали наподобие написанного, не представит непреодолимых трудностей. Ведь сначала мысль очерчивается определенное положение, а затем тотчас же набегают слова, которые та же мысль, ни с чем не сравнимая по быстроте, немедленно рассылет в разные стороны, чтобы каждое откликлось со своего места, и, в зависимости от намеченного их порядка, получается здесь одно ритмическое заключение, там — иное. При этом все эти слова, и начальные и находящиеся в середине, должны иметь в виду конечную часть (201) предложения. Иногда речь несется стремительнее, иногда движется умеренной поступью, так что с самого начала следует предусмотреть, каким темпом ты намерен подойти к концу. Но, пользуясь в прозе приемами поэтов, не только размерами, но в такой же мере и остальными украшениями речи, мы должны избежать сходства с поэтическими произведениями. И здесь, и там имеются материал и его использование: материал заключается в словах, использование — в их расположении. 60 (202) А в той и в другой группе в свою очередь по три раздела: слова разделяются на метафоры, новообразования и архаизмы (ибо о словах в их собственном значении у нас здесь нет речи); расположение же слов распадается на те элементы, о которых мы говорили: сочетание, симметричность, ритм. Поэты пользуются и тем и другим больше и свободнее, и метафоры

они применяют не только чаще, но и смелее, и архаизмами пользуются охотнее, и новые слова образуют свободнее. То же происходит с размерами, в отношении которых они как бы принуждены подчиняться естественной необходимости. Тем не менее легко можно убедиться, что это — вещи не резко отграниченные друг от друга и ни в какой мере не лишенные связи между собою. Отсюда следует, что ритм неодинаково проявляется в прозе и в стихе и что то, что в прозе называется ритмическим, не всегда зависит от размера, но нередко также и от симметричного порядка и построения слов внутри фразы. (203) Итак, если вопрос ставится о том, какие именно размеры свойственны прозе, то мы ответим: все, но одни лучше и более удобны, другие — менее. Если спрашивается о месте их применения, то мы ответим: в любой части фразы. На вопрос о том, откуда возник размер, ответим: из искания наслаждения для слуха. Если спрашивается о способах соединения размеров между собой, то об этом будет сказано в другом месте, так как это относится к практике дела, что в намеченном нами плане изложения составляет четвертый — и последний — раздел. Если спросим себя, с какой целью они применяются, то скажем: для услаждения слушателей. Когда они применяются? — Всегда. В каком месте? — На всем протяжении периода. Наконец: что именно обуславливает наслаждение? То же, что в стихах, мерное строение которых обнаруживается художественной теорией, но определяется помимо искусства бессознательным чутьем самого слуха. 61 (204) Достаточно о природе ритма: очередь за практикой, о которой следует подробнее побеседовать. Производились исследования о том, на всем ли протяжении прозаического периода следует выдерживать размеры или только в его начальных частях, или, напротив, только в заключительных, или, наконец, и в тех и в других; далее, если размер и ритм не одно и то же, то поскольку размер не тождественен ритму, то в чем тут разница? (205) Затем также: при всех ли размерах следует разбивать фразу на равномерные участки, или делать одни короче, а другие — длиннее? И когда надо так поступать и почему? Какие членения следует применять? Несколько ли зараз, или каждый раз какое-нибудь одно? Различные или равные? Когда применять последние и когда первые? Далее: какие ритмические члены наиболее сочетаются между собой и каким образом? Или вообще здесь нет никакого различия? Наконец: что важнее всего, каким способом речи придается ритмический характер? (206) Следует также объяснить, чем обусловлено стройное сочетание слов, сказать о том, какой длины подобает строить периоды, побеседовать о частях и как бы отрезках этих периодов и поставить вопрос: один ли возможен вид и одна ли возможна величина этих отрезков, или их может быть несколько и, если несколько, то в каких местах, и когда, и каким образом каждый из этих видов следует применять.

И последнее: должна быть разъяснена польза всего прозаического рода в целом, что, впрочем, имеет очень широкое значение, ибо применяется этот род не в одном каком-нибудь случае, а в целом ряде таковых. (207) Но ведь можно, не отвечая по отдельным пунктам, обо всем роде в целом говорить так, чтобы получились достаточно ясные ответы и на отдельные вопросы. Таким образом, оставив в стороне прочие виды прозы, займемся в качестве предмета нашей беседы одним только тем, который применяется в судах и на форуме. Что касается других видов, т. е. истории и того, который мы называем эпидейктическим, торжественным, то они, по моему мнению, целиком могут строиться согласно приемам Исократ и Феопомпа, т. е. с применением вышесказанного очертания мыслей в кругообороте слов, чтобы речь мерно двигалась, как бы заключенная в круг, оставаясь после отдельных, завершенных (208) и законченных мыслей. Таким образом, с тех пор как народилось это очерчивание мыслей в словах или их охват, стройная их последовательность или кругооборот их, если дозволено пользоваться этими обозначениями, ни один сколько-нибудь значительный писатель не писал этого рода речей, рассчитанных на услаждение слушателей, далеких от судов и политической борьбы, без того, чтобы подвергать мысли почти целиком тщательному словесному обрамлению и не подчинять их ритму. Ибо, поскольку слушателю не приходится опасаться покушений на совесть, попыток завлечь ее в засаду с помощью искусно составленной речи, он лишь благодарен оратору, готовому служить очарованию его слуха. 62 (209) Что касается судебных процессов, то для них этот род красноречия не следует ни принимать целиком, ни совершенно отвергать. Ибо, если им пользоваться постоянно, то он, с одной стороны, вызывает пресыщение, с другой — сущность его распознается даже неискушенными слушателями; кроме того им уничтожается острота переживания, убивается человеческая жизненность чувства говорящего и в корне устраняется правдивость речи, перестающей внушать доверие. Но если иногда этот род красноречия применим, то следует рассмотреть, во-первых, в каких случаях его применять, далее — как долго, и, наконец, сколько существует способов перехода от этого рода к другому. (210) Итак, применяться ритмическая проза должна тогда, когда надо что-нибудь восхвалять в пышных выражениях, или когда повествовательная часть речи требует больше торжественности, чем аффекта. Часто также заключительная часть речи принимает ритмически плавное течение, при общем одобрении слушателей. Это годится тогда, когда слушатель уже побежден оратором и находится в его власти. Он больше уже не занят подкарауливанием и выслеживанием: он уже расположен к оратору, ждет продолжения речи, восхищаясь ее силой, и не ищет, к чему бы придаться. Но этот характер не следует сохранять долгое время, (211) — я не говорю об эпилоге: для него он как раз подходит —

но в остальных частях речи. Именно, воспользовавшись им в тех местах, где, как я указал, это допустимо, необходимо далее целиком перестроить форму изложения, переделав ее в то, что греки именуют коммами и колонами и что мы, я думаю, правильно могли бы назвать отрезками или членами. Ведь раз неизвестны сами предметы, то не могут быть известны и соответствующие им наименования, но, поскольку мы обычно прибегаем к метафорам для услаждения слуха или для восполнения недостающих нам слов, то во всех областях знания, в тех случаях, когда приходится подыскивать наименование для такого предмета, который вследствие своей неизвестности ранее не имел названия, принято по необходимости или выдумывать новые слова, или заимствовать их у сходного понятия. 63 (212) Что значит говорить, деля речь на отрезки, или на члены, — мы рассмотрим в дальнейшем: сейчас надо побеседовать о том, сколько существует способов изменять ритм как в самих периодах, так и в отдельных его закругленных частях. Ритм, вообще, течет то быстрее благодаря краткости стоп, то — в силу протяженности — медленнее. Стремительного движения требуют в большей мере полемические части, изложение дела — напротив — замедленного темпа. Заканчиваться период может различными способами, из коих одному преимущественно следовала азиатская школа: это так называемый дихорей, когда период заканчивается двумя хорейми, то есть двумя стопами, по одному долготу и по одному краткому слогу в каждой; последнее пояснение необходимо потому, что у различных авторов одним и тем же стопам даются различные наименования. (213) Пользование дихореем в клаузуле не может по существу вызывать возражений, но нет ничего более недопустимого в прозаическом ритме, чем постоянное повторение одного и того же размера. Сам же по себе дихорей прекрасно звучит в окончаниях: тем более однако же следует опасаться пресыщения им. (215) Слишком часто применять его не следует, так как сначала размер нравится, потом приедается, и наконец, когда обнаруживается его легкость, к нему начинают относиться с пренебрежением. 64. Но есть ряд других клаузул, которые ритмично и приятно звучат в окончаниях. Таков и кретик, состоящий из долгого, краткого и долгого, и однородный с ним пэан, равный ему по длительности, но имеющий на один слог больше. Пэан, по признанию многих, чрезвычайно удобно вплетается в прозаическую речь, тем более что он имеет две разновидности: или он составляется из одного долгого со следующими тремя краткими (этот размер бодро звучит вначале и расплывается в окончаниях), или же он состоит из стольких же кратких впереди и одного долгого заключительного. Именно этот размер древние ораторы признают наилучшим для окончаний; (216) я не отвергаю его совершенно, но предпочитаю иные. Не заслуживает полного пренебрежения и спондей, хотя, состоя из двух долгих, он и представляется несколько

вялым и замедленным; тем не менее ему свойственно некоторое устойчивое и не лишенное достоинства движение, впрочем, в гораздо большей мере в отрезках и членениях фраз, так как здесь он восполняет малочисленность стоп своей тяжелой медлительностью. Но, называя эти стопы и говоря о клаузулах, я имею в виду не только последнюю стопу, но присоединяю к ней, по меньшей мере, и ближайшую ей предшествующую, а часто также и третью. (217) Но даже ямб, состоящий из краткого и долгого, или, равный хорее, состоящий из трех кратких, трохей, равный ему, впрочем, по длительности, а не по количеству слогов, или наконец дактиль, заключающий в себе один долгий и два кратких слога, в случае помещения их на предпоследнем месте, достаточно плавно достигают конца периода, если последний завершается хореем или спондеем: всегда безразлично, которая именно из этих двух стоп занимает последнее место. Но те же три стопы дают неудовлетворительное заключение, если какая-либо из них помещена в самом конце, за исключением тех случаев, когда дактиль в конечной стопе заменяет собой кретик, ибо нет никакой разницы, стоит ли в конце дактиль или кретик, так как даже в стихе не имеет значения, краток ли последний слог или долог.

(218) По этой же причине и те, кто признавали более подходящим для клаузулы пэан, имеющий последний слог долгий, проявили близорукость, так как долгота последнего слога роли не играет. К тому же пэан, поскольку он имеет более трех слогов, некоторыми признается даже не стопой, а сложным размером. Правда, он, согласно единодушному признанию всех древних авторитетов — Аристотеля, Феофраста, Теодекта, Эфора, является наиболее подходящим размером и для начала речи, и для середины: они склонны считать его таковым также и для окончания, но мне представляется на этом месте более подходящим кретик. Что касается дохмия, состоящего из пяти слогов — краткого, двух долгих, краткого и долгого, — то он применим для любого места, лишь бы он был употреблен один только раз; повторение же его — дважды или несколько раз подряд — подчеркивает ритм, делает его слишком заметным. 65 (219) Итак, если мы будем пользоваться всеми перечисленными столь различными способами перехода, то, с одной стороны, не будет слишком явно обнаруживаться искусственность, с другой — будет предупреждена возможность пресыщения. Но речь становится ритмичной не только благодаря наличию в ней размера, но также и благодаря построению и, как выше было сказано, благодаря характеру симметричного расположения слов. Ритмичность, созданную построением, можно видеть тогда, когда слова строятся так, что ритм кажется не искусственно созданным, а вытекающим сам собою. Определенный порядок слов создает ритм без всякого явного намерения оратора. (220) Есть, в самом деле, такие обороты речи, в которых наличие размера является необходимым послед-

ствием симметричного расположения слов. Например, когда сопоставляются одинаковой длины члены, или когда противопоставляются друг другу противоположные, или когда следуют одно за другим слова с одинаковыми окончаниями: всякое подобного рода заключение в большинстве случаев выходит ритмичным. Об этой группе мы говорили выше: ее богатство также дает возможность не заканчивать периода постоянно одним и тем же способом. Тем не менее даже и эти рамки не настолько тесно и плотно пригнаны, чтобы мы не могли при желании их расширить. Большая разница, является ли речь ритмической, то есть только напоминающей размеры, или же сплошь состоит из них: последнее — непростительный промах, при отсутствии же первого условия речь становится несвязной, неотделанной и расплывчатой. 68 (227) Ведь говорить красиво, так, как говорит истинный оратор, — это не что иное, как говорить, высказывая прекраснейшие мысли и облакая их в избраннейшие выражения. С одной стороны, нет мысли, которая могла бы принести действительную пользу оратору иначе, как изложенная складно и законченно; а с другой — и красивые обороты речи производят эффект лишь при условии тщательного расположения слов, и как тому, так и другому блеск придается ритмом. Что касается ритма — это следует постоянно напоминать, — то он не только не должен быть так строго выдержан, как в поэзии, но даже должен избегать этой строгости и менее всего быть похожим на поэтический. Не потому, что не только у оратора и у поэта, да и вообще во всяком разговоре и даже во всех звучаниях, которые наше ухо способно измерять, бывают размеры, а потому, что от порядка стоп зависит, походит ли произнесенная фраза на прозу или на стихи. Итак, этот прием — (228) предпочтем ли мы его назвать построением или отделкой, или ритмом — необходимо применять, если желают говорить красиво, и не только с той целью, чтобы, как говорят Аристотель и Феофраст, речь не неслась безостановочно, как речной поток (ведь остановка в ней должна определяться не тем, что у говорящего не хватило дыхания, или что писец поставил черточку, а требованиями ритма), но еще и потому, что стройная речь производит гораздо более сильное действие, чем беспорядочная. Мы наблюдаем, что и атлеты, так же как и гладиаторы, и в осторожных методах защиты и в стремительных способах нападения не делают иных движений, кроме обнаруживающих известную выучку, так что все применяемые в этом деле приемы, полезные для боя, в то же время приятны и для глаза; так и оратор наносит решительный удар лишь в том случае, когда наступление бывает удобно, а при отражении натиска оказывается достаточно защищенным только тогда, когда он учитывает, как и при отступлении сохранить достоинство. (229) Мне представляется таким образом речь тех, кто не заканчивает мыслей ритмическими концовками, подобной движениям тех атлетов, которых греки называют «невышколенными», и утверждение, будто речь от обдуманной расстановки слов

теряет в силе, — а говорят так обычно люди, которые не смогли достигнуть этого из-за недостатка школы, или из-за слабых способностей, или из-за уклонения от работы над собой, — настолько далеко от истины, что в действительности, напротив, без этого в ней ни размаха, ни мощности быть не может.

Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен.

17 (104) Так как достоинство и красота речи обуславливаются в значительной мере ритмом, то, чтобы никому не казалось, будто я опрометчиво ввожу в нестихотворный, лишенный размера, прозаический язык ритмы и метры, составляющие предмет теории музыки, я представляю по данному вопросу свои соображения.

Дело обстоит вот как.

Всякое имя и всякий глагол, равно как и всякая иная часть речи, если только это не односложное слово, сопровождаются при произнесении некоторым ритмом: одно и то же я называю и стопой, и ритмом.

18 (112) Сильные, исполненные благородства и величавости ритмы дают величавые, благородные и роскошные сочетания, а слабые и робкие ритмы дают и сочетания, лишенные силы и величавости, безразлично, будут ли эти ритмы взяты сами по себе, одни, или же в сплетении друг с другом. Итак, если представится нам возможность сложить речь всю сплошь из одних только лучших ритмов, то это будет для нас исполнением заветных наших желаний; но если будет необходимо давать вперемежку ритмы и получше и похуже, как это в большинстве случаев и бывает, так как свои названия вещи носят случайно, то придется искусно распределять ритмы, прелестью сочетаний скрадывая необходимость, тем более что мы это можем делать вполне безнаказанно: ведь, в противоположность стихам, в прозаической речи нет ритма, который бы из нее изгонялся.

25 (189) Ты стремишься, думаю я, услышать о том, каким же образом нестихотворная речь становится подобна прекрасному стихотворению или прекрасной песне и каким образом песнь или стихотворение походят на прекрасную речь. (195) Никакая сложенная без размера речь по одному только своему сложению не в состоянии приобрести ни стихотворной музыкальности, ни певучей прелести. Правда, большое значение имеет и выбор слов: существует поэтическое словоупотребление, когда в лишенную метра (196) речь обильно вмешивают те редкие, или непривычные, или образные, или искусственные слова, которые придают такую прелесть поэзии. Но я говорю, конечно, не о выборе слов. Сейчас вопрос о выборе пусть останется в стороне: давайте займемся сейчас рассмотрением самого сочетания, открывающего нам прелесть поэзии в словах обиходных, избитых, всего менее поэтических. Речь прозаическая не может, сказал я, уподобиться ни стихотворной речи, ни песенной, если в

ней не будет размеров и тех или иных ритмов, в нее незаметно вправленных. Она не должна, понятно, производить впечатление сплошь метрической или ритмизованной речи, потому что тогда она сделается стихотворением или станет песней и попросту утратит собственный свой характер: достаточно, если она будет только ритмической и размеренной. Так окажется она поэтической, не являясь стихотворением, и будет напевной, не делаясь песней. В чем здесь разница, понять очень нетрудно. Речь стихотворная, или песенная, содержа в себе одинаковые размеры и сохраняя определенные ритмы, (197) тянется одними и теми же фигурами, обнимая стих, период или строфу, а затем, в последующих стихах, периодах или строфах употребляет опять те же ритмы и те же размеры: повторяя это несколько раз, она ритмом и размером связывается. Названия, применяемые к такой речи: стихи или песнь. Другая же речь, вбирающая в себя размеры непостоянные и ритмы беспорядочные и ни их последовательности, ни взаимной их сопряженности, ни строфичности не соблюдающая, ритмична, так как испещрена какими-то ритмами, но ритмом она не связана, потому что испещрена она ритмами неодинаковыми и встречающимися в ней не в определенных местах. Такова, говорю я, всякая прозаическая речь, являющаяся поэтичностью и напевностью. 26 (212) Что касается сложения песен и стихотворений, имеющего большое сходство со сложением прозаической речи, то я должен сказать, что и здесь, как и в поэтике прозы, главное дело — смычка самых слов, во-вторых — сочетание колонов и, в-третьих, соразмерность периодов. И вот, кто желает иметь по этой части успех, тому следует частицы речи всячески поворачивать и всячески их соединять, а колоны отделять один от другого равномерными промежутками, стараясь колонов не (213) кончать вместе с концом стиха, а рассекать ими стих, придавая им различную величину и делая их взаимно несхожими, а нередко превращая их в коммы, которые короче колонов; следующие же один за другим периоды не надо создавать одинакового размера или похожими один на другой по форме: расхождение с размером и ритмом кажется особенно близким прозе. Тем, кто пишет гекзаметром, или ямбами, или иным каким-либо однообразным размером, прерывать свои произведения множеством других размеров и ритмов нельзя: им необходимо держаться всегда одной неизменной формы. Но поэтам песни можно вводить в один и тот же период различные размеры и ритмы. Таким образом, когда пишущие одним размером разлагают свои стихи, ломая их колонами, то они уничтожают четкость (214) размера, растворяют ее; когда же они разнообразят величину и форму периодов, то они заставляют нас забывать о метре. А поэты песни, пишущие свои строфы разнообразными размерами и отделяющие неодинаковыми и различной величины интервалами неодинаковые и различной величины колоны, благодаря

этому двойному средству не позволяют нам ощутить однообразие ритма, сообщая песням великое сходство с прозой. И хотя в стихотворениях и встречаются и образные, и непривычные, и редкие выражения, это не мешает им походить на прозу.

О возвышенном 41.

1. Ничто так не снижает высокую речь, как прерывистый и торопливый размер, вроде пиррихия, трохея и дихорея, которые впадают в конце концов в плясовый ритм. Всякая сплошь ритмичная речь кажется пустой, мелочной и лишенной чувства, поверхностной и однообразной. 2. Но еще хуже то, что подобно тому как легкие песенки отвлекают слушателей от самого действия и насильно привлекают внимание к себе, так и сплошная ритмичность речи заставляет слушателей переживать не страстность, заложенную в самой речи, а только страстность ритма. Иногда слушатели, зная наперед предстоящие окончания, стучат в такт ногами и спешат, как в танце, движением передать ритм. 3. Так же лишает речь величия и слишком большая сжатость, рассеченность на мелкие и краткие стопы, как бы сколоченные одна с другой гвоздями в тех местах, где образуются перерывы и шероховатости.

Деметрий.

39. Почему же Аристотель предписывает (начинать период первым пеоном и заканчивать четвертым)? — Потому что и вступление или начало колона и конец его должны сразу же обнаруживать величие, а это будет достигнуто, если мы будем начинать с долгого слога и кончать долгим. Долгий слог по самой своей природе величав и в начале сразу же производит соответствующее впечатление и, заканчивая собою колон, оставляет слушателя под впечатлением величия. Мы все особенно хорошо запоминаем начала и концы; они сильнее всего действуют на нас, а средние части — слабее, так как они как бы скрыты и затушеваны. 41. Надо иметь в виду, что если мы не можем систематически ставить во всех колонах пеоны — один в начале, другой в конце, — то следует все же придавать конструкции общий пеоновый характер, например, начиная и кончая колоны долгими слогами. Это, по-видимому, предписывает и Аристотель, а подробные наставления относительно двух родов пеоны он дает только ради точности. Надо, следовательно, вводить в речь пеоны, потому что это стопы смешанные, а потому и более спокойные, чем другие; они заключают в своем долгом слоге величавость и прозаический характер — в кратких. 42. Из других размеров гексаметр торжествен, непригоден для прозы, а певуч; не ритмичен, а лишен ритма. Частота его долгих слогов выходит за пределы того, что допустимо в прозаических размерах. 43. Ямб прост и похож на обыденную речь. Ведь многие, не замечая того, употребляют в разговоре ямбический

размер. Пэон же занимает среднее место между ними и является умеренным и как бы смешанным ритмом. Так в величавом стиле следует применять пэоническое построение.

ФИГУРЫ (*σχήματα*, *figurae*)

Афиней из Навкратиды и Аполлоний Молон (Фебаммон, О фигурах I, 10).

Афиней из Навкратиды и Аполлоний, называемый Молон, определяли фигуру так: фигура есть изменение (конструкции), ведущее к услаждению слуха.

Цецилий (Фебаммон, О фигурах I, 5).

Цецилий Калактинский так определил фигуру: фигура есть уклонение мысли и выражения от присущей им природы.

Квинтилиан, IX, 1.

10. Фигура определяется двояко: во-первых, как всякая форма, в которой выражена мысль, во-вторых, фигура в точном смысле слова определяется как сознательное отклонение в мысли или в выражении от обыденной и простой формы. 12. Согласно первому и более общему пониманию, не останется ничего такого, где бы не было фигуры. Если мы согласимся с этим, то правильно Аполлодор, если верить Цецилию, считал, что правила, касающиеся этой части (стилистики), безграничны. 13. Но следует понимать под фигурой только те случаи, когда простое и естественное выражение изменяется в сторону большей поэтичности или красноречия. 14. Таким образом, будем считать фигурой обновление формы речи при помощи некоего искусства.

Геродиан, О фигурах (III, 85, 4 Sp).

Фигура есть изменение выражения из обычного в более сильное на основе какой-нибудь аналогии.

Деметрий, 59.

Словесные фигуры являются неким видом построения речи. Говорить два раза одно и то же путем удвоения, или путем созвучия начал, или варьировать выражения — все это равносильно распределению слов и перестановкам их.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИГУРАМИ (*χρῆσις*, *usus*)

Феофраст (Дионисий Галикарнасский, Лисий 14).

Однообразное и сплошное употребление фигур придает речи ребяческий и как бы поэтический характер. Поэтому это непригодно в серьезной речи. Представляется неуместным, чтобы человек, серьезно относящийся к делу, забавлялся словами и формой своей речи уничтожал ее пафос, так как такая речь расхолаживает слушателя.

Риторика к Гереннию, IV.

22 (32) Те три вида украшений, из которых один основан на сходстве падежных окончаний, другой — на сходстве окончаний вообще, а третий — на созвучиях, должны в действительной речи находить себе применение крайне редко, потому что неизменно кажется, что подобрать подобные вещи иначе нельзя, как путем старательной, усердной работы и что такого рода работа имеет, как думают, целью не обнаружение истины, а усладу. 23. Отсюда ущерб доверию к словам оратора и умаление величия и серьезности речи, когда эти украшения применяются часто: речь не только теряет в весе, но вызывает еще и неприятное ощущение, так как в этих приемах есть изящество, есть остроумие, но нет в них достоинства и нет красоты. Обороты возвышенные и прекрасные могут нравиться долго, а изящные и слишком стройные скоро приводят к пресыщению такое разборчивое чувство, как слух. При нашем частом пользовании этими фигурами создается впечатление, будто мы ребячливо забавляемся слогом; и в свою очередь, если мы будем лишь изредка вводить в речь подобные украшения и, рассыпая их на всем ее протяжении, их разнообразить, то мы всю нашу речь озарим удачным размещением светочей.

О возвышенном.

17, 1. Не следует умолчать об одном из моих наблюдений — я его формулирую совсем кратко, — что фигуры по самой своей природе способствуют возвышенности стиля и в свою очередь удивительным образом поддерживаются им. Риторическая фигура лучше всего тогда, когда не замечаешь, что это — фигура.

20, 1. Сильное впечатление производит обыкновенно и сочетание нескольких фигур, когда две или три, объединившись как бы в компанию, способствуют силе, убедительности и красоте речи. 23, 1. Что касается так называемых повторений, то все эти нагромождения, вариации и климаксы, как тебе известно, являются прекрасными орудиями в словесном состязании и содействуют красоте, величию и пафосу речи. Что сказать о замене падежей, времен, лиц, чисел и родов другими? Какую разнообразную пестроту и оживление

вносят они в речь! 26, 1. Живости содействует и перемена лиц: она часто заставляет слушателя думать, будто он сам находится среди опасностей. 27, 1. Иногда также писатель, рассказывая о каком-либо лице, вдруг обрывает рассказ и превращается сам в это лицо. В этом приеме как бы прорывается аффект.

Гектор же голосом звучным приказывал ратям троянским
 Прямо напасть на суда, а корысти кровавые бросить:
 «Если ж кого-либо я от судов удаленным замечу,
 Там же ему уготовлю и смерть» (Ил. 15, 346—349).

Поэт, как и следует, рассказывает от своего имени, а отрывочно начинающуюся угрозу он внезапно, без всякого перехода, заставляет произносить разгневанного вождя. Она звучала бы холоднее, если бы он вставил слова: «Гектор сказал то-то и то-то». А в таком виде внезапное изменение в форме изложения опережает рассказчика.

Квинтилиан, IX, 3.

2. Словесные фигуры бывают двух родов: один из них называется формой речи; изысканность другого обуславливается главным образом особым размещением слов. Хотя оба они пригодны для ораторской речи, однако первый можно скорее назвать грамматическим, второй — риторическим.

Сначала скажем о том, какие в них бывают недостатки. Всякая фигура есть недостаток, если она появляется не умышленно, а случайно. 3. Оправданием ей служат традиция, древность происхождения, в особенности привычка, а нередко и какое-нибудь особое соображение. Поэтому отклонение от простой и прямой речи будет достоинством, если для этого имеется какой-нибудь серьезный повод. Фигуры полезны главным образом тем, что устраняют скуку обыденной и всегда однообразно построенной речи и избавляют нас от речи вульгарной. 4. Если пользоваться ими умеренно и когда этого требует существо дела, как бы посыпая речь приправой, то последняя станет приятнее; но если злоупотреблять фигурами, то речь потеряет эту самую прелесть разнообразия. Правда, есть фигуры до того вошедшие в употребление, что они уже почти утратили это название. Такие фигуры даже при очень частом употреблении уже не поражают привыкший к ним слух. 5. Изысканные же и чуждые обыденной речи, а потому более благородные фигуры, в той же мере, в какой они поражают, когда они новы, в большом количестве вызывают чувство пресыщения. Они как бы сами говорят о себе, что оратор не случайно на них натолкнулся, но разыскал их, извлек из разных потайных мест и собрал вместе.

Деметрий.

27. Созвучия в колоннах и антитезы ослабляют силу речи своей искусственностью. 28. Итак, подобные приемы не пригодны ни для

придания речи мощи, ни для выражения аффектов, ни для показа характера говорящего. Для изображения аффекта требуются простота и безыскусственность, так же как и для изображения характера.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР

Квинтилиан, IX, 3.

(7) Бывают фигуры, зависящие от рода имен и от числа, (8) а именно — когда единственное число соединяется с множественным или наоборот. (9) Неопределенное наклонение глагола заменяет имя; мы употребляем глагол вместо причастия и причастие вместо глагола. (10) Иногда две фигуры соединяются в одну. (11) Изменяются и времена глагола, и наклонения. Короче говоря, изменения происходят по всем тем направлениям, при которых получается солекизм. (12) Сюда относятся и те, которыми кроме новизны достигается и краткость. (18) К этому же разряду фигур принадлежат те, которые получаются путем добавления и сокращения. Последнее в зависимости от контекста может быть или недостатком, или фигурой. (19) Часто мы пользуемся сравнительной степенью вместо положительной. Может считаться принадлежащей к этому роду фигур и парентеза, (23) когда в середину связной речи врываюся слова, имеющие какое-то другое значение; (24) затем, нечто похожее на ту смысловую фигуру, которая называется апострофой, но меняющее не смысл, а только форму речи. (27) Эти и сходные с ними фигуры, образуемые посредством изменения, добавления, сокращения и перестановки, привлекают к себе внимание слушателя и не позволяют ему скучать, заинтересованному каким-нибудь замечательным оборотом. Подобно тому как в пище бывает приятен и кислый вкус, они черпают из того, что в них похоже на недостаток, своеобразную прелесть. Это достигается в тех случаях, когда фигур не слишком много и когда однородные фигуры не скучены и не слишком часто повторяются; ибо пресыщение устраняется как разнообразием, так и редкостью. (28) Сильнее тот вид фигур, который не только зависит от структуры речи, но приспособляет свою красоту и силу к ощущениям слушателя. Из них на первое место должны быть поставлены те, которые образуются путем добавлений. Виды их многочисленны. (54) Теоретики дали всем этим фигурам названия, но различные, какие кто придумал. Источник всех фигур один: они ценны, потому что они заостряют и подчеркивают наши слова, придают им особую силу, давая чувству больше возможности проявляться. (89) Все это очень полно и подробно описали люди, которые не попутно коснулись этих вопросов как части своей темы, а посвятили им специальные книги, каковы: Цецилий, Дионисий, Рутилий, Корнифиций, Визеллий

и многие другие. Но тем не менее славны своими трудами по этим вопросам будут и наши современники.

(90) Хотя я и признаю, что еще многие словесные фигуры могут быть кем-нибудь найдены, тем не менее не одобряю и тех из них, которые признаны знаменитыми авторами за лучшие. Прежде всего Марк Туллий поместил в третьей книге своего сочинения «Об ораторе» много таких фигур, которые он сам, по-видимому, забраковал мимоходом в своем «Ораторе», написанном им позже. Часть их может быть скорее отнесена к смысловым фигурам, а не к словесным, как например умаление, неожиданность, уподобление, риторический вопрос, отступление, уступка, противоположение (это то, думается мне, что называется энантиотой), доказательство от противного. (91) Некоторые совсем не могут считаться фигурами, как-то: порядок перечисления, перифраза, а иногда именем фигуры обозначаются кратко выраженная мысль или определение. Ибо и это Корнифиций и Рутилий считают словесной фигурой. (92) И изменение, хотя это и есть то, что Рутилий называет аллойозой, показывающее несходство людей, вещей, поступков, если оно выражено пространно, не будет фигурой, а если кратко, то совпадает с антитезой; если же этот термин означает гипаллагу, то о ней достаточно уже сказано.

ФИГУРЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ (πλεονασμός, adiectio)

Удвоение (ἀναδίπλωσις, παλλιλλογία, conduplicatio)

Риторика к Гереннию IV, 28, 38

Удвоение: повторение одного или нескольких слов либо в целях усиления речи, либо ради возбуждения сострадания. Повторение одного и того же слова сильно действует на слушателя и большее ранит противника, подобно копьют, вновь и вновь вонзающемуся все в одну и ту же часть тела.

Квинтилиан, IX, 3.

(28) Отдельные слова повторяются либо для усиления, как например: «Я убил, убил не Спурия Мелия», либо с целью вызвать жалость: «Ах, Коридон, Коридон» (Верг. Экл. 2, 69). (29) Эта же самая фигура в иных случаях переходит в ироническое восхваление. Похож на такое удвоение, или даже несколько сильнее его, прием повторения после какого-нибудь восклицания.

Квинтилиан, IX, 3.

(32) При противоположениях и сравнениях обычно применяется чередующееся повторение начальных слов. Могут и (34) слова,

стоящие в середине, перекликаться либо с начальными, либо с конечными словами. Никто не станет сомневаться, что то же может происходить и при повторении слов, стоящих в середине.

Эпаналепсис (ἐπανάληψις)

Деметрий, 196.

Эпаналепсис заключается в повторении в длинном словесном обороте одного и того же союза.

Единоначатие, анафора (ἐπιαναφορά, repetitio)

Риторика к Гереннию, IV, 13, 19.

Повторение имеет место тогда, когда говоря о сходных или различных вещах, все время начинают с одного и того же слова. Этот способ украшения включает в себе много прелести, в особенности же много величественности и живости. Поэтому нам представляется, что его следует применять как для украшения, так и для усиления речи.

Квинтилиан, IX, 3, 30.

Многократное повторение одних и тех же начальных слов с резкостью и настойчивостью.

Антистрофа (ἀντιστροφή, conversio)

Риторика к Гереннию, IV, 13, 19.

Возвращением называется такой прием, когда мы повторяем не первое слово, как в предыдущем случае, а постоянно возвращаемся к последнему.

Гермоген, Об идеях I, 12, 285.

Антистрофа некоторым образом противоположна анафоре: в ней колонны заканчиваются одинаковыми словами. От парисосы она отличается тем же, чем отличается от парисосы и анафора.

Охват (συμπλοκή, complexio)

Риторика к Гереннию, IV, 14, 20.

Охват — фигура, охватывающая оба вида украшений: при ее применении дается частое повторение начального слова с неоднократным возвращением к конечному.

Квинтилиан, IX, 3, 31.

В другой фигуре повторяются одновременно начальные и конечные слова.

Эпано́д (ἐπίανωδος, regressio)

Квинтилиан, IX, 3.

(35) Существует и такой вид повторения, при котором слова, поставленные сперва рядом, потом повторяются отдельно. По-гречески такая фигура называется эпанодом, а у нас — регрессией. (36) При этом слова могут повторяться, не только сохраняя свое значение, но и изменяя его. Иногда при повторении слова меняется падеж или род его.

Разнообрази́е падежей (πολύπτωτον, casuum commutatio)

Риторика к Гереннию, IV, 22, 30.

Третья разновидность — та, которая имеет дело с изменением падежей в одном или нескольких именах.

Квинтилиан, IX, 3, 37.

Та фигура, которая сводится только к разнообразию падежей, называется полиптотон.

Исто́лкование (ἐξήγησις, interpretatio)

Риторика к Гереннию, IV, 28, 38.

Истолкование — фигура, при которой вновь возвращаются к одному и тому же слову, но не повторяя его, а заменяя употребленное слово другим, имеющим то же значение. Сердце слушателя неизбежно будет взволновано, когда величие только что произнесенной фразы обновится истолкованием слов.

Метабо́ла (μεταβολή)

Цецилий (Квинтилиан, IX, 3, 38).

Объединение в одну фигуру ряда видоизмененных повторений Цецилий называет метаболой.

Сплете́ние (πλοκή, copulatio)

Квинтилиан, IX, 3, 40.

У Цицерона встречается удивительное смещение фигур, когда первое слово после долгого перерыва повторяется на последнем

месте, средние слова совпадают с первыми, а последние — со средними. Такое изобилие повторений называется «плокой», сплетением из смешанных друг с другом фигур, как сказано выше.

Кольцо (κύκλος, *redditio, inclusio*)

Квинтилиан, IX, 3, 34.

С начальными словами могут перекликаться и конечные.

Стык, эпанастрофа (ἐπαναστροφί)

Квинтилиан, IX, 3, 44.

Нередко последнее слово первой фразы является в то же время первым — второй. Этой фигурой часто пользуются поэты:

О Пиериды, а вы их сделайте ценными Галлу,
Галлу, к кому, что ни час, любовь моя возрастает
(Верг. Экл. 10, 72, 73).

Гермоген, Об идеях I, 12, 286).

Эпанастрофа получается тогда, когда конец одного колона делают началом другого.

Скопление (συναδροισμός, *congerios*)

Квинтилиан, IX, 3.

(45) Иногда, наподобие тому, что мы говорили о повторении отдельных слов, и целые части фраз, начальные и заключительные, не тождественные, но сходные по смыслу, находятся в созвучии друг с другом. Иные называют это синонимией, другие — расчленением. И то и другое обозначения правильны, хотя они и различны, ибо здесь имеется разделение однозначных слов. Однозначные слова могут и скопляться. (46) Цицилий называет это плеоназмом, т. е. речью чрезмерно многословной. Но это является недостатком, если речь переобременяется излишним нагромождением слов, но может быть и достоинством, если она становится этим путем более полной и уясняет мысль. (47) Не понимаю, однако, почему он назвал это явление таким термином. Ведь и удвоение, и повторение, и любое добавление могут казаться плеоназмом. Возможно скопление не только слов, сходных по смыслу, но и целых выражений. (48) Нагромождаются иногда и разнообразные понятия.

Бессоюзие (*ἀσύνδετον*, *dissolutio*)

Риторика к Гереннию, IV, 30, 41.

Несвязанным построением называется такое, при котором связующие слова устраняются и отдельные части произносятся раздельно. Этот вид построения отличается остротой, обладает огромной силой и приспособлен к краткости.

О возвышенном.

19, 2. Построение фразы, при котором слова, не будучи связаны между собой, спешно несутся одно за другим, рисует то состояние тревоги, при котором человека что-то одновременно и удерживает, и толкает. 21, 1. Ну что же! Вставляй союзы, если хочешь... Начав сплошь писать таким образом, ты увидишь, как острый порыв чувства притупляется и сразу же затухает, как только ты союзами выгладишь и уровниешь ему путь. 2. Человек, связавший члены бегущих, лишил бы их быстроты движения. Точно так же и чувство, которому мешают союзы и прочие прибавки, негодует на эту помеху: она лишает его свободы в беге, не позволяет нестись как снаряду, выброшенному орудием.

Квинтилиан, X, 3, 50.

Во всех этих случаях может получиться еще и другая фигура, которая, характеризуясь отсутствием союзов, называется диссолюцией. Она пригодна в тех случаях, когда мы говорим о чем-нибудь с большой настойчивостью, ибо благодаря отсутствию союзов отдельные понятия подчеркиваются, и кажется, что их больше, чем на самом деле. Поэтому мы пользуемся этой фигурой не только в отношении отдельных слов, но и целых предложений. Этот род фигур называется брахиологией; она может быть соединением нескольких случаев диссолюции.

Многосоюзие (*πολύσύνδετον*)

Квинтилиан, IX, 3.

(50). Противоположная ей фигура — та, которая изобилует союзами. (51) Первая известна под названием асиндетона, вторая — полисиндетона. Последний имеет место при повторении либо однородных понятий, либо различных. (53) Могут разнообразиться также наречия и местоимения. Но как то, так и другое есть скопление слов; различие только в том, соединены ли они или не соединены союзами.

Лестница, климакс (κλίμαξ, gradatio)

Риторика к Гереннию, IV, 25.

34. Ступенчатость — фигура, при которой переходят к последующему слову не раньше, чем поднялись к слову, ему предшествующему. 35. Особую прелесть заключает в себе частота повторений предшествующего слова, являющаяся чертой, характерной для этой фигуры.

Квинтилиан, IX, 3, 54.

В градации, называемой климаксом, искусственность более очевидна и подчеркнута, а потому эту фигуру следует реже применять. Она также является фигурой пространности состава слов, так как она повторяет сказанное и перед тем, как перейти к последующему, останавливается снова на предшествующем.

Гермоген, Об идеях I, 12, 287.

Климакс представляет не что иное, как повторную анастрофу, например: «Не говорил я этого и не писал, не писал и не был в посольстве, не был в посольстве и не уговаривал». Что быстрота членения и краткость колонов придает здесь речи горячность, а благодаря обилию перехватов речь становится стройной — это вопрос другой. Впрочем, отчасти красоте присуща и стройность, да и самые перехваты тоже.

ФИГУРЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ПУТЕМ СОКРАЩЕНИЯ
(ἔνδεια, detractio)

Риторика к Гереннию, IV, 27.

37. Разъединение имеет место там, где то, о чем мы говорили, попарно или по каждому предмету в отдельности обнимается особым словом. 38. Соединение бывает часто, когда в середине помещают слово, охватывающее в речи и предшествующие и последующие части. Присоединение бывает в тех случаях, когда слово, охватывающее содержание всего предложения, мы ставим не в середине, а либо в начале его, либо в его конце. Разъединение — фигура, присутствующая остроумию: вот почему мы и будем пользоваться ею реже, чтобы не вызвать пресыщения. Фигура соединения соответствует краткости, вследствие чего ее и следует применять чаще.

Квинтилиан, IX, 3.

58. Фигуры, которые образуются посредством сокращения, стремятся главным образом к изяществу, заключающемуся в краткости и оригинальности. Одна из них та, которую я в предыдущей книге вы-

делил из синекдохи, а именно, когда какое-нибудь опущенное слово с достаточной ясностью подразумевается на основании прочих слов.

62. Вторая фигура, получаемая путем сокращения, та, в которой опущены союзы.

Зевгма (ζεύγμα)

Квинтилиан, IX, 3, 62.

Третья называется зевгмой: в ней к одному слову относятся несколько членов предложения, причем в каждом из них, взятом в отдельности, ощущалось бы отсутствие этого слова. Осуществляется это тем путем, что относящееся ко всем членам слово либо стоит впереди, причем последующие члены предложения сохраняют с ним связь, либо оно стоит в виде заключительного слова, замыкающего несколько членов. Может оно стоять и в середине, чтобы обслуживать как предыдущие, так и последующие члены.

Под зевгмой понимается также и то, когда одним словом обозначаются и мужской, и женский пол, или когда смешиваются единственное число и множественное. Но эти случаи так обычны, что им едва ли может быть присвоено название фигуры.

Синойкиоза (συνοικείωσις)

Квинтилиан, IX, 3, 64.

Не только ради сокращения делается то соединение, которое называют синойкиозой; в нем объединяются два противоположных понятия: «скупой настолько же не владеет тем, что имеет, как и тем, чего не имеет».

Усечение (παράλειψις, praecisio)

Риторика к Гереннию, IV, 30, 41.

Усечение бывает тогда, когда сказана часть, остальное же, о чем начали говорить, оставляется незаконченным.

ФИГУРЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ПУТЕМ СОЗВУЧИЯ (парономаσία, anpominatio)

Риторика к Гереннию, IV, 21, 29.

Созвучие имеет место тогда, когда путем изменения звуков или букв мы получаем почти тождественные глаголы или имена, обозначая несходные вещи одинаковыми словами.

Квинтилиан, IX, 3.

(66). Третий род фигур — тот, когда внимание слушателя возбуждается и заостряется либо созвучием, либо сходством, либо противоположностью слов. Это — парономасия, или, как говорят, анноминация. Она создается разными способами; например, слова могут повторять соседние слова, меняя падеж, (67) или слово повторяется с большей подчеркнутостью.

(74). Древние много заботились о достижении красоты речи при помощи как одинаковых, так и контрастирующих друг с другом выражений. Изысканность речи, сама по себе холодная и безжизненная, кажется врожденным даром, а не деланной, если она соединена с ярким содержанием.

(75). Фигур, основанных на сходстве слов, четыре вида: во-первых, к данному слову подыскивается другое, не слишком от него различающееся, или по крайней мере равносложное с ним и созвучное в последнем слоге. (76) Эта фигура всегда выходит красивой, когда она соединена с остроумным смыслом. Это и есть парисоса, по мнению многих. Клеостелей считает парисосой фигуру, составленную из приблизительно одинаковых колонов.

Риторика к Гереннию, IV, 22, 30.

Есть однако и другое созвучие, не дающее в словах такого близкого сходства, но все же не лишенное сходства. В этом случае в иных словах имеется известное сходство, не такое полное, как у первых, но тем не менее такое, что его можно иногда бывает использовать.

Квинтилиан, IX, 3, 67.

Парономасии противоположен тот случай, когда то же самое слово как бы опровергает правильность сделанного из него только что употребления: «частным лицам этот закон не казался законом».

А н т а н а к л а с а (ἀντανάκλασις, ἀντιμετάθεσις, *transductio*)

Риторика к Гереннию, IV, 14.

20. Переведение (перевод) — фигура, в которой повторное употребление одного и того же слова не только не оскорбляет наших чувств, но даже делает речь более складной, в таком роде: «у кого нет в жизни ничего привлекательнее самой жизни, тот не в силах проводить жизнь доблестно». 21. К такому же роду украшений относится еще и тот прием, когда одно и то же слово берется то в одном, то в другом значении.

В этих, здесь указанных нами видах украшений частое возвращение к одному и тому же слову происходит вовсе не по недостатку

слов: нет, тут есть какая-то прелесть, которую легче бывает оценить на слух, чем выразить на словах.

Квинтилиан, IX, 3.

(68) Парономасии родственна антанакласа, то есть употребление одного и того же слова в разных значениях. (69) И иными приемами повторяются либо одни и те же слова в различных значениях, либо слова, отличающиеся друг от друга лишь долготой и краткостью. Я удивляюсь, что подобные приемы рекомендуются, хотя они даже и в шутках бывают слабы. (71) Корнифиций называет антанакласу традукцией, что означает, по-видимому, замену одного значения другим. Но фигура бывает изящнее, когда изменяется только оттенок значения слова, или когда слово приобретает противоположный смысл путем изменения приставки. Острее и лучше становится выражение, когда благодаря фигуре оно вместе с приятностью получает и усиление смысла. (72) Случается также, что фраза, сильная и острая по содержанию, приобретает и прелесть созвучия благодаря не одинаковым, но близким по форме словам.

Равенство колонов (ἰσοκόλων, сотраг)

Риторика к Гереннию, IV, 20, 27.

Равенством называется такая форма речи, которая включает в себе колоны (о них мы уже говорили), состоящие приблизительно из одинакового количества слогов. Это достигается не путем подсчета, что, конечно, ребячество: нет, опыт и упражнение так изоцируют нашу способность, что в силу какого-то внутреннего чутья у нас будет получаться соответствие последнего колона равному ему предшествующему.

Деметрий, 25.

Бывают колоны созвучные. Созвучие может выражаться или их началом, или концом. Разновидностью этого созвучия будет равенство колонов, когда они имеют равное число слогов.

Квинтилиан, IX, 3.

(79) Наиболее удачным видом надо считать тот, когда начала и концы фраз находятся в соответствии между собою, то есть когда колоны приблизительно сходны по составу слов, оканчиваются одинаковыми падежами и имеют созвучные окончания. (80) Тогда она становится уже фигурой четвертого вида, характеризующейся равенством колонов, которая называется исоколон.

Триколон (τρίκωλον)

Квинтилиан, IX, 3, 77.

Из равных колонов образуется и так называемый триколон (трех-колонная конструкция), в которой однако не требуется, чтобы созвучия приходились непременно на заключительные слова. Но такая фигура может состоять и из четырех и более членов. Образуется она иногда и из отдельных слов: «Гекуба горюет, стыдится, жалеет об этом». «Он ушел, удалился, умчался, исчез».

Приблизительное равенство (παρίσων, prope aequatum)

Риторика к Гереннию, IV, 20, 28.

В этой фигуре часто может случиться, что число слогов не совсем одинаково, и все-таки будет оно таковым казаться несмотря на то, что один колон короче другого на один или даже на два слога, или если в одном колоне будет больше слогов, а в другом зато будет один или несколько более долгих или более полнозвучных слогов: долгота или полнозвучность этих слогов сможет возместить количество их в другом колоне и установить равновесие с ними.

Сходство падежных окончаний (ὁμοίωτων, *similiter cadens*) и концовка (ὁμοιότητεων, *similiter desinens*).

Риторика к Гереннию, IV, 20, 28.

Сходством падежных окончаний называется украшение, при котором в одной и той же фразе имеются два или несколько слов, сходно произносимых и стоящих в одинаковых падежах. Сходством окончаний называется фигура, в которой, даже при отсутствии падежных форм, окончания слов все же сходны. Эти два вида, из которых один основан на сходстве окончаний, а другой — на сходстве падежей, прекрасно подходят один к другому; поэтому умеющие хорошо ими пользоваться, помещают их в большинстве случаев вместе, в одинаковых местах речи.

Квинтилиан, IX, 3.

(77) Второй вид, когда для одинакового звучания клаузул последние части колонов составляются из одинаковых слогов, Клеостеллей называет гомеотелевтон, то есть одинаковым окончанием двух или нескольких фраз. (78) Третий вид, который характеризуется одинаковыми падежами в окончании колонов, называется гомеоптотон. Гомеоптотон не есть одинаковое окончание колонов; тождество окончаний характеризует гомеотелевтон, гомеоптотон же есть только

тожество падежей, хотя бы слова, стоящие в этих падежах, и были совершенно несходны между собой. При этом они могут стоять не только в конце, но и в начале и в середине, и соответствовать друг другу могут и начала, и середины, и окончания, и даже вперемежку, так что эта середина может находиться в соответствии с началом и конец — с серединой; вообще соответствие может осуществляться любым образом. (79) И не всегда требуется для него одинаковое число слогов.

Деметрий.

26. Сходноконечными являются колоны, имеющие одинаковые окончания, приходящиеся либо на одинаковые слова, либо на одинаковый слог. 27. Употребление таких колонов опасно; оно не пригодно для мощной речи: мощь ослабляется такими тонкостями и заботой о таких мелочах.

ФИГУРЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПУТЕМ ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЯ

Антитеза (*ἀντίθεσις*, *contentio*, *contrapositum*)

Феофраст (Дионисий Галикарнасский, Лисий 14).

Антитеза может быть троякой: или одному явлению приписываются свойства противоположные, или противоположным явлениям — одни и те же свойства, или же противоположным явлениям свойства противоположные. Только такие сочетания и возможны.

Риторика к Гереннию, IV, 15, 21.

Сопоставление противоположностей имеет место, когда речь строится из противоположных понятий, например: «приятно лезть начинается и горько она кончается». Если мы наделим нашу речь такого рода украшениями, мы сумеем быть и величественными, и цветистыми.

Деметрий.

22. Бывают периоды, состоящие и из противоположных друг другу колонов, противоположных или по содержанию, или двояко — по форме и по содержанию. 24. Бывают колоны, которые, не будучи по существу противоположны друг другу, создают впечатление антитезы, так как по форме образуют эту фигуру. На самом деле, в них говорится одно и то же, а повсе не противоположное, но способ выражения, подражая антитезе, как бы хочет обмануть слушателя.

Квинтилиан, IX, 3.

(81) Противоположение, или, как некоторые говорят, сопоставление, по-гречески антитеза, получается разными способами: противопоставляются друг другу и отдельные слова, и пары, и целые фразы. (83) Разновидностями этой фигуры являются и та, которую мы называем различием, и та, где колонны оканчиваются одинаковыми падежами при противоположном значении. (84) Не всегда противопоставляется одно другому то, что действительно противоположно.

Антиметабола (ἀντιμεταβολή, commutatio)

Риторика к Гереннию, IV, 28, 39.

Замена имеет место, когда две фразы, различные по своему содержанию, высказываются путем перестановки так, что последующая фраза, противоположная первой, оказывается вытекающей из первой, например: «надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть».

Квинтилиан, IX, 3, 85.

Сюда же относится и та фигура, в которой повторяются слова в другом падеже или в другой глагольной форме, фигура, называемая антиметаболой: «я живу не для того, чтобы есть, а ем для того, чтобы жить».

Квинтилиан, IX, 3, 65.

От этого случая отличен тот, когда в смежных предложениях переход к несходному происходит так, как к сходному: «стараюсь быть кратким, становлюсь непонятным».

Парадиастола (παρδιαστολή, distinctio)

Квинтилиан, IX, 3, 65.

От этого отличают то разграничение, которое называют парадиастолой, так как она проводит различие между сходными понятиями. Здесь все дело сводится к определению, а потому я сомневаюсь, есть ли это фигура.

ТИПЫ РЕЧИ (χαρακτῆρες, πλάσματα, genera)

Риторика, к Гереннию IV.

8, 11. Существуют три вида или, как мы говорим, манеры, в которые укладывается всякая правильно построенная речь: одну манеру мы называем величественной, другую — средней, а третью — сниженной. 11, 16. Каждой манере, — и величественной, и средней,

и сниженной — придается достоинство украшениями, о которых мы скажем потом. Если располагать украшения скупой, речь расцвечивается ими словно красками, чрезмерное же их употребление делает речь витиеватою. При произнесении речи следует, впрочем, менять манеры так, чтобы за величественной следовала средняя, а за средней — сниженная; они должны то и дело чередоваться, дабы путем разнообразия тем легче избегать пресыщенности.

Цицерон, Об ораторе.

5 (19) Существуют вообще три рода красноречия; (20) в каждом из них в отдельности некоторые достигали мастерства, но лишь очень немногие достигали его в одинаковой мере во всех, как мы этого хотели бы. Так, были, если так можно выразиться, ораторы велеречивые, с возвышенной силой мысли и торжественностью выражений, решительные, разнообразные, неистощимые, могучие, во всеоружии готовые трогать и обращать сердца — и этого одни достигали с помощью речи резкой, строгой, суровой, не отделанной и не закругленной, а иные, напротив, — речью гладкой, стройной, законченной. С другой стороны, были ораторы сдержанные и проникательные, всему поучающие, все разъясняющие, а не возвеличивающие, отточенные в своей прозрачной, так сказать, и сжатой речи. 6. Притом, в пределах этого же рода одни, несмотря на свой ум, безыскусственные, намеренно подражающие неумелой простоте речи, а другие при той же сухости более складные, т. е. остроумные, даже расцвеченные и слегка прикрашенные. Но есть (21) и некий промежуточный между обоими упомянутыми, средний и как бы умеренный род, не применяющий ни тонкой предусмотрительности последних, ни бурного натиска первых: он соприкасается с обоими, но не выдается ни в ту, ни в другую сторону, близок им обоим, или, вернее говоря, скорее не причастен ни тому, ни другому. Слова текут в нем как бы непрерывным потоком, не приносящим с собою ничего, кроме легкости и уравновешенности; разве только, как в венок вплетаются один-два цветка, так и у них речь изредка разнообразится красотами слов и мысли.

21 (69) Красноречивым будет тот, кто на форуме и в гражданских процессах будет говорить так, что убедит, доставит наслаждение, подчинит себе слушателя. Убеждение вызывается необходимостью, наслаждение зависит от приятности речи, в подчинении слушателя — победа. Сколько задач стоит перед оратором, столько и родов красноречия: тонкий род в доказательстве, средний в услаждении, бурный в подчинении слушателя. В последнем проявляется вся сила оратора.

Деметрий.

35. Теперь будем говорить о различных типах речи. 36. Простых типов четыре: скудный, величавый, изящный, мощный, а затем

смешанные из этих четырех. Не всякий тип может смешиваться с любым иным: изящный может смешиваться и со скудным и с величавым; мощный также может смешиваться и с тем и с другим, и только величавый не смешивается со скудным; эти два типа совершенно противоположны друг другу и исключают один другой. Поэтому некоторые считают, что существуют вообще только эти два типа, а два остальных занимают промежуточное положение между ними, причем изящный они сближают со скудным, а с величавым — мощный, так как изящный отличается краткостью и тонкостью, а мощный — весом и величию. 37. Такое рассуждение смешно: ведь мы видим, что все остальные типы, кроме этих двух противоположных, смешиваются со всеми. Таким образом число типов будет очевидно таким, какое нами указано.

ВЕЛИЧАВЫЙ ТИП (μεγαλοπρεπής, grande)

Риторика к Гереннию, IV, 8, 11.

Величественная манера заключается в плавном и украшенном сочетании величественных слов. Речь окажется выдержанной в величественной манере, если к каждому отдельному предмету будут приурочены самые цветистые, какие мы только сможем для каждой вещи найти, слова, взятые в точном или необычном значении. Далее: если будут подобраны величественные выражения, применяемые при возвеличениях, или там, где имеется в виду вызвать сострадание; наконец, если будут применены украшения выражений и слов, проникнутые величию, о которых мы скажем впоследствии.

Цицерон, Об ораторе.

28 (97) Третий оратор — тот пышный, неистощимый, мощный, красивый, который, конечно, и обладает наибольшей силой. Это и есть как раз тот, восхищаясь красотами речи которого, люди дали красноречию играть такую крупную роль в государстве, но именно такому красноречию, которое неслось бы с грохотом, в мощном беге, которое казалось бы парящим выше всех, вызывало бы восхищение, красноречию, до которого подняться они не имели бы надежды. Этому красноречию свойственно увлекать за собой сердца и трогать их всяческим способом. Оно то врывается в мысли, то вкрадывается в них, сеет новое убеждение, исторгает укоренившееся. (98) Но есть большая разница между этим родом красноречия и предшествующими. Кто усовершенствовался в том простом и точном стиле, чтобы говорить умно и убедительно и не задаваться более высокими целями, тот, уже одного этого добившись, становится крупным, если не величайшим оратором: ему меньше всего грозит опасность очутиться на скользкой почве, и, раз встав на ноги, он никогда уже

не упадет. Оратору среднему, которого я называю оратором умеренного и смешанного типа, если только он свой стиль в достаточной мере обеспечил соответствующими средствами выражения, не придется бояться сомнительных и рискованных моментов в ораторском выступлении, даже если у него, как это часто случается, иногда не хватит сил: большой опасности для него в этом не будет, ибо с большой высоты ему не придется падать. (99) А этот наш оратор, которого мы ставим выше всех, мощный, решительный, горячий, если рожден он лишь для этого одного рода красноречия, или, если он упражнялся лишь в нем одном и им одним интересовался, не попытавшись сочетать своего богатства с умеренностью двух предшествующих родов, то он достоин глубокого презрения. Ибо тот простой оратор, говоря пронизательно и хитро, кажется уже во всяком случае мудрым, средний кажется приятным, этот же со своим неистощимым пылом, если нет в нем ничего другого, производит впечатление человека не в своем уме. Раз человек ничего не может сказать спокойно, просто, стройно, ясно, отчетливо, шутливо, а в особенности когда сам процесс либо целиком, либо в некоторой своей части, должен вестись в таком именно духе, то если он, не подготовив слушателей, начинает зажигательную речь, получается впечатление, будто он безумствует на глазах у здоровых и как бы предается пьяному разгулу среди трезвых. 29 (100) Истинно красноречив тот, кто умеет говорить о будничных делах просто, о великих — величаво, о средних — стилем промежуточным между обоими. Ты скажешь, такого никогда не было; пусть не было; я говорю о том, чего я желал бы, а не о том, что видел. 40 (139) Но такой оратор будет добиваться также и других достоинств речи: краткости, если того потребует тема, часто также, повествуя, будет развертывать события перед глазами слушателей, часто будет стараться представить их возвышеннее, чем они могли быть на самом деле; значение нередко будет сильнее самих слов, часто будет применяться веселость, часто — подражание жизни и природе. 41. В этом типе красноречия — ведь это же настоящий лес — должно проявиться все величие этого искусства. (140) Но все это может дать приближение к тому совершенству, которого мы добиваемся, не иначе, как помещенное на подходящем месте, правильно построенное и связанное словами.

Деметрий.

38. Начну с величавого типа, который теперь называют красноречивым. Величавость выражается в трех вещах: в мыслях, в словарном составе и в соответствующей конструкции. Величавой конструкцией, как говорит Аристотель, является пэоническая. Существуют два вида пэона, один — начальный, который начинается с долгого слога и оканчивается тремя краткими, другой — конечный, противоположный первому, начинающийся тремя краткими и оканчивающийся

долгим. 39. В величавой речи колоны должны открываться начальным пэоном, а завершаться конечным. 44. Длина колонов также способствует величавости. Частые паузы после коротких колонов уменьшают торжественность речи, как бы величавы ни были самая мысль и отдельные слова. 45. Величавость достигается также закругленностью конструкции, не позволяющей остановиться ни говорящему, ни слушателю. 46. Если же заменить такой закругленный период рядом отдельных фраз, в речи получится много пауз, и величавость ее исчезнет. 47. Как частые остановки сокращают долгий путь, а в пустынном месте и короткая дорога производит впечатление длинной, так нечто подобное происходит и с колонами. 48. Равным образом и неблагозвучные сочетания часто способствуют величавости. Гладкость и благозвучие не должны иметь места в величавом стиле, разве только изредка. 49. Как отдельные резкие слова создают впечатление величавости, так и суровое сочетание слов. 59. Итак, союзы делают строение речи величавым. Фигуры должны быть в соответствии с типом данной речи; например, величавому типу, о котором сейчас идет речь, соответствуют следующие: 60. во-первых, замена формы. У Гомера: «Две скалы. Одна достигает высокого неба». При таком изменении падежной формы речь звучит гораздо торжественнее, чем она звучала бы при обычной конструкции: «из двух скал одна достигает высокого неба». Все привычное низменно и поэтому не вызывает удивления. 61. Гомер и Нирея, личность незначительную, и его военные средства, бывшие довольно ничтожными, — три корабля и немногих людей — возвеличил и сделал из малых большими, употребив двойную и смешанную фигуру, анафору и разделение:

Три корабля соразмерных приплыли от острова Симы,
Вслед за Ниреем, потомком Харопа царя и Аглаи,
Вслед за Ниреем, который из греков, пришедших под Троию,
Всех был прекрасней лицом, кроме славного сына Пелея.

(Ил. II 671 сл.)

Анафора имени выдвигает Нирея, а расчленение производит впечатление множества средств, хотя они состоят всего из двух или трех предметов. 62. И хотя он упоминает в своей поэме Нирея только один раз, мы помним его не хуже, чем Ахилла или Одиссея, которые упоминаются чуть не в каждом стихе. Причина этого — сила фигуры. Если бы он сказал: «Нирей, сын Аглаи из Симы, привел три корабля», — это равнялось бы умолчанию о Нирее. Как малое число блюд при угощении, удачно расположенное, кажется большим, так бывает и с речами. 63. Часто однако фигура, противоположная расчленению, а именно — соединение в непрерывный ряд, оказывается причиной величавости. Повторение одного и того же союза производит впечатление бесчисленного множества. 64. Иногда, напротив, благодаря отсутствию в перечислении союза «и» фраза оказывается более

величавой. 65. Величавость достигается при помощи фигур и тем путем, чтобы не повторять одного и того же падежа. 66. Но и повторение одного и того же слова способствует величавости. 67. Впрочем, фигурами следует пользоваться не слишком часто. Это безвкусно и создает впечатление какой-то неровности речи. Правда, древние писатели, широко пользующиеся фигурами, кажутся более естественными, чем вовсе не употребляющие фигур: так искусно они их располагают.

72. Подходящими для величавого типа речи видами зияния будут или зияние между долгими звуками, или зияние между дифтонгами. 73. И одинаковые гласные при своем столкновении способствуют величавости, и одинаковые дифтонги. Столкновения же различных гласных или дифтонгов способствуют и величию и разнообразию благодаря богатству звуков. 74. О зиянии и о том, как создается величавое сочетание слов, сказанного достаточно. 77. Словарный состав в этом типе речи должен быть богат, разнообразен и необычен. Тогда он будет обладать пышностью. Слова же точные и обыденные отличаются, правда, ясностью, но зато находятся в пренебрежении. 78. Прежде всего надо пользоваться метафорами. 91. Надо употреблять и сложные слова. 103. Краткостью, и в особенности умолчанием, также иногда достигается величавость (так как некоторые вещи, не будучи высказаны, а только подразумеваемые кажутся значительнее), иногда же, напротив, оборот становится от этого обыденным, и, наоборот, в повторении может быть величие. 104. Часто косвенный оборот величавее прямого. 105. Способствуют величавости и звуковое сходство в словах, и кажущееся неблагозвучие, так как и неблагозвучие часто придает речи пышность. 106. Так называемую эпифонему можно определить как оборот украшающий; она более всего обуславливает торжественность речи. Ведь из словесных оборотов одни служат только выражению мысли, другие — украшению. 108. Вообще эпифонема подобна отличительным признакам богатства — карнизам, триглифам, пурпуровой кайме на одежде; в такой же мере она является признаком богатства речи. 112. Что поэтизмы в речи способствуют ее величавости, ясно, как говорится, и слепому.

СРЕДНИЙ ТИП (*μέτριος μίκτός, genus medium, temperatum*).

Риторика к Гереннию, IV.

8, 11. Средняя манера заключается в менее высоком достоинстве слов, которые не должны, однако, быть совсем низкими или совсем повседневными. 9, 13. Речь будет развертываться в средней манере, если мы, как я сказал раньше, несколько понизим эти требования, не спускаясь, однако, слишком низко.

Цицерон, Оратор.

26 (91) Другой тип красноречия — более сочный и несколько более мощный, чем этот простой, о котором говорилось, однако более сдержанный, чем тот самый величавый, о котором речь впереди. Этому типу напряжение свойственно, пожалуй, в наименьшей, привлекательность — в наибольшей мере. Он полнее, чем этот первый, очищенный от всяких прикрас, но сдержаннее в свою очередь, чем тот, последний, разукрашенный и богатый. 27 (92) Ему приличествуют все виды украшений речи, и больше всего в этом ораторском стиле привлекательности. В нем блещут, как некие светила, различные метафорические и метонимические выражения. (95) К этому же типу красноречия — я ведь говорю все о том же умеренном, смешанном стиле — относятся все виды словесных украшений. Чего же больше? Такие ораторы выходят чуть ли не из философских школ. И если рядом с этим оратором не ставить для сравнения того более мощного, то сам по себе и этот, о котором я говорю, заслужит одобрение. (96) Ибо этот стиль представляет собой замечательный и мастерской род красноречия, красочный и отшлифованный, в который вплетаются все красоты слов, все красоты мысли. Он целиком вырос в среде софистов и из этого источника распространился на круг общественной деятельности, но, оставленный в пренебрежении любителями простоты и отвергнутый сторонниками величавости, занял он то среднее положение, о котором я говорю.

Дионисий Галикарнасский, Демосфен, 3.

Третий тип речи — смешанный и составленный из элементов двух других. Кто первый дал это сочетание и придал ему ту форму, какую он имеет сейчас, был ли это Фрасимах Халкедонский, как думает Феофраст, или кто-либо другой, я не могу сказать.

ИЗЯЩНЫЙ ТИП (γλαφυρός, καρίεις)
или ЦВETИСТЫЙ (άνθητος, floridum).

Деметрий.

(128) Изящная речь предполагает шутливость и веселость. Шутки бывают возвышенные и полные достоинства, это — шутки поэтов, и бывают более вульгарные и комические, приближающиеся к шутовству. (130) Благородными и возвышенными шутками Гомер пользуется иногда также для введения элемента страшного и для усиления впечатления. Шутя, он внушает страх и, по-видимому, первый изобрел страшные шутки. Виды шуток таковы: (131) один из них основывается на содержании, (132) в другом случае выражения сообщают речи шутливую прелесть. (133) Часто самый предмет по своей природе неприятен и отвратителен, но в рассказе становится забавным. Это —

самая действенная шутка и более всего зависящая от говорящего. Последний показывает на ней, что можно шутить и по поводу таких предметов. Так иногда можно охлаждаться от теплого и согреваться холодным. (136) Теперь, когда указаны разновидности прелести речи, каковы они и в чем заключаются, покажем и их источники. Одни из этих разновидностей основываются на словесном выражении, другие — на содержании. Покажем же источники их, начав с первых. (137) Прежде всего прелесть вытекает из краткости, когда то же самое содержание при более пространном изложении оказалось бы лишенным прелести, а будучи бегло затронуто, оказывается красиво. (139) Вторым источником является расположение слов. Те же слова, будучи поставлены на первом месте или в середине, могут быть неприятны, а поставленные в конце — оказываются полными прелести. (140) Красоты, вытекающие из фигур, очевидны: например, из удвоения. Им достигается большая прелесть, чем если бы слово было сказано один раз и без фигуры. Впрочем, удвоение, по-видимому, изобретено скорее ради мощности, но изящный тип речи и из самых мощных оборотов умеет извлекать прелесть. (141) Прелесть речи придают также и анафоры. (142) Можно назвать еще много других разновидностей прелести. Источником их является также словарный состав, то есть или метафора, или (143) сложные слова, также и дифирамбического характера, (144) или слова, употребленные вообще только один раз каким-нибудь писателем, или, наконец, вновь образованные слова. (145) Прелесть многих слов обусловлена необычным применением их к данному предмету. Таковы разновидности прелести речи, имеющие своим источником словарный состав. (148) Особая прелесть, свойственная Сапфо, заключается в поправке сказанного, когда, сказав что-нибудь, она исправляет саму себя, как бы раскаявшись в своих словах. Например:

Эй, потолок поднимайте,
 Выше, плотники, выше!
 Входит жених, подобный Арю,
 Выше самых высоких мужей.

(Фрагм. 123.)

Она как бы останавливает саму себя, употребив невозможную гиперболу, так как никто не может быть равен Аресу. (150) Приятность получается и от цитирования чужого стиха. (154) Часто и сходство колонов сообщает речи приятность. (156) Вот как разнообразна прелесть словесной формы и таковы ее источники. Приятны и сравнения. Гиперболы являются (161) источником приятности главным образом в комедии; всякая гипербола есть выражение невозможного. (163) Смешное и приятное отличаются друг от друга прежде всего содержанием (164), но отличаются они также и словесной формой. Тогда как прелесть речи достигается украшениями и

красивыми словами, употребление которых более всего способствует ей; смешное высказывается в словах низменных и обыденных.

(165) Смешное уничтожается украшением речи. Вместо смеха появляется восхищение. Прелесть речи всегда скромна, а выражать в красивой форме смешное все равно, что наряжать обезьяну. (173) Приятной делают речь и так называемые красивые слова. (179) Изящество получается и от сочетания слов. Нелегко описать этот способ сочетания слов, так как никто из прежних теоретиков стиля не описал сочетания слов изящного типа речи. Надо, однако, постараться это изложить, как сумею. (180) Может быть получится некоторая приятность и прелесть, если мы составим речь из стихов, или целых или полустихий, но так, чтобы они не были заметны в связном ряде слов, а обнаруживались только при разделении речи на части и анализе их поодиночке. (181) Столь же приятна речь, которая будет только напоминать размеренную. Незаметно возникает из этой приятности очарование. (183) Платон во многих случаях достигает изящества одним только ритмом, растянутым, не приуроченным к какому-нибудь определенному месту и не долгим. Первое свойственно сухому и мощному типу, а долгота — величавому. Колонны кажутся у него скользящими и ни размеренными сплошь, ни лишенными вовсе размера. (186) Относительно проявления изящества в сочетании слов достаточно, так как это вопрос трудный. Теперь уже все сказано и вообще об изящном типе, в чем и как он выражается.

СКУДНЫЙ ТИП (*ισχυός, tenue*)

Риторика к Гереннию, IV.

8, 11 Сниженная манера — это та, которая низведена до степени самых употребительных навыков чистой разговорной речи. 10, 14 В сниженной манере речи мы опускаемся до самой низменной и повседневной разговорной речи.

Цицерон, Об ораторе.

23 (75) Прежде всего необходимо нам нарисовать облик того, за кем некоторыми признается исключительное право именоваться аттическим оратором. (76) Он скромен и прост, подражает обиходному языку и от лишенного дара речи отличается больше по существу дела, чем по производимому впечатлению. Так что, внимая ему, слушатели, хотя сами и не владеют словом, тем не менее пребывают в твердой уверенности, что и они могли бы говорить таким же способом. В самом деле, эту простоту речи, пока о ней судишь со стороны, кажется легко воспроизвести, но, когда испробуешь на деле, оказывается, нет ничего труднее. Дело в том, что, хотя этому роду красноречия и не свойственно особое полнокровие, все же оно должно

обладать известной сочностью, чтобы, несмотря на отсутствие исключительно больших сил, иметь возможность производить, позволю себе так выразиться, впечатление крепкого здоровья. Итак, первым делом освободим нашего оратора (77) как бы от оков ритма. Ведь, как ты знаешь, оратору приходится соблюдать известный ритм — о нем у нас скоро будет речь — согласно определенному правилу, касающемуся, однако, другого рода красноречия; в данном же случае ритм вообще следует оставить. Речь должна представлять нечто несвязанное, однако не беспорядочное, чтобы получалось впечатление свободного движения, а не разнузданного блуждания. Как бы прилаживанием слова к слову он также может пренебречь. (78) Но необходимо будет очень тщательно отнестись к остальному, раз в этих двух вещах, периодическом строении и склеивании слов между собой, он может чувствовать себя свободнее. Ведь и с этими произвольно сочетаемыми словами и короткими фразами ему не следует обращаться с полным небрежением, но и самая небрежность здесь известным образом обдуманная. Как про некоторых женщин говорят, что они не наряжены и что это-то именно им и к лицу, так и эта простая речь нравится даже без всяких прикрас; и тут, и там происходит, хотя и неуловимое, но такое нечто, от чего и то и другое выигрывает в привлекательности. Далее следует устранить всякое бросающееся в глаза, подобно жемчужинам, украшение; не надо применять и завивок. (79) Наконец и всякие искусственные средства для наведения белизны и румянца придется отвергнуть; останутся только одно изящество и опрятность. Речь такого оратора будет латинской чистой речью, говорить он будет ясно и удобопонятно, предусмотрительно выбирая приличествующие случаю выражения.

24. Отсутствовать будет только то, что Феофраст при перечислении достоинств речи помещает на четвертом месте: приятные и обильные украшения. Наш оратор будет бросать остроумные, быстро сменяющиеся мысли, извлекая их из никому неизвестных тайников; наконец — и это должно быть господствующим его качеством — он будет осторожен в пользовании, так сказать, арсеналом ораторских средств. (81) Расстановка слов служит к украшению, если она создает известную складность, которая с перемещением слов исчезает, хотя мысль и остается та же. Ибо украшения мысли, остающиеся и при перемещении слов, весьма многочисленны, но таких, которые имели бы выдающееся значение, среди них сравнительно мало. Итак, этому нашему оратору скудного стиля достаточно быть изящным; он не допустит смелости в образовании новых слов, будет осторожен в употреблении метафор, скуп на архаизмы и сдержан в применении остальных украшений слов и мысли; к метафоре, пожалуй, он будет чаще прибегать, поскольку ею чрезвычайно часто пользуются и в разговорном языке не только в городе, но даже в деревне. (82) Этим видом украшения наш оратор спокойного стиля будет пользоваться

несколько свободнее, чем остальными, однако не так безудержно, как если бы он применял самый возвышенный вид красноречия. 25 А то и здесь может обнаружиться неуместность (в чем она состоит, должно заключать из понятия уместности) того, когда, например, какое-нибудь слово метафорически заимствуется из области более возвышенного и вводится в речь обыденного содержания, между тем как в другой обстановке оно было бы уместно. (83) Что касается такого рода складности, которая расстановку слов использует для тех блестящих оборотов, которые у греков называются языковыми жеста́ми или фигурами (выражение, применяемое ими и к украшениям мысли), то эту складность наш простой оратор (которого, в общем, правильно — напрасно только его одного — некоторые называют «аттическим») будет применять, но несколько более умеренно, так же как если бы, находясь на пиршестве, он, отказываясь от роскоши, хотел бы проявить не только скромность, но и изящество, и выбирал бы то, чем он смог бы для этого воспользоваться; (84) ведь существует немало оборотов речи, подходящих как раз для бережливого в средствах оратора, о котором я говорю. Вот, например, таких оборотов, как симметрия колонов, сходных окончаний, одинаковых падежных форм и эффектов сопоставления слов, отличающихся только одной буквой, всего этого нашему осторожному оратору придется избегать, чтобы нарочитая складность и погоня за эффектами не обнаружили слишком явно, точно (85) так же всякие повторения слов, требующие напряжения голоса и крика, чужды этому сдержанному характеру речи. Остальные приемы он может время от времени применять, лишь бы он не выдерживал строго периодичности, расчленял речь и пользовался словами наиболее употребительными и метафорами наиболее непринужденными.

26 (90) Таков, по моему представлению, образ оратора простого стиля, но крупного, истого «аттика», так как все, что может быть в речи острого и здорового, составляет свойство аттического красноречия.

Деметрий.

(190) В скудном типе мы имеем и темы одинаково незначительные и соответствующие этому типу. Весь словарный состав его должен быть точным и простым. Обычные выражения — самые незначительные, а непривычные и метафорические — величавы. (191) Не следует употреблять и сложных слов, так как они являются принадлежностью противоположного типа, а также и вновь созданных. Вообще не следует применять ничего из того, что способствует величавости. Слова должны быть прежде всего ясными. Более всего ясность должна найти себе место в скудном типе. (204) В сочетании слов этого типа надо избегать прежде всего длинных колонов. Всякие длинноты — признак величавости; так и в стихотворных размерах гекзаметр

называется героическим стихом за свою длину и за то, что он соответствует повествованию о героях; а новая комедия укладывается в триметры. (205) Итак, в большинстве случаев мы будем пользоваться трехстопными колонами, а иногда коммами, с частыми паузами. (206) Окончания колонов должны быть ясно обозначены и завершаться клаузулами. Долгие окончания величавы. (207) В этом типе речи следует избегать также столкновения долгих гласных и дифтонгов (всякая долгота сообщает речи пышность), так чтобы либо краткие сталкивались с краткими, либо краткие с долгими, или чтобы речь вообще по возможности состояла из кратких. Вообще этот тип речи должен производить впечатление низменного и обыденного, и все должно делаться для создания этого впечатления. (208) Надо избегать и слишком заметных фигур, так как все изысканное необычно и чуждо обыденной речи. Этот тип требует больше всего наглядности и убедительности. Поэтому надо теперь сказать о наглядности и убедительности.

(209) Сперва о наглядности. Наглядность достигается прежде всего точностью выражений, отсутствием пропусков и сокращений. (211) Часто и повторение ведет к большей наглядности, чем сказанное один раз. (219) И неблагозвучные сочетания: они служат подражанию чему-нибудь неровному, а всякое подражание способствует наглядности. (220) И звукоподражательные слова делают речь наглядной именно потому, что они создаются путем подражания.

О наглядности в основном все сказано. (221) А убедительность зависит от двух качеств: от ясности и привычности, потому что все неясное и непривычное неубедительно. Слова для речи, стремящейся к убедительности, надо выбирать не длинные и не слишком пышные, а также и сочетание слов спокойное и без ритма. (222) В этом сила убедительности.

МОЩНЫЙ ТИП (*δεινός*, *vehemens*)

Деметрий.

(240) Относительно мощности ясно из всего сказанного, что и она, как и предыдущие типы, проявляется в трех вещах: и темы сами по себе могут обладать такой силой, что говорящие о них кажутся говорящими сильно, если даже это и не так. (214) В смысле структуры речь будет мощной, если будет состоять из комм вместо колонов, так как длины уничтожают стремительность, а многое, сказанное в немногих словах, действует сильнее. (244) Периоды должны как следует округляться к концу, так как закругленность речи способствует ее силе, а отрывочность проще и наивнее, как всякая архаическая речь: древние люди простодушны. (245) Поэтому в мощном типе речи надо избегать всего старинного в характере и

в ритме и обращаться к теперешнему мощному стилю. (246) Мощности способствует и некоторое насилие в конструкции; часто впечатление мощи получается и от неблагозвучных сочетаний, создающих ощущение как бы неровного пути. (247) Антитеза и созвучий в периодах надо избегать: они придают речи пышность, а не силу, а часто и ходульность, вместо силы. Слушатель, внимание которого привлечено изощренностью — или вернее извращенностью — стиля, совершенно забывает о своем негодвании. (248) Многие темы сами по себе как бы вынуждают у нас закругленное и сильное выражение, так что даже нарочно нелегко было бы построить фразу иначе. Во многих случаях мы строим нашу речь, как бы влекомые самим предметом ее, подобно людям, бегущим с горы. (249) Способствует мощи также постройка самого сильного аргумента в конце, так как, поставленный в середине и окруженный другими, он производит более слабое впечатление.

(251) Мощному типу речи способствует частота периодов, которая в остальных типах непригодна. Непрерывный ряд периодов будет напоминать произносимые подряд стихи, притом стихи с мощным размером, например холиямбы. (252) Но, будучи частыми, пусть периоды будут краткими, например с двумя колонами, так как периоды со многими колонами сообщат речи скорее красоту, чем мощь. (253) Таким образом, этому типу речи полезна краткость, так что и умолчание часто включает в себе некоторую силу. (254) Мало того, даже неясность: недосказанное производит более сильное впечатление, а к тому, что пространно выражено, относятся с пренебрежением. (255) Иногда и неблагозвучие придает речи силу, в особенности если оно находится в соответствии с тем предметом, о котором говорится. (258) Вообще гладкость и благозвучие являются принадлежностью изящного типа речи, а не мощного, а эти два типа противоположны друг другу. (267) Вводить разнообразие словесных фигур значит делать речь более мощной, например, вводить удвоение (повторение слова способствует силе речи) (268) или так называемую анафору. (269) Надо помнить, что самым сильным средством для сообщения речи мощи является отсутствие союзов. (270) Можно пользоваться и так называемым климаксом. Благодаря ему кажется, что речь как бы поднимается все выше и выше. (271) Вообще словесные фигуры помогают оратору и в декламациях, и в споре.

(272) Словарный состав может быть целиком использован тот же, что и в величавой речи, но для другой цели. И метафора может придать речи силу и сравнение. (274) Параболы же для мощного стиля непригодны. В них проявляются красота и некоторая точность, но мощь требует стремительности и краткости: она подобна сражающимся на близком расстоянии. (275) Создается мощь и благодаря сложным словам, как и обиходный язык дает много сильных сложных слов. (276) Надо стараться употреблять слова, находящиеся

в соответствии с предметом. (286) В этом типе речи есть и нечто поэтическое, поскольку поэтичны аллегория, гиперболоа и эмфаза, но поэтический характер смешивается здесь с комизмом.

(299) Гладкость конструкции, избегающая столкновения гласных, мало пригодна для мощной речи: часто самое это столкновение создает впечатление силы. Если переставить слова, исчезнет немалая доля мощи, так как часто самая звучность столкновения будет, может быть, сильнее действовать. (300) Забота о гладкости и стройности свойственна не гневающемуся, а забавляющемуся и желающему выказать свое искусство.

(301) Как фигура, основанная на отсутствии союзов, придает речи мощь, как сказано выше, так и вообще отрывочность конструкции.

ИСКАЖЕННЫЕ ТИПЫ (*διψαρτημένοι*)

Риторика к Гереннию, IV, 10, 15.

Стараясь усвоить эти манеры, следует, однако, остерегаться впасть в стоящие близко по соседству с ними ошибки.

Деметрий, 114.

Как рядом с хорошими свойствами существуют плохие, например рядом со смелостью — дерзость, робость — наряду с уважением, так рядом с основными типами речи существуют и некие их искажения.

ХОДУЛЬНЫЙ (*ψυχρός, frigidum*)

Феофраст (Деметрий, 114).

Феофраст определяет ходульность так: ходульным является выражение, в своей чрезмерной выпренности не соответствующее природе предмета.

Риторика к Гереннию, IV, 10, 15.

Величественной манере, достойной всяческой похвалы, близка другая, которой следует избегать: мы правильно, как нам кажется, определим ее, назвав напыщенной. Ведь, подобно тому как опухлость часто может сойти за здоровую упитанность тела, так несведущим людям часто кажется величественной речь пухлая и надутая, в которой нечто высказывается посредством либо вновь изобретенных, либо уже устаревших слов, или слов, неудачно перенесенных из другой области, или же более величественных, чем это требуется существом дела. Очень многие, впадая в эту манеру и отклоняясь от намеченной цели, бывают обмануты мнимой величественностью и оказываются не в состоянии распознать пухлость речи.

Деметрий.

(114) Прежде всего будем говорить о типе, смежном с величавым. Называется он ходульным. Предмет незначительный не допускает слишком пышного словесного выражения. (115) Проявляется ходульность, как и величавость, в трех вещах: во-первых, в мысли, ибо ходульность проистекает от преувеличенности мысли и ее несоответствия действительности. (116) Ходульность в словарном составе выражается, по словам Аристотеля, в четырех случаях, или..., или в сложных словах, если они создаются так, как в дифирамбах, или в метафорах, или... Таким образом возможны четыре проявления ходульности в словарном составе. (117) Ходульное сочетание слов есть сочетание, не обладающее красивым ритмом, а даже вовсе лишенное ритма и состоящее сплошь из долгих слогов. Такое сочетание совершенно чуждо прозе и необычно вследствие следования друг за другом ряда долгих слогов. (118) Признаком ходульности является и допускаемая некоторыми писателями сплошная метричность, которая не может не бросаться в глаза в своей непрерывности. Неуместные стихи так же ходульны, как и нарушение размера. (119) Вообще ходульность похожа на хвастливость: хвастун хвалится, будто имеет то, чего на самом деле у него нет, а тот, кто незначительное содержание облакает в пышные слова, сам похож на человека, хвастающегося по ничтожному поводу. Высокопарный стиль в применении к ничтожным предметам похож на тот «украшенный пестик», о котором говорится в пословице. (120) Правда, некоторые утверждают, что надо и о малом говорить высоким стилем, и считают это признаком выдающейся силы. А я говорю, что это допустимо только в шутовском жанре и что во всем надо соблюдать соответствие, т. е. говорить так, чтобы язык согласовался с темой, — о малом просто, о великом возвышенно. (124) Самая ходульная из фигур — гипербола.

РАСПЛЫВЧАТЫЙ (dissolutum)

Риторика к Гереннию, IV, 11, 16.

А те, кто стремятся к средней ораторской манере, приближаются, в случае, когда, сбившись с пути, они не могут ее достигнуть, к манере, граничащей с тем видом речи, который мы называем расплывчатым, потому что он бессвязен и лишен правильного членения: я бы назвал этот вид «колеблющимся», поскольку он и туда и сюда колеблется, а не ведет изложения с мужественной определенностью. Подобного рода речь не в силах завладеть вниманием слушателя, будучи постоянно расплывчатой, бессодержательной и ясными словами ничего не охватывающей.

БЕЗВКУСНЫЙ (κακόζηλος)

Деметрий.

(186) Подобно тому как рядом с величавым типом был тип холодный, так и рядом с изящным имеется искаженный тип. Я назову его обычным именем «безвкусный стиль». Также и он проявляется трояким образом, как и все другие: (187) в содержании, в словарном составе, (188) в сочетании слов, которое будет здесь анапестическим и будет напоминать разбитые и вольные размеры, каковы в особенности сотадеи с их изнеженностью. Этим исчерпывается то, что надо было сказать о безвкусном типе.

СУХОЙ (σκληρός, exile)

Риторика к Гереннию, IV, 11, 16.

Кому не удастся усвоить себе вышеуказанную изящную, простую манеру речи, тот приходит к безжизненной и сухой манере, которую уместно было бы назвать скудной. Так получается пошлая и вульгарная разговорная речь: ибо она не достигает того, чем обладает сниженная манера, то есть построения речи из чистых и избранных слов.

Деметрий.

(236) Рядом со скудным типом речи имеется его искажение, называемое сухим типом. (237) По своему словарному составу речь будет сухой, когда нечто великое излагается ничтожными словами. (238) По словосочетанию речь становится сухой или в том случае, если в ней будет много комм, или если при изложении чего-нибудь значительного колонны будут как бы обрублены и не закончены. Такое обрывание речи в этом случае является неподходящим и неуместным. Такая отрывистая речь должна применяться в других случаях.

НЕБРЕЖНЫЙ (ἄχαρις)

Деметрий.

(302) Рядом с мощным типом естественно имеется и его искажение, — тип небрежный. Сочетание слов кажется небрежным, когда они разрознены и когда между колоннами нет никакой связи, когда они представляют собою как бы обрывки. Непрерывные длинные периоды, на произнесение которых у говорящего не хватает дыхания, также не только надоедливы, но и неприятны. (304) Часто предметы, сами по себе красивые, кажутся неприятными вследствие выбора слов для их обозначения.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 17. Всю философскую проблематику эпохи софистики...

Изложение спора о роли «природы» и «закона» в отношении «правильности» имен основываю на своей статье «Из истории античного языкознания», печатающейся во втором томе «Советского языкознания».

Стр. 35. *Гераклит* из Эфеса (ок. 500 г. до н. э.) пользовался языковым материалом для иллюстрации своего известного положения о том, что «все течет» и каждая вещь содержит в себе свою противоположность. В приведенном отрывке слова βίος и βίος различаются между собой только ударением.

Парменид из Элеи (ок. 500 г. до н. э.) — один из основоположников школы «элеатов» (см. вступит. статью, стр. 17). По учению Парменида, реальным бытием обладает лишь единое, неизменное и неподвижное «сущее». Множественность вещей, их возникновение и гибель относятся уже к области обманчивого «мнения», оперирующего «именами». Допуская возникновение и исчезновение, «мнение» повсюду усматривает, наряду с «сущим» («светом»), и «не-сущее» («ночь», тьму).

Эмпедокл из Акраганта (ок. 494—434 до н. э.) истолковывал мировой процесс как смешение и разъединение четырех «коренных веществ» — огня, воды, земли и воздуха.

Стр. 36. *Пифагорейцы* — религиозно-философский союз, имевший многочисленных сторонников среди западногреческой аристократии (Сицилия и Южная Италия). В учении пифагорейцев очень значительное место занимали мистические умозрения над числовыми соотношениями в математике и музыке; все сущее соотносится между собой «по образцу чисел». Приведенный отрывок заимствован из пифагорейского катехизиса, приписывавшегося основателю союза Пифагору из Самоса (VI в. до н. э.), но отражающего и более поздние тенденции школы. Об «установителе имен» см. вступит. статью, стр. 11.

О предании, которое сообщает здесь историк *Геродот* (ок. 484—425 до н. э.) см. вступит. статью, стр. 17. *Псамметих I* — фараон (663—609), основатель XXVI «саисской» династии, освободивший Египет от ассирийского владычества при помощи ионийских и карийских наемников; со времени Псамметиха Египет вступает в постоянные сношения с греками. *Фригияне* — малоазиатский народ, выселившийся в М. Азию из Фракии и родственные армянам. *Гепест* в Мемфисе — египетский бог Птах.

Демокрит из Абдеры (ок. 470—380 до н. э.), см. вступит. статью, стр. 20—23. *Фрагмент 2* представляет собой аллегорическое истолкование непонятного уже для греков эпитета Афины Τριτογένεια на основании этимологии (ср. фрагмент 142) от τρίτος (третий) и γένεσις (рождение). Этимология имени «женщина» (фрагмент 122a) повторена Платоном в «Кратиле» (414 A). *Фрагмент 26* содержит, судя по языку и приводимым примерам (ссылки на имена Платона [428/7—348/7] и Феокроста [ок. 372—287]), свободное изложение аргументации Демокрита; дословно приведены Проклом (410—485 н. э.) лишь (выделенные курсивом) названия умозаключений. Точно так же и изложение Диодора может быть возведено к Демокриту лишь в общих чертах.

Стр. 38. *Протагор* из Абдеры (ок. 480—411 до н. э.) — творец релятивистического учения о субъективности истины («человек — мера всех вещей»); о его языковых теориях см. вступит. статью, стр. 17. — Имена μῆνις и λίλιξ — женского рода; пред-

лагая относить их к мужскому роду, Протагор, вероятно, исходил и из семантических соображений, считая, что «гнев» и «шлем» более свойственны мужчинам, и из наблюдений над окончаниями имен — так, имена, оканчивающиеся на — ηξ, обычно мужского рода. Пародию на эти приемы рассмотрения грамматического рода мы находим в комедии Аристофана «Облака» (ст. 658 и сл.).

Стр. 38. *Горгий* из Леонтин (ок. 483—375) см. стр. 156. Цитата из этого отрывка Горгия, приведенная Гегелем в его «Лекциях по истории философии», привлекла внимание В. И. Ленина при работе над конспектом «Лекций» Гегеля. В. И. Ленин делает следующие замечания по поводу цитаты из Горгия: «всякое слово (речь) уже обобщает, ср. Фейербах»; далее: «чувства показывают реальность, мысль и слово — общее» (Ленинский сборник, т. XII, стр. 219).

«Об искусстве» — аналогия медицины, где неизвестный софист конца V в. до н. э. полемизирует с философией элеатов (см. стр. 17) и доказывает реальность «искусств» (т. е. наук) и их объектов. Трактат входит в состав т. наз. «Гиппократовского сборника». В «Гиппократовский сборник» входит и трактат «О диете». Термин «грамматика» употреблен здесь в первоначальном своем смысле (стр. 13), как искусство чтения и письма. Седьмица, как число гласных букв ионийского алфавита, неоднократно давала почву для мистических рассуждений о «священном» числе семь (например, в трактате «О седмицах» из того же «Гиппократовского сборника»).

В трактате «Двойные речи», написанном в самые последние годы V в., систематически сопоставляются диаметрально противоположные трактовки разных актуальных философских проблем, причем проблема сперва трактуется в софистически-релятивистском, а затем в более консервативном духе. К консервативной части принадлежит и первый приведенный отрывок (5, 11—14); он интересен тем, что излагаемое здесь учение, восходящее, вероятно, к разрабатывавшим ритмические проблемы «пифагорейцам», использовано Платоном в «Кратиле» (стр. 59 и прим., см. вступит. статью, стр. 18).

Стр. 39. *Архин* — афинский политический деятель, см. вступит. статью, стр. 14. Введенный по законопроекту Архина алфавит содержал две буквы, отсутствовавшие в староаттическом алфавите, *кси* и *пси* для сочетания звуков *ks* и *ps*. Архин проводит аналогию между ними и *дзэтой*: в новом алфавите сочетания — взрывной + *s* будут симметрично отображены тремя буквами, *пси* для губного, *дзэтой* — для зубного, *кси* для гортанного. О значении этих «двойных» букв см. стр. 13—14.

Стр. 40. *Кратил*.

О «Кратиле» Платона см. вступит. статью, стр. 24. Диспозиция диалога: А. Беседа Сократа с Гермогеном (383—427).

I. Имена — «орудия поучения и разбора сущности», стало быть, «присущи вещам от природы» (383—391).

II. Исследование вопроса, в чем состоит «правильность имен» (391—427):

а) рассмотрение личных имен (391—397);

б) » имен богов (397—410);

в) » абстрактных имен (411—421);

г) » первичных имен и разъяснение того, каким образом звук может отобразить сущее (421—427).

Б. Беседа с Кратилом (427—440).

III. Имя не может быть точным отображением вещи, и общепонятность имени является хотя бы в известной мере результатом договора (427—435).

IV. Знание вещей возникает из исследования самих вещей, а не из исследования имен (435—440).

В переводе даны: I часть полностью; отрывки из II а—в; II г и III с незначительными купюрами.

Нет, говорит, твое имя не Гермоген...

Кратил соглашается с тем, что его собственное имя ему «действительно» принадлежит, так как оно связано со словом *κράτος* — сила, власть; то же в отношении имени Сократа (этимологически: «сохраняющий свою силу невредимой»); имя «Гермоген» (= происходящий из рода Гермеса, бога торговли и прибыли) не является «действительным» именем неудачливого в делах Гермогена (см. реплику Сократа).

Продик из Кеоса — известный софист, разрабатывавший вопросы синонимии. Гонорар, который софисты брали за свои лекции, служит постоянной мишенью для нападок Платона.

Стр. 41. Значит, это возможно: выражать речью сущее и не-сущее.

Как указано во вступит. статье (стр. 25), ранняя греческая логика искала источник истинности и ложности в принадлежности самого объекта «речи» к области сущего или не-сущего. Сократ начинает свое рассуждение, исходя из этой позиции: если объект, выраженный «речью», может принадлежать к области сущего или не-сущего, то и части этого объекта, выражаемые именами, могут принадлежать к тем же сферам; стало быть, имя может быть истинным или ложным. Эта типично софистическая аргументация, умышленно поставленная в начале диалога, вскоре обрывается, когда Сократ переходит к критике Протагора, и дальнейших ссылок на нее в диалоге уже не содержится.

Стр. 43. Евтидем — софист, осмеянный Платоном в диалоге того же имени.

Стр. 46. Глядя на то самое, что является именем...

Последовательно развивая мысль, будто имя есть орудие распознавания сущности вещей (в конце диалога обнаружится ошибочность этой мысли), Сократ приходит к выводу, что, подобно тому как всякое орудие изготавливается на основании общего «образа» («эйдоса») этого орудия применительно к его частной цели, так и имя должно создаваться на основании общего «эйдоса» имени применительно к той частной вещи, которую имя обозначает. Согласно учению Платона, сущностью частного является общее, «вид» («эйдос» или «идея»). Эйдос имени и есть «то самое, что является именем», в отличие от конкретных имен.

Стр. 48.... буквы алфавита, кроме четырех...

Названия букв греческого алфавита происходят почти все от семитских названий и грекам были непонятны. Упоминаемые Платоном как исключения буквы послали в его время названия $\epsilon\acute{\iota}$ (впоследствии ϵ), υ , $\omicron\upsilon$ (впоследствии \omicron) и ω . Принятые в настоящее время их названия ϵ ψιλόν (простое ϵ), υ ψιλόν (простое υ), \omicron μικρόν (малое \omicron) и ω μέγα (большое ω) принадлежат уже византийскому периоду.

...чтобы это из речения стало именем...

Под *речением* Платон понимает сочетание слов. Для того, чтобы из сочетания слов $\Delta\acute{\iota}$ φίλος образовать имя $\Delta\acute{\iota}$ φίλος (Дифил), нужно удалить второе $\acute{\iota}$ слова $\Delta\acute{\iota}$ и в образовавшемся едином слове изменить «острую» тональность слога — $\phi\acute{\iota}$ — на «тяжелую» (тональность слога $\Delta\acute{\iota}$ — «острая»).

Анаксагор из Клазомен (500—428 до н. э.) — греческий философ, творец учения о бесконечном множестве качественно различных первичных веществ («семян») и о «разуме», как принципе единства и движения мира. Космогонические и астрономические теории Анаксагора производили огромное впечатление на современников.

...новым и старым...

«Старым и новым» назывался день новолуния, грань старого и нового месяцев.

Стр. 49. Муза Евтифрона.

Пародийный характер этимологического анализа в «Кратиле» подчеркивается неоднократными указаниями Сократа на то, что он будто бы находится в «эпитуристическом» состоянии, вызванном недавней встречей с прорицателем Евтифроном.

...до известного предела достигнуто соглашение, а дальше идут разногласия.

Разногласия между натурфилософами относятся к вопросу о том, что именно представляет собою то «тонкое», которое «пронизывает» мир и является принципом его движения, — огонь ли (по Гераклиту) или «разум» (по Анаксагору) и т. п.; но все согласны в том, что должно существовать нечто, обладающее этими свойствами.

Стр. 50...обладание умом...

После предлагаемых операций слово τέχνη превратится в ἔχονή (ἔχω — имею, νόος, νοῦς — разум).

...в слове зеркало (κάτολτρον) разве не кажется неуместной вставка ρ?

Платон, естественно, сопоставляет κάτολτρον с катόλτις (созерцатель, соглядатай), κάτολτος (видимый) и считает ρ «вставкой» (с современной точки зрения суффиксом является, конечно, — тро —); но говоря о ненужности этой «вставки», он имеет вероятно в виду не «литературную» форму κάτολτρον, а обычное аттическое произношение κάτρολτρον, с регрессивной метатезой ρ, так что рассуждение и в этом случае приобретает иронический оттенок.

Сфинкс.

Вероятно, и здесь ирония: Φίξ или (по другим рукописям) Σφίξ — беотийская и «народная» аттическая формы, соответствующие литературной Σφίγξ.

...«идущее» и «текущее», «связывающее»...

Предыдущее рассуждение привело к выводу, что все абстрактные термины восходят к именам, обозначающим движение, как ἴον (идущее) и т. п. Платон переходит к разбору этих первичных имен.

Стр. 53. Итак, не следует ли и нам сначала отделить гласные...

См. вступит. статью, стр. 13.

Стр. 54. Ономастика — «искусство» назначения имен.

...в древности мы употребляли не эту, а эй...

В староаттическом алфавите, употреблявшемся до конца V века, буква эй (ε) обозначала одинаково долгое и краткое е; реформа Архина (стр. 14) ввела по-воионийский алфавит, который пользовался для долгого е буквой эта (η).

Под иноземными словами, в отличие от «варварских», разумеются греческие слова, не встречающиеся в аттическом диалекте.

Стр. 55. Стоящие же означает отрицание хождения...

Одна из многочисленных пародийных этимологий «Кратила». «Отрицание хождения» должно было быть выражено словом ἀίσις, но «ради прикрасы» были «отняты» буквы ισ и «добавлены» στ.

Согласно изречению знаменитого поэта...

Илиада, кн. III, ст. 109.

Стр. 56. Каким же образом, Сократ, кто-либо, говоря то, что он говорит, может сказать то, чего нет?

Платон вкладывает в уста Кратилу учение Антисфена о невозможности ложных и противоречивых высказываний. Согласно Антисфену два противоречивых высказывания об одном предмете в действительности относятся не к одному, а к различным предметам, хотя бы было употреблено одно и то же имя. Очевидно, имя это по крайней мере в одном из двух случаев употреблено «неправильно».

Стр. 57. Сын Смикриона — Кратил; иноземец — гражданин чужой общины.

Стр. 59. Претерпев что-нибудь подобное, оно тотчас же становится другим.

Учение, с которым мы уже встречались в трактате «Двойные речи» (стр. 39). И возражение Сократа стремится отвести ту аналогию из области чисел, к которой прибегал реферирующий это учение автор «Двойных речей». Выражение «самый десяток» свидетельствует о том, что «десяток» служил как бы «школьным примером».

Стр. 60. ...как это происходит с именами букв алфавита... См. стр. 48.

Стр. 61. ...эретрийцы говорят $\sigma\kappa\lambda\eta\rho\acute{o}\tau\eta\rho$.

Показание Платона не подтверждается свидетельством надписей; для диалекта эретрийцев (на Евбее) действительно характерен «ротацизм», но не в конце слова (как в ряде других греческих диалектов и как вытекало бы из Платона), а между двумя гласными (разумеется, и в конце «слова», если за ним следует начинающееся с гласного «энклитическое слово»).

Стр. 63. ...подобно тому, как мы говорили о видах и буквах...

В предыдущем рассуждении проблема связи между «видами» (т. е. высшими понятиями — то, что впоследствии называлось «категориями») иллюстрировалась примерами связи между буквами, из которых одни друг к другу «прилажены» (см. стр. 13), а другие — нет. Так, о гласных говорилось, что они «проходят через все буквы как связующее звено, так что без какой-либо из них и прочие буквы не могут быть одна к другой прилажены» (253 А).

...не представляют собой речи...

Здесь впервые вводится понятие «предложения», для которого античная теория и впоследствии сохраняет термин $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ — речь. См. вступит. статью, стр. 25.

Стр. 64. *Тевт* — египетский бог Тот, изобретатель письма и «владыка слова»; впоследствии был отождествлен с греческим Гермесом.

...другие буквы, причастные не к голосу...

См. вступит. статью, стр. 13.

Стойхейон (ср. стр. 13) обозначает здесь и весь букворяд в целом, и каждый «элемент» в отдельности. Впоследствии возобладало употребление термина в значении «элемента», «буквы».

...исчислив связующее их отношение...

По мнению R. Eisler'a «Plato u. d. ägyptische Alphabet» (Arch. Gesch. Philos. 1922) речь идет о пропорциональном отношении, связывающем числа 4, 8 и 12 (не только $12 - 8 = 8 - 4$, но и $\frac{4}{8} = \frac{12}{4 + 8 + 12}$), а таково соответственное количество букв трех указанных категорий в египетском алфавите. Пропорция играла большую роль в космологии пифагорейцев, и наличие этого числового отношения в алфавите могло рассматриваться как признак единства и целостности алфавитного ряда.

...чтобы то, что ныне называется круглым, было названо прямым, и прямое круглым...

Ср. стр. 41 и вступ. ст., стр. 24.

Стр. 65. Аристотель (384/3—323/2).

См. вступ. статью, стр. 24—26.

...в предложении «красивая лошадь»...

Аристотель употребляет термин *предложение* (речь) для всякого имеющего законченный смысл сочетания слов (см. ниже гл. 4 и «Поэтику» 20, 11), а стало быть, и для обозначения понятия, выраженного более чем одним словом.

Нет такого имени, которое могло бы это обозначать...

Для высказываний типа — «не-человек» не существует термина; они не могут быть «именами» или «понятиями», поскольку «имя» или состоящее из нескольких имен «понятие» (речь) всегда относится к сфере либо существующего, либо несуществующего, а «не-человек» обозначает и то и другое; с другой стороны, к нему неприменим и термин «отрицание», обозначающий суждение с двумя членами, из которых один отрицается относительно другого.

Стр. 66. ...надежи имени.

Падежом Аристотель называет всякое отклонение слова от основной формы, в отношении имени — от номинатива, который содержит в себе самое название рассматриваемого предмета и может служить субъектом суждения о существовании предмета.

Он здоров — по-гречески глагол (ὕγιαίνει — он здравствует); также *болен* (κάμνει — он страдает).

Если глаголы высказаны сами по себе, то они суть имена...

Глаголы являются именами, когда они высказаны не в личной форме, а в неопределенном наклонении или причастии (этих грамматических терминов эпоха Аристотеля еще не знает). В отличие от личных форм глагола, всегда обозначающих некое существование, присутствие признака, — неопределенное наклонение и причастие не содержат указания на существование содержания, обозначаемого глаголом, хотя бы эти формы были взяты от самого глагола «быть».

...не как орудие...

Полемика против взгляда, который проводит платоновский Сократ в первой части «Кратила».

Стр. 67. Средним ударением Аристотель называет то прерывистое (/ \) ударение, которое впоследствии получило название «облечешного» и включает в себе моменты как «острого», так и «тяжелого» ударения (т. е. высокого и низкого тона).

...разумное слово.

По другому варианту рукописного предания: *составной звук.*

Гласный и т. д.

См. вступит. статью, стр. 13—14.

Союз и т. д.

Рассуждения Аристотеля о «союзе» и «члене» представляют почти непреодолимые трудности для истолкования в силу испорченности текста и, в одних случаях, отсутствия, а в других неясности приводимых примеров (в переводе примеры эти опущены). Вторая часть определения «члена» повторяет первую часть определения «союза». По-видимому, мы имеем дело с ошибкой переписчика, который вторично переписал определение союза и при этом, может быть, опустил заключительную часть подлинного определения члена. Грамматическая терминология эпохи Аристотеля очень мало известна, и мы лишены возможности внести в искаженный текст сколько-нибудь вероятные исправления.

Как указывалось во вступительной статье (стр. 25, ср. Дионисий Галикарнасский на стр. 122), Аристотель и Теодект устанавливали, кроме глаголов и имен (сюда относились, вероятно, и местоимения, а также наречия, рассматривавшиеся как «падеж» имени), третью часть «словесного выражения» — союзы (правильнее «связки»), понимая под этим термином всевозможные служебные частицы, не имеющие «самостоятельного значения» вне контекста речи. В состав этих «союзов» входили — по позднейшей терминологии — союзы, предлоги и, вероятно, часть наречий, так что эта классификация в значительной мере совпадает с классификацией нового времени: имя, глагол, частица, — идущей от Санчеса (конец XVI в.); ради сохранения терминологической преемственности античной грамматики, где термин «союз» (σύνδεσμος) впоследствии сузился, мы здесь переводим его словом «союз», а в той части нашего сборника, которая посвящена теории стиля, пользуемся более соответствующим его смыслу словом «частица». Впоследствии стоики принимали четыре «части речи», присоединив к указанным трем «членам», которые включали в себя — по позднейшей терминологии — и члены и местоимения; употребление термина «член» (правильнее «сочленение», «сустав») засвидетельствовано, однако, и для эпохи Аристотеля («Риторика» Анаксимена). В рассматриваемом тексте «Поэтики» и Аристотель воспользовался этим термином. Двучленное определение «союза» следует, очевидно, понимать в том смысле, что Аристотель хочет обратить внимание на две категории частиц: 1) богато представленные в греческом языке т. наз. «заполнительные» частицы,

которые могут быть удалены из предложения без ущерба для смысла и, стало быть, «не препятствуют, но и не содействуют» составлению предложения; 2) частицы, скрепляющие имена и глаголы и способствующие образованию целостного предложения.

Совершенно неясным остается определение «члена». Оно вряд ли поддается истолкованию в смысле позднейшего «члена» или «местоимения», тем более что Аристотель, судя по другим текстам, эти позднейшие «части речи» отнесил к «именам». В подлиннике приводятся два примера, из которых один искажен, а другой представляет собою предлог, что тоже не подходит под определение, даваемое «члену». Исходя из предположения, что анатомическое значение терминов «союз» (связка) и «член» (сочленение) должно было оставаться еще не стертым, некоторые комментаторы думают, что Аристотель выделил в качестве «членов» союзы, вводящие части сложного предложения: причинные и условные союзы выражают «начало», целевые и следственные — «конец» (греч. *télos* — конец, цель), разделительные — «разделение» предложения; ко второй категории «союзов» тогда относились бы только соединительные союзы, т. е. «связки» в полном смысле слова. Что касается приводимого в качестве примера предлога, то здесь возможны два объяснения: либо предлоги также относятся ко второй категории «союзов», и пример при искажении текста попал не на свое место, либо Аристотель относил предлоги к «членам», и тогда в том месте текста, где теперь находится повторение первой части определения «союза», стояло продолжение определения «члена», захватывавшее также и предлоги. Все это, конечно, весьма гадательно.

Стр. 68. ...отношений выразительности...

Аристотель имеет в виду наклонения, как они были сформулированы Протагором (стр. 38), с упором на интонационный, а не на морфологический момент.

Определение человека у Аристотеля: двуногое земноходное животное.

Что касается имен сложных...

Аристотель различает два случая составного имени в зависимости от того, входят ли в его состав слова, «не имеющие значения», например предлоги, или не входят, но подчеркивает, что внутри имени эти составные части теряют свою самостоятельность, — иначе это не имя, а предложение.

Издавать звук голоса нельзя ни одной частью тела, кроме дыхательного горла...

Роль голосовых связок совершенно не известна ни Аристотелю, ни кому бы то ни было из античных теоретиков. В другом месте («О душе», II, 8—420 b) Аристотель пишет, что голос «происходит с помощью удара выдыхаемого воздуха по воздуху, находящемуся в дыхательном горле, в направлении (стенки) самого горла».

Стр. 69. Прикладывания языка..., складывания губ...

См. вступит. статью, стр. 14.

Стр. 70. Эпикур (341—271 до н. э.)

См. вступит. статью, стр. 29.

...недоступные восприятию вещи...

Абстрактные или даже конкретные, не способные быть непосредственно воспринятыми, как напр. атомы. Появление такого представления порождает потребность в новом термине, и он создается с помощью слов, обозначающих те признаки, которые послужили важнейшей причиной образования нового представления.

Диоген из Эноанды (II или III в. н. э.) — эпикурец, по инициативе которого на стене портика города Эноанды (М. Азия) было начертано изложение основных учений Эпикура.

...мы не принимаем Гермеса в качестве учителя...

В эллинистической мифологии Гермес, отождествленный с египетским богом Тотом, рассматривался как творец языка. Древнегреческой мифологии это представление было еще неизвестно (см. вступит. статью, стр. 10).

...не было ни... ни букв...

В надписи лакуна, которую по смыслу следует дополнить: ни *вестников*, ни букв.

Лукреций (ок. 98—55 до н. э.) — римский поэт-материалист, изложивший атомистическое учение Эпикура в поэме «О природе вещей».

Стр. 71. *Звуками мы отличаем понятия ligna от ignes*. *Ligna* — дрова, *ignes* — огни.

Геликон — гора в Беотии, на которой находилась «рожда Муз».

Стр. 72. *Под впечатлением разным отметило звуками вещи*.

В подлиннике: разными звуками.

Молосские псы — свирепая порода собак. *Молоссы* — племя в Эпире.

Стр. 73. *Звуками обозначать...*

В подлиннике: различными звуками.

Стр. 74. *Стоики*. См. вступит. статью, стр. 29—31.

Хрисипп (ок. 280—208 до н. э.) — завершитель стоической системы, автор многочисленных сочинений, из которых некоторые были специально посвящены языковым вопросам.

Диоген Вавилонский — ученик Хрисиппа, один из руководителей стоической школы во II в. до н. э., автор трактата «О звуке» (т. е. о звуковом выражении, о языке).

Диалект.

Термин *диалект* (говор), равно как и *гlossa* (язык), употреблялся как в отношении языка в целом, так и в отношении отдельного слова. При этом, когда вставал вопрос о диалектических различиях, термин этот применялся на равных правах и к местным языкам, и к общегреческому языку эллинистической эпохи («общий диалект»), а соответственно и к отдельным словам как местной, так и общегреческой («эллинской») значимости; эти последние, будучи общепринятыми, вместе с тем являются и «племенными» словами. Впоследствии термины дифференцировались таким образом, что «гlossa» обозначала отдельное слово, а «диалект» — наречие. Ср. гл. IX: Диалектология.

Безгласные — шесть.

Придыхательные, по-видимому, причислялись к «полугласным», перечисление которых в данном отрывке пропущено переписчиком или пересказывающим Диогена Вавилонского Диогеном Лаэртием (III в. н. э.), автором трактата «Жизнеописание философов», откуда и заимствован рассматриваемый фрагмент Диогена Вавилонского.

Стр. 75. ...βλίτυρι — нечто вроде нашего *тра-ла-ла*.

...согласно некоторым, беспомощный элемент речи...

Под «некоторыми» разумеются, как видно из приведенного на стр. 76 текста Диогена Лаэртия VII, 64, последователи Аполлодора.

Антипатр из Тарса (ум. около 150 г. до н. э.) — стоик, ученик Диогена Вавилонского. О термине «середина» см. следующее примечание.

Наречия они причисляли к именам или глаголам.

Свидетельство это допускает различные толкования; оно тем более невразумительно, что Присциан, вероятно, переводит с греческого и сам не имеет ясного представления о существе дела. То, что впоследствии называлось «наречием» (см. перечень видов наречия у Дионисия Фракийца на стр. 143—144), в классификации Аристотеля-Теодекта разбивалось между «именами» и «союзами» (см. примечание к стр. 67; №№ 1—6 и некоторые другие из перечня Дионисия Аристотель отнес бы, вероятно, к именам). При тенденции стоической грамматики отождествлять «глагол» с «предикатом» вполне возможно, что стоики перенесли наречия из имен в глаголы (некоторые следы существования такого взгляда сохранились в позднейшей традиции, ср. ука-

зание Дионисия Галикарнасского на стр. 122). При этом указывалось, что наречия так же дополняют глагол, как прилагательные — имя (ср. Варрон VIII 11—12 на стр. 86—87 и примечание); получалось совершенно аналогичное соотношение: как прилагательные являются одним из видов имен, так наречия — глаголов. По мере обособления грамматической теории в самостоятельную дисциплину, наряду с логическими мотивами стали играть бóльшую роль моменты морфологические (м. б. уже под влиянием ранних александрийцев); тогда пришлось признать близость наречий к именам (отыменное происхождение почти всех качественных наречий, адвербиальное употребление прилагательных среднего рода, степени сравнения), и наречие стало рассматриваться как нечто среднее между именем и глаголом. Отсюда б. м. термин «средина», который применил к наречиям выделивший их в особую часть речи Антипатр из Тарса; античные грамматики затрудняются в толковании этого термина и выдвигают различные маловероятные объяснения. По-видимому, «средина» Антипатра включала в себя еще не весь позднейший состав понятия «наречие», а только ту часть его, которая прежде причислялась к именам. Для «наречия» в том объеме, в каком его понимали александрийцы, стоики впоследствии предлагали термин «пандект» («всеохватывающий»), и мотивировался этот термин как многообразием семантики наречия, так и возможностью адвербиального употребления прочих частей речи.

Рассматриваемый отрывок Присциана в целом отражает не позицию ранней Стои, а позднейший этап в развитии стоической грамматики, когда стоики, учитывая новые «части речи», выделенные александрийцами, стали вводить их в свою классификацию в качестве подразделений («предложные союзы», «определенные члены», ср. примечание к учению о местоимении на стр. 329 и сл.).

Перипатетики — школа Аристотеля.

Стр. 76. ... *Аполлодор* из Афин (ок. 180—109 до н. э.) — разносторонний грамматик, близкий к стоикам, но связанный и с александрийской школой.

Косвенными падежами называются все, кроме именительного; «прямого» и «косвенного» дополнения античная теория не различает.

Страдательная частица — предлог *ὑπό* (под), которым в греческом языке вводится действующий предмет при страдательных глаголах.

Порфирий (ок. 232—304 н. э.) — известный философ неоплатоник, резкий критик христианства. Необходимо обратить внимание на сбивчивость терминологии в этом тексте. В основном проведена терминология Аристотеля: «имя» — именительный падеж, «падеж» — косвенный падеж, но в конце отрывка применяется и стоический термин «косвенный падеж». Проводимые здесь различия сводятся к разделению глаголов («предикатов») на 1) личные и безличные, 2) переходные и непереходные.

Стр. 77. ... *Элементы этимологии.*

Имеются в виду типы семантических связей, лежавших, по стоическому учению, в основе образования слов. См. следующий отрывок.

Августин (354—430 н. э.) — известный христианский писатель. Исследователи обычно считают, что приведенный отрывок представляет собою пересказ изложения стоического учения об этимологии у Варрона (см. примеч. к стр. 85).

Стр. 78. ...от безобразия (*foeditas*) поросенка...

В Риме заключение союза с другой общиной сопровождалось религиозной церемонией, в которой центральное место занимало заклание поросенка; при этом произносилась формула заклинания, призывавшая Юпитера, наподобие того, как поражен поросенок, поразить римский народ, если римляне первыми нарушат договор.

...после принятия знамений обводят место плугом.

Часто применявшийся в Риме этрусский обряд «основания» города.

Стр. 79. *Витрувий* (I в. до н. э.) — римский архитектор, дает в начале II книги своего трактата «Об архитектуре» краткий очерк истории культуры, восходящий, вероятно, к трудам известного философа II—I в. Посидония.

Аммоний (ок. 500 г. н. э.) — комментатор Аристотеля, преподаватель философской школы в Александрии. При чтении приводимого отрывка следует иметь в виду, что Аммоний свои исторические сведения черпает гл. обр. из «Кратила» Платона, притом неправильно понятого. Античные комментаторы считают, что точка зрения первой части «Кратила» передает действительную позицию Платона, и стараются примирить первую часть диалога со второй и устранить мнимое расхождение Платона с Аристотелем. Вместе с тем они полагают, что взгляды, вложенные в уста Кратилу в диалоге Платона, отвечают взглядам исторического Кратила и даже его учителя Гераклита; и то и другое весьма сомнительно.

Стр. 81. Речь Аристофана в «Пире».

Платон, «Пир», гл. 14 (190 В).

Стр. 82. ...стараясь установить соответствие имен вещам...

Аристотель, объясняя те или иные термины, иногда прибегает к этимологии слов как иллюстрации смысловых отношений.

Если же кто вздумал бы доказывать...

Полемика против аргументации Демокрита (стр. 37).

Киренский поэт — Каллимах (III в. до н. э.), глава александрийской школы (фрагмент 271 Schn.).

Диодор Крон (IV в. до н. э.) — представитель школы «мегариков» или «диалектиков», выдвигавших, вслед за элеатами, логические (по античной терминологии «диалектические») трудности, связанные с признанием множественности вещей, движения и т. п. Последовательно развивая взгляд на значимость имен как результат соглашения и считая правомерным давать каждому предмету любое имя, Диодор, вместо обычных «говорящих» имен, которые давались рабам, давал им в качестве имен слова, служащие в греческом языке союзами.

Стр. 83. Дусарий из Петры (в Аравии) — лицо, ни в каких других памятниках не упоминаемое; судя по имени, эллинизированный араб.

Афродисийский толкователь — Александр из Афродисии, один из авторитетнейших комментаторов Аристотеля, живший во II—III вв. н. э.

Стр. 84. ...а также сказанным в «Софисте»...

См. стр. 63—64.

Стр. 85. Марк Теренций Варрон из Реаты (116—27 до н. э.) — многосторонний римский ученый, автор огромного количества трудов по разным областям знания. Ряд работ Варрона был посвящен вопросам языка. Среди этих работ первое место занимал трактат «О латинском языке» в 25 книгах. 1-я кн. содержала введение, кн. 2—7 трактовали об «установлении слов» и этимологии, кн. 8—13 о «склопении» (т. е. словообразовании и флексии) в связи с проблемой аналогии и аномалии в языке, кн. 14—25 о синтаксисе. От этого трактата до нас дошли кн. 5—10 и незначительное количество фрагментов из других книг.

...происходящие от Эмилия — Эмилии...

Римские роды (*gentes*) возводили свое происхождение к некоему предку, имя которого стало родовым именем всех членов данного рода. О составе римского имени см. отрывок из Доната на стр. 128.

Стр. 86. В слове vis родительный падеж сходен с именительным.

Дион — александрийский философ и грамматик I в. до н. э. Его классификация по существу совпадает с классификацией Аристотеля и Теодекта (стр. 125), по новизна ее заключалась, по-видимому, в том, что она основана была исключительно на морфологическом признаке «склоняемости». Сам Варрон (VIII, 44, ср. X, 17 на стр. 105—106) предлагает деление частей речи на четыре группы, комбинируя изменяемость по падежам и временам: 1) имеющие падежи (имена), 2) имеющие времена (глаголы), 3) имеющие и то и другое (причастия), 4) не имеющие ни того, ни другого (наречия); но с этим делением у него перебивается другое, заимствованное

из не указанного ближе, несомненно стоического, источника, тоже четвероякое, по основанное на семасиологическом признаке (VIII, 44): на имена, глаголы, союзы, подпоры. В качестве иллюстрации к последней категории приводятся наречия, рассматриваемые, по-видимому, как «подпоры» глаголов (ср. § 12).

Стр. 87. ...имя предшествует временному глаголу...

Античная теория стремится установить некий «естественный» порядок частей речи. На первое место ставятся имя и глагол как необходимейшие элементы предложения; имя, обозначающее «сущности», предшествует глаголу, указывающему на «действия» или «страдания» этих «сущностей». Так, по крайней мере, аргументируют позднейшие теоретики (Аполлоний Дискол, Аммоний и др.). Неясно, исходит ли Варрон из этого соображения, или хочет сказать, что глагол является «последующим», так как, помимо обозначения действия, включает в себе и добавочное обозначение времени.

Высказывалась, однако, и обратная точка зрения, что «глагол по природе старше имени, так как действия всегда старше сущностей» (схолий к Дионисию Фракийцу, § 12, стр. 216 II).

...по различиям тех вещей, коих они имена...

По видовым различиям обозначаемой вещи: члены рода Теренциев делятся на мужчин и женщин, которые соответственно получают имена Terentius и Terentia.

Стр. 89. Секст Эмпирик (конец II в. н. э.) — философ скептик, автор ряда трактатов, в которых стремится показать недостоверность различных наук. Практическая деятельность, по мнению Секста, возможна и без знания. В своей аргументации Секст обычно неоригинален и пользуется более ранними, в большинстве случаев для нас утраченными, источниками.

Стр. 90. Халдейское искусство — астрология.

Стр. 92. Эллинская речь получила признание по причине главным образом двух основных свойств: ясности и приятности...

В понятии «эллинской речи», «чистого» языка, заключаются моменты как грамматические, так и стилистические. О стилистических признаках «эллинской» речи см. стр. 203.

Стр. 93. ...последователи Пиндариона...

Птоломей Пиндарион — александрийский грамматик школы Аристарха (вероятно, II или I в. до н. э.).

...не всеми признается, что Гомер — древнейший поэт.

Хотя александрийские филологи установили, что Гомер древнее Гесиода, враждебные александрийцам грамматические школы (напр., стоики) продолжали отстаивать мнение Эфора (IV в.) о большей древности Гесиода. *Лип, Орфей, Мусей* — мифические певцы. Именами Орфея и Мусея часто прикрывались авторы религиозных и мистических стихотворений.

Стр. 94 ...варваризмов и т. д.

Ср. стр. 75.

...раньше было показано, что не существует ни единичного слова, ни сочетания слов.

В §§ 123, 131; Секст пользовался при этом обычными аргументами скептиков против возможности деления целого на части и составления целого из частей.

Стр. 95. Апория — безвыходное положение.

...Афины, прекрасный город...

Секст усматривает анаколуп в том, что в антитезивном соотношении находятся слова разных родов и чисел. Это имеет место и в последнем примере, не поддающемся переводу; речь идет о «совете шестисот» — афинском совете эллинистического, частично римского, времени (до начала II в. н. э.).

Хорошо было бы после возражения...

Возражения касательно результатов следования грамматикам — § 197 и сл., по поводу их высказываний § 210 и сл.

Стр. 97. Аристофан говорит...

Цитата из неизвестной комедии (фрагмент 685 Коск).

Стр. 99. Кратет (II в. до н. э.) — глава пергамской филологической школы, *Аристарх* (ок. 217—145 до н. э.) — виднейший представитель александрийской филологии; см. вступит. статью, стр. 32.

Работы Хрисиппа об аномалии (ср. стр. 31) имели целью показать расхождение между языковыми соотношениями и соотношениями вещей, в то время как грамматика-аналогисты в своих исследованиях «сходного и несходного» рассматривали преимущественно звуковые сходства в изменениях слов.

Стр. 100. ...чтобы внешний вид слова был таков, что может склонением породить из себя определенный тип.

Из сферы аналогии изымаются слова, склонение которых представляет собою изолированный в языке ряд, напр. *сарут* (см. кн. X, 82 на стр. 110).

Стр. 101. ... (надлежит искать сходство) и в том, каково их действие.

См. ниже, § 91—94, кн. X, § 7, 28—29, 51 и сл. Смысл аргументации в том, что «сходство» слов должно устанавливаться не на основании одной лишь исходной формы (поинатива, 1-го л. ед. ч. наст. вр.), а требует рассмотрения и форм флексии («действие»). Во многих случаях, лишь комбинируя исходную форму с какой-нибудь «склоненной» формой, можно установить тип «склонения», но этот тип устанавливается уже твердо; стало быть, «аналогия существует».

Стр. 103. Утверждают, что она не соблюдается во временах глаголов.

Аномалисты обращали внимание на то, что в латинском языке существуют различные типы образования совершенного вида глаголов, не зависящие от формы глагола в несовершенном виде: так, в *legi* совершенный вид образуется удлинением коренного гласного, в *tutude* (след. §) с помощью удвоения, причем для несовершенного вида характерен носовой инфикс; исходя из принципов «аналогии», нельзя указать «правил» образования совершенного вида.

Стр. 104. Мирмекид — древнегреческий резчик, славившийся изделиями мельчайшего размера.

Для различения сходств важно, имеет ли глагол во втором лице последний слог as или is или es.

Комбинируя первое лицо со вторым, а затем проведя подразделение окончания *is* на два вида соответственно долготе или краткости *i*, римские грамматика пришли к выделению четырех типов латинского спряжения несовершенного вида, фигурирующих и поныне в учебниках латинского языка и являющихся, с точки зрения элементарного описания форм, вполне удовлетворительным решением проблемы.

Стр. 105. Дионисий Сидонский, Аристокл из Родоса, Пармениск — грамматика II—I вв. до н. э., принадлежавшие к школе Аристарха.

Произвольное и естественное склонение. См. стр. 88.

Стр. 106. Четвертая — *ни того, ни другого.*

Наречия отнесены к «склоняющимся» словам, как имеющие степени сравнения.

Чтобы именованце было сходно с именованцем...

Уже первые творцы теории аналогии стремились ограничить и уточнить понятие «сходства». Так, Аристофан из Византии (ок. 257—180 до н. э.), один из основоположников александрийской грамматики, указал, по сообщению Харисия (I, 117 К), пять условий правильности аналогии: в сравниваемых словах должны быть одинаковы

1) род, 2) падеж, 3) окончание, 4) количество слогов, 5) ударение. Аристарх прибавил шестое условие: не приравнивать простых слов к составным.

К этому четвертому источнику направляются ряды.

	Nom.	Dat.	Gen.	Acc.	Voc.	Abl.
m. s.	albus	albo	albi	album	albe	albo
f. s.	alba	albae	albae	albam	alba	alba
n. s.	album	albo	albi	album	album	albo
m. p.	albi	albis	albarum	albos	albi	albis
f. p.	albae	aldis	albarum	albas	aldae	albis
n. p.	alba	aldis	alborum	alba	alba	albis

Исходя при определении аналогии из имен, сходных в указанных четырех отношениях, Варрон строит парадигму латинского склонения в виде квадрата, разделенного на 36 квадратных клеток («доска для игры в кости»).

«Поперечные» ряды представляют собою изменение имени по шести падежам латинского языка, «отвесные» — по родам и числам ($3 \times 2 = 6$); грамматическая форма, соответствующая каждой клетке, определена своей принадлежностью к обоим рядам.

Стр. 107. Для членов кое-что будет так же, кое-что иначе. Действительно из пяти родов...

«Членами» Варрон называет, соответственно стоической терминологии, местоимения и сравнивает их с именами в отношении «акциденций», которых у имени пять (стр. 126); совершенно совпадающими оказываются первые две, роды и числа, в падежах наблюдается отличие и совершенно не сходен «вид» («качество»); по «образу» Варрон сравнения не проводит. Для античного аналогиста склонение местоимений представляло неодолимые трудности: «аналогия смутна и скудна».

У них есть шесть видов склонений...

Шесть категорий изменений глагола получают с помощью прибавления к временам и лицам четырех наклонений, установленных Протагором (стр. 38) и механически перенесенных на латинский язык. Для «вопроса» пришлось искусственно создать особое наклонение, образуемое присоединением энклитической вопросительной частицы *ne* (ли) к формам изъявительного наклонения.

Стр. 108. Аналогия имеет основу или в произволе людей, или в природе слов, или в том и другом.

Для античной теории склонения имен представляло чрезвычайную трудность то обстоятельство, что и в греческом и в латинском языках именительный падеж единственного числа очень часто отличается от всех прочих форм огласовкой основы и затемненностью ее консонантизма. Грамматикам очень легко было установить единообразие флектируемых окончаний и произвести соответствующую классификацию типов склонения для всех падежных форм, кроме именительного падежа единственного числа, т. е. именно той формы, которая по античным теоретическим представлениям являлась основной, исходной, обозначением «самого» предмета, а стало быть, и источником прочих форм. Найти практический выход было сравнительно нетрудно, привлекая для характеристики склонения, кроме

номинатива, какую-нибудь иную форму; латинские грамматикеры выбирали для этого аблатив (как рекомендует Варрон в § 62), а впоследствии остановились на принятом и поныне в словарной и школьной практике родительном падеже. Однако правомерность использования отличной от номинатива формы в качестве «основы», «начала», требовала и теоретического обоснования. Приходилось признать, что некоторые имена имеют «заголовок» (т. е. именит. п. ед. ч.) «не по своей аналогии» (Варрон, IX, 79), что этот «заголовок» может быть искаженным. Объяснение, приводимое Варроном, сводится к тому, что в «установлении» слов, по крайней мере со стороны их внешней формы, много произвола: так, в словообразовании преобладает аномалия (ср. VIII, 21—23, на стр. 88); между тем единообразие склонения, наблюдаемое в живой речи, несмотря на то, что говорящие не обладают грамматическими сведениями, свидетельствует о том, что закономерность «природы» слова яснее обнаруживается в склонении, а стало быть, познать эту «природу» легче из косвенного падежа, чем из номинатива, обязанного своим происхождением «установлению». Другой выход из теоретического затруднения состоит в принятии двух «установлений», одного для единственного числа, другого — для множественного, и это второе «установление», именительный падеж множественного числа, оказывается менее искаженным, чем первое (§ 54 и сл.). В результате склонение характеризуется «переходом» от именит. падежа ед. ч. к другим формам.

...четыре словесные формы имеют соотносительное склонение.

Самый термин «аналогия» означает «пропорцию». Варрон (X, 41) иллюстрирует грамматическую аналогию числовым примером: как два относятся к одному, так двадцать — к десяти.

Стр. 109. ...с шестого падежа, который является собственным латинским.

Аблатива в греческом языке нет.

Аналогия есть сходное склонение...

Ср. Секст Эмпирик § 229 (стр. 97), Варрон, IX, 5 (стр. 99) и вступит. статью, стр. 31.

Стр. 111—112. Грамматика, части и задачи.

Термин «грамматическое искусство», обозначавший в классическую эпоху искусство чтения и письма, был применен александрийскими учеными для обозначения филологической работы над литературными памятниками. Отсюда различение элементарной грамматики («грамматистики»), обучения чтению и письму, от высшей («совершенной») — толкования и критики произведений поэтов и прозаиков (гл. обр. историков, так как ораторами занимались риторические школы); в понятие «критики» («оценки») входили и критика текста, и установление подлинности произведений, и эстетическая оценка их. Определение Дионисия Фракийца имеет своим предметом эту «высшую» грамматику, включая и необходимые для нее вспомогательные сведения по теории языка; как показывает его перечисление «частей» грамматики, языковая сторона дисциплины не объединяется в какую-либо целостную «часть», так что самое содержание его трактата, учение об «элементах» и о частях речи, не укладывается в его же собственное разделение грамматики. В дальнейшем стараются заменить случайное перечисление частей грамматики более систематическим ее расчленением. Асклепиад из Мирлеи выделяет «техническую» (т. е. грамматическую в нашем смысле слова) и «историческую» части как вспомогательные для «грамматической» части — толкования и критики литературных произведений. Другие устраняли «историческую» часть, объединяя ее с толкованием, и получалось двучленное деление, возобладавшее у латинских грамматиков; таковы экзегетика и ористика в приведенном отрывке Диомеда. Выделение «технической» части («ористики» или «методики») подчеркивало, что грамматика — не агрегат полезных сведений, не «эмпирия», как в определении Дионисия Фракийца, а нечто более систематическое, «искусство» (τέχνη); учение о грамматических категориях (части речи) и об изменениях имен и глаголов («склонение»), как научная база толкования и критики текстов, могло претендовать (особенно с точки зрения аналогистов) на обозначение «искусство»,

как более высокую ступень познавательной лестницы (на высшей ступени была ἐπιστήμη — «знание», наука о «непреходящем», напр. геометрия). Поэтому последующие авторы исправляют определение Дионисия, заменяя «эмпирию» «искусством» и устраняя ограничительные слова «в большей части». Грамматические руководства излагают только техническую часть; александрийская система имела своим основным содержанием учение о частях речи, предпосылая в качестве введения учение об «элементах»; римские грамматики добавляют, по примеру стоиков, и учение о достоинствах и недостатках стиля. По мере расширения и освоения языкового материала, «техническая» грамматика становилась все более самостоятельной, но «экзегетическая» часть отпала лишь в средние века, при совершенном изменении «грамматического» обучения. Толкование и критика поэтов и историков неизменно оставались основой «обязанностью» античного грамматика, и дисциплина в целом включала в себя и необходимые для понимания текстов сведения об их содержании (история, мифология и т. п.). В этом отношении пределы дисциплины определялись скорее негативно: входило все то, что не «подлежит ведению других искусств». Определения Деметрия Хлора и Аристона, подчеркивающие языковую сторону дисциплины, исходят, вероятно, из терминологии позднейших стоиков (Кратет и его школа), которые именовали искусство толкования и оценки писателя «критикой», а «грамматику» считали совокупностью вспомогательных сведений; это вытекало из аномалистической позиции школы (ср. указание на «обиход» и у Деметрия Хлора, и у занимающего промежуточную позицию Аристона). Но как ни именовать дисциплину в целом, перечисление «задач» грамматики, цитируемое Диомедом из Варрона и восходящее, вероятно, к греческому грамматiku Тираониону (ок. 100—25 до н. э.), вполне соответствовало требованиям, предъявляющимся в античности к представителю «грамматического искусства» (по К. Barwick, Remmius Palaemon, Lpz. 1921).

Авторы, определения которых приведены: Дионисий Фракийец (ок. 170—90 до н. э.; ср. вступит. статью, стр. 32), Итоломей Перипатетик (неизв. врем.), Асклепиад из Мирлеи (150—50 до н. э.), Харет (или б. м. правильнее: Херид, II в. до н. э.), Деметрий Хлор (ок. начала н. э.), Аристон (неизв. врем.).

Стр. 112. Диомед (римский грамматик IV в. н. э.). См. вступит. статью, стр. 32. *Элемент, буква.*

См. вступит. статью, стр. 12—16.

Они называются ставящимися впереди, так как, будучи поставлены перед i и u образуют слог, — т. е. дифтонг.

Стр. 113. Безгласными они называются потому, что дают худший звук.

Объяснение Дионисия свидетельствует о том, что термин «безгласный» уже стал непонятным; но это является признаком не каких-либо новых успехов фонетики, а ее полного омертвления: старая теория и терминология переходят из одного грамматического руководства в другое, как традиционный и не перерабатываемый более материал.

Дионисий Галикарнасский (I в. до н. э.) — см. стр. 170 и сл.

Аристоксен из Тарента (IV—III в. до н. э.) — виднейший из античных теоретиков в области музыки и ритмики.

Стр. 114. Некоторые полагали, что звуковых элементов имеется всего тринадцать...

Кто эти «некоторые» — к сожалению, неизвестно. Число тринадцать устанавливалось, вероятно, следующим образом: в отношении гласных отказывались от пассивной традиционной теории, исходившей из наличных букв алфавита, и принимали пять элементов а, ε, ι, ο, υ, независимо от их долготы или краткости (ср. Секст Эмпирик § 115 на стр. 120); из полугласных исключали «двойные», которые являются не элементами, а сочетаниями их, так что полугласных оставалось также пять; относительно безгласных предполагалось, что «средние» и «густые» образованы из

«простых» с помощью более или менее сильного придыхания, и безгласных оказывалось три — к, л, т.

Противоположный расчет, исчислявший количество элементов в большем размере, чем традиционные 24, исходил из признания самостоятельными элементами всех долгих и кратких гласных, а также снабженных придыханием и отличающихся между собою характером ударения (см. Секст Эмпирик §§ 113—114 на стр.120).

Эпсилон, омикрон, омега, ипсилон.

Мы сочли возможным для удобства русской транскрипции греческих названий букв, воспользоваться этими четырьмя позднейшими терминами (см. примеч. к стр. 48) для обозначения ε, ο, ω, υ (= нем. ü).

...получают свой собственный звук...

Дзэга в эллинистическую эпоху обозначала звонкий спирант (z); в отношении *кси* и *пси* есть основания предполагать слабую артикуляцию взрывного, которая позволяла отличать его от *каппы* или *пи*.

Стр. 116. Марий Викторин (римский грамматик IV в. н. э.) в приведенном отрывке дает прозаический пересказ соответствующего раздела из стихотворного трактата Терентиана Мавра (см. вступит. статью, стр. 15). Легко заметить, что данные Терентиана—Викторина почти полностью совпадают с показаниями Дионисия Галикарнасского относительно произношения греческих звуков; оба изложения восходят, в последнем счете, к какому-то более раннему греческому источнику. При полной несамостоятельности римских грамматиков, зачастую рабски следовавших грекам, в иных случаях можно усомниться, отвечают ли указания Терентиана—Викторина действительному произношению звуков латинского языка. Самостоятельно римским грамматикам приходилось описывать лишь неописанный в греческой традиции звук *f* (лабиодентальный).

Стр. 117. с. k или q.

В латинском языке глухой палатальный первоначально обозначался с помощью *k* перед *a*; перед *e*, *i* с помощью *s*, переход которого в аффрикату относится уже к началу средних веков; перед *o*, *u* с помощью *q*. Впоследствии буква *k* почти совершенно вывелась из употребления, а *q* применялось только для лабиовелярного звука, так что глухой палатальный во всех его оттенках передавался через *s*.

Стр. 118. Полугласные должны начинаться с e...

Речь идет о названиях букв: эль, эр, эм, эн, эф.

Ион — ближе неизвестный грамматик.

Аigma — палатальный *п*.

Стр. 119. Ἄρες.

В имени бога Ἄρις (Арей) первый гласный обычно краток, но в Илиаде (V 31 и 455) встречается формула, где из двух непосредственно следующих друг за другом форм звательного падежа от Ἄρις первая дана с удлинением начального гласного: Ἄρες, Ἄρες.

Стр. 121. ...по утверждению некоторых философов...

В эпоху Секста (и его источников) древнегреческие дифтонги успели уже в значительной мере монофтонгизироваться, но грамматическая теория с этим не считалась и продолжала причислять эти звуки к дифтонгам, в лучшем случае устанавливая категорию «дифтонгов с преобладанием», т. е. таких, где одна составная часть вытеснила другую. Кто эти «философы», протестовавшие против грамматической рутины и апеллировавшие непосредственно к слуху, неизвестно. Они были правы и в том отношении, что монофтонгизация дифтонгов создавала подчас «элементы», отличные от обычных гласных. Так αι перешло в долгое открытое *e*, отличающееся от звука *эты*, ставшего уже закрытым *e* и приближавшегося к *i*.

...всякий элемент является обоюдным...

Греческое κοινός (общий, сопричастный), которое на протяжении всего отрывка систематически передавалось словом «обоюдный», не включает в себе ограничения двойственностью и допускает одновременную сопричастность ко многому.

Стр. 122. Знаки препинания.

Позднейшие грамматики устанавливали иногда значительно большее количество знаков препинания для выражения различных логических соотношении между предложениями, напр. Никанор (II в. н. э.) — до восьми знаков.

Претерпевания.

Список «претерпеваний» дан по Schneider'у, *Grammatici Graeci* II, 3, p. 20—30.

Стр. 123—124. Харисий, Присциан — см. вступит. статью, стр. 32.

Терентий Скавр — римский грамматик II в. н. э. Его определение предложения включает в себе намек на этимологию слова oratio, которое обычно разъяснялось, как oris ratio (разум уст).

Стр. 125. ...давая основное членение речи...

Точнее: членение словесного выражения; Аристотель и его школа отличали части «речи» (т. е. предложения, суждения) — имя и глагол, от частей «словесного выражения», куда входили также и союзы (ср. стр. 65—67). Стойки, искавшие более тесной связи между логическим и языковым моментами, перенесли логический термин «части речи» в область языка.

Частей речи восемь...

Это деление, окончательно установившееся в системе античной грамматики, принадлежит Аристарху, а в римскую грамматику было введено Реммием Палемоном (стр. 32).

Донат — см. вступит. статью, стр. 32.

Аполлоний, Геродиан — см. вступит. статью, стр. 32.

Стр. 126. Роман (ок. 500 г. н. э.) и его ученик *Иоанн Филопон* изъясняют содержание «имени» аристотелевским термином «субстанция», в то время как Аполлоний и Геродиан приближались к стоической терминологии (см. вступит. статью, стр. 29—30).

Акциденции.

Под акциденциями части речи первоначально разумелись, по-видимому, категории ее изменения в отношении как словообразования, так и флексии. В грамматике Дионисия акциденции приписывались поэтому только изменяемым частям речи. Впоследствии понятие это расширилось и стало равносильным «свойству».

...некоторые присоединяют к ним два других — общий и совместный.

К *общему* роду относили имена, которые употребляются и в мужском и в женском роде в зависимости от пола обозначаемого существа; там же, где оба пола обозначаются одним именем, сохраняющим неизменный род, говорили о *совместном* (или *смешанном*) роде.

Сервий — римский грамматик второй половины IV в. н. э.

Стр. 127. Консентий — вероятно, V в. н. э.

Стр. 128. Виды имен бывают по звуку и по значению.

Это разделение, восходящее б. м. к Аполлонию, объединяет два совершенно различных принципа классификации имен по «видам», исходящие из разного понимания «вида», как «акциденции» имени. Первая классификация обнимает типы образования производных имен от некоего первичного имени и соответствует понятию «акциденции» в его первоначальном значении (см. примеч. к стр. 126). Вторая классификация чисто логического порядка и не связана с вопросами словообразования. В грамматике Дионисия эти обе классификации (не снабженные еще заголовками «по вкусу» и «по значению») даны отдельно; первая при изложении акциденций, вторая — после них. Эта последняя вводится словами: «подчинено имени

то, что также называется видом» — отсюда ясно, что автор хочет отличить «вид», как грамматический термин, обозначающий типы производных слов, от обычного логического «вида». Позднейшие грамматики смешивают эти понятия.

Отыменное, глагольное.

В качестве примеров даются собственные имена, образованные от имен или глаголов.

Стр. 129. Прилагательное.

Античная грамматика никогда не выделяла прилагательные в особую часть речи. «Прилагательным» («эпитетом») является всякое имя, которое служит спецификацией для другого имени, более детальным изъяснением его качества, поскольку обозначение «качества» свойственно всем именам. В сочетании имен «грамматик Трифон» «грамматик» есть «прилагательное» к «Трифон». Специально «прилагательными» являются те имена, которые не функционируют самостоятельно, а сопровождают другие имена, и чем шире объем их «прилагасности», тем более применим к ним этот термин. У Дионисия термин «прилагательное» соответствует современным прилагательным качественным.

Относящееся к чему, как бы относящееся к чему.

В обоих случаях имеются в виду соотносительные понятия, но в первой группе они мыслятся сосуществующими (отец — сын), во второй наличие одного устраняет другое (день — ночь).

Имяносное, двуименное, наименное.

Виды эти относятся в первую очередь к мифологическим собственным именам. Имяносным является то имя, которое своим этимологическим составом иллюстрирует какое-либо свойство именуемого лица или его судьбу, т. е. «говорящее» имя, напр., Τισαφενός — мститель. Наименное представляет собою прозвище, которое может служить заменой основного имени: таковы культовые прозвища богов. В случае двуименного одно лицо имеет два имени, но эти имена могут существовать отдельно одно от другого.

Неопределенное.

Неопределенное противоположно вопросительному в том отношении, что целью употребления вопросительного является спецификация неопределенности, а неопределенное устраняет возможность такой спецификации. Неопределенное местоимение в греческом языке отличается от вопросительного только ударением или составляется путем присоединения члена к вопросительному (обобщающее неопределенное, как в примерах Дионисия).

Стр. 130. Звукотрагическое.

Буквально: «сделанное».

Среди составных четыре разновидности...

Ср. отрывок из Харисия на стр. 124.

Числа присущи тем словам, которым присущи также и лица.

Для античной грамматики характерно, что грамматические категории продолжают мыслиться в какой-то мере как категории бытия. Так, если лица оказываются здесь присущими именам, то конечно не в качестве грамматической категории, а потому, что всякий предмет, обозначаемый именем, есть некое «лицо».

Стр. 131. Падеж.

Ср. стр. 66, 68, 75—76.

Стр. 132. Георгий Херобоск — ранневизантийский грамматик. Определение глагола, которое он приводит и комментирует, принадлежит по всей вероятности Аполонию.

Наклонение.

Определение склонения у анонимного грамматика восходит, вероятно, также к Аполлонию.

Почти все грамматики согласны, что склонений пять.

Следуя за греческой теорией, римские грамматики приписали латинскому языку пять склонений греческого языка. В действительности, однако, в латинском «подчинительном» слиты и «подчинительное» и «желательное», и это обстоятельство создавало трудности с самого начала существования римской грамматики. Уже в эпоху Варрона приходилось искусственно создавать «вопросительное» склонение («О латинск. яз.», X, 31 на стр. 113, ср. примеч.). Основоположник позднейшей грамматической теории Рима Реммий Палемон разъяснял, что формы «желательного» вместе с тем являются формами «подчинительного», к которому он относил также и *futurum II*, как употребляющееся главным образом в подчиненных предложениях. Одна и та же глагольная форма оказывалась при *utinam* (о если бы) «желательной», при *cum* (когда) — «подчинительной». Исходя из этой позиции в семантике латинского конъюнктива оказалось возможным выделить и «увещательное» склонение, затем «уступительное», не упоминаемое здесь Диомедом. В чем видели различие между «подчинительным» (*subjunctivus*) и «союзным» (*conjunctivus*), неизвестно. Под «обещательным» разумели будущее время. Аналогичные тенденции наблюдались иногда и в греческой грамматике, особенно у позднейших стоиков; это не расходилось с пониманием «склонений» как выражений душевной склонности. Кроме того, система латинского глагола представляла особенности и формы, неизвестные грекам; отсюда тенденция к дальнейшему увеличению числа склонений: герундий и сунии относили к «причастному», а безличное употребление 3-го лица ед. ч. пассива — к «безличному» склонению.

Стр. 133. Некоторые называли подчинительное колебательным.

Эта попытка дать конъюнктиву наименование (*διστακτικῆ*, *dubitativus*) исходя из его семантики принадлежит каким-то греческим грамматикам, с которыми полемизирует Аполлоний (Синтаксис, III, 123—126). Официальная точка зрения античной грамматики признавала специфической особенностью этого склонения то, что оно подчинено вводящим его союзам (отсюда и латинские термины *subjunctivus* и *conjunctivus*) и, стало быть, «нуждается в другом глаголе» (т. е. глаголе подчиняющего предложения).

Стр. 134. Древние называли залогами...

Термин *διάθεσις*, для которого в русской традиции укрепился перевод «залог», означает: расположение. В учении о залогах морфологические моменты смешиваются с синтаксическими и семантическими построениями, восходящими к стоикам (стр. 76). Медиальная семантика греческого «страдательного залога» грамматиками уже не ощущалась, и они замечали лишь те случаи, где *medium* и *passivum* дифференцировались морфологически.

Макробий (ок. 400 г.) — римский грамматик, автор трактата «О различиях и сходствах греческого и латинского глагола», откуда и заимствован приведенный отрывок.

Стр. 135. Отложительный залог.

В основе термина лежит, по-видимому, представление, что соответствующие глаголы должны были бы иметь, как и «общие», и действительное и страдательное значение, но «откладывают» в сторону это последнее.

Αντιγονιστῶν, φιλιππιστῶν.

Эти глаголы образованы от имен, уже являющихся составными Ἀντι — γόνι, Φίλ — ιπποϛ.

Стр. 137. Время.

Греческий глагол может обозначать: 1) длительное действие, процесс, 2) результат, к которому процесс привел, 3) чистое действие вне всяких дальнейших характеристик. Эти три вида резко дифференцированы и в морфологическом отношении.

В длительном виде можно различать настоящее время и прошедшее («длительное», имперфект), в результативном («перфективном») настоящее («предлежащее», перфект), прошедшее («преждезавершенное», плюсквамперфект), третий вид образует «аорист». Будущее не включает в себе видовых различий (существовало и будущее перфективного вида, но в эпоху грамматиков уже почти вышло из употребления и лишь вскользь отмечается ими), но по своему образованию имеет высшее сходство с аористом. Поэтому грамматикам легко было установить три «сродства» между временами глагола, и стоики пришли к различению настоящего и прошедшего «длительного» и настоящего и прошедшего «завершенных», а третий вид получил название «аориста» («неограниченного»), и этот отрицательный момент мог рассматриваться как объяснение «сродства» с будущим. Однако античная теория, по существу наметив виды глагольного действия, вытягивает их по линии времени и соотносит грамматические «времена» с моментом речи. «Длительность» и «завершенность» являются уже подразделениями настоящего и прошедшего времени и служат не характеристикой глагольного действия, а показателем его незаконченности или законченности к моменту речи или к какому-либо предшествующему моменту. При этом следует иметь в виду, что стоическая философия принимала атомистическую концепцию времени, так что и в области физики для стоиков «настоящее» было неким отрезком конечной величины, по обе стороны которого располагаются состоящие из таких же отрезков прошедшее и будущее: движение времени разворачивается скачками из одного отрезка в другой и остановками внутри каждого отрезка (отсюда и термин «настоящее», точнее: наставшее и пребывающее). С этой точки зрения грамматические «времена» получали следующее истолкование: действие, законченное в момент речи, выражается перфектом («настоящим завершенным»), законченное в более ранний момент — плюсквамперфектом («прошедшим завершенным»), действие, которое продолжится в момент речи и перейдет в будущее — «настоящим длительным» (буквально: «протягивающимся» — в будущее), а имперфект истолковывался как незаконченное действие, в данный момент прерванное, но могущее быть продленным в будущем — прошедшее «длительное» («протягивающееся»). Аорист обычно обозначает законченное действие, но не содержит указания на то, закончилось ли действие в «настоящий» момент или в какой-либо из прошлых; стало быть, он является «неограниченным» временем.

Александрийская грамматика, в связи с возобладавшим антиатомистическим учением о непрерывности времени, перестроила теорию глагольных времен. «Настоящее» перестало быть отрезком, остановкой движения, и стало точкой, вечно текущей границей между прошедшим и будущим, в которых только и возможны отрезки времени. Грамматическое «настоящее» рассматривается теперь как обозначение непрерывного отрезка, частью принадлежащего прошедшему, частью — будущему. Результатом этой новой теории было то, что перфект отошел в число «прошедших» времен, и это обстоятельство создавало большие затруднения в области синтаксиса, заставлявшие грамматиков возвращаться иногда к стоическому истолкованию перфекта (см. Аполлоний, Синтаксис, III, 21 на стр. 148). Искусственность усвоенного грамматиками учения о времени и его несовместимость с чувством языка часто вызывала отклонения от официальной теории (см., например, определение имперфекта у схоластика Дионисия); если ее трудно было провести уже для изъявительного наклонения, она оказывалась совершенно неприменимой для прочих наклонений, где греческий язык представляет (если не считать будущего времени) одни лишь видовые различия. Грамматики учили, что все эти наклонения имеют «соединенные» времена настоящего и прошедшего, но для объяснения семантики видовых различий приходилось уже вводить понятие длительности самого глагольного действия; последовательности и четкости здесь, однако, не наблюдается.

То же в области латинской грамматики. Исходя из стоической теории Варрон мог выдвинуть вполне рациональное, отвечающее системе латинского глагола, различение несовершенных и совершенных глаголов, с разворачиванием внутри каждой категории всех трех времен — настоящего, прошедшего и будущего. Позднейшая

грамматика, следуя за александрийцами, отошла от этого и воспроизводила греческие объяснения времен, отмечая лишь совмещение в латинском перфекте греческого перфекта и аориста. Futurum exatum, как уже было указано (прим. к стр. 132), относили к сослагательному наклонению, в интерпретации времен которого наблюдается такая же путаница, какая имеет место в греческой грамматике.

Стр. 139. Афиняне разделили и его на будущее и вскоре будущее.

«Вскоре будущее» — истолкованное с «временной» точки зрения будущее перфективного вида (см. предыдущее примеч.). Грамматики приписывали его афинянам, так как находили его у аттических авторов классического периода.

Отраженное нарицание.

Причастие является «отраженным» («антанакластическим») нарицанием, поскольку оно может функционировать и как нарицательное и как глагольная форма, стало быть, «переходит» из глагола в нарицание и из нарицания обратно в глагол (ср. «антанакласа», стр. 287).

Стр. 140. ...если же, потеряв времена, они привлекают к себе и те надежи...

В латинском языке причастия несовершенного вида («настоящего времени») могут функционировать как прилагательные, не заключающие характеристики вида глагольного действия («потерять времена»); напр. *patiens* (терпящий) — в смысле «терпеливый». В этих случаях причастие сочетается с родительным падежом как имя, каков бы ни был синтаксис глагола.

Причастие, стало быть, есть часть речи...

Определение восходит к Аполлонию.

...причастия... имеют... соединенные времена.

См. примечание к учению о временах (стр. 328).

Потенциально и по значению причастие содержит все наклонения.

Ср. Аполлоний, Синтаксис, III, 26 на стр. 149.

Член есть часть речи, которая прикрепляется...

Определение восходит к Аполлонию. Под членом, ставящимся позади имени, разумели местоимение $\delta\varsigma$, η , θ ($\tau\acute{o}$) в его относительной функции («который»). Самое отделение члена от местоимений вызвано было тем, что член употребляется с именем, а не «вместо» имени. Член — буквально: сустав, сочленение, скрепа.

Стр. 140. Местоимение.

В стоическом учении о частях речи «член», обозначавший бескачественную «сущность», охватывал, кроме позднейшего «члена», местоимения указательные и относительные, вопросительные и неопределенные; личные входили в «имена». Александрийцы обратили внимание на личные местоимения в процессе изучения «склонений» как на категорию слов, в склонении которых «аналогия» оказывается затемненной (ср. Варрон, X, 30 на стр. 107), так что падежи и числа образуются совершенно несходным образом. Такие слова, «сопряженные по лицам», т. е. приводимые в связь друг с другом в силу тождественности в семантике лица («я» и «мы», «ты» и «вы»), получили название «местоимений», как употребляющиеся «вместо имен»; в эту же категорию попали относившиеся раньше к «членам» местоимения указательные, как обозначающие третье лицо. Существенное свойство их видели в том, что они, заменяя имя, обозначают предмет не с помощью называния его, а путем «показывания», и эту особенность некоторые пытались выразить в термине «значение» или «указательный член». Вопросительные и неопределенные, не заключающие в себе ни «показывания», ни «отнесения» (как «члены»), были отнесены александрийцами к «именам». Позднейшая стоическая грамматика, по-прежнему не отделяя «членов» от «местоимений», приняла в свою единую часть речи также и личные местоимения и внутри этой части речи, называемой иногда «членом», иногда «местоимением», отличала «определенные» члены (или местоимения), соответствовавшие александрийскому местоимению, от «неопределенных»; к числу этих последних

относились также вопросительные и относительные, равно как и «члены» александрийской грамматики, — все то, что не содержит в себе непосредственного и определенного указания. Эта классификация с ее дальнейшими расширениями попала в грамматическую традицию римлян. Александрийская школа оставалась на прежней позиции, и Аполлоний, равно как и придерживающийся его учения Присциан, включают в число местоимений только «определенные», относя прочие к «именам» и сохраняя «член» в качестве особой части речи. В отношении семантики местоимения Аполлоний исходит однако из стоической теории, не вполне ясно понимая ее. В отличие от «имен», обозначающих качественную определенность предмета (стр. 125), местоимение обозначает предмет, указывая не на качественные признаки, а на «сущность», причем под «сущностью» Аполлоний разумет уже не бескачественный субстрат стоиков, а конкретный предмет, взятый без рассмотрения его «качества». Таким образом, местоимение, будучи применимо в силу своей бескачественности к любому предмету, индивидуализирует его в такой же мере, как собственные имена, а иногда даже более, поскольку одно и то же собственное имя обозначает разных его носителей. Достигается этот эффект с помощью непосредственного «указания» на конкретный предмет или «отнесения» к уже известному предмету. Местоимения первого и второго лица только «указывают», местоимения третьего лица (он, этот, тот и пр.) и «указывают» и «относят», за исключением «сам», которое является только «относительным». По теории александрийцев местоимение всегда включает в себе момент грамматического лица; определение Доната исходит из расширительного толкования термина, при котором захватываются и «неопределенные» местоимения. Впрочем, относительно объема понятия «местоимение» и отграничения его от имен в античных грамматических руководствах большая разногласия даже у тех авторов, которые в основном придерживаются сходных взглядов.

Стр. 141. ...разнящееся по падежам и числам тогда, когда оно не выражает своим звуком рода.

Здесь зафиксировано наблюдение, что личные местоимения, имеющие в именительном падеже основу, отличную от основы других падежей, и множественное число, отличное от единственного, не изменяются по родам, а местоимения, склоняющиеся от одной основы, имеют и родовые различия.

Стр. 142. Трифон (ок. начала н. э.) — видный александрийский грамматик, автор работ о частях речи и о диалектах; развивал учение об «аналогии» в применении к словообразованию и явился одним из основоположников теории «претерпеваний» (стр. 32, 122).

Проб — римский грамматик IV в. н. э.

...не вполне определенное...

К этой категории относили такие местоимения, как *ipse* (сам), *idem* (тот же самый) и т. п.

Коминциан (вероятно, ок. 300 г. н.э.) — римский грамматик, послуживший одним из источников грамматики Харисия.

Наречие.

Неудачный перевод термина, означающего «приглаголье».

...высказываемая о глаголе или прибавляемая к глаголу.

К последней категории относятся различные частицы (напр., в перечне видов наречия №№ 7, 17 и др.), восклицания, вероятно также наречия «отрицания», «согласия», «запрещения» (№№ 9—11) и т. п.

Стр. 143. ...обо всех или о части их...

Одни наречия могут быть «высказываемы» о любых глагольных формах, другие могут оказаться семантически несовместимыми с теми или иными временами и наклонениями. Например, наречия времени: «вчера» несовместимо с формами настоящего или будущего; наречия желания: «если бы» несовместимо с изъявительным наклонением и т. д.

Другие показывают средину.

Термин «середина», введенный Антипатром из Тарса для обозначения наречия, как части речи (см. стр. 75 и примечание), сохранился и в позднейшей грамматической традиции для отыменных наречий на — ως.

Стр. 144. ...обнаруживающее пробелы в выражении мысли.

Эти слова были непонятны уже античным грамматикам, и они заменяли «обнаруживающее» словом «восполняющее», относя рассматриваемую часть определения союза к довольно многочисленным в греческом языке т. наз. «восполняющим» союзам, не вносящим существенно нового в выражаемую мысль. Дионисий вероятно хотел сказать следующее: союз, как утверждал еще Аристотель, не имеет «самостоятельного значения», но он обнаруживает «пробел в выражении мысли», т. е. наличие в ней отдельных самостоятельных частей, и тем самым связывает мысль в определенном порядке (ср. А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, вып. 2, Лгр., 1927, стр. 98: «Союз имеет значение не сам по себе, а как выразитель того или иного сочетания, как словесное обнаружение такого сочетания»). Позднейшие грамматики, например Аполлоний, полемизируют против понимания союза как «лишенной значения» части речи и приписывают ему «соозначение» порядка или потенциальности (союз: бы), т. е. способность подчеркнуть соотношение между отдельными частями сложного предложения.

Из союзов одни — соединительные...

Классификация союзов восходит к стоическому учению о сложном предложении, опирающемуся на анализ типов суждения и умозаключения. *Связующие* союзы — условные (напр., «если»), устанавливающие связь между предложениями безотносительно к тому, имеют ли эти предложения место в действительности; *вдобавок связующие* (напр., «поскольку») устанавливают не только самую связь, но и осуществление ее условий; в категорию *причинных* (в старом неудачном переводе: *винословных*) входят также и *целевые*; *вопросительные* — союзы типа *ли, разве*; к *выводным* («силлогическим») относятся следственные союзы, а также те, которые вводят вторую посылку силлогизма (*но, но ведь* и т. п.). Последующие грамматики вводили в эту классификацию различные дополнения (напр., союзы «противительные», «разъяснительные» (т. е. сравнительные), потенциальные, например *бы* и др.) и подразделения уже имеющихся видов, напр., выводных на «присоединительные» и «результативные» и т. п. У латинских грамматиков встречаются попытки, наряду с логической классификацией союзов, разбить их по тем глагольным наклонениям, с которыми эти союзы сочетаются.

Стр. 145. Не заключают в себе высказываемого.

О стоическом термине «высказываемое» см. стр. 74.

Синтаксис.

В греческих и римских учебниках грамматики проблемы синтаксиса рассматриваются обычно лишь эпизодически. Основным, даже почти единственным источником для знакомства с этой частью античной грамматической теории является объемистый трактат Аполлония Дискола «О синтаксисе», в четырех книгах которого разбирается синтаксис членов, местоимений, глаголов (наклонения, залоги, сочетания глаголов с косвенными падежами имен) и предлогов; за этим следовал синтаксис наречий (сохранился фрагментарно) и союзов (не дошел). Приводимый отрывок о причинах возникновения солекизмов дает общее представление о методе Аполлония и применяемом им принципе семантической сочетаемости.

Некоторые запутали всеми согласно признанное положение...

Попытка изменения традиционного понимания солекизма вызвана была, очевидно, полемикой против этого понятия, следы которой сохранились у Секста Эмпирика, Против грамматиков, § 212 (стр. 94).

Стр. 146. ...с переходом в другое лицо...

Аполлоний понимает не грамматическую категорию «лица», а «лицо», о котором говорится, объект речи (см. примечание к стр. 130).

Стр. 147. ...эти мужи.

В греческом языке множественное число οἱτοί (эти) изменяется по родам, и в дальнейшем винительный падеж этих взят в мужском роде (τούτους).

Стр. 148. Данный союз стремится устранить действительно совершившиеся события, переводя их в область возможного.

Другими словами: союз ἵν содержит в себе отрицание того, что данное событие действительно совершилось, с помощью перевода глагола из реального плана в потенциальный, т. е. обозначает несуществующую возможность.

Стр. 149. ...если бы изобличалось местоимение ἐμαυτοῖς...

Слитное возвратное местоимение ἐμαυτοῦ (= ἐμοῦ αὐτοῦ — меня самого) не имеет множественного числа, которое было бы образовано непосредственно «склонением».

...лишенное оттенка душевного расположения.

О «душевном расположении» см. в учении о наклонениях, стр. 132.

...прямые падежи становятся косвенными...

В греческом языке во всех этих случаях употребляется винительный падеж (т. наз. «винительный с неопределенным» современной школьной грамматики). Во избежание недоразумения следует отметить, что по учению Аполлония (напр., Синтаксис, III, 163—164) винительный падеж связан не с неопределенным наклонением (эта точка зрения распространилась в средневековой грамматике с XII века), а обусловлен семантической сочетаемостью глаголов желания и т. п. с винительным падежом.

...выход из глаголов придает род, падеж и присущее последним число, но отнимает различие лица и душевное настроение.

Причастие, происходящее от глагола, становится, однако, самостоятельной частью речи и, «выходя» из глагольной сферы в собственную, теряет «акциденции» лица и наклонения, приобретает род и падеж; вместе с тем и изменение по числу происходит уже по типу склонения, а не спряжения.

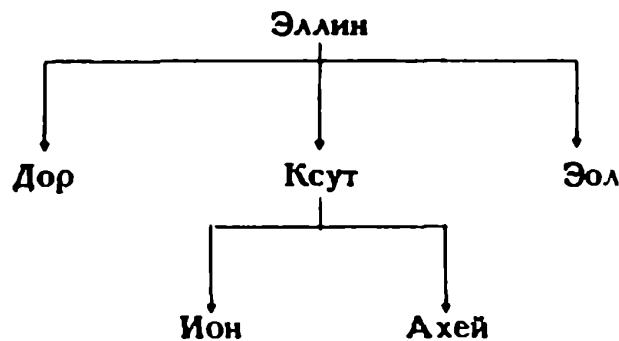
Стр. 150. Диалектология.

Интерес к диалектам наблюдается уже в V в. (см. вступит. статью, стр. 15), но к систематическому изучению их приступили лишь александрийские филологи в связи с изданием и комментированием старинных текстов. Объектом их интереса были т. о. не устные диалекты, которые в эллинистическую эпоху могли еще быть захвачены в живом бытовании, а древние литературные языки, рассматриваемые в их отличии от литературного языка эллинистического периода, т. наз. «общего диалекта» (κοινὴ). Поскольку исследовательский кругозор был ограничен литературными памятниками, античные грамматики могли констатировать лишь наличие четырех диалектов (кроме «общего»), с «разновидностями» внутри каждого. Из многочисленных диалектологических трактатов древности ни один не сохранился, и наши сведения об этой отрасли «грамматики» ограничиваются несколькими византийскими компиляциями, из которых наиболее пространной является трактат коринфского митрополита Григория (XII—XIII вв.) «Об особенностях диалектов». Приводимый нами отрывок заимствован из анонимного сочинения «О диалектах», представляющего собой очень краткое извлечение из работ Иоанна Филопона (VI в.). При всей своей незначительности и сжатости он может служить показателем метода, применяемого и в более полных трактатах византийской эпохи. Фонетические и морфологические различия диалектов осмысливаются, в основном, как различия «букв», причем грамматик, хотя и говорит о «произношении», в действительности имеет в виду только написание. Например, наблюдение, что в аттическом диалекте при «слиянии гласных» (σγασίς, см. стр. 123) οε переходит в ου (т. е. в закрытое долгое о, впоследствии u) формулируется так, что «аттический дает υ вместо ε». Нет оснований думать, что метод античных диалектологов мог в этом отношении

существенно отличаться от приемов византийских грамматиков; но некоторые (правда очень скудные) данные позволяют думать, что античные филологи ставили перед собой проблемы и другого порядка. Так, группа грамматиков I в. до н. э. и начала н. э. (Гипсикрат, Тиранион, Филоксен, Дидим) проводила в довольно широком масштабе сравнение латинского языка с греческим и устанавливала близость латинского языка к эолийскому диалекту; комбинируя языковые наблюдения с сравнением учреждений и строя жизни, эти ученые приходили к выводу, что Рим является «эолийским поселением» в Италии.

Ион и пр.

Генеалогия мифических персонажей, по именам которых якобы названы греческие племена:



Афиняне, считавшие себя «автохтонами», более древними, чем прочие племена, соглашались иметь своим героем Иона лишь при введении в эту генеалогию поправки: Ион не был сыном Ксута, а в действительности рожден был от бога Аполлона и жены Ксута Креусы, происходившей из рода афинских царей (ср. трагедию Еврипида «Ион»):



...общим Пиндар...

Странное утверждение, что Пиндар писал на «общем» диалекте, восходит, вероятно, к наблюдениям над смешанным характером языка Пиндара. Беотийский диалект, дорийская основа которого испещрена многочисленными эолизмами, смешивается в языке Пиндара с эпическими (т. е. ионийскими) формами.

Разновидностей этого (ионийского) диалекта было четыре.

О четырех наречиях малоазиатских ионийцев сообщает еще Геродот (I, 142), который указывает и территориальное распределение этих наречий.

...нерасчлененное произношение...

Имеется в виду монофтонгизация дифтонгов, образовавшихся от слияния двух гласных; грамматик учитывает те случаи, где она отразилась в написании слов или перемене места или характера ударения, напр. $\upsilon\rho\acute{\alpha}\delta\iota\omicron\nu$ из $\upsilon\rho\alpha\acute{\iota}\delta\iota\omicron\nu$, $\lambda\alpha\tau\rho\tilde{\omega}\varsigma$ и $\lambda\alpha\tau\rho\acute{\omega}\iota\varsigma$.

...пользование двойственным числом...

Двойственное число в эпоху литературных памятников уже выходило из употребления, долгие всего сохранившись в аттическом диалекте. В эллинистический период оно совершенно вымерло, и грамматики находили его почти исключительно у аттических писателей и в эпосе, который считался «древнеаттическим» (см. выше «об ионийском диалекте»); но и в этих памятниках его функция часто переходит к множественному. Замечая, что двойственное число отсутствует не только в эолийском, но и в «происходящем от него» (см. примечание к началу главы) латинском, грамматики приходили к выводу, что это число «позднейшего происхождения», в древнейшем греческом языке не употреблялось и «образовано» уже от множественного; этим объясняли и сравнительно малую дифференцированность флексии двойственного числа.

Стр. 151. Разновидностей этого (аттического) диалекта было три.

Грамматики исходили, вероятно, из показания Аристофана (см. стр. 98).

Менандр и Филемон — комедиографы IV—III вв. до н. э.

...сокращать винительные падежи множественного числа.

Речь идет о кратком гласном в окончании падежа (напр., $-\alpha\upsilon\varsigma > \omicron\varsigma$ с кратким α , без обычного «заменительного удлинения»).

Алкман и пр. — древние греческие поэты VII—VI вв.; Эпихарм — сицилийский комедиограф VI—V вв. до н. э.

...превращает слова в баритонические.

В эолийском диалекте ударение никогда не бывает на последнем слоге и отходит настолько далеко от конца слова, насколько это позволяют общие законы греческого ударения. При этом последний слог получает «тяжелый тон».

Разновидностей этого (эолийского) диалекта было три.

Какие разновидности грамматики усматривали в эолийском диалекте — неизвестно.

Мия.

Испорченное в рукописи имя «Минна» может означать либо *Мия* (прозвище беотийской поэтессы Коринны или легендарная дочь Пифагора, подложные письма которой сочинялись в поздней древности), либо *Эрина* (поэтесса IV в., которую грамматики считали современницей и подругой гораздо более древней Сапфо).

Стр. 156. ...ничего не существует...

См. стр. 38 и прим. к ней.

Изобретение словесных фигур...

О теории «изобретения» и «изобретателях» в истории античной мысли см. стр. 11.

Стр. 164. ...То, что античные теоретики называют холодностью...

Под «холодностью» разумелось неумеренное и неуместное пользование стилистическими украшениями. В дальнейшем это понятие передается нами словом «ходульность». См. стр. 189.

Стр. 169. Аномалист в вопросах грамматики... См. стр. 31—32, 85—110.

Стр. 171. Александрийскую грамматическую школу с ее теорией аналогии... См. стр. 31—32; 85—110.

Стр. 181. Школа Исократы...

Исократ (436—338 гг. до н. э.) — учитель красноречия в Афинах и автор ряда сочинений на современные ему политические темы, написанных в форме публичных речей, которые, однако, никогда произнесены не были.

Столкновения гласных...

Исократ — один из первых греческих писателей, последовательно избегающих столкновения гласных между словами (зияний). Это было одним из основных стилистических требований его школы. Впоследствии теория стиля опять менее строго относится к зиянию, см. стр. 252.

Не надо ставить близко одну от другой одинаковые частицы...

Противоположные предписания дает Анаксимен, Риторика, 25, стр. 182. Аристотель, Риторика, III, гл. 5, стр. 190.

Употреблять слова...

О выборе слов в прозаической речи ср. Анаксимен, Риторика, 23, нач. стр. 182, Аристотель, Риторика, кн. III, гл. 5, стр. 190.

Проза не должна быть прозой вполне...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 8 нач., стр. 193.

Ямбические и трохеические...

Аристотель высказывается против ямбических и трохеических ритмов в прозе, см. «Риторика», III, 8, стр. 193.

Чтобы за первым фактом следовал второй...

См. полемику позднейших перипатетиков против этого требования, стр. 250.

Риторика Теодекта.

Теодект из Фаселиды (381—340 гг. до н. э.), см. стр. 161. См. также теории Теодекта у Цицерона, Оратор, 172 и 194, стр. 261 и 265.

Анаксимен.

Анаксимен из Лампсака (около 380—320 гг. до н. э.) — историк и автор риторического руководства, сохраненного нам среди сочинений Аристотеля, которому оно, однако, по всему своему характеру принадлежать не может. Написано это руководство приблизительно между 340 и 330 гг. См. стр. 160.

Вводить в речь изречения...

Один из приемов софистической риторики. См. о Поле, стр. 157.

Желающий говорить пространно...

Искусство краткословия и многословия было одним из предметов обсуждения и обучения в школах софистов. Платон, Федр. 267 В: «Тисий и Горгий... которые изобрели краткие речи и беспредельно длинные на всякие случаи. Продик, когда услышал как-то от меня об этом, рассмеялся и сказал, что только ему одному принадлежит изобретение, в чем должно состоять искусство речи, что не должно быть ни длинных, ни коротких речей, но речи средние».

Стр. 182. Зевгм.

См. стр. 286.

Существует три рода слов... и сочетание слов бывает трояким...

По-видимому, автору уже известно деление учения о стиле на учение о выборе слов и об их сочетании, но изложение не идет последовательно по этим двум главам, а перескакивает с одной темы на другую.

Относительно же гласных букв...

Античные писатели всегда говорят о буквах, а не о звуках. См. стр. 13.

Ставя частицы...

Ср. учение Исократ, стр. 181. Аристотель, Риторика, 5 нач., стр. 190.

Стр. 184. Всякое слово может быть...

Аристотель устанавливает здесь 8 видов слов, являющихся материалом поэтического языка, и в дальнейшем определяет и снабжает примерами каждый из этих видов, кроме одного, который он назвал «украшением» (κόσμος). Слово это употреблено здесь не в том широком значении, в каком обыкновенно употребляется, обнимая собою все виды стилистических приемов, а в каком-то специальном, стоящем наряду с метафорой и т. п. Что именно Аристотель здесь подразумевает, остается не ясно.

Общеупотребительным я называю...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 187.

Глоссой...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 3, стр. 189.

Из рода в вид, из вида в род.

Ср. Аристотель, Риторика, III, 10, стр. 195.

А корабль мой вот стоит...

«Одиссея» I, 185; 24, 308.

Да, Одиссей совершил...

«Илиада», 2, 272.

Из вида в вид...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 11, стр. 196.

Отчерпнув душу...

Эмпедокл, фрагм. 138 и 143 Дильс; Маковельский, Досократики, II, стр. 234 и 236.

Пропорцией я называю...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 10, стр. 195.

Можно назвать чашу щитом Диониса...

Метафора эта принадлежит поэту Тимофею (ум. в 357 г. до н. э.). Ср. Аристотель, Риторика, III, 4, кон.; 11, стр. 196.

Как у Эмпедокла...

Эмпедокл, фрагм. 152 Дильс; Маковельский, Досократики, II, стр. 137.

Сея богозданный свет...

Стих неизвестного поэта.

Стр. 185. Чашей без вина...

Ср. Деметрий, 85, стр. 233.

Достоинство слога быть ясным и не низким...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 187. О термине «достоинство речи», см. стр. 164.

Загадка...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 188.

Необходимо, чтобы эти слова были... перемешаны...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 12, стр. 198.

Евклид Старший.

Неизвестно, какого Евклида имеет в виду Аристотель.

Слишком явно пользоваться такими формами.

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 187.

Мера — общее условие...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 187; 3, стр. 189.

У Эсхила и Еврипида...

Упомянутые здесь трагедии Эсхила и Еврипида нам не сохранены.

Стр. 186. Арифрад.

Лицо нам неизвестное.

Надлежащим образом пользоваться каждым из указанных видов слов...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 7, стр. 191 и стр. 164.

К дифирамбам...

Дифирамб — хоровая песнь, первоначально культовая, в честь Диониса, позднее не связанный с культом, чисто литературный жанр, отличающийся сложной метрической формой и искусственным языком. Здесь на дифирамбический характер сложных слов указывается без отрицательной оценки, иначе «Риторика» III, 3, стр. 189, ср. также Деметрий, 91, стр. 227.

Слова представляют собою подражание...

Ср. Платон, Кратил, 423 А и сл., стр. 50.

Авторы трагедий... перешли от тетраметра к ямбу...

Диалогические части греческих трагедий написаны ямбическим триметром; первоначально однако стихом трагического диалога был трохеический тетраметр, следы которого нам видны еще у Эсхила. Ср. Аристотель, Поэтика, гл. 4 кон.

Стр. 187. Достоинство стиля заключается в ясности...

Ср. Аристотель, Поэтика, гл. 22 нач. стр. 185.

Стиль... должен соответствовать предмету речи...

О соответствии или уместности Аристотель говорит подробнее ниже, гл. 7, стр. 191. Характерно для Аристотеля учение о том, что лучше всего середина. То же и в других главах учения о стиле. Это же учение в этике; ср., например, «Никомахова этика» II, 6: «Добродетель... середина двух зол, избытка и недостатка... Порок переступает границу должного в аффектах и действиях то в сторону избытка, то в сторону недостатка, добродетель же находит и избирает середину». Это учение продолжает жить в перипатетической школе и позднее.

В сочинении, касающемся поэтического искусства...

Гл. 21, стр. 185.

Стр. 188. Перенять ее (метафору) от другого нельзя...

Ср. «Поэтика», гл. 22, стр. 186.

Дионисий, прозванный Медным...

Поэт-элегик V в. до н. э.

Загадки — хорошо составленные метафоры...

Ср. Аристотель, Поэтика, 22, стр. 185.

Стр. 189. Ликимний.

Поэт и автор теоретического сочинения о стиле. См. стр. 157.

Брисон.

Философ IV в. до н. э., ученик Евклида Мегарского и учитель основателя скептической школы Пиррона.

Аристофан.

Знаменитый комический поэт (приблиз. 446—385 гг. до н. э.). «Вавилоняне» — одна из наиболее ранних его комедий, до нас не дошедшая.

Ходульность стиля...

См. выше, прим. к стр. 164. Ходульность стиля (ψυχρόν) заключается для Аристотеля в смешении поэзии и прозы. Ср. Деметрий, 114—124, стр. 305.

От употребления сложных слов...

О сложных словах писал ученик Горгия, Пол. См. стр. 166.

В употреблении эпитетов...

Ср. стр. 237 сл.

Стиль делается... неясным...

И этот вопрос трактуется Аристотелем с точки зрения ясности стиля как его главного достоинства.

Стр. 190. Поэт.

Т. е. Гомер.

Он ринулся как лев.

Неточная цитата стиха Илиады, 20, 164: «Против него Ахиллес устремлялся как лев-истребитель».

Если фиал есть щит Диониса...

Ср. Аристотель, Поэтика, 21, стр. 184.

Итак, вот из чего складывается речь...

Характер 5 главы резко отличается от предыдущих: там, по-видимому, мы имеем собственное исследование Аристотеля, опирающееся на предшествующую ему литературу, здесь — повторяются правила элементарных учебников типа риторики Анаксимена.

От употребления частиц...

Ср. наставления школы Исократ, стр. 181; Анаксимен, Риторика, гл. 25, стр. 182.

Не следует употреблять двусмысленных выражений.

Ср. Аристотель, Риторика, гл. 25 нач. и кон.

Роды имен, как их разделял Протагор...

О грамматических наблюдениях Протагора см. стр. 38.

Стр. 191. Солекизм.

См. указатель.

Для звука и цвета выражение «увидев» не подходит.

В греческой поэзии глагол «видеть» употребляется иногда в применении и к другим чувствам, не только к зрению. Так у Эсхила в «Семи против Фив», 107 хор говорит: «Я вижу шум».

Пространности стиля способствует...

Ср. Аристотель, Риторика, гл. 22, стр. 181.

Антимах.

Поэт IV в. до н. э., элегик и эпик.

Безлирная мелодия.

Ср. Аристотель, Поэтика, гл. 21, стр. 184.

Соответственным стиль будет...

Ср. Аристотель, Поэтика, гл. 22, стр. 185 и 164. В применении к музыке: Платон, Государство, III, 399 А, Законы, II, 669 В.

Стр. 192. Лекарством должно служить известное правило...

Аристотель ссылается здесь с некоторым пренебрежением на предписания обычных руководств по риторике.

Стр. 193. Ни метрической, ни лишенной ритма...

Ср. наставления исократовской школы, стр. 181. Что метричность чужда прозаической речи — старое учение Горгия, который в этом видит различие между прозой и поэзией («Елена», § 9): «Всю поэзию я считаю и называю речью, обладающей размером».

Все незаконченное неприятно и невразумительно...

Учение Аристотеля о строе речи, куда входит учение о периоде и о ритме, исходит из двух требований: удобопонятности, т. е. того же требования ясности,

которое предъявляется к речи вообще, и красоты, или приятности. Одним из условий красоты в эстетике Аристотеля является законченность, ограниченность. Ср. определение трагедии в «Поэтике», гл. 7: «Трагедия есть воспроизведение действия законченного и целого»; то же гл. 23, об эпосе: «...фабулы в нем... должны... группироваться вокруг одного цельного и законченного действия». Ср. также приводимое Аристотелем в «Никомаховой этике», кн. II § 6, изречение пифагорейцев: «Зло принадлежит к области неограниченного, а добро — к области ограниченного». Красота и приятность ограниченного зависят в свою очередь от того, что ограниченность является условием познаваемости предмета.

Все измеряется числом.

Ср. слова Филолая (пифагорейца V в. до н. э.): «Все познаваемое имеет число, так как без числа нельзя ничего ни мыслить, ни познать» (фрагм. 4 Дильс).

Числом служит ритм.

Таким образом и ритм служит познаваемости, понятности речи.

Ямб есть форма речи большинства людей... Трохей более подходит к комическим танцам.

Исократ рекомендовал как раз, как наиболее подходящие для прозы, ямбический и трохейский размеры.

Остается пэан...

Пэан — или пэон — стопа, состоящая из четырех слогов — одного долгого и трех кратких, причем долгим может быть любой из четырех слогов; таким образом получаются четыре вида пэона: — UUU, U — UU, UU — U, UUU —. Аристотель в дальнейшем останавливается только на первом и четвертом.

Начиная с Трасимаха.

Трасимах из Халкедона — один из первых учителей риторики в Афинах; античная традиция считает его первым теоретиком ритмической прозы. См. стр. 156.

Отношение трех к двум.

Долгий слог считается по времени, необходимому для его произнесения, равным двум кратким. Поэтому отношение долгих и кратких получается: в ямбе и трохее 2 : 1, в дактиле 1 : 1, в пэоне 2 : 3.

Пользоваться наиболее незаметным образом.

Ср. предостережение исократовской школы, по учению которой ритмичность речи не должна быть слишком заметна, стр. 181.

Делает окончание как бы увечным.

Ср. Деметрий, § 39, стр. 275.

Отмечаться не черточкой...

В античном письме конец фразы обозначался так называемой параграфэ, т. е. черточкой между строками, выходящей на поля рукописи.

Речь бывает или нанизанной... или закругленной.

Противопоставляются друг другу стиль древнего сказа и стиль периодизованный. Слово «период» в буквальном переводе означает «круглый путь».

Стр. 194. Сам по себе не имеет конца...

Отличительным признаком «нанизанного» стиля является для Аристотеля то, что он не распадается, как периодизованный, на законченные целые, а тянется непрерывно, связанный простейшими союзами, до тех пор, пока тема не оказывается исчерпанной. По-видимому, прелюдии дифирамбов, с которыми этот стиль сравнивается, представляли собой сплошной ряд, музыкальный и словесный, идущий непрерывным потоком, без пауз, до самого конца. Противоположностью им являются произведения, разделенные на строфы.

Фразу, которая сама по себе имеет начало и конец...

Т. е. благодаря ритму.

Размеры которой легко обозреть.

Полной параллелью к этому определению периода является определение трагедии в «Поэтике», гл. 7: «Трагедия есть воспроизведение действия законченного и целого, имеющего определенный объем». Размер не слишком большой и не слишком малый является также одним из постулатов красоты в эстетике Аристотеля. Ср. «Поэтику», гл. 7: «Ведь прекрасное проявляется в величине и порядке; поэтому прекрасное существо не может быть слишком малым, так как его образ, занимая незаметное пространство, сливался бы, как звук, раздающийся в недоступный восприятию промежуток времени. Не должно оно быть и слишком большим, так как его нельзя было бы обозреть сразу; его единство и цельность уходили бы из кругозора наблюдающих; как неодушевленные предметы и живые существа должны иметь определенную и притом легко обозримую величину, так и фабулы должны иметь определенную и притом легко запоминаемую длину». И этот постулат связан, следовательно, с качеством познаваемости. Он повторяется Аристотелем в применении к самым разнообразным областям человеческой жизни. Ср. «Метафизика», III 1078 а, 36: «Главные свойства прекрасного — порядок, симметрия, определенные размеры», «Политика», VII, 4, 6: «Прекрасное обыкновенно находит свое воплощение в количестве и в пространстве; поэтому и то государство, в котором объединяются величина и порядок, должно считаться самым прекрасным»; «Никомахова этика», IV, 7: «Великодушие проявляется, как и красота, в большом теле; маленькие тела могут быть милыми и пропорциональными, но не прекрасными».

Легко запоминается...

Ср. приведенные выше слова из «Поэтики»: «Фабулы должны иметь... легко запоминаемую длину».

Колон — одна из двух частей периода...

Воззрение на двучленный период, состоящий из двух колонов, как на нормальную форму периода, а равно как и самые термины «период» и «колон», ведет свое начало из теории музыки и учения о стихосложении; перенесение их в теорию прозы является уже позднейшим моментом, причем перенесение это явно не принадлежит Аристотелю, так как у него оба термина предполагаются понятными читателю. Принадлежит ли ему учение о том, что сложный период состоит из двух колонов, параллельное учению о двучленности стихотворных периодов, сказать с уверенностью нельзя. См. полемику позднейших перипатетиков, стр. 46. Соображение, что такой период удобен для регулирования дыхания, является дополнительным мотивом, заставившим рекомендовать период из двух колонов.

Он как бы спотыкается...

Имеется в виду образ человека, по инерции падающего вперед, когда его внезапно останавливают при быстром беге.

Я часто удивлялся...

Исократ, Панегирик, 1.

Они оказали услугу и тем и другим...

Неточная цитата из Исократа, Панегирик, 36, 6.

Стр. 195. И для тех, кто нуждается в деньгах...

Неточная цитата из Исократа, Панегирик, 41.

Противоположности чрезвычайно доступны пониманию...

Приятность антитезы также сводится Аристотелем к принципу удобопонятности, т. е. все к тому же основному для него качеству речи.

Равенством... называется такой прием...

Фигуры трактуются Аристотелем как особые украшения двучленного периода. Притом он перечисляет их в том же порядке, как и Анаксимен, 26 нач., см. стр. 183

и Исократ в «Панафинейской речи», 2, т. е. дает число и порядок фигур, традиционные в риторических пособиях.

Перечислены в риторике Теодекта...

Ссылка эта показывает, что формальная сторона риторических фигур была разработана в доаристотелевский период гораздо подробнее, чем это делает Аристотель в своей «Риторике». В первую редакцию «Риторики» он ввел таких наставлений значительно больше, а затем, при последующей ее редакции, когда подобного рода вопросы потеряли для него интерес, Аристотель ограничивается лишь ссылками на свой первоначальный вариант «Риторики» в изложении Теодекта. О соотношении риторики Теодекта и риторики Аристотеля см. стр. 161.

Приятно легко научиться чему-нибудь.

Что процесс познания сам по себе дает людям наслаждение, эта мысль не раз повторяется Аристотелем. «Все люди от природы стремятся к знанию», — такими словами начинает он свою «Метафизику». С познанием связан и тот инстинкт подражания, который является у Аристотеля источником всякого искусства: «Поэтика», гл. 4: «Подражать присуще людям с детства; они отличаются от других живых существ тем, что в высшей степени склонны к подражанию, и первые познания человек приобретает посредством подражания»; там же дальше: «Приобретать знания чрезвычайно приятно не только философам, но также и всем другим, только другие уделяют этому мало времени».

Поэт называет старость стеблем, остающимся после жатвы...

Одиссея, 14, 214.

Как было сказано раньше...

См. гл. 4 нач.

Суждения, которые... представляются непонятными...

Ср. Анаксимен, гл. 22, стр. 181.

Стр. 196. Если бы кто-нибудь изгнал из года весну...

Слова из надгробной речи Перикла в честь павших на Самосе в 440 г.

В Эпитафии...

Вероятно, в эпитафии Горгия.

Хороший человек четырехуголен...

Выражение это встречается в стихотворении Симопада Кеосского. Платон в «Протагоре» (339 В) занимается его анализом; употребляет это выражение и Аристотель в «Никомаховой этике», I, 11. В основе его лежит пифагорейское представление о четырехугольнике как самой совершенной фигуре.

Во цвете сил...

Исократ, Филипп, 10.

Архит.

Архит Тарентский — пифагореец, живший в первой половине IV в. до н. э.

Стр. 197. Теодор.

Теодор Византийский — один из теоретиков ораторского искусства, живший в конце V и в начале IV в. до н. э.

Он шел, имея на ногах отмороженные места.

Стих неизвестного поэта.

Щит — фиал Ареса...

Пример этот приведен также в гл. 4 и в «Поэтике», гл. 21.

Лук — бесструнная лира...

Сходное выражение приводит Аристотель в гл. 6 кон. Цитируемые здесь слова принадлежат трагическому поэту Феогниду.

Стр. 198. Гиперболы.

См. стр. 240.

У речи письменной и у речи во время спора...

Вопрос о письменной и устной речи, о преимуществах и недостатках той и другой, был предметом горячих споров в IV в. Следы этих споров сохранились нам в направленной против Исократы речи Алкидаманта, ученика Горгия, «Против софристов», доказывающей преимущества импровизации перед написанной речью, и в программной речи Исократы «Против софристов», опубликованной им при открытии им школы; Исократ в этой речи защищает противоположную точку зрения. Платон в «Федре», аргументируя иначе, чем Алкидамант, также осуждает написанную речь.

Тою же впечатления хочет достигнуть и Гомер...

«Илиада», 2, 671. Пример этот часто приводится в теоретических сочинениях перипатетиков по различным поводам: здесь — в связи с фигурой бессоюзия, у Филодема — в полемике его с перипатетиком Павсимахом о том, облегчается ли или затрудняется произношение при повторении одних и тех же слов, и наконец Деметрием (см. стр. 295) — в связи с фигурой анафоры, где этот текст анализируется подробнее.

Стр. 199. Он должен быть приятен и величествен...

В этих словах заключается полемика с Теодектом, который требовал — правда, не от речи вообще, а от той ее части, в которой излагается дело, — чтобы она была величественна и приятна. См. стр. 181.

Стр. 200. Величием или гладкостью...

Учением о тронах ограничивается здесь учение о «выборе слов» (ἐκλογή), составляющее первую главу эллинистической теории; под «формой» разумеется то, что обыкновенно обозначается термином «сочетание слов» (συνῆσις) и составляет вторую главу. К этому присоединяется, как третья часть, учение о типах или характерах речи (καρὰκτῆρ, πλάσμα): скудном, величавом и различно называемом третьем типе. См. стр. 170.

Риторика к Гереннию.

Анонимное сочинение, адресованное некоему Гереннию, по просьбе которого это руководство написано. По имени своего адресата оно и получило в новое время название «Риторика к Гереннию», в рукописях же оно сохранилось вместе с риторическими сочинениями Цицерона как принадлежащее последнему, что совершенно невозможно. Для нас это сочинение — самый ранний памятник разработки риторики в Риме; написано оно в 80-х годах I в. до н. э. Для него характерно употребление латинской терминологии вместо обычной греческой и примеров, составленных самим автором, вместо литературных.

Скажем о видах... а затем рассмотрим те качества...

Здесь сочетаются две различные теории художественной речи: учение о типах речи и учение о качествах. См. стр. 168.

Дионисий Галикарнасский.

Ритор и историк. В 30 г. до н. э. он приехал в Рим и прожил там 22 года. Представитель аттицистического направления. Из его риторических и литературно-критических сочинений наиболее крупным и самостоятельным является сочинение «О сочетании имен». Кроме того он дает литературные характеристики ряда аттических ораторов и Фукидида.

Во всякой речи различаются две стороны...

Эта система, содержащая только элементы системы Феофраста (см. стр. 165), тем не менее значительно уклоняется от нее, изменяя внутри соотношения этих элементов: качества речи, из которых Феофраст исходит, стоят здесь на последнем месте; кроме того к четырем основным прибавляются здесь еще производные. Выбор слов и их сочетание, трактуемые Феофрастом в связи с красотой стиля, здесь приобретают самостоятельное значение, что является обычным расположением ма-

териала в эллинистической системе. Фигуры, занимавшие у Феофраста равноправное место с этими двумя частями, здесь подчиняются второй.

Стр. 201. Опровергнуть ложь и доказать истину...

Ср. Аристотель, Риторика, гл. 1, стр. 186 и гл. 12, стр. 198.

Прозаического и поэтического языка...

См. стр. 172.

Стр. 202. Достоинства речи...

См. стр. 164.

Диоген Вавилонский.

Философ-стоик, живший в середине II в. до н. э.

Изыществом, плавностью и внушительностью...

Список качеств здесь необычный: под первым — изяществом — объединяются два качества Феофраста: чистота и ясность; третье качество Феофраста — уместность — вообще отсутствует. Названная здесь на втором месте плавность есть вопрос сочетания слов, т. е., согласно Феофрасту, одно из средств достижения четвертого качества — красоты. Термин «внушительность» употреблен, по-видимому, как синоним красоты, но в применении специально ко второму средству ее достижения, согласно Феофрасту, к выбору слов. См. ниже, стр. 222.

Говорить чистым латинским языком ...ясно, красиво ...в соответствии с предметом...

Четыре качества речи, установленные Феофрастом.

Стр. 203. Чистота эллинской (латинской) речи...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 5 нач., стр. 190 и стр. 164.

Цицерон, «Об ораторе».

Диалог Цицерона «Об ораторе» изображает беседу, будто бы происходившую в 91 г. до н. э. между виднейшими ораторами того времени. Приводимые слова принадлежат Л. Лицинию Крассу (140—91 г. до н. э.), самому крупному римскому оратору до Цицерона.

Стр. 204. Лелию...

Теща Красса Лелия была дочерью Гая Лелия, друга Сципиона Младшего (середина II в. до н. э.), одного из виднейших членов того кружка наиболее образованных людей римского общества, который группировался около Сципиона. В «сципионовском кружке» очень горячо дебатировались вопросы литературы и языка. В отношении последнего царил теория аналогии и пуризм.

Женщины легче сохраняют... характер старины.

То же самое говорит о языке женщин и Платон в «Кратиле» (418 с): «Женщины, которые лучше всего сохраняют старинное произношение».

Плавт.

Поэт римской комедии (приблиз. 251—184 гг. до н. э.); самый крупный римский писатель раннего периода.

Певий.

Римский писатель (ум. в 201 г. до н. э.); писал комедии, трагедии и эпос.

Стр. 205. Ясность.

Ср. Аристотель, Поэтика, гл. 22 нач., стр. 185, Риторика, III, гл. 2 нач., стр. 187 и стр. 164.

Деметрий.

Под именем Деметрия цитируется небольшое сочинение о стиле, обозначенное в рукописи как принадлежащее Деметрию Фалерскому, ученику Феофраста, писателю III в. до н. э. Авторство Деметрия Фалерского исключается всем характером этой

книги, принадлежащей несомненно I в. н. э. Возможно, что приписано оно было Деметрию Фалерскому потому, что автор ее также назывался Деметрием. Во всяком случае мы о нем ничего не знаем. Сочинение это ценно нам как отражение позднейшей перипатетической теории стиля.

Стр. 206. Эпаналепсис.

См. стр. 281.

Естественного порядка слов.

См. стр. 250.

Гермоген.

Гермоген Тарсийский, род. около 161 г. н. э. См. стр. 176.

Стр. 208. Уместность.

Ср. Аристотель, *Поэтика*, 22, стр. 185; *Риторика*, III, 7, стр. 191 и стр. 164.

Нет ничего труднее, как видеть, что уместно...

Число тех моментов, в которых должна проявляться уместность речи (личность говорящего и слушателя, время и место речи, тема, характер отдельных частей речи) по сравнению с Аристотелем сильно расширяется. Совпадение Цицерона с Дионисием Галикарнасским (см. ниже стр. 208) заставляет предполагать общий перипатетический источник. Был ли это уже Феофраст или кто-нибудь из более поздних перипатетиков, — решить нельзя.

Гораций.

Римский поэт (65—8 г. до н. э.). К концу своей жизни он суммирует свои теоретические взгляды на поэзию в двух стихотворных посланиях, адресованных одно Пизонам, другое — императору Августу. В особенности первое, получившее впоследствии заглавие «О поэтическом искусстве» или «Поэтика», сыграло большую историческую роль в эпоху классицизма. Античная поэтика долгое время была гораздо больше известна новой Европе из Горация, чем из Аристотеля. Главным источником Горация был перипатетик Птололом из Пария (III в. до н. э.): отсюда многочисленные соприкосновения Горация с Аристотелем. В области стилистики Гораций выступает врагом архаических тенденций. См. стр. 172.

Стр. 209. Выбор слов, их сочетание...

У Феофраста выбор слов и их сочетание трактовались как проявления четвертого качества речи — красоты. В более поздних системах они выдвигаются на самостоятельное место рядом либо с главой о качествах речи, либо с главой о типах, и каждое качество или каждый тип речи рассматриваются в его проявлении как в лексике, так и в словосочетании.

Андроменид.

Известен нам только из полемики с ним Филодема. На основании того, что Филодем ставит его в связь с Кратетом, стойком середины II в. до н. э., Андроменида приходится датировать приблизительно тем же временем, м. б. первой половины II века. Слова его о том, что людям от природы свойственно чувство ритма, заставляют предполагать в нем перипатетика, так как то же самое говорит о ритме Аристотель в «Проблемах» 19, 38 и в «Политике», VIII, 5 кон., и в таких же выражениях говорит он в «Поэтике», гл. 4 о том, что людям от природы свойственно стремление к подражанию.

Достоинство.

Для обозначения четвертого качества здесь употреблен необычный термин «достоинство» (*dignitas*), вместо обыкновенно употребляемого «украшенность», «красота» (*ornatus*). См. стр. 164.

Стр. 210. Кто же приводит людей в трепет?

В красоте речи подчеркивается прежде всего патетический момент. В этом предчувствуется появление в теории стиля нового качества — «мощи» (δαινότης); см. стр. 171.

Пусть сладостны будут.

«Сладостность» подчиняется у Феофраста красоте; в эллинистическую эпоху она играет очень видную роль и выдвигается как качество, равноценное красоте. Ср. Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен, 10 и 11 (стр. 244). Сладостность выражается в способности поэта «вести за собою душу слушателя, куда он захочет», т. е. в возбуждении нужных поэту аффектов. Ср. характеристику художественной речи у Феофраста, стр. 201. Гораций следует очевидно и здесь своему перипатетическому источнику.

Анафора... антистрофа...

См. стр. 281.

Стр. 211. Эпанастрофа.

См. стр. 283.

Климакс.

См. стр. 285.

Нарушение порядка слов... посредством перестановки.

Т. е. путем инверсии (гипербата), а не парентезы, см. стр. 239.

Приводит к перегруженности.

См. стр. 221.

Фигура надежного разнообразия.

См. стр. 282.

Стр. 212. Оратор.

Т. е. Демосфен.

Стр. 214. Эпитрит.

Четырехсложная стопа, состоящая из трех долгих слогов и одного краткого, преимущественно — U — —, т. е. трохей с последним долгим слогом.

Ионические сочетания.

Ионики делятся на начинающиеся с долгих слогов: — — UU и на начинающиеся с кратких: UU — —.

Без каталексы

Каталексой называется сокращение последней стопы на один слог.

Стр. 219. Самый диалект...

Античное учение о диалектах см. стр. 150—152.

Стр. 220. Мощьность.

Гермоген понимает под мощью не особое качество, а высшую степень способности пользоваться всеми риторическими приемами. См. стр. 170.

Стр. 221. Много природной силы...

Здесь с указанным выше пониманием мощности переплетается другое: особое качество речи, ее сила, способность вызывать нужные оратору аффекты, патетичность.

Стр. 222. Теодор.

Теодор Гадарский — ритор I в., учитель императора Тиберия. См. стр. 173.

Стр. 223. В слове красотой является то, что приятно для слуха или для зрения...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 188 и стр. 166.

Стр. 225. Тяжеловесность слова...

Метафора, восходящая еще к софистической терминологии V в. до н. э. Ср. взвешивание слов в «Лягушках» Аристофана, стр. 157.

Открытом произношении...

Характерно для I в. н. э., что открытое произношение гласных ощущается как неприятное для слуха. В это время уже начался тот процесс, который завершился в вокализме новогреческого языка, именно более закрытое произношение ряда гласных и дифтонгов: вместо *ai* — *e*, вместо *ij* (в раннее время долгое открытое *e*) и дифтонга *ei* — *i*.

Малоупотребительные слова...

Ср. Аристотель, Поэтика, 21 нач., стр. 184; Риторика, III, 2, стр. 187.

Если возьмут что-нибудь у поэта...

Из Феофраста. Известно, что Феофраст рекомендовал ораторам чтение поэтов.

Стр. 226. Цетегам...

Старинный римский род. «Слово, неслыханное Цетегам» — слово, в старину не употреблявшееся, новое.

Варию...

Варий Руф — современный Горацию римский поэт.

Вергилию...

Публий Вергилий Марон (70—19 г. до н. э.), величайший римский поэт.

Цецилию...

Статий Цецилий — поэт-комик нач. 2 века до н. э.

Плавту...

Тит Макций Плавт (251—184 г. до н. э.), поэт-комик. Его творчество представляет важный этап в развитии римского литературного языка.

Энний.

Квинт Энний (239—169 г. до н. э.), поэт, автор трагедий, большого эпоса, излагающего всю римскую историю до его времени, и других произведений.

Катон.

Марк Порций Катон (234—149 г. до н. э.), один из первых римских писателей-прозаиков.

Так же, как из году в год меняют леса свои листья...

Гораций применяет здесь к истории слов гомеровское сравнение человечества с меняющейся ежегодно листвой деревьев: Илиада 6, 146.

Коль скоро захочет обычай.

Обиходная речь, как решающая инстанция в вопросах языка и стиля, — лозунг аномалистов. См. стр. 89 и сл.

Стр. 227. Как это делается в дифирамбах.

Ср. Аристотель, Поэтика, 22, стр. 189, Риторика, III, 3.

Остерегаться употреблять слишком много сложных слов.

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 187, 3, стр. 189.

Стр. 228. Украшения, которые не помещены нами среди перечисленных выше...

В «Риторике к Гереннию» тропы трактуются после фигур. Выделение тропов как особого языкового явления, отличного от так называемых фигур, происходит сравнительно поздно; ранняя перипатетическая теория его не знает. Для нас термин троп впервые встречается у ученика Кратета Тавриска, т. е. принадлежит стоической риторике.

Стр. 229. Метафора.

Ср. Аристотель, Поэтика, 21, стр. 184; Риторика, III, 2, стр. 188, 10, стр. 195.

Стр. 231. Осуждение собственного выражения уменьшает его смелость.

Ср. Аристотель, Риторика, III, 7, стр. 192; о всяком преувеличении.

Стр. 232. Когда мы говорим о человеке, что он сделал что-нибудь как лев...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 4, нач., стр. 189.

Стр. 233. Метафорами, заимствованными не слишком издалека.

Ср. Аристотель, Риторика, III, 2, стр. 188.

Не все сходные между собою понятия могут взаимно заменять друг друга.

Этим вносится ограничение в учение о метафоре Аристотеля. «Риторика», III, 4, стр. 190.

Если прибавить слово «как», получается сравнение.

Ср. Аристотель, Риторика, III, 4, нач., стр. 189.

Неодушевленные предметы представляются действующими как одушевленные...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 11, стр. 196.

...Не станут ни правильнее, ни яснее.

Здесь, как и у Аристотеля (Риторика, III, гл. 2, стр. 188), метафора оценивается с точки зрения ясности речи, но у Деметрия или у его непосредственного источника мысль эта разработана подробнее.

Давать метафору от большего к меньшему, а не наоборот.

Ср. Цицерон, Об ораторе, III, 41, 164, стр. 231. Оба черпают из перипатетической теории.

Бесструнная лира.

Тот же пример приводит Аристотель (Риторика), III, 11, стр. 197, но без указания автора и без той мотивировки, какую дает Деметрий. Последняя очевидно заимствована Деметрием из более поздней перипатетической теории.

Обиходная речь является лучшей наставницей.

Сопоставление художественной речи с обиходной и указание на последнюю как на образец, которому должна следовать первая, принадлежит эллинистической теории. С этим понятием оперируют и перипатетическая, и стоическая школы. Которая из двух влияла здесь на другую, мы решить не можем.

Стр. 234. Сюда принадлежит то, что мы называем загадками.

Ср. Аристотель, Поэтика, 22, стр. 185; Риторика, III, 2, стр. 188.

Стр. 236. Тем нужнее нам катахреса.

Именно ввиду крайней сдержанности латинского языка в создании новых слов. См. стр. 226.

Стр. 240. Аристон Хиосский.

Стоик, ученик основателя стоической школы Зенона (около 275 г. до н. э.).

Если и мы...

Т. е. эпикурейцы.

Процесс словосочетания приравнивает к естественным навыкам слуха и зрения...

Ср. Дионисий Галикарнасский, О сочетании имен, 21, 145, стр. 247 и стр. 169.

Стр. 241—242. Тех частей речи, которые иные называют элементами речи...

См. учение Хрисиппа, стр. 77.

Хотя сочетание слов и занимает второе по порядку место...

Полемика направлена против стоиков, выдвигающих на первое место благозвучие в ущерб структуре. В этом же обвиняет их и Филодем, т. е. эпикурейская риторика.

Стр. 244. Мелодии, ритму, разнообразию...

Влияние теории музыки на стилистику.

Стр. 246. Пишущие стихи или песни...

Сравнение периода с лирическим стихотворением принадлежит, вероятно, какому-нибудь трактату по теории музыки. В теории стихосложения также употребляется термин «период».

Стр. 247. Назвав один род сочетаний суровым...

Термин «суровое сочетание» (αὐστρὰ ἄρμονία) взят из теории музыки.

Стр. 250. Союзы не должны слишком точно соответствовать друг другу...

Иначе Аристотель, Риторика, III, 5, стр. 190. Но здесь исключение делается только для величавого стиля.

Стр. 251. Чтобы то, что предшествует во времени, и в порядке изложения стояло раньше.

Требование исократовской школы, см. стр. 181.

Стр. 253. Относительно столкновения гласных одни судят так, другие иначе...

См. учение школы Исократа, стр. 181.

Не следует... и безусловно избегать зияния...

Полемика перипатетической школы против исократовской.

И согласные... враждуют между собою в стыке двух слов...

Правила относительно столкновения согласных встречаются только здесь.

Архедем.

Известный нам только по этой цитате перипатетик.

Стр. 254. Комма.

Буквально «отрезок», «отрубок». Новое понятие, которого не было у Аристотеля.

Стр. 256. Аристотель определяет период так...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 9, стр. 193. Определение Аристотеля цитируется неточно, пропущены слова: «сам по себе», т. е. благодаря ритму. Определения периода у Аристотеля и Деметрия различны в самой своей основе: для Деметрия решающим моментом является выражение в периоде логически построенной и законченной мысли, для Аристотеля — единство, отмеченное ритмом.

Как состязающиеся в беге.

Тем же самым сравнением пользуется и Аристотель в учении о периоде (Риторика III, 9, стр. 193).

Один вид речи называется закругленным... другой — отрывочным.

Аристотель (Риторика, III, 9 нач., ср. 193) делил речь на периодизованную и напизанную; у Деметрия второй вид называется «отрывочным». Для Аристотеля в характеристике этого второго вида существенным являлась его непрерывное течение, отсутствие внутри законченных единиц; для Деметрия — несвязанность между собою отдельных мелких отрезков.

Стр. 257. Мы уже указали выше...

См. ниже, Деметрий, 16.

Последние называют простыми периодами...

Простой период хорошо укладывается в теорию периода Аристотеля. Деметрий заимствует у него это понятие, хотя оно противоречит его определению периода как системы колонов и комм.

Стр. 258. Не отметками писца, а ритмом слов и фраз...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 8, стр. 193.

Стр. 259. Аристотель исключает для оратора ямб и трохей...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 8, стр. 193.

Стр. 261. У кого такой неразвитый и грубый слух...

Полемика против архаистических тенденций так называемых аттицистов. См. стр. 171.

Стр. 262. Он стиха в ораторской речи не допускает, ритма же требует...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 8 нач., стр. 193.

Стр. 264. Гиппонактовых стихов...

Гиппонактов стих, или «хромой» ямб, отличается долготой предпоследнего слога, благодаря чему получается как бы спотыкание при столкновении двух долгих слогов.

Стр. 265. Эфор.

Писатель IV в. до н. э., ученик Исократ, историк и автор сочинения по теории художественной речи.

Ямб же слишком близок к повседневному языку...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 8, стр. 193.

Называет кордином...

Там же.

Стр. 269. Феопомпа...

Писатель IV в. до н. э., ученик Исократ, оратор и историк.

Стр. 270. Азианская школа.

См. стр. 171.

Стр. 272. Остановка... должна определяться не тем... что писец поставил черточку...

Ср. Аристотель, Риторика, III, 8 кон., стр. 193.

Стр. 273. Ритмы и метры, составляющие предмет теории музыки...

Учение Дионисия о ритме отклоняется от учения Аристотеля и Феофраста: в нем гораздо сильнее чувствуется влияние теории музыки. Возможно, что источником Дионисия был другой ученик Аристотеля — Аристоксен Тарентский, пифагореец и автор нескольких сочинений по теории музыки.

Стр. 275. Впадают... в плясовой ритм...

Ср. Аристотель, Риторика, III, гл. 8, стр. 193.

Стр. 259. Начинать период первым пэоном и заканчивать четвертым.

Ср. Аристотель, Риторика, III, гл. 8, стр. 193.

Только ради точности...

Позднейшие перипатетики, принимая, в основном, учение Аристотеля о ритме, несколько смягчают его требования. По-видимому, та форма учения, какую мы находим у Деметрия, принадлежит не Феофрасту, а более поздним представителям школы, так как, судя по «Оратору» Цицерона, учение Феофраста почти не расходилось с аристотелевским.

Закljučают в своем долгом слогe величавость и прозаический характер — в кратких.

Пэон рекомендуется здесь по другим соображениям, чем те, по каким рекомендовал его Аристотель (Риторика, III, гл. 8, стр. 193). Для Аристотеля ценность пэона для ритмической прозы заключалась в том, что он менее заметен, чем другие размеры; здесь выдвигается его смешанный характер.

Стр. 276. Афиней из Навкратиды.

Ритор, учивший на Родосе во II в. до н. э.

Аполлоний Молон.

Ритор, учивший на Родосе в первые десятилетия I в. до н. э.; у него учился там Цицерон.

Аполлодор.

Аполлодор Пергамский — ритор I в. до н. э. В преклонном возрасте он был учителем Октавиана в 44 г. Расцвет его деятельности падает приблизительно на 63 год. Подробнее о нем см. стр. 173.

Геродиан.

Неизвестный нам ближе автор эпохи Римской империи. Не тождественен с грамматиком Геродианом, см. стр. 32.

Словесные фигуры являются неким видом построения речи.

Отношение учения о фигурах к главе о сочетании слов принадлежит времени после Феофраста. У последнего выбор слов, их сочетание и фигуры составляли три равноправные части учения об украшении речи.

Стр. 277. В действительной речи.

Т. е. речи судебной и политической в отличие от торжественной и от школьных декламаций.

Стр. 279. Добавления, сокращения и перестановки...

Распределение фигур на 4 группы, получающиеся путем 1) расширения словесной формы, 2) сокращения ее, 3) перестановки слов и 4) противопоставления, принадлежит Цицилию. Однако нечто, отдаленно напоминающее эту систему, имеем мы уже у Аристотеля, «Поэтика», гл. 21, стр. 185. В числе приемов, сочетающих в себе ясность речи и возвышенный ее характер, упоминаются: удлинение (правда, не фразы, а отдельного слова), усечение (также в отношении к отдельным словам), уменьшение и перестановки (без применения этого термина).

Рутилий.

Публий Рутилий Луп — римский ритор I в. н. э. Перевел на латинский язык трактат о фигурах греческого ритора Горгия, современника Цицерона.

Корнифиций.

Поэт и ритор аттицистского направления, I в. до н. э. Одно время предполагался автор «Риторике к Гереннию».

Визеллий.

Гай Визеллий Варрон — друг Цезаря, видный оратор, двоюродный брат Цицерона.

Стр. 280. Марк Туллий.

Т. е. Марк Туллий Цицерон.

Гипаллагу...

См. стр. 235.

Стр. 285. В предыдущей книге...

В учении о тропах. См. *Квинтилиан*, VIII, 6, 21, стр. 235.

Стр. 290. Антитеза.

У Аристотеля антитеза трактуется не в числе фигур, а как форма периода. См. *Риторика*, III, 9, стр. 194.

Антитеза может быть троякой...

Феофраст уточняет классификацию Аристотеля: вместо двух видов антитезы указывает три.

Бывают периоды, состоящие и из противоположных друг другу колонов.

Деметрий примыкает к аристотелевскому учению об антитезе. См. *Риторика*, III, 9, стр. 194.

Подражая антитезе...

Мнимая антитеза, ср. *Анаксимен*, *Риторика*, 26, стр. 183.

Стр. 291. Типы речи...

По-видимому, впервые вводит в риторику понятие о типах речи ученик Кратета Таврииск, употребляющий для обозначения их два термина: *πλασμα*, т. е. буквально «коттиск», «слепок» и привычный впоследствии термин «характер» (*χαρακτήρ*), представляющий собою аналогичную метафору. Означая дословно «нацарапанное», слово это давно в греческом языке стало термином, употребительным в монетном деле, означая типы чекана. Впрочем, перенесение его на языковые явления тоже имеет свою длинную историю: уже в V в. до н. э. оно означает «диалект» или «способ выражения».

Стр. 292. Она должна то и дело чередоваться.

Типы речи не являются здесь неподвижными. Искусство оратора состоит в умелом чередовании их. Это учение примыкает к тому раннему учению, которое устанавливало особые качества для отдельных частей ораторской речи.

Стр. 295. Три корабля соразмерных...

Тот же пример приводит Аристотель («Риторика», III, 12, стр. 198), см. примечание к тому месту.

Стр. 297. Как думает Феофраст.

Из этого не следует, что Феофраст знал учение о типах речи или создал его. Когда Дионисий, называя Трасимаха родоначальником среднего типа, ссылается на Феофраста, то это может означать, что Феофраст устанавливал в стиле Трасимаха качество *μεσότης* (среднюю линию).

Шутливость и веселость...

Учение о шутках разрабатывалось специально перипатетической школой.

Стр. 299. Облик того, за кем некоторыми признается исключительное право именоваться аттическим оратором.

Характеристика строгого аттического стиля, идеалом которого является оратор Лисий.

Стр. 304. Не соответствующее природе предмета...

Феофраст в определении «ходульности» исходит из понятия «уместности». Аристотель («Риторика», III, гл. 3) — из недопустимости смешения поэзии и прозы.

Стр. 305. По словам Аристотеля...

См. Риторика, III, 3, стр. 189. Текст Деметрия в этом месте испорчен. У Аристотеля перечислены четыре случая: сложные слова, глоссы, неумеренное употребление эпитетов, неуместные метафоры.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

На страницах, отмеченных курсивом, помещены тексты указываемого автора

- Август (Октавиан) 172, 173
Августин 31, 77—78
Акций 118
Александр Афродисийский 83
Алкей 150, 151
Алкман 151
Аммоний 25, 75—76, 79—84, 201
Анакреонт 150
Анаксагор 48
Анаксимен 26, 160, 168, 181—183
Андроменид 209
Антимах 191
Антипатр 30, 75
Аполлодор Афинский 76, 141
Аполлодор Пергамский 173, 276
Аполлоний Дискол 32, 125, 136, 139, 141—143, 145—149
Аполлоний Молон 276
Аристарх 31, 99, 100, 102, 140
Аристокл 105
Аристоксен 113
Аристон 112
Аристон Хиосский 169, 240
Аристотель 13, 14, 15, 20, 24—28, 29, 38, 65—69, 79, 81, 84, 125, 157—170, 174, 177, 231, 249, 256, 257, 259, 262, 265, 266, 271, 272, 275, 294, 305, 184—199
Аристофан 81, 97, 150, 157, 158, 159, 164, 166, 170, 189
Арифрад 186
Архедем 257, 253
Архин 14, 39
Архит 196
Асклепиад из Мирлеи 111
Афинея из Навкратиды 276

Бенфей Т. 24
Бош 19
Брисон 189

Вакхилид 151

Варий 226
Варрон 32, 112, 85—88, 99—110, 118, 127
Вергилий 226, 237, 280
Визеллий 279
Витрувий 79

Геллий 226
Георгий Херобоск 132, 134, 136, 138, 139
Гераклит 18, 35, 79, 81
Гермоген 176, 206—207, 210—221, 281, 283, 285
Геродиан (грамматик) 32, 125
Геродиан (ритор) 276
Геродот 14, 16, 150, 219, 246, 36
Гесиод 11, 93, 150, 219
Гиппий 14, 165
(Гиппократ) «О диете» 39
(Гиппократ) «Об искусстве» 39
Гиппонакт 150, 264
Гомер 11, 15, 20, 93, 112, 150, 166, 175, 196, 219, 246, 295
Гомперц Т. 21, 23
Гораций 173, 208, 210, 226, 241
Горгий 22, 38, 156, 157, 159, 161, 175, 186
Гортензий 172
Гумбольдт В. 19

«Двойные речи» 12, 18, 39
Деметрий 168—171, 205—206, 224, 225, 226, 227, 228, 233, 240, 250—251, 253—258, 275, 278—279, 281, 290, 292—293, 294—296, 297—299, 301—306
Деметрий Хлор 111
Демокрит 15, 20—22—29, 150, 165, 37
Демосфен (Оратор) 170, 175, 176, 246
Диоген Вавилонский 169, 74—75
Диоген Лаэртский 201, 202, 202
Диоген из Эпоанды 70
Диодор Сицилийский 22, 37
Диомед 32, 112, 123, 124, 130—135, 137

- Дионисий Галикарнасский 167, 170, 175, 113—116, 122, 125, 200, 201—203, 208—209, 224, 240—249, 252, 273—275, 277, 290, 297
 Дионисий Медный 188
 Дионисий Сидонский 105
 Дионисий Фракийец 32, 111, 141, 111, 112—113, 122—126, 128—132, 134, 136—144
 Донат 32, 125—127, 128, 136, 141
 Дусарий 82
- Евклид Старший 185
 Еврипид 157, 158, 170, 185
 Евтидем 43
- Зепон 169
- Ивик 151
 Иоанн Филопон 126
 Ион (грамматик) 118
 Ион (поэт) 150
 Исократ 159—161, 165, 168, 175, 177, 269, 181
- Каллий 13
 Катон 226
 Квинтилиан 167, 181, 227, 228, 232, 235—239, 251—253, 276, 278—289, 291
 Клеостелей 287, 289
 Коминиан 145, 142—144
 Комментарии к Донату 126
 Консентий 127
 Корнифиций 280, 288
 Кратет 31, 99, 169
 Кратил 18, 79 как лицо из диалога Платона 40—59, 81
 Ксенофонт 151
 Курциус Г. 19
- Лелия 204
 Ликимний 157, 165, 189
 Лин 93
 Лисий 175
 Лукреций 70—73
- Макробий 134
 Марий Викторин 116—118
 Менаандр 151
 Мия 151
 Мусей 93
- Невий 204
- «О возвышенном» 222—223, 231—232, 234—235, 238, 239, 249—250, 275, 277, 284
- Орфей 93
- Палемон — см. Реммий Палемон
 Парменид 16, 35
 Пармениск. 105
 Перикл 196
 Пиндар 150
 Пиндарион — см. Птоломей Пиндарион
 Плавт 204, 226
 Платон 11, 14, 18—20, 24—25, 28, 31, 82, 161, 164, 165, 166, 299, 41—64
 Пол 157, 159, 166
 Порфирий 76
 Посидоний 173, 174, 201
 Праксифан 250
 Присциан 32, 75, 124, 130, 131, 133, 136—141, 145
 Проб 142
 Продик 17, 40
 Прокл 37
 Протагор 17, 38, 42, 190
 Псамметих 16, 36
 Птоломей Перипатетик 111
 Птоломей Пиндарион 93
- Реммий Палемон 32, 145
 Риторика к Гереннию 172, 200, 202, 203, 205, 210, 225, 227—229, 234—236, 238—241, 254, 255, 277, 280—282, 284—291, 293, 296, 304—306
- Роман 126
 Рутилий 280
- Сапфо 151, 298
 Секст Эмпирик 13, 74, 89—99, 118—121
 Сервий 126—127
 Скавр 124
 Софокл 161
 Стесихор 151
 Схолии к Дионисию Фракийцу 123—126, 128, 130, 131, 138, 140
- Теодект 26, 125, 161—162, 195, 262, 266, 271
 Теодор Византийский 197
 Теодор Гадарский 173, 222
 Терамен 159
 Терентиан Мавр 15
 Тираннион 141
 Трифон 139, 142
- Фебаммон 276
 Феогнид 233
 Феокрит 150
 Феопомп 269

- Феофраст 163—170, 174, 176, 231, 259, 262, 266, 271, 272, 297, 300, 304, 201, 209, 223, 229, 240, 277, 290
- Ферекид 11
- Филемон 151
- Филодем 169, 200, 209, 240, 252
- Филоксен 32
- Филопон — см. Иоанн Филопон
- Фрасимах 156, 159, 291
- Фукидид 151
- Харет 111
- Харисий 32, 123, 124, 125, 141—143, 145
- Херобоск — см. Георгий Херобоск
- Хрисипп 29—30, 75, 99, 169, 74, 75
- Цезарь 172, 173, 226
- Цецилий из Калакты 174—176, 231, 276, 279, 283, 238, 239, 276, 282
- Цецилий, Статий 226.
- Цицерон 167, 170, 172, 235, 282, 200, 202—205, 208, 210, 222, 223, 225, 226, 228—231, 234, 241, 251—253, 255, 257—273, 292—294, 297, 299—301
- Эмпедокл 35, 184
- Энний 226
- Эпикур 29, 169, 70, 205
- Эпихарм 151
- Эсхил 157, 158, 166, 170, 185
- Эфор 265, 271

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Азианизм 171—176, 270
Актерский стиль 196, 205
Акциденции 126, 132, 139, 140, 141 (ср. прим. к стр. 107), 143, 144
Александрийская грамматика 31—32, 111—149
Аллегория 200, 304
Аллойоза 280
Амплификация 198, 208, 217, 234
Анаколуп 94, 168, 248
Аналогия 31, 32, 81, 82, 85—110, 112, 168, 171—172, 174, 276
Анафора (созвучие начал) 211, 276, 281, 303
Аннотация — см. Созвучие
Аномалия 31—32, 85—110
Антапакласа 287
Антиметабола 292
Антистрофа (метр.) 193 (фиг.) 211, 281
Антитеза (противоположение) 156, 167, 174, 183, 194—196, 254, 260, 279, 280, 282, 290, 303
Антономасия 235, 238
Апострофа 279, 286
Апофтегма см. Изречение
Аристарховцы 105
Архаизм 172, 204, 223, 244, 248, 249, 303
Архаизмы (устаревшие слова) 166, 223, 225, 226, 268
Асемантические элементы слова 19, 23, 48, 60—63
Асиндетон — см. Бессоюзие
Атомизм 20—24, 28
Аттицизм 171—175, 299—301
Афоризм 213
Афрект 156, 158, 165, 170, 171, 172, 192, 196, 202, 219, 224, 227, 239, 250, 258, 269, 277—279
- Баритонические слова 151
Безгласные (немые) 13, 14, 54, 64, 68, 74, 113, 115, 116, 118, 121
— беззвучные 13, 54, 64—65
— глухие 14, 150
— густые 14, 113
— звонкие 14
— звучные 13, 54, 64—65
— придыхательные 14, 150
— простые 14, 113
— средние 14, 63, 113, 115
Безымяшность 21, 37
Бессвязная речь 191, 205, 305, 306
Бессоюзие (асиндетон) 197, 205, 218, 250, 283, 286, 303, 304
Благозвучие (евфония) 14, 19, 20, 48, 49, 114, 169, 188, 204, 211, 215, 223, 224, 234, 240—244, 248, 251, 252, 295, 296, 302, 303
Блистательность 212, 213, 215—217, 220
Брахилогия 285
Буква 12—16, 19, 21, 23, 47, 48, 53—55, 59—65, 69—71, 74, 106, 108, 109, 112—122, 166, 209, 213, 214, 224, 225, 240, 245, 246, 251, 263, 287
Буквы греческие
Альфа (α) 13, 19, 55, 67, 112, 114, 118—121, 150, 151
Бэта (β) 13, 19, 47, 74, 113, 151
Гамма (γ) 14, 55, 67, 74, 113, 115
Дельта (δ) 14, 39, 55, 67, 74, 113, 114, 115
Э краткое (ε) 47, 74, 112, 114, 119, 120, 150
Дзета (ζ) 13, 39, 55, 113, 114, 115, 224
Э долгое (η) 55, 74, 112, 114, 116, 119—121, 150, 151
Тэта (θ) 14, 113, 115, 151
Иота (ι) 47, 55, 74, 112—114, 118—121, 150, 151, 213
Каппа (κ) 14, 39, 74, 113, 114, 115, 150, 224
Ламбда (λ) 13, 23, 55, 63, 113—115, 224
Ми (μ) 13, 113—115, 151, 224
Ни (ν) 13, 113—115, 224
Кси (ξ) 13, 14, 39, 113—115, 151, 224
О краткое (ο) 13, 47, 56, 74, 112, 114, 119, 120, 151, 213

- Пи (π) 14, 39, 74, 113—115, 150, 151, 224
 Ро (ρ) 13, 23, 55, 61, 62, 67, 113—114, 150, 151, 224
 Сигма (σ) 13, 55, 61, 67, 96, 113—115, 150, 151, 224
 Тау (τ) 13, 55, 74, 113, 115, 150
 Иpsilon (υ) 47, 74, 112—114, 118—121, 150
 Фи (φ) 14, 55, 113, 115
 Хи (χ) 14, 113, 115
 Пси (ψ) 13, 14, 39, 55, 113—115, 224
 О долгое (ω) 13, 47, 67, 74, 112, 114, 116, 119, 120, 151, 213
 Агма 118
 Буквы латинские 116—118

 Варваризм 75, 88, 94—97, 98, 145, 157, 185, 203
 Варварские имена 19, 48—50, 54
 Величавость 164, 181, 200, 202, 208—212, 215—217, 220—224, 227, 232, 234, 240, 243, 246—250, 273—277, 281, 282, 290, 305
 Вес слов 157, 210—212, 216, 217, 248
 см. также Тяжеловесные слова
 Взаимосочетаемость 27, 28, 32
 Вид 103, 126, 128—130, 132, 135, 142,
 см. также Разделения глагола
 Внешняя речь 30
 Внутриположная речь 30
 Внушительность (достоинство) 202, 209, 211, 215—217, 249, 265, 272, 276
 Время 30, 66, 68, 87, 98, 103, 104—107, 126, 131—133, 137—139, 140, 147—149, 203, 243, 244
 Вставка — см. Парентеза
 Вставка букв 19, 47, 49, 59, 63, 123, 151
 Вульгаризмы 201, 223
 Выбор слов (словарный состав, лексика) 164, 165, 168, 181, 183, 200—203, 206—208, 210, 212—221, 229, 242, 260, 266, 273, 294, 296, 302, 304—306
 Выразительность 228
 Высказываемое 30, 74—76, 145
 Высказывание 66, 67, 75, 125
 Вялость 217, 218, 222, 238

 Гармония 14, 20
 Гармоничность 248, 249
 Гераклитовцы 82
 Гипаллага 235, 280
 Гипербат (инверсия, перестановка слов) 168, 182, 211, 239
 Гипербола 197, 240, 298, 304, 305

 Глагол 19, 25, 28, 30, 64—65, 66—69, 75, 76, 83—85, 87, 88, 98, 103—105, 107, 108—123, 124, 130—139, 142, 143, 145—149, 187, 200, 212, 231, 241, 242, 245, 250, 273, 287, 291
 Гладкость 200, 224, 225, 246—248, 251, 252, 292, 295, 303, 304
 Гласные 13, 14, 18, 38, 47, 52, 53, 63, 66, 67, 74, 112—114, 116—122, 151, 181, 182, 185, 204, 225, 252, 296
 Глосса 15, 20, 184—186
 Глотка — см. Гортань
 Глухие 14, 150
 Гнома 254
 Говор 68, 74
 Голос 14, 22, 37, 51, 53, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 79, 83, 113, 116, 117, 123, 146, 203, 204. См. также Звук
 Голос оратора 197, 198, 203, 204, 256, 258, 301
 Голосовые органы 74, 83
 Гомеоптотон — см. Сходство падежных окончаний
 Гомеотелевтон — см. Созвучие окончаний
 Горло 68, 114, 115
 Гортань (глотка) 68, 74, 115, 117
 Горячность 211, 215—218, 286
 Градация — см. Климакс
 Грамматика 9, 10, 12, 16, 21, 27—32, 38, 64, 74—78, 89, 111—149
 Грамматики 89—99, 117, 119—122, 131, 140, 167, 169, 171, 228
 Грубость букв 87, 117
 Губы 39, 68, 69, 71, 114—117

 Двойные элементы (буквы) 13, 113, 114, 118, 224
 Двугласные (дифтонги) 113, 120—122, 151, 213, 296, 302
 Двусмысленность 182, 183, 190, 205
 Действие 130, 131, 133—135, 139
 Декламация 197, 198, 205, 206
 Диалекты 16, 17, 19, 27, 29, 41, 55, 61, 75, 90, 94, 97, 150—151, 204, 219
 Диссолюция — см. Бессоюзные
 Дифирамб 186, 193, 227, 298, 305
 Дифтонги — см. Двугласные
 Договор — см. Соглашение
 Долгота и кратость 14, 39, 67, 116, 118—121, 151, 185, 193, 212—214, 224, 225, 251, 259, 261, 262, 264, 265, 269, 270, 275, 276, 277, 294, 296, 302, 305
 Достоинства речи 164, 165, 169, 171, 185, 187, 189—191, 200—203, 206, 208—211, 214, 215, 217, 223, 225, 294, 301
 Древнейший язык 17, 36

- Душевное настроение (расположение) см.
 Наклонение
 Дыхание оратора 193, 253, 258—260, 272,
 306
 Евфония — см. Благозвучие
 Единоначатие — см. Анафора
 Естественность 187, 250, 251

 Жесткость речи 213, 251
 Жесты 23, 51, 71, 256
 Живость 212, 213, 216, 220, 231, 278, 281

 Загадка 157, 185, 188, 196, 233
 Заимствование слов 19, 23, 48—50, 54
 Закон — см. Природа и закон
 Законодатель — см. Установитель имен
 Законченность (пределы) речи 165, 193
 Закругленная речь — см. Периодическая
 речь
 Залог 30, 103, 108, 130, 132, 133—135,
 139, 148, 149, 243
 Замена букв 19, 63, 78, 123, 151
 Звено — см. Комма
 Звонкие 14
 Звук 13, 22, 23, 28, 29, 46, 53, 64, 65—68,
 70—73, 74—77, 83, 84, 104, 112—117,
 122, 124, 129, 156, 224, 251
 Звуки животных 65, 67, 69, 72, 73
 Звуковые изменения — см. Вставка букв,
 Замена букв, Изъятие букв, Переста-
 новка букв, Претерпевания
 Звукоподражание 128, 129, 168, 226, 227,
 302
 Звукоподражательная теория 22, 23, 31,
 51, 77
 Звучание 156, 157, 159, 166, 188, 189,
 204, 209, 223, 225, 241, 249, 251, 290
 Звучность 169, 209, 222, 224, 245, 304
 Зев 116
 Зевгма 182, 286
 Зияние (столкновение гласных) 168—
 181, 182, 206, 211, 212, 214, 218, 240,
 251, 252, 296, 302, 304
 Злоупотребление — см. Катахреса
 Знаки препинания 123, 190, 253
 Значение слов (Смысловая сторона сло-
 ва) 25, 66—69, 77—78, 101, 124, 128—
 130, 143, 144, 147, 166, 188, 189, 194,
 228, 237—239, 241, 253
 Значительность 244, 248
 Зубы 39, 69, 74, 114—117

 Игра слов 196
 Идея — см. Эйдос
 Идея (ритор) 175

 Измененные слова 184, 185
 Изречение 181, 254
 Изъятие букв 19, 47—49, 63, 123, 151
 Изысканность 208, 223, 302, 303
 Изящество 181, 186, 194, 195, 196, 202,
 203, 225, 228, 239, 276, 286, 298—300
 Именной словарь 213
 Имя 10—13, 17—21, 24—27, 29, 31, 35,
 37, 68, 70, 75—77, 83—85, 86—88, 92,
 95—98, 105, 113, 116, 125—131, 139—
 141, 146, 151, 187, 200, 213, 214, 218,
 231, 234, 242, 243, 245, 250, 251, 273,
 279, 282, 287
 — нарицательное 30, 75, 98, 125, 126,
 128, 129, 139, 141, 144
 — собственное 21, 30, 98, 126, 128, 129,
 141, 238
 Имя как орудие 24, 44, 45, 66
 Инверсия — см. Гипербат
 Иноземные слова 166, 187 см. также
 Диалекты
 Иноземный характер речи 187, 204
 Иносказание 206, 228, 237
 Интонация 197
 Ионийская натурфилософия 17
 Ионик 214
 Ирония 192, 280
 Искажение слов 19, 47—50
 Искусственность 187, 192, 279, 285
 Искусство 70, 89, 90, 95, 111, 127
 Исоклон — см. Равенство колонов
 Истолкование (фигура) 282

 Катахреса 231, 237
 Качества речи 202
 Качество (акциденция) 126, 128, 142
 Классицизм 172—174
 Клаузула (ритмическое заключение фра-
 зы) 206, 207, 212, 214—219, 248, 258,
 260, 266, 270—272, 290, 302
 Климакс 211, 277, 285, 286, 303
 Колон 183, 193, 194, 198, 199, 205—207,
 211, 215—220, 241, 243, 246—248,
 253—256, 270, 274, 275, 281, 283,
 286—290, 294, 295, 298, 301—303, 306
 Кольцо (фигура) 240
 Комма (звено) 200, 214, 215, 218, 253,
 254, 270, 274, 302, 303, 306
 Конструкция — см. Сочетание слов
 Концовка — см. Гомеотелевтон
 Красота речи 98, 164, 165, 171, 182, 187,
 202, 208—211, 216—219, 224, 231, 238,
 239, 242—247, 263, 272, 276, 277, 286,
 287, 297, 303, 304
 Красота слова 157, 165, 166, 181, 188,
 202, 223, 224, 240, 263, 297, 298

- Краткость (сжатость) 164, 171, 181, 190, 191, 198, 201, 202, 205, 220, 226, 228, 233, 238, 249, 254, 257, 260, 263, 274, 279, 283, 286, 293, 294, 296, 303, 304
- Краткость звуков и слогов — см. Долгота и краткость
- Критики 169
- Легкие 68
- Легковесность речи 212
- Лексика — см. Словарный состав
- Лестница — см. Климакс
- Лицо 88, 104, 107, 126, 130—133, 135—136, 139—142, 146—149, 278
- Ложный пафос 222
- Малоупотребительные слова — см. Редкие слова
- Манеры речи — см. Типы речи
- Материализм 20—23
- Междометие 125, 126, 145
- Мелодия 244—246
- Место образования звуков 14, 39, 67, 114—117
- Местоимение 30, 75, 103, 125, 126, 130, 141, 142, 146, 148, 149, 213, 250, 285, см. также Член
- Метабола 282
- Металипсис 237
- Метафора 91, 157, 164, 166, 168, 173, 181, 184—191, 195—198, 223, 228—234, 237, 263, 268, 270, 272, 296, 298, 300, 302, 305
- Метонимия 231, 234, 235, 296
- Метр — см. Размер
- Метрика 14, 29, 47, 69, 104, 116
- Многоименность (синонимы) 21, 37, 42, 83, 187, 217
- Многословие 198
- Многосоюзиe (полисиндетон) 285
- Многоязычие 21, 22, 29, 38, 46, 47, 65, 70
- Мощность 170, 171, 220, 222, 242, 246, 254, 272, 279, 290, 298, 303, 304
- Музыка 14, 15, 53, 113, 156, 164, 169
- Мягкость 76, 117, 252
- Наглядность 163, 166, 188, 195, 196, 202, 229, 234, 302
- Наклонение 18, 107, 132, 133, 139, 140, 147, 149, 214, 243, 279, см. также: Разветвления речи, Отношения выразительности
- Нанизанная речь 193
- Напряженность 202
- Напыщенность 220, 221, 238, 304
- Наречие 30, 75, 76, 106, 125, 126, 131, 133, 142—147, 250, 285
- Нарицание — см. Имя нарицательное
- Нарядность 211, 218, 219
- Нёбо 114, 115, 117
- Недостатки (пороки) речи 201, 203, 204, 220, 221, 239
- Нежность 212, 224, 246, 248
- Незаконченность 192, 193, 253
- Немые — см. Безгласные
- Необычные слова — см. Редкие слова
- Неологизмы (новые, сочиненные слова) 166, 167, 184, 185, 187, 219, 221, 222, 225, 226, 263, 268, 298, 301, 302—305
- Неопределенное имя (Аристотель) 66, 83
- Неопределенный глагол (Аристотель) 66, 83
- Несогласованность — см. Солекизм
- Нечленораздельные звуки 37, 65
- Неясность 190, 198, 205, 207, 220, 303
- Низкий слог 185, 187, 198, 249
- Ноздри 115
- Нос 74, 117
- Обиход 32, 88—99, 105, 109, 203, 204, 223
- Обозначаемое 30, 74, 101, см. также Высказываемое
- Обозначающее 30, 74
- Образ — см. Эйдос
- Образ (акциденция) 126, 130, 132, 135, 142—144
- Обыденная (разговорная) речь 12, 29, 89, 97—101, 105, 109, 166, 185, 186, 192, 201—204, 206, 217, 223, 225, 227, 233—235, 241, 251, 253, 263—265, 275, 277, 278, 296, 299—304, 306
- Обыденные (общеупотребительные слова) 184—188, 195, 198, 203, 204, 205, 245, 249, 273, 296, 298, 300, 301
- Обычай 35, 63, 75, 127
- Однообразие 251
- Одушевление 196
- Означение 141
- Околопредикат 76
- Околосхождение 76—77
- Окончание 106
- Омонимы — см. Равноименность
- Ономатопей — см. Установитель имен
- Определение 191
- Ораторская речь 155, 161, 167, 192, 199, 258, 260, 261, 266, 277
- Органы речи 22, 23, 55, 68, 69, 74
- Орфоэпия — см. Правильная речь
- Острословие 218, 219

- Отклонение 28, 85, см. также Склонение
Открытое произношение 204, 225
Отнесение 140
Отношения выразительности 68
Отрывочность 205, 215—218, 249, 251, 256, 257, 261, 263, 303, 304, 306
Отчетливость 211
Охват (фигура) 281
- Падеш 25, 30, 66—68, 76—78, 86—88, 103—109, 126, 130—131, 134, 140—142, 145—149, 203, 205, 243, 251, 260, 277, 282, 288, 290, 291, 295
Падежи глагола 25, 66—68
Падешное разнообразие — см. Разнообразие падежей
Парабола 233, 304
Парадиастола 291
Парентеза 211, 279
Парисоса 194, 211, 281, 287
Паромэоса 194
Парономасия — см. Созвучие
Патетический стиль (страстность речи) 171, 173, 174, 191, 208, 219, 221, 231, 234, 249, 274
Пауза 215, 218, 246—248, 258, 259, 263, 294, 295, 302
Пафос, см. также ложный пафос и патетический стиль 186, 222, 234, 250, 276, 277
Первичные слова 20, 23, 50—54, 58, 60, 61, 128, 135, 139, 142
Перегруженность 211, 218, 220
Переименование 21, 37, 41, 64, 83
Перенос — см. Метафора
Переносное значение слов 182, 200, 213, 214, 220, 221, 228—231, 233, 238, 305
Перестановка — см. Гипербат
Перестановка букв 19, 39, 59, 123
Переход 103, 104, 107, 108
Перечисление 208, 218
Период 164, 167—169, 193, 194, 199, 205, 206, 208, 218, 239, 241, 244, 246—249; 253—260, 263, 266, 267, 269, 271, 273, 290, 295, 303, 306
Периодическая (закругленная) речь 193, 253, 255, 257, 261, 294, 295, 299, 300, 303
Перипатетики 30, 75, 76
Периссология 239
Перифраза 171, 238, 239, 280
Письменная речь и устная 165, 170, 198, 266
Пифагорейцы, 11, 14—16; Отрывки 36, 156, 164
Плавность 202, 240
- Плавные 113
Плеоназм 217, 283
Плока — см. Сплетение
Повторение 156, 157, 197, 208, 240, 278, 282—284, 287, 291, 295, 296, 301—303
Подражание 22—24, 31, 51—61, 76, 84, 170, 171, 175, 187, 208, 227, 228, 260, 294, 302
Показатели количественности 118—120
Полиитотон — см. Разнообразие падежей
Полисиндетон — см. Многосоюзие
Полугласные 13, 67, 113—118, 122, 224
Пороки речи — см. Недостатки речи
Порядок (расстановка) слов 168, 181, 182, 203, 205, 211, 239, 240, 245, 249—252; 258, 260, 266, 267, 271, 272, 277, 297, 301, 304
Поэзия и проза 99, 109, 163, 164, 166—171, 173, 175, 186, 187, 189, 190—193, 201, 219, 225, 227, 234—237, 242, 243, 246, 257—259, 262, 264—270, 272—276
Правдивость 219
Правдоподобие 164, 181, 208
Правила 31, 32, 96, 99
Правильная речь 16, 18, 20, 112
Правильность имен 18, 24, 40—63
Практическая и художественная речь 165, 170, 201
Пределы речи — см. Законченность
Предикат 25, 28, 75, 76
Предлог 76, 125, 126, 142, 156
Предложение 21, 25—27, 31, 54, 58, 60, 65—68, 74—76, 84, 124—125, 142, 145, 233
Прелесть речи 170, 188, 201, 211, 212, 244, 246, 297, 298
Претерпевания 32, 58, 123
Преувеличение 234
Привычность 226, 302
Придыхание 14, 67, 115, 117—123, 151, 224
Придыхательные 14, 150
Прикладывание языка 14, 67, 69
Прилагательное 75, 87, 128, 129, 141
Прилаженность (смычка) слов 250, 251, 274, 299
Природа и закон (установление) 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 36—38, 40, 63, 65, 70, 71, 77, 79—84, 91, 105, 108, 109, 127
Приставка 287
Причастие 75, 98, 106, 125, 126, 130, 131, 139, 140, 149, 213, 279
Приятность 91, 164, 169, 181, 188, 198, 219, 224, 228, 231, 232, 242—244, 246, 298

- Приятность слов для зрения 166, 189, 223, 225, 230
 Проза и поэзия — см. Поэзия и проза
 Прозрачность 205
 Производные слова 50—54, 60, 61, 128, 135, 139, 142, 168
 Произвол — см. Соглашение, Установление
 Произношение 112—122, 203, 204, 264, 265
 Происхождение имен 20, 22, 23, 29, 70, 72, 77—84, см. также Установление
 Происхождение речи 22, 37, 70—73, 79
 Пропорция 184, 188, 195, 197
 Просодия 112, 120—122
 Простота 170, 212, 213, 216, 218—220, 247, 279, 296, 299, 302, 303, 305
 Пространность 181, 190, 191, 201, 208, 210, 211—213, 216, 220, 234, 239, 263, 303
 Простые слова 65, 68, 124, 130, 135, 143, 144
 Противоположение — см. Антитеза
 Пышность 299, 302, 303, 305

 Равенство колонов 174, 183, 194, 196, 287, 288
 Равновесие 37
 Равноименность (омонимы) 21, 36—37, 187, 196
 Разветвления речи 18, 37—38
 Разговорная речь — см. Обыденная речь
 Разграничение (фигура) 208
 Разделения глагола 107, 108
 Различение (фигура) 290
 Размер (метр) 181, 186, 192, 193, 206, 209, 210, 211, 214, 216, 218, 219, 232, 253, 257—259, 261, 263—275, 298, 302, 303, 305, 306
 Размеренная речь (метричность) 181, 192, 201, 206, 211, 212, 214, 219, 265, 273, 274, 299, 305
 Разнообразие 181, 234, 244—246, 251, 260, 276, 277, 280, 285, 292, 296, 303
 Разнообразие падежей (падежное разнообразие, полиптотон) 211, 282
 Расплывчатые звуки 224
 Растяженные слова 184, 185
 Расчленение 208, 283, 295
 Ребячливость 222, 276
 Регрессия — см. Эпанод
 Редкие (необычайные, малоупотребительные) слова 166, 188, 187, 189, 192, 195, 198, 219, 225—227, 295, 296, 302
 Риторика 18, 54, 67, 111, 155—157, 159—167, 169, 171—173, 174, 175
 Речевое воображение 84
 Речение 20, 21, 25, 47, 48, 50, 54, 58, 124
 Речь 29, 38, 41—43, 50, 64, 65, 69, 75, 79, 85, 108, 124—125, 145—146, см. также Предложение
 Римская грамматика 32, 125, 145
 Ритм 14, 20, 53, 156, 164, 166—169, 171, 181, 192, 193, 198, 201, 206, 207, 209—211, 214—219, 239, 241, 244—248, 250—252, 256—275, 298, 299, 302, 303, 305
 Ритмика 14, 16, 23, 53
 Род 18, 37, 68, 81, 82, 100, 101, 105, 106, 126, 127, 140—142, 145—149, 190, 203, 243, 277, 278, 282
 Родство имен 85
 Рот 29, 51, 67, 71, 114—117

 Сбивчивость 182, 217, 220
 Свежесть 216, 244
 Связность 205, 251
 Семантика звука 22, 23, 24, 55, 61, 76
 Семантика слова — см. Значение слов
 Семантическая ценность отдельных частей слова 19, 20, 47, 60—62
 Сентенция — см. Гнома
 Сжатость — см. Краткость
 Сила речи 169, 202, 220, 222, 247, 249, 257, 273, 276, 278, 280, 283, 287, 303, 305
 Силлогизм 194
 Символ 22, 37, 38, 65, 84, 85
 Симметрия 156, 239, 241, 260, 268, 271, 301
 Синалэфа 123—150, 253
 Синекдоха 233—235, 286
 Синойкиоза 286
 Синонимика 18
 Синонимия (фиг.) 283
 Синонимы — см. Многоименность
 Синтаксис 27, 28, 30—32, 94, 133, 145—149
 Складные слова 225
 Складывание губ 14, 69, 71
 Склонение 32, 76, 85—89, 92, 97—100, 104—110, 113, 130, 140
 Скопление (фигура) 283
 Скучность (бедность речи) 212
 Сладость 164, 209, 212, 215, 216, 219, 244
 Слияние гласных — см. Синалэфа
 Слова, встречающиеся однажды 298
 Слово 13, 14, 27, 28, 65, 74, 75, 139, 141, 142, 144, 145

- Словообразование 19, 28, 32, 87, 88, 168, 223, 225—227
- Словосочетание — см. Сочетание слов
- Словотворчество — см. Неологизмы
- Слог 13, 14, 21, 24, 46, 47, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 84, 96, 103, 104, 113, 114, 116—118, 122—124, 131, 134, 156, 166, 212, 224, 245, 246, 261, 265, 270, 271, 287—289, 292, 305
- Сложное предложение 67
- Сложные слова — см. Составные слова
- Слуховое впечатление (Услаждение слуха) 222—224, 240—242, 244, 245, 251, 252, 257—262, 266—270, 275, 276, 279, 287
- Слуховые образы 230
- Слушатель 156, 160, 164—166, 171, 186, 192, 194, 198, 201, 208, 209, 223, 257, 292, 292, 295, 299, 303, 306
- Смысловая сторона слова — см. Значение слов
- Смычка слов — см. Прилаженность
- Согласные 13, 47, 113, 116, 117, 122, 182, 211, 253
- Согласованность 27, 94, 95, 125, 146—149
- Соглашение 19, 23, 24, 40—63, 65—67, 83, 85
- Созвучие (парономасия) 156, 159, 171, 218, 276, 283, 287—283, 303
- Созвучие колонов 174, 183, 194, 279, 288
- Созвучие окончаний (гомсотелевтон) 276, 288, 289, 301
- Сокращенные (усеченные) слова 184, 185
- Солекизм 76, 88, 95, 145—149, 190, 203, 279
- Соответствие — см. Уместность
- Сопряжение — см. Зевгма.
- Составной звук 68, 122
- Составные (сложные) слова 65, 66, 68, 124, 130, 135, 143, 144, 166, 168, 186, 187, 189, 192, 223, 225—227, 264, 296, 298, 302, 304, 305
- Софисты 16-18, 154—164, 168, 170, 172, 173, 175
- Сочетание слов (Конструкция, структура, форма речи) 19—22, 94, 125, 145—148, 165, 167—169, 182, 192, 199, 207—209, 211, 212, 214—220, 224, 239—252, 258, 259, 263, 268, 273, 276, 279, 293—299, 302—306
- Союз 25, 30, 67, 75, 83, 125, 126, 133, 144, 146—148, 168, 182, 191, 193, 197, 199, 205, 248, 250, 283, 285, 295, 304
- Сплетение (плока) 282
- Спряжение 32, 98, 132
- Сравнение 189, 190, 195—197, 205, 229, 230, 232, 233, 282, 298, 304
- Средина 30, 75, 133, 143
- Степени сравнения 87, 128, 143, 144, 279
- Стих 253, 257—268, 271—275, 298, 302, 303, 305
- Стойки 29—32, 125, 138, 139, 141, 169, 172 Отрывки 74—78
- Стоическая грамматика 30, 32, 74—78, 125, 138, 139, 141
- Стойхейон — см. Элемент
- Столкновение гласных — см. Зияние
- Столкновение согласных 252
- Страдание 130, 131, 133—135, 140
- Страдательная частица 76
- Страстность — см. Патетический стиль
- Стремительность 211—213, 215—217, 219, 220, 303, 304
- Строгость 216
- Стройность 209, 242, 243, 304
- Структура речи — см. Сочетание слов
- Стык — см. Эпанастрофа
- Суждение 25, 27, 65—67, 76, 77
- Суровость 211—216, 218—220, 292
- Сухие слова 206, 214
- Сухость 222, 253
- Сходство колонов 298
- Сходство надежных окончаний (гомсонтотон) 183, 276, 288, 298, 301
- Сходство слов 31, 32, 88, 92, 93, 95, 97—109
- Схождение 76
- Такт (муз.) 259
- Творец имен — см. Установитель имен
- Театральность 247, 248, 258
- Терминология 157, 158, 165, 174
- Типы (манеры, характеры) речи 157, 170—173, 175, 211, 253, 254, 258, 275, 290, 292—306
- Тон — см. Ударение
- Торжественность 192, 208, 211—216, 218—220, 235, 244, 249, 250, 269, 275, 292
- Точное (прямое, собственное) значение слов 182, 187, 190, 199, 205, 222, 223, 228—233, 237, 293, 296, 302
- Точность 197, 198, 207, 217, 218, 220, 232, 302, 306
- Традукция — см. Антанакласа
- Триколон 289
- Троп 91, 112, 166, 199, 211, 228, 230, 231, 235—238, 251
- Тщательность 209, 210
- Тяжеловесные слова 223, 224

- Убедительность 156, 160, 198, 208, 242, 244, 277, 292, 293, 302
- Ударение 14, 18, 38—39, 47—48, 67, 96, 119—124, 212, 246, 251
- Удвоение 280, 281, 283, 297, 303
- Уклонение от обычного словоупотребления 165, 166, 185—187, 189, 225, 228, 275
- Украшения 164, 184—186, 199, 201, 203, 211, 228, 229, 233, 235, 237—239, 250, 253, 266, 276, 281, 287—289, 292, 293, 296—301
- Уменьшительные слова 128, 189
- Уместность (соответствие, такт) 158, 164, 172, 173, 185—188, 191, 192, 198, 201, 202, 208, 211, 222, 231, 244, 246, 252, 295, 301, 303, 306
- Умолчание 303
- Употребление — см. Созвучие колонов
- Усечение 287
- Усеченные слова 185
- Установитель имен 11, 12, 19, 24, 29, 36, 45—48, 53, 56, 61, 70, 72, 81, 82, 86
- Установление 11, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 35—37, 40—63, 64, 70, 79—84, 85, 86, 88, 105, 108, 109, 128, 139, 143
- Устная речь и письменная — см. Письменная речь и устная
- Фигура 156, 159, 165, 167, 174, 200, 205, 208, 213—220, 238—240, 246, 248, 251, 263, 275, 276—279, 282—291, 295, 298, 301—305
- Физические ощущения, вызываемые звуками 224
- Фонетика 13—14, 39, 54—55, 64, 67—69, 75, 112—122
- Фригийский язык 17, 36, 48
- Характер 158, 164, 191, 192, 197, 202, 207, 208, 224, 279
- Характеры речи — см. Типы речи
- Ходульность (холодность) 164, 189, 222, 240, 252, 303, 305
- Холодность 164, см. также Ходульность
- Художественная и практическая речь — см. Практическая и художественная речь
- Части речи 26, 28, 30, 75, 84, 86, 87, 104—106, 125—126, 133, 139—142, 145, 146, 212, 242, 243, 245, 251, 273
- Части словесного изложения 67
- Частица 26, 76, 181, 190, 250, см. также Союз
- Число 77, 101, 102, 108, 126, 130—133, 135, 140—142, 146—149, 190, 191, 203, 233, 234, 243, 278, 279, см. также Падение
- Чистота 88, 164, 173, 190, 202—204, 206, 207, 209, 210, 217—220, 301
- Член 30, 67, 75, 107, 125, 127, 140, 141, 182, 248, см. также Местоимение
- Членораздельная речь 22, 38, 71, 72, 84, 113
- Членораздельные звуки 74, 75, 124
- Шероховатость 224, 251, 252
- Шум 68, 113, 116, 117
- Шутка 201, 297
- Эйдос (идея, образ) 24, 45, 46
- Экстаз 186
- Элеаты 17, 22, 155, 156
- Элемент 13, 14, 54, 65, 74, 84, 112—122
- Элементы речи — см. Части речи
- Эллинская речь 29, 89—95, 97
- Эмфаза 91, 304
- Эпанастрофа 211, 283
- Эпанод (регрессия) 282
- Эпикурейцы 29, 169; Отрывки 70—73
- Эпитет 188, 189, 191, 192, 219, 233, 235—237
- Эпитрит 214
- Эпифонема 296
- Этимологии отдельных имен 35—37, 48—50, 55, 77—78, 83
- Этимология 11, 12, 16, 18—20, 23, 24, 28, 31, 32, 47—63, 77—78, 112
- Язык (орган речи) 39, 51, 55, 67—69, 71, 72, 74, 114—117
- Язык богов 11
- Язык в мифологической системе мышления 10—12, 17, 18, 21, 27
- Яркость 209, 216, 220, 223, 229, 249, 250
- Ясность 91, 98, 157, 164, 165, 169, 181—183, 185, 187, 189, 198, 291—207, 209—211, 216, 217, 226, 232, 296, 301, 302, 305

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редакции	5
Список переводчиков	6
1. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА	
<i>Троцкий И.</i> Проблемы языка в античной науке	9
Тексты:	
I. Учения V века	35
II. Платон	40
III. Аристотель	65
IV. Эпикур и эпикурейцы	70
V. Стоики	74
VI. Вопрос о происхождении языка в позднейшей философии	79
VII. Спор об аналогии и аномалии	85
VIII. Система «александрийской» грамматики	111
IX. Диалектология	150
II. ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ	
<i>Меликова-Толстая С.</i> Античные теории художественной речи	155
Тексты:	
I. Начальный период	181
II. Аристотель	184
III. Эллинистическо-римская риторическая система	200
Примечания	311
Именной указатель	352
Предметный указатель	355

Директор издательства:
Абышко О. Л.

Главный редактор издательства:
Савкин И. А.

Художественный редактор:
Емельянов Ф.В.

Корректор:
Абышко Л. А.

**«Античные теории языка и стиля»
(антология текстов)**

(из серии «Античная библиотека»,
раздел «Исследования»)

Издатель — К.В. Кренов

Сдано в набор 18.07.95. Подписано в печать 30.01.96.

Гарнитура «Академическая». Печать офсетная.

Бумага офсетная № 1. Формат 60×88 ¹/₁₆.

Объем 23 п. л.. Уч. изд. л. 27.

Тираж 2000 экз. Зак № 3073.

Издательство «Алетейя» (СПб)

Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 6, кв. 30.

Телефон издательства: (812) 219-46-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в СПб типографии № 1 РАН
199034, С.-Петербург, 9 линия, д. 12